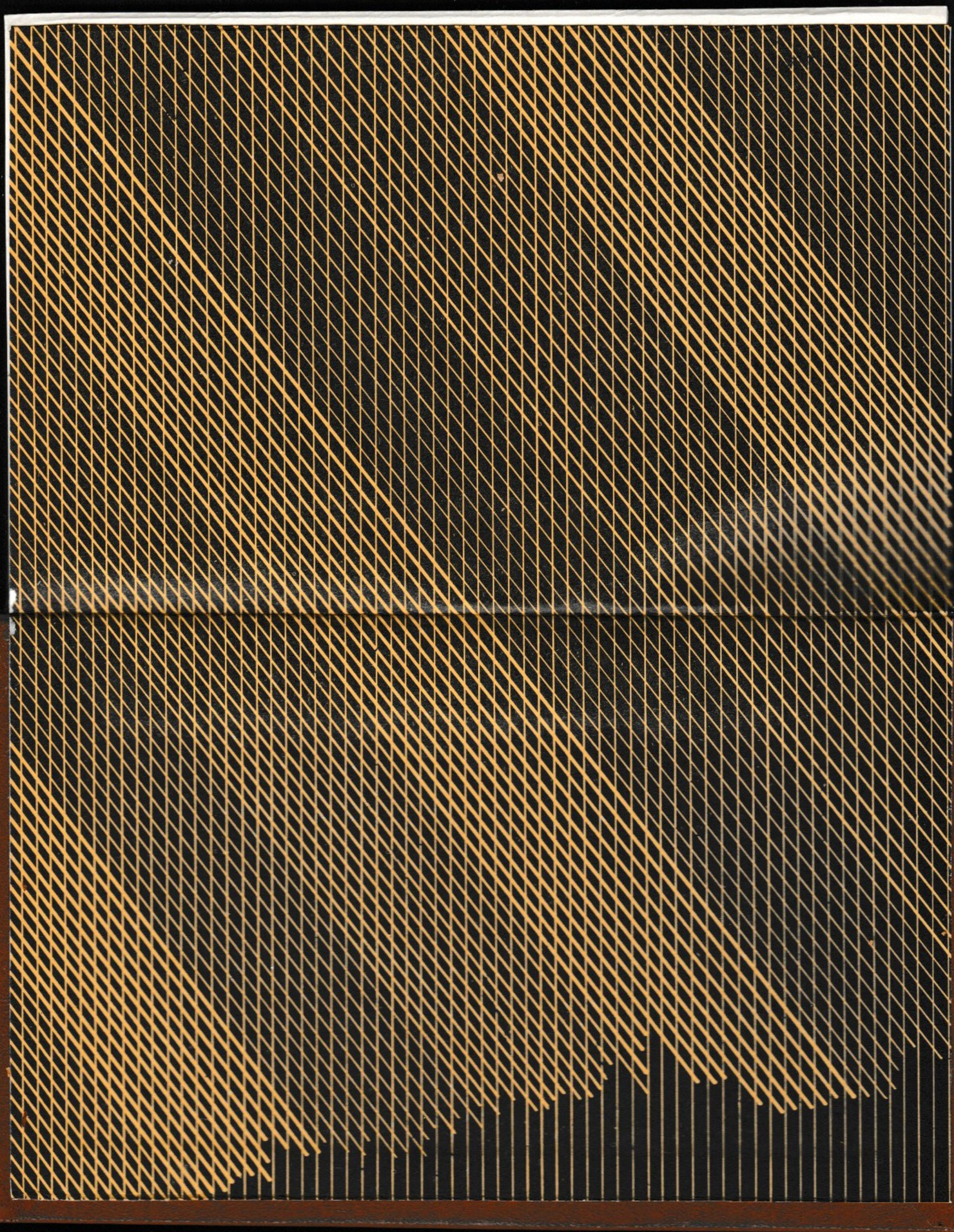
Николай Дубов

3.

Николай Дубов 3.



Николай Дубов

собрание
сочинений
в трёх томах

Москва
«Молодая гвардия»
1990

Николай Дубов

том третий

Колесо Фортуны

роман

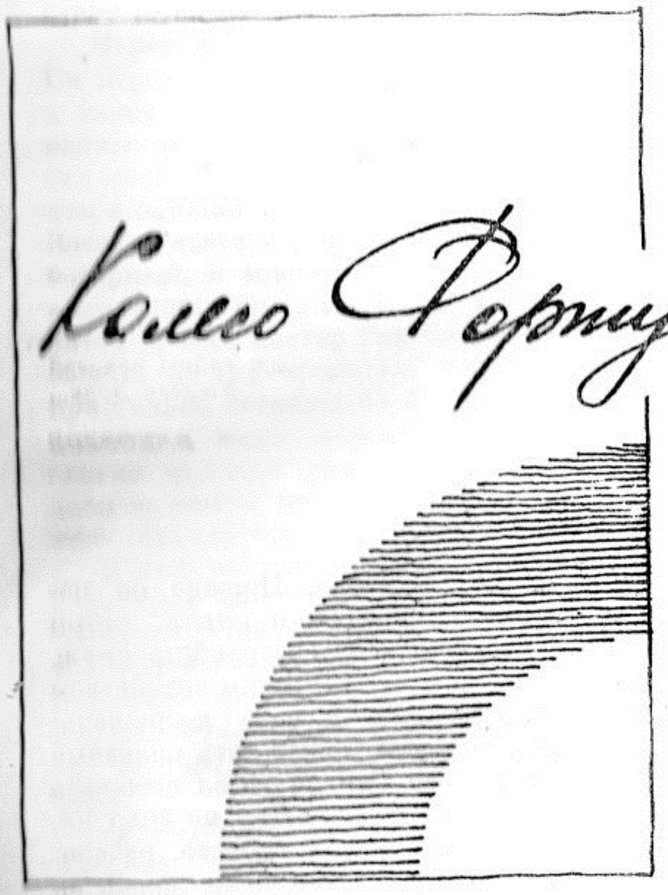
ББК 84Р7
Д 79

Д $\frac{4702010201-053}{078(02)-90}$ Свод. пл. подп. изд. 1990

ISBN 5-235-00926-6 (т. 3)
ISBN 5-235-00417-5

© Издательство «Молодая гвардия», 1990 г.

Колесо Фортуны



роман

часть первая

...и тайны роковой
Ужасен мрак...

И. КОЗЛОВ

1

Мистера Гана привезли из Чугунова. Прежде он побывал в Киеве на выставке передового опыта, потом захотел посмотреть областную сельскохозяйственную. Поэтому сложилось впечатление, что сельским хозяйством он интересуется всерьез, отнеслись к нему доброжелательно, как к специалисту, который может дать полезные советы. Но, должно быть, мистер Ган не хотел выдавать секреты американских успехов или попросту не знал их, а решил, поскольку приехал в качестве туриста, развлекаться на всю катушку. Никаких советов он не давал, на выставке ни на что, в сущности, не смотрел, а шатался из павильона в павильон, молотил своими лапищами по плечам колхозников, состоящих при экспонатах, спрашивал, откуда они родом, ржал, как жеребец, и приглашал на «уан уодка». Приглашения такие не принимались, но он все равно лез в задний карман и доставал плоскую изогнутую флягу с навинчивающейся крышкой — чаркой. Прикладывался он к ней регулярно, поэтому все время был на взводе. Мистер Ган знал несколько русских слов, но этого было, конечно, недостаточно, и при нем состоял переводчик — очкастый молодой человек с одутловатым, обиженным лицом. Обида относилась, по-видимому, к собственной судьбе: другим переводчикам попадались люди

как люди — ученые там, артисты, с ними хоть интересно поговорить, а ему досталась эта горластая орясина, пьет, как лошадь, заставляет пить и его, а ему пить нельзя, потому что у него плохо с почками, опять вот появились отеки и мешки под глазами.

Через два дня мистер Ган всем смертельно надоел. Он отрывал людей от дела, хлопот с ним была пропасть, а толку от него никакого, и никто не знал, что с ним делать дальше. Поэтому все обрадовались, когда он захотел посмотреть «уезд» и на туристской карте ткнул пальцем в ближайший от областного города райцентр Чугуново. Здесь и вовсе делать было нечего. День был воскресный, базарный, и мистер Ган потолкался на базаре. В своих выгоревших брезентовых джинсах и расхристанной клетчатой рубахе мистер Ган был похож на босяка. Он щупал овощи, из-под косматых черных бровей мимолетно, но пристально заглядывал в лица и горланил так, что даже видавшие виды перекупщицы вздрагивали, а лошади нервно прядали ушами. Колхозники вприщурку наблюдали за ним и посмеивались, но от «уан уодки» уклонялись: кто его там знает? Лучше пить на свои...

Потом забрели в краеведческий музей. Мистер Ган посмотрел на застекленные ящички с образцами почв, осоловело постоял возле столика-витринки, в которой были выставлены какие-то пустяковины, отмахнулся от развешанных по стенам фотографий и пропыленных снопиков различных злаков. Выйдя на улицу, мистер спросил, где ресторан, но ресторан оказался закрытым на переучет.

— Перье-учет? — повторил Ган и начал считать на пальцах: — Раз котльета, два котльета, три котльета...

— Ну, это наше дело, — обиделся сопровождавший их секретарь исполкома. — Чего надо, то и учитываем... — Не рассказывать же американцу, что директор ресторана проворовался и теперь подсчитывали, сколько он успел украсть.

Мистер Ган пожелал, чтобы его отвезли в тайгу.

— Он что, с приветом? — спросил секретарь и ковырнул себя пальцем в висок. — Какая у нас тайга? Пускай в Сибирь едет, если ему в тайгу приспичило.

— Лес какой-нибудь есть? — тоскливо спросил переводчик.

На всю область лес был только один — вокруг Семиторья и как раз в Чугуновском районе. И уж лес что надо: речка, скалы — не хуже, чем в тайге. Плохо толь-

ко — в лесничестве негде мистера устроить, не селить же в конторе или сельской хате. Но ведь там, рядом с Ганышами, строится Дом туриста!..

— Вот туда и везите. А еще бы лучше — к черту на рога, чтоб он пропал, долдон горластый...

Мистер Ган с интересом слушал их разговор и невпопад кивал головой.

Председателю сельсовета в Ганышах по телефону сообщили, что к нему в село приедет американец и надо его принять как положено.

— А что с ним делать? — спросил Иван Опанасович.

Ему объяснили, что ничего особенного делать не надо. Если захочет что смотреть, пускай смотрит — у них там никаких военных объектов нет и не предвидится. Главное, нужно принять, как полагается по законам гостеприимства. Ну и это самое — по банке он ударить горазд, так чтобы все было в ажуре... Насчет питания и прочего указания получит председатель колхоза Головань. Но ответственность за все лежит на нем, Иване Опанасовиче.

— Да на кой черт он сдался? — раздосадованно спросил Иван Опанасович. — Что нам, делать больше нечего?

— Темный ты все-таки человек, Шинкаренко! Про государственные интересы надо думать, а не только про свой сельсовет... А у тебя все условия — Дом туриста.

— Так его же еще не открыли!

— Ну, как-нибудь там сориентируйся, организуй, чтобы был порядок... Словом, действуй, скоро приедут.

Дом туриста стоял среди леса на берегу реки, в двух километрах от села. Расположили его красиво — на высокой гранитной скале, отвесно обрывающейся к Соколу, так что вид из окон на грабовый массив и широкий плес был прекрасный. Правда, оказалось, что от реки к дому нужно подниматься метров на двадцать по крутой, неудобной тропе, но об этом вспомнили лишь тогда, когда дом построили. Что ж его, разбирать и перетаскивать на другое место?! Решили, что туристы выдержат, на то они и туристы...

Дом был почти готов, открыть его предполагали к Первому мая, уже начали завозить в кладовую всякое имущество, оборудование и даже подбирать штаты, но строительных рабочих внезапно перебросили на достройку кинотеатра в областном центре, дом остался недоделанным, и набранный персонал распустили, кроме сторожа,

которым состоял Свирид Бабиченко, мужчина суровый и немногословный. Сторож был необходим, так как дом, стоящий на отшибе, не годилось оставлять без присмотра, чтобы не случилось какого безобразия.

Из колхоза прибыла машина с бабами. Бабы быстро помыли полы и окна, поставили койки, прочие необходимые вещи и умчали на том же грузовике. Иван Опанасович и председатель колхоза Головань приехали, чтобы все проверить. В комнатах было чисто и аккуратно, разило, правда, непросохшей олифой, сиккативом и сырой штукатуркой, но это были мелочи жизни, как сказал председатель колхоза, разок переночует — ничего ему не сделается. Вопрос — чем его кормить? Ну, продукты колхоз отпустит. А кто будет готовить? Он же небось нормальную человеческую еду жрать не станет, а у них тут шеф-поваров нету, чтобы выделывать всякие капиталистические штучки-мучки... Поговорили с той хозяйкой, с этой — никто не хочет. У каждой на руках своя семья, да и больно нужно: старайся, старайся, а он потом будет нос воротить — не угодила... Пускай ему в Америке угождают, у нас теперь прислуги нету.

Судили-рядили, так никого и не нашли, пока, наконец, не отозвался Бабиченко. По своей должности сторожа, а сейчас единственного хозяина, он присутствовал при всех приготовлениях и следил, чтобы не было никакого ущерба имуществу, за которое отвечал он.

— Если по-простому, — сказал Бабиченко, — так и моя Власовна сможет. Только чтобы без фокусов!

— Да какие фокусы! — закричал обрадованный Иван Опанасович. — Что он тут, свои законы будет уставлять?.. Ну, Свирид, выручил прямо не знаю как! Власовне колхоз трудодень засчитает, а с меня считай пол-литра за такое дело... Да и сам тут подхарчишься...

— Это нам не требуется! — жестко отрубил Бабиченко. — Не нуждаемся.

Бабиченко действительно не собирался живиться на дармовщину, расчет у него был совсем другой. Добра всякого в доме было немало, отвечать за него не шутка, особенно теперь, когда будут чужие люди, но и круглые сутки торчать здесь — тоже мало радости. А так — днем жинка за всем приглядит между делом, сам он придет сторожить только на ночь, а днем может заняться дома по хозяйству.

— Ну нет так и нет, — примирительно сказал Иван

Опанасович. — Чего тут обижаться? Давай присылай свою жинку.

Вскоре в кухонной плите Дома туристов загудел жаркий огонь, Власовна захлопотала над столом. И вовремя, так как гости были уже близко.

Всю дорогу американец болтал как заведенный, задавал бесконечные вопросы, но переводчик еле отвечал. Его растрясло на булыжной дороге, он побледнел, закрыл глаза и полусидел-полулежал, откинувшись на спинку сиденья. Мистер наконец отстал от него, ненадолго притих, но когда машина въехала в лес и по обе стороны шоссе поднялись могучие стволы строевых сосен, начал восторженно цокать языком, вертеться на сиденье и восклицать:

— It's beautiful! It's just amazing! [1]

За поворотом открылась узкая пойма Сокола, мостик через него, а на пригорке справа бело-красные руины.

— What is it? [2] — показал на них мистер Ган.

Секретарь исполкома понял без переводчика.

— Бывший дом помещичий... Помещик здесь жил. До революции.

— Помеш-чик... — повторил мистер Ган. — And where is [3] помешчик? Пу? Пу? — И он потыкал перед собой вытянутым указательным пальцем, будто стрелял.

— Да кому он нужен, стрелять его? — сказал секретарь. — Сам куда-то смылся во время революции...

— Смы-лся?

— Ну, драпанул... Убежал, значит.

Мистер Ган понимающе кивнул, оглянулся на оставшиеся позади руины и поцокал языком. Сверх всяких ожиданий обед прошел прекрасно, или «бьютыфул», как без конца повторял мистер Ган. Знакомясь, он и оба председателя долго трясли друг другу руки, хлопали по плечам и, не щадя скул, улыбались. Стол, заставленный пирамидами огромных алых помидоров и тугих, хрустящих огурцов, привел американца в восторг, он начал тыкать в них пальцем и кричать свое «бьютыфул».

— Да уж, качество будь здоров! — без ложной скромности сказал председатель колхоза. — Свои, не магазинные!

А когда Власовна принесла пылающий жирный борщ,

[1] Прекрасно! Изумительно! *(англ.)*
[2] Что это? *(англ.)*
[3] А где? *(англ.)*

в котором ложка стояла торчком, восторги мистера Гана перешли все пределы.

— Притворяется небось? — потихоньку спросил переводчика Иван Опанасович.

— Да нет, — вяло ответил тот. — В Америке еда у них красивая, а не вкусная. Как вата.

— Ты что квелый? И не ешь ничего?

— Заболел.

— Так иди, отлежись.

— А как вы без меня разговаривать будете?

— Нам с ним международную политику не решать. А это дело, — кивнул Иван Опанасович на бутылку «Столичной», — пойдет без всякого разговору. В крайности на мигах договоримся. В войну еще как договаривались...

Без переводчика действительно обошлись свободно. Они усердно потчевали друг друга и, хотя каждый говорил по-своему, прекрасно друг друга понимали. Иван Опанасович заметил про себя, что заокеанский гость пьет не так уж много, он больше колготился, галдел вокруг каждой стопки, но отпивал глоток и ставил ее обратно. Это было к лучшему — значит, человек знал свою меру.

Рабочий день пропал. Поначалу Иван Опанасович и Головань огорчались, но после трех стопок махнули рукой — враз на два стула не сядешь, на двух свадьбах не погуляешь, — а тут бросить нельзя: можно сказать, государственное дело, международные контакты. Секретарю Чугуновского райисполкома и вовсе нечего было огорчаться: он выполнял данное ему поручение, а главное — избавлялся наконец от надоевшего иностранца и рассчитывал, как только жара спадет, отправиться домой.

Уехать ему удалось лишь поздно ночью. После обеда Иван Опанасович и Головань посидели немного для приличия и поднялись уходить — день угасал.

— No! No! — закричал мистер Ган. — Тепер... да? Тепер нада... река, ривер... Как это? Campfire... Костьер, да?.. Самовар and song... Песня. Yes? — и вдруг запел: — «У самовара йя и мойя Маш-ша...»

«Ишь ты, — удивился про себя Иван Опанасович, — и это знает...»

Сам Иван Опанасович слышал песню о Маше и самоваре еще до войны, когда был пацаном.

— Само-вар it's very good! [1] — долдонил свое мистер Ган.

[1] Это очень хорошо! *(англ.)*

— Да поздно уже, — сказал Головань. — И где его взять, тот самовар?

Иван Опанасович и он, если уж пили, так не чай, в крайности — молоко, и самоваров в домах у них не было. Призвали на совет Власовну. Став у притолоки, она пригорюнилась, подумала и сказала:

— Сроду они у нас были, самовары? Мы воду в кастрюлях, макитрах кипятим. Нету в Ганыпах самовара. Вот разве у Харлампия. У того был — он любит вареную воду хлебать.

— Какого Харлампия?

— Да у мужа Катриного, у деда Харлампия, что в лесничестве.

Возить самовар сюда-обратно, а главное, таскаться с ним вверх-вниз по крутой скале удовольствие маленькое. Решили ехать все вместе, не за самоваром, а к нему. Там на низком бережку и место можно выбрать получше. Погрузили весь нужный припас в машину и отправились к Харлампию.

Дед сидел на завалинке и в угасающем вечернем свете читал газету. Выслушав Ивана Опанасовича, он вприщурку посмотрел на американца, оставшегося в машине.

— Так раньше только баре да купцы ездили скрозь самовар на природу любоваться. Хотя, правду сказать, самовар — самоваром, а налегали больше на водочку...

— Этого добра там тоже хватает, — сказал Иван Опанасович, махнув рукой в сторону машины.

Дед крякнул и заметно оживился.

— Самовар имеется, самовар налицо, только без Катри нельзя, она всему имуществу командир.

Катря появилась в дверях, и лицо ее не предвещало ничего хорошего. Не дослушав Ивана Опанасовича, она без обиняков сообщила, что все они посказились[1]. Люди добрые, которые делом заняты и работящие, спать ложатся, а их, бездельников, на ночь глядя, черти на реку несут. Чего доброго, и ее лайдак, бесстыжие его очи, вместе с ними ладится...

— Не, Катря, — поспешно сказал дед Харлампий, — я не поеду. Не поеду, и все! Не хочу!

Он хорошо знал, что делал, — Катря взвилась.

А кто его спрашивает, чего он хочет или не хочет? Кто будет отвечать, если эти шалопуты самовар распаяют? Они его будут лудить, что ли? Раньше хоть цыгане

[1] Спятили *(укр.)*.

лудильщики были, а теперь что? Его стариковскими соплями лудить? Поедет без всяких разговоров и пускай смотрит, а если что, она этот клятый самовар самолично разобьет об его лысую голову... А это еще что за пугало огородное?

Привлеченный шумной беседой, мистер Ган выкарабкался на «козла», подошел и, покачиваясь, с любопытством уставился на бушующую Катрю.

Вот такой у них американец? Пускай лучше ей не брешут, все одно не поверит! Да у нас такие голодранцы раньше под церквой с протянутой рукой стояли... А если он богатый, так какого черта, прости господи, босяка из себя строит? Ишь выпучил зенки, вроде и человек, а сам, как баран, ничего не понимает...

Мистер Ган невпопад радостно осклабился и закивал.

— Ишь оскалился — рад-радешенек... А чему радоваться? Шильями их там в зад колют, что ли, чего их сюда нелегкая несет? Мало своих шалопутов, бездельников шатается, теперь еще американцы заявились...

Дед Харлампий проскользнул мимо ругающейся супруги в хату, вынес самовар.

— Воды-то припасем? — спросил он председателя колхоза.

— Так, а зачем? К реке поедем...

— Теперь из той реки только коровам пить...

Дед проворно вытащил из колодца бадейку свежей воды, налил доверху самовар, отчего блестящие латунные бока его сразу запотели, заслезились.

— Good-bye, my fair lady![1] — сказал американец тетке Катре, сделал ручкой и выхватил у деда самовар.

— Куда? Уронишь, окаянный! — закричала тетка Катря.

Дед попытался отобрать самовар, но пальцы американца оказались железными, он легко отстранил деда и на вытянутых руках понес самовар к машине.

— Осподи! Самое главное чуть не забыл! — спохватился дед, метнулся в сени и вынес мятый порыжелый отопок сапога.

— Это зачем? — спросил секретарь исполкома.

— При самоваре самый главный инструмент! — умащиваясь в машине, сказал дед. — В трубу-то что, из-под носу фукать будешь? Так он до ночи не закипит, а скрозь сапог — в два счета... Ты гляди-ка, понимает! — удивился

[1] Прощайте, моя прекрасная леди! *(англ.)*

он, оглянувшись на мистера Гана. Тот поместил самовар между коленями, но не поставил на пол, отчего на ходу расплескалась бы половина воды, а держал за ручки на весу.

Сосновые шишки и рыжий отопыш в опытных руках деда Харлампия моментально сделали свое дело, самовар запел, зашумел, даже зафыркал кипятком. Однако, как и предвидел дед, служил он как бы декорацией, а налегали главным образом на оставшуюся после обеда «Столичную». Перепало, разумеется, и самоварному специалисту, отчего дед Харлампий, и без того видевший в жизни больше поводов для смеха, чем для трагедий, стал бесстрашно смотреть даже на предстоящую после выпивки встречу со своей Катрей.

А мистер Ган впал в лирическое настроение, или у него вспыхнули недавние московские впечатления, и он начал лопотать сначала совершенно невнятное — «Мосеф... деффки... березка... деффки», — потом, наконец, добрался до сути:

— Деффки — коро-вод... Давай, давай, а? Калинка-малинка... Do you understand? [1] Коро-вод...

— Как же, счас! — насмешливо сказал Головань. — Наши девки коров водят, это верно, а вот хороводы для тебя — долго ждать придется...

Мистер Ган внезапно поднялся и через кусты двинулся к Соколу.

— Куда его черт понес? — встревожился Иван Опанасович. — Еще в реку сверзится.

— Ничего, там мелко, — сказал Харлампий. — И может, человеку нужда какая приспичила... Он кто ж таков, капиталист или так себе, житель?

— Кто его знает, — сказал секретарь исполкома. — Переводчик говорил — бизьнесьмен. У них все бизьнесьмены. Хоть фабрику держат, хоть вшивую лавочку, а все одно считается бизьнесьмен...

От реки донеслись гулкое шлепанье по воде, плеск. Потом мистер Ган громко заухал и радостно загоготал. Эхо удесятерило гогот и громовыми раскатами обрушило на сидящих за скатертью.

— Ну, чисто леший! — засмеялся Харлампий. — А ведь, кажись, не молоденький. Голова-то, как лунь, седая.

— А у них не разберешь, — сказал Иван Опанасо-

[1] Вы понимаете? *(англ.)*

вич, — Я на них в Германии, на Эльбе, насмотрелся. Хоть сорок, хоть шестьдесят. И седые, а все гладкие да розовые. А что? Жизнь спокойная, харчи хорошие.

С шумом, треском, словно через кусты ломилось стадо коров, мистер Ган вернулся к костру. Он широко развел руки и почти прокричал:

— Russia... It's just wonderful! [1] Матýшка-Рус!..

— Ну, положим, — сказал секретарь. — Никакая не «матýшка», а Советская Социалистическая Республика. Понятно?

Мистер Ган не понял или не захотел вступать в дискуссию.

— It's time to go home, — сказал он. — To bed [2]. — Он приложил руку к щеке и сделал вид, что спит.

— Вот это верно, давно пора, — сказал Иван Опанасович.

Высадив деда с самоваром возле его хаты, они быстро проделали тот же кружной путь к Дому туриста, выгрузили корзину с посудой и мистера Гана. Бабиченко давно заступил на дежурство и теперь, закинув на плечо берданку, мрачно наблюдал, как американец, покачиваясь, побрел в дом.

Исполкомовский «козел» подвез обоих председателей до Ганышей и умчался в Чугуново. Председатели постояли минут пять, отдыхая, покурили.

— Ну как прием в теплой, дружественной обстановке? — сказал Головань.

— Не говори! — покрутил головой Иван Опанасович. — Хорошо — завтра уедет, а то так и спиться недолго...

— Ну, бывай. Надо хоть трошки поспать, а то мне скоро по бригадам...

Часов Бабиченко не имел, но по его расчету было около двух, когда американец в огненно-красной пижаме выбежал во двор и закричал:

— Hello, anyone here? [3] Эй!

На дежурстве Бабиченко всегда старался держаться в тени, чтобы его заметить было трудно, а он мог все наблюдать. Сейчас он на всякий случай еще немножко постоял в тени, потом вышел под свет фонаря.

[1] Россия. Это изумительно! *(англ.)*
[2] Пора идти домой. Спать *(англ.)*.
[3] Есть здесь кто-нибудь? *(англ.)*

— О! — обрадовался мистер Ган. — Come here, calle a doc [1]. Давай, давай! — помахал он рукой и быстро ушел в дом.

Бабиченко и тут слегка помедлил, чтобы между ними была дистанция — на всякий случай, — и тоже вошел.

Переводчик крючком лежал поперек кровати, залитое пóтом лицо его было в красных пятнах. Изгибаясь от боли, он даже не стонал, а как-то дико и страшно мычал.

— Ты чего? А? — наклонился над ним Бабиченко.

— Доктора!.. Скорей!.. — простонал переводчик, и глаза его закатились.

— Где его тут возьмешь, доктора? — мрачно сказал Бабиченко.

— Go ahead! [2] Давай, давай! — опять загалдел американец.

— Не могу я, — сказал Бабиченко. — Я, — он потыкал пальцем себя в грудь, — все, — он обвел пальцем вокруг, — охраняю. Вот! — и для ясности подергал ремень берданки, висящей на плече.

— О! — догадался мистер Ган. — I'll be delighted to do it for you [3].

Он даже показал, как будет ходить, держа ружье по команде «на плечо», и потянулся к берданке. Бабиченко отпрянул.

— Ишь ловкий какой! Черта лысого ты получишь, а не оружие!

Бабиченко потрясла страшная догадка: а ну как это одна шайка-лейка, и тот, второй, попросту притворяется, и, как только Бабиченко уйдет в село, они подчистую все и выгребут... Вроде и непохоже, вроде тот взаправду больной, а кто их там знает?!

— Давай-давай! — торопил его американец.

— Ты меня не подгоняй! — буркнул Бабиченко. — Без твоей указки знаю, чего мне делать...

Но в том-то и была беда — что делать, он не знал. Оставить как есть, в село не сообщать? А если человек на самом деле болен и помрет потому, что не доставили куда нужно? Ну, а если оба жулики и разыгрывают комедию, чтобы он, как дурачок, ушел, а они бы тут на свободе орудовали?..

Больной корчился и страшно мычал, американец что-

[1] Идите сюда! Позовите доктора *(англ.)*.
[2] Давай действуй! *(англ.)*
[3] С удовольствием заменю вас *(англ.)*.

то галдел по-своему, а Бабиченко все стоял и стоял, не зная, на что решиться.

— Ну ладно — шагай! — внезапно сказал он. — Топай вперед. Туда, туда! — махнул он рукой на дверь.

Американец послушно повернулся и вышел во двор, Бабиченко последовал за ним. На всякий случай он снял берданку и взял ее под руку, на изготовку. Он решил увести американца с собой. Если они жулики, то один оставшийся много не уволокет, а то и вовсе побоится — американец-то останется вроде как в залог. А если нет, ни хрена ему не сделается от такой прогулки — вон дубина какая... Американец все понял и быстро зашагал по малоезженой, уже зарастающей колее, так что малорослый Бабиченко еле поспевал за ним.

— Очумел! — схватился за голову разбуженный Иван Опанасович. — Да ты знаешь, чем это пахнет?!

— То мне без внимания! — отрезал Бабиченко. — Там этот второй, который переводчик, вроде...

— Ну?

— Доходит. Того и гляди, помрет.

Только теперь Иван Опанасович спохватился. Все были пьяноваты, устали, хотели спать, поэтому никто не вспомнил о заболевшем переводчике, не заглянул к нему. И вот результат...

Никакого транспорта у сельсовета нет, машины и лошади принадлежат колхозу, и без председателя колхоза никто распоряжаться ими не может. Иван Опанасович не сомневался, что распоряжение будет, но все же послал Бабиченко к Голованю, чтобы тот пришел сам и жена его тоже, поскольку она когда-то работала медсестрой, а свою жену послал к живущему поблизости колхозному шоферу Дмитруку, чтобы пригнал машину.

Иван Опанасович остался с американцем вдвоем и время от времени испытующе на него поглядывал — оскорбился он тем, что его ночью под угрозой оружия погнали неведомо куда и зачем, или нет? Пожалуется где надо, потом попробуй объясни, почему плохо обращались с иностранцем. За такое дело может нагореть по первое число...

Мистер Ган вовсе не выглядел обиженным. Сидя на крыльце, он закинул руки за голову и любовался вызвездившим небом.

— Isn't it marvellous? [1] — сказал он и пояснил: — Красиво!

[1] Чудесно! Не правда ли? *(англ.)*

— Звезды-то? Ничего, здорово, конечно, — озабоченно согласился Иван Опанасович и негромко в сердцах добавил: — У него еще звезды в голове! Мне бы вот так — никаких забот, только на звезды пялиться...

Мистер Ган покивал, привалился к перилам и начал что-то насвистывать.

В третий раз за сутки они сломя голову примчались в Дом туриста. Переводчик был совсем плох. Он уже не стонал, а криком кричал. Иван Опанасович и Головань с трудом уловили, что у него, должно быть, почечная колика. Приступы случались раньше, но так еще никогда не бывало. В такой ситуации следовало, конечно, не за врачом ехать, а больного везти к врачам, в больницу. И как можно скорее. До района ближе, но дорога хуже, а в область и дорога получше, и больница там что надо...

В кузове намостили матрацы, одеяла, перенесли и уложили переводчика. Председателева жена села рядом: придерживать и так, на всякий случай — все-таки медсестра. Иван Опанасович наклонился над переводчиком:

— А с ним чего делать? С мистером этим?

— Да пусть он... — начал переводчик, но его снова пронзил приступ боли, он замычал и так и не объяснил, что должен сделать мистер.

Иван Опанасович спрыгнул на землю. Приходилось решать самому, и Иван Опанасович решил.

— Вот что, мистер, — сказал он, — раз такое стряслось, тебе тут делать нечего. Давай складывай свои вещички и тово, — показал он на машину.

Мистер Ган, помогавший переносить переводчика и потом безмятежно наблюдавший за тем, как его укладывают, всполошился.

— No! No! — замахал он рукой. — I should very much like... I... — он потыкал себя в грудь, потом под ноги, — here... [1]

Иван Опанасович и Головань растерянно переглянулись. Как же так его оставлять? Чего он тут будет околачиваться? Одно дело с переводчиком, и совсем другое, когда один... Кто его знает, что он за человек и что у него на уме.

— Нет, — замотал головой Иван Опанасович. — Не положено! Давай уматывай, пускай там в области разбираются. У нас и без тебя мороки хватает...

Мистер Ган быстро-быстро загалдел по-своему, потом

[1] Нет! Нет! Мне бы очень хотелось... здесь... *(англ.)*

бросился в комнату и выбежал со складным спиннингом.

— Fish! — закричал он и сделал вид, будто забрасывает леску. — Риба!.. Ам-ам... Dinner! And to bed[1]. — Он приложил ладони к щеке, закрыл глаза и даже захрапел, изображая спящего.

— Да, — сказал Иван Опанасович. — Вопрос только, какую ты рыбу ловить будешь? Среди вашего брата всякие рыболовы бывают...

Американец напряженно смотрел то на одного, то на другого, лицо его было таким огорченным и растерянным, что Голованю стало его жалко.

— Может, ничего, пускай денек побудет? Куда они его ночью денут? Не в больницу же?.. А ты позвонишь в район, доложишь обстановку — пускай там и решают.

— Ну да! А отвечать кто будет, в случае чего?.. Вот черт, накачался на нашу голову!

Иван Опанасович даже сплюнул в сердцах. Оставить здесь без всякого присмотра — плохо. Гнать силком — еще хуже. Что же его теперь, веревкой вязать или в грузовик берданкой загонять?

— Ладно! — махнул он рукой. — Давай трогай, Михайло. Только не больно тряси, а то не довезешь...

Грузовик зарычал и осторожно выехал со двора.

— Ты, Свирид, приглядывай тут за ним.

— То не моя обязанность! — жестко ответил Бабиченко. — Я к имуществу приставленный!

— Да человек ты или нет! Можешь войти в мое положение? Ну иди ты звони в район, а я тут сторожить буду...

За скулами Бабиченко заходили желваки, но он промолчал.

Американец понял, что ему разрешают остаться, и просиял.

— Thank you ever so much![2] Спаси-бо!

— Ладно, — отмахнулся Иван Опанасович. — Иди спи покуда...

Ему самому было теперь уже не до сна.

2

Автомобиль — несомненное чудо XX века. Его можно даже назвать богом XX века. Начав со службы человеку, он очень скоро заставил человека служить себе: вынудил

[1] Обед! И спать... *(англ.)*

[2] Огромное вам спасибо! *(англ.)*

опутать землю паутиной дорог, создать новые отрасли промышленности, а они подчинили себе правительства и международную политику. Как настоящий бог, он не уступает в кровожадности ацтекскому Уицилопочтли и каждый год поглощает десятки тысяч человеческих жизней, а своими выхлопными газами медленно, но верно отравляет всех остальных жителей земли... Но не будем преувеличивать: во всем этом виноват не автомобиль, а люди. Автомобиль же попросту — умно сделанная машина, которая становится все совершеннее.

Однако достоинства всегда ходят в паре с недостатками, и чем разительнее проявляются достоинства, тем болезненнее сказываются недостатки. Бывает, что автомобиль заставляет вспоминать даже не лошадь, а своего еще более давнего предшественника — осла. Это четвероногое средство сообщения с доисторических времен везет в упряжке, а чаще прямо на своем горбу человека и его грузы. Он неприхотлив и бесконечно вынослив, кроток и послушен, подчиняется старцам и малым ребятишкам. У него только один, но зато непреодолимый недостаток: он не желает идти в ногу со временем. То ли он не верит в то, что будущее обязательно лучше прошлого, и потому не торопится к нему, то ли прародители раз навсегда запрограммировали в нем житейскую мудрость: «Тише едешь — дальше будешь», и потому под вьюком или в упряжке он передвигается только шагом, будучи довольно резвым на свободе. Где бы он ни находился и как бы его ни называли — осел, азинус, ишак, донни, кадди, бурро, эзель, асино, — в начале пути или в конце, утром после отдыха или вечером после перехода, в цветущей долине или в пустыне, в зной или непогоду он одинаково равномерно, не спеша и не медля, переставляет свои копытца. Поэтому его и сейчас ставят впереди караванов; по его ходу можно проверять часы, его переходами можно мерить расстояния. Однако при попытке перегрузить его сверх меры или заставить идти туда, куда, по его мнению, идти не следует, он останавливается. И тогда — конец. Можно манить его лакомствами, дергать, тащить за узду, за хвост, толкать сзади, бить кнутом, палками — ничто не поможет. Разве что, доведенный побоями до отчаяния, он начнет испускать свои рыдающие вопли и подкидывать задом, но с места все равно не тронется.

Такой «стих» находит иногда и на автомобиль,

и разница только в том, что причины приступов непреодолимого упрямства у ослов всегда очевидны, если же они случаются у машины, доискаться до причины бывает трудно. Только что, минуту, секунду назад, автомобиль был в полной исправности, десятки или сотни его «лошадиных сил» слитной дрожью изъявляли готовность пожирать километры. И вдруг все эти силы куда-то исчезают и пожиратель километров превращается в груду мертвого железа. Сбегаются знатоки, советчики, сунув головы под капот и отставив зады, они копаются в его медных и стальных кишочках, ищут способ оживить покойника, но он остается бездыханным.

Вот это и произошло с машиной Михайлы Дмитрука на обратном пути из областного центра. Дмитрук остановился за городом возле маленькой речки, чтобы долить радиатор. Воду Дмитрук долил, и на этом все кончилось. Баллоны были в порядке, тормоза тоже, бензина достаточно, свечи, катушка исправны, искра была, но жизнь из машины улетучилась. Дмитрук проверял все снова и снова, потом начал «голосовать» проходящим машинам. Шоферы охотно и с некоторым оттенком превосходства засовывали головы под капот, проверяли свечи, трамблер, катушку, предохранители — словом, делали все, что и без них знал и умел Дмитрук. Налет превосходства с шоферов слетал, уже без всякого апломба они пожимали плечами, спохватывались, что опаздывают, и уезжали.

Автомашиной до Ганышей нормального хода полчаса, пешком день пути — не побежишь, да и машину не бросишь. Измучившись вконец, Михайло Дмитрук захлопнул капот и сел за баранку, решив ждать попутной, чтобы проситься на буксир, потом механически повернул ключ в замке зажигания, стартер зарычал, и машина мягко задрожала — мотор завелся. Едва не плача от злости и радости, Дмитрук включил скорость и газанул. Так вместо того чтобы вернуться через два часа, Дмитрук подъехал к сельсовету через семь, когда Иван Опанасович успел уже придумать и десятки раз перебрать все мыслимые и немыслимые несчастья, какие могли произойти.

В больницу переводчика приняли без всяких разговоров, дежурный врач сразу закричал, чтобы готовили горячую ванну, а жене Голованя объяснил, что у больного действительно почечная колика, вернее всего, камень оторвался, выходит или вышел из почки, идет по мочеточнику, и потому такая боль. Сейчас ничего определен-

ного сказать нельзя, но если все пойдет хорошо, может, в два-три дня и поправится. Если камень выйдет. А может, и затянется.

С переводчиком более или менее выяснилось. Оставался американец. Бабиченко, отдежурив, зашел и сообщил, что мистер еще дрыхнет, а Бабиченкова жена уже готовит ему завтрак. Спит, так пускай спит, но век он спать не будет... Надо выяснить, тем более что подошло время, когда чугуновские служащие уже появляются в своих учреждениях. Иван Опанасович взял телефонную трубку, и тут техника второй раз в это утро подложила ему свинью.

В нашей необъятной стране, должно быть, уже не осталось района, самого глухого, удаленного угла, который бы не имел телефонной связи. Там, где прежде никакой связи не было, сразу, естественно, ставят, так сказать, последние достижения — полуавтоматические станции, пластмассовые аппараты разных колеров с цифровыми вертушками и пружинными змейками отводов к трубке. А в некоторых, давно телефонизированных районах до поры все остается по старинке: автоматов пока нет, на станциях, где прежде сидела одна-единственная «барышня», теперь сидит «девушка». Техника, конечно, отсталая, но не лишенная известных преимуществ. Автоматическая станция — штука безликая и безучастная, с ней не поговоришь, не посоветуешься: набираешь номер, свободен — соединит, занят — ответит тутуканьем. А когда за пультом сидит какая-нибудь Соня или Люся — ее все знают, и она всех знает. Ну, разумеется, людей ответственных. Попросишь соединить с таким-то, а Соня отвечает, что сейчас Он разговаривает с Ивановкой или Глушицами. А если вы пользуетесь ее симпатиями, она может даже доверительно посоветовать не звонить сегодня вовсе, потому как сегодня Он не в настроении — григоровский сахарный завод прямо в дым изругал... Хорошая, надежная система. Но если уж она отказывает...

Почему-то когда кино или телевидение показывают сочинения про космос, режиссеры обязательно сопровождают их стонущей, подвывающей музыкой электронных инструментов. Музыка эта напоминает цирковой номер — игру смычком по вибрирующей стальной пиле — и некоторым нравится. Однако к космосу она не имеет никакого отношения: космос не стонет и не подвывает, он молчит. И уж молчит так, как может молчать только

космос, в котором атмосферы нет, а значит, не может быть никаких звуков. Полное, абсолютное беззвучие человеку трудно даже представить, поэтому космосу пытались приписать «шорох звезд». В безветренную зимнюю ночь, когда дым из труб отвесно уходит в вызвездившее небо, спят не только люди, но и все сделанные ими стада машин, а после мягкого дня круто поворачивает на мороз, вот тогда люди с чутким ухом могут услышать легчайший, еле уловимый шорох. И кажется, будто земля погрузилась в такую беспробудную, безысходную немоту, что шорох этот идет от бесконечно далеких мерцающих над головою звезд. Увы, шуршат не звезды. Знающие люди говорят, что в крепнущем морозе мельчайшие капельки атмосферной влаги превращаются в лед — это и порождает звучание, которое называют шорохом звезд...

Иван Опанасович снял трубку и услышал в ней отдаленные, как с другой планеты, голоса людей, потом они пропали, их сменил шорох звезд. Он снова снял трубку и на этот раз услышал космос, то есть полное и совершенное беззвучие, если его можно слышать. Сначала спокойно, потом все нервознее он снова и снова хватал трубку и... С таким же результатом он мог прикладывать к уху собственный башмак или папку прошлогодних протоколов.

Внезапно, будто из него выдернули кляп, телефон отозвался бойко и громко. Как и ожидал Иван Опанасович, райисполком ничего определенного сказать ему не мог: подобных случаев в районной практике не было, надо связываться с областью.

Через час секретарь райисполкома позвонил сам. С областью разговор был, и там тоже не знают, как поступить, поэтому свяжутся с Киевом, с «Интуристом».

— То ж волынка! — сказал Иван Опанасович.

— А чего ты хочешь, в конце концов? Все должны побросать свои дела и танцевать вокруг твоего американца? Ему ведь без переводчика плохо, а не тебе... Не беспокойся: все, кому надо, — в курсе. Понятно? И нечего поднимать панику. Нравится ему там? Пускай сидит! Ну конечно, если он начнет разводить агитацию или еще чего — тогда другое дело. В общем, ориентируйся, тебе на месте видней...

Иван Опанасович в сердцах так брякнул трубкой, что весь аппарат мог разлететься вдребезги, но запас прочности, который выдержал переживания несчетного числа

председателей, не подвел и на этот раз — аппарат уцелел.

На месте видней... Этих бы умников на его место, он бы посмотрел, как они «ориентируются»...

Болезнь переводчика, возникшие из-за нее осложнения и так вывели председателя из равновесия, нервотрепка, вызванная сначала взбесившейся автомашиной, потом телефоном, окончательно доконали. Не случись этого, Иван Опанасович сохранил бы свойственное его натуре хладнокровие и развитую житейским опытом неторопливость в решениях и поступках, когда возникали какие-либо сложные, деликатные обстоятельства. Однако все случившееся случилось. Иван Опанасович вконец изнервничался, на какой-то момент потерял голову и поддался импульсивному желанию хоть как-то облегчить свое положение. Увидев бегущего домой Сашка, Иван Опанасович вспомнил недавние свои размышления о нем, о смелых и разумных хлопчиках, которые растут им на смену.

Размышления эти вызваны были происшествиями, которые произошли в Ганышах и Семигорском лесничестве какую-нибудь неделю назад. Санитарно-эпидемиологический надзор давно изобрел самый легкий для себя способ бороться с бешенством — истреблением бродячих собак. И каждый год все собаки, которые не сидят на цепи или не спрятаны в жилых помещениях, подвергаются «отстрелу», или, попросту говоря, расстрелу. Охотников для таких расстрелов найти не всегда легко. Нелегко было и в Ганышах. Поэтому Иван Опанасович поручил его бывшему уголовнику Митьке Казенному, отъедавшемуся после отсидки на хлебах у матери своей, Чеботарихи.

Митька с превеликим удовольствием принялся за дело, перестрелял немало собак, походя ранил маленького мальчика Хому, прятавшего своего щенка, но далее столкнулся с Боем.

Боя, громадного черного ньюфаундленда, привез в лесничество киевский ученый-лесовод Федор Михайлович. Привез он и соседского мальчика Антона, для которого поездка была как бы подобием курорта. Федору Михайловичу пришлось срочно отлучиться в Чугуново, и он оставил Боя на попечении Антона. У Антона немедленно подобралась компания дружков-сверстников: ленинградская девочка Юка, приехавший из Чугунова Толя и местный, ганышевский Сашко со своим маленьким

адъютантом Хомой. В стороне остался Семен Бабиченко, за свою нелепую долговязость прозванный Верстой. Только у него не было каникул — он пас «хозяйских», то есть неколхозных коров.

Люди зачастую объясняют, оправдывают свои поступки ссылками на обстоятельства, условия, на неверные указания или на то, что указаний не было. Собаки не умеют оправдываться и не ощущают в том надобности: они всегда поступают сообразно своей природе и тому, чему их обучили. Бою внушили, что в нормальной жизни нормальные люди не стреляют, а если человек стреляет, значит, он хулиган или бандит, стало быть, опасен, и его нужно обезвредить. Поэтому, когда Бой увидел Митьку, стреляющего в собак, он отшвырнул лапой Антона, пытавшегося его удержать, и с ревом обрушился на не досидевшего свой срок уголовника. Он не кусал, не грыз его, а просто сбил с ног, но выпущенное с перепугу ружье поломалось, а сам Митька под хохот односельчан на карачках бежал с поля боя. Озверев от злости, Митька устроил форменную слежку и охоту, чтобы Антона избить, а Боя пристрелить. Но через три дня Митька сам попался — участковый уполномоченный Кологойда поймал его с поличным на браконьерстве, арестовал и увез в Чугуново. Федор Михайлович и Антон с Боем тоже уехали, в Киев. Собирались скоро вернуться, но Юка, Толя и Сашко не очень в это поверили.

Мир полон трагедий и горя. На этом фоне происшествия в Ганышах, поскольку серьезного несчастья там не произошло, не бог весть как важны. Даже для непосредственных участников драматический накал их с течением времени стал ослабевать, затеняемый злобами дней бегущих. Однако ничто не проходит бесследно. Забытые и, казалось бы, совершенно незначительные происшествия рано или поздно отзываются, влекут за собой последствия, и последствия эти нередко оборачиваются куда серьезнее изначальных причин.

Ах, если бы люди могли предвидеть все результаты своих поступков! Скольких ошибок и несчастий можно было бы избежать, сколько преступлений предотвратить. Но как может человек предвидеть будущее, если чаще всего поначалу события складываются наилучшим образом, завлекают и манят, сулят успехи и радости, а потом на каком-то незаметном извороте обнаруживается, что посулы обманчивы, казавшееся важным и даже главным не только большого, но и вовсе никакого значения не

имеет, а то, что представлялось совершенными пустяками, вздором, не стоящим внимания, оказывается важным и решающим.

Если бы в свое время лейтенант Вася Кологойда, сидя в автобусе, идущем из Чугунова, думал не о своей Ксаночке, кассирше кинотеатра, а обратил внимание на ветхую старушку, которая вздыхала рядом и поминутно крестила рот, если бы Семен не украл сумку из голубого «Москвича» и не прослыл вором, если бы Сашко не рисовал карикатур на председателя сельсовета Ивана Опанасовича, ставшего «гицелем», а Иван Опанасович по зрелом размышлении не проникся к Сашку известным уважением и доверием, если бы Юка не достигла наконец своей мечты и не узнала страшную, жгучую тайну, если бы Толя не был не только на словах, но и на деле маленьким, но все-таки рыцарем, ну и уж добавим заранее, если бы Антон и Федор Михайлович, а вместе с ними Бой не были самими собой, — все они не оказались бы вовлеченными в происшествия еще более драматические, даже отчасти трагические. Конечно, на международных отношениях происшествие в Ганышах не сказалось бы, но с участниками его могли произойти серьезные передряги, спокойное течение службы некоторых могло внезапно и бесповоротно оборваться и даже произойти кое-что похуже...

С приезда мистера Гана все и началось. Впрочем, этому предшествовало еще одно происшествие, происшествие огорчительное, даже, можно сказать, скандальное — Сашка выпороли.

На свою беду, Сашко не знал древней истории. То есть он знал ее в объеме учебника для пятого класса, но там, к сожалению, о царе Мидасе даже не упоминалось, и потому Сашко не мог извлечь из истории надлежащего урока для себя.

Фригийский царь Мидас умом не блистал, скорее, даже был дуроват, но как всякий властелин считал, что поскольку он возвышен над другими, то, стало быть, и умен, во всем отлично разбирается и может учить других. Все обходилось до тех пор, пока он не вздумал объяснять богу искусства Аполлону, что тот-де на своей золотой кифаре играет неважно, а вот козлоногий фавн по имени Марсий на тростниковой дудке играет не в пример лучше. Раздосадованный Аполлон наградил за это Мидаса ослиными ушами. Что делать? Какой будет у царя авторитет, если подданные узнают, что у него ослиные

уши? Чего доброго, могут подумать, что у него не только уши ослиные... Чтобы спрятать уши, Мидас изобрел специальный головной убор — сужающийся кверху высокий колпак. Длинные ослиные уши царя отлично в нем разместились. Каждый верноподданный фригиец, чтобы сделать царю приятное, считал своим долгом надеть такой же колпак. Постепенно он превратился в национальный головной убор, его так и стали называть — фригийским колпаком. Тайна царя была таким образом скрыта, но одному человеку пришлось ее открыть: чтобы не зарасти, подобно дикому зверю, царю приходилось время от времени призывать придворного брадобрея, и тот видел царские уши во всей их ослиной красе. Царь пригрозил брадобрею смертью, если тот выдаст государственную тайну. Пренебрегать угрозой не приходилось, цари, как известно, головами подданных дорожили не более, чем скорлупой съеденных орехов. Брадобрей дрожал от страха, но его прямо распирало нестерпимое желание сообщить известную ему тайну хоть кому-нибудь. Наконец он не выдержал, побежал в укромное место на берегу моря, выкопал в земле ямку и, заглушаемый шумом волн, прокричал в нее: «У царя Мидаса ослиные уши!» У брадобрея, что называется, свалилась гора с плеч — и тайну рассказал, и голову сохранил. Однако в той ямке пророс тростник, разросся и под налетавшим ветром зашелестел: «У царя Мидаса ослиные уши... У царя Мидаса ослиные уши...» Так всему миру стала известна смешная Мидасова тайна, и находчивого брадобрея с полным правом можно назвать первым в истории разносчиком новостей — представителем доблестного племени журналистов, хотя в ту пору никаких газет и журналов еще не существовало.

Судьба царского брадобрея неизвестна, зато хорошо известно, что Сашко в буквальном смысле на собственной шкуре проверил справедливость истины: тайна только до тех пор остается тайной, пока она известна одному. Как и многих, его погубила жажда славы: он неосмотрительно похвастал своими подвигами, и тайна его моментально разнеслась, как говорят, по секрету всему свету. Свет Ганышей мал, и скоро все узнали, что именно Сашко, а не кто-то другой рисовал карикатуры на председателя сельсовета Ивана Опанасовича, который организовал истребление в селе собак и поручил это уголовнику Митьке Казенному.

Царя давным-давно свергли, бога отвергли, но отец

Сашка, человек совсем еще не старый, часто повторял любимую поговорку своего отца: до бога высоко, до царя далеко, а до начальства близко, особенно если оно местное, и не следует портить с ним отношения. Во исполнение этого завета маленький подрыватель начальственного авторитета и был выпорот ремнем армейского образца, сохранившимся со времен войны. Как потом выяснилось, отец одним из первых узнал о подвигах сына, но молчал до воскресенья. Только в воскресенье, после обеда, когда соседи уже повыходили из хат, кто по делу, а кто просто посидеть в холодке, отец спросил у Сашка:

— Так люди говорят, это ты на нашего председателя карикатуры малевал... То — правда?

Сашко встревоженно вскинулся, но врать не стал.

— Правда.

— А ты кого спрашивал?

— А чего спрашивать, если я правду нарисовал? — Сашко на всякий случай поднялся, чтобы быть наизготовке.

— Ага, ты, значит, такой разумный, сам все понимаешь?.. Вот я тебе сейчас покажу, чтобы ты не был такой разумный... — угрожающе сказал отец. — Только смотри, кричи громче!.. — внезапно добавил он и подмигнул.

На мгновение Сашко даже растерялся, но не стал додумывать или ждать объяснений и метнулся к двери, отец бросился следом.

— Стой, говорю! Все одно никуда не убежишь! — закричал он уже во дворе. В несколько прыжков он догнал сына, схватил за ворот, другой рукой начал расстегивать ремень.

— Да шо я такого сделал?! — закричал Сашко.

— Шо? — тоже закричал отец. — А карикатуры на нашего председателя кто малевал? Я тебе покажу, как с добрых людей насмешки строить...

Соседи подняли головы, наблюдая и прислушиваясь. Конечно, по нынешнему времени бить мальцов не принято и вроде даже стыдно. Ну, а если для пользы дела? Чего ведь только не делают люди для этой самой пользы...

Сашко был сообразительным хлопчиком и все понял. Понял странное пожелание, чтобы он «кричал громче» и почему отец не всыпал ему дома, а устроил так, чтобы удары ремня, рев Сашка были слышны соседям. Удары

широкого и легкого ремня были громкие, но не очень болезненные, Сашко орал старательно, соседи видели и слышали. Поэтому начальству вскоре все стало известно и отношения с ним сохранились хорошие.

Правда, как потом узнал Иван Опанасович, его после Сашковых карикатур все-таки стали называть «гицелем», но потихоньку, за глаза. Тут уж он ничего не мог поделать: на каждый роток не накинешь платок. Да ему в ту пору было и не до этого. Составленный лейтенантом Кологойдой протокол перечислял все преступления Митьки Казенного: браконьерство, пользование запрещенными боеприпасами (жаканы), незаконное хранение оружия, преступно небрежное пользование этим оружием, в результате какового был ранен 1 (один) ребенок, Хома Прибора, «а могло повлечь за собой и более тяжелые последствия».

Тяжелых последствий Иван Опанасович ожидал теперь для самого себя. Следователь уже дважды вызывал его в Чугуново и задавал вопросы, на которые отвечать было решительно нечего. Не мог же он сослаться на Степана Степановича, сказать, что сам он решил отобрать ружье у Митьки, но Степан Степанович под свою ответственность ружье Митьке оставил и дал директиву «стрелять без всякого». Степана Степановича никто и спрашивать об этом не станет, спрашивали с Ивана Опанасовича, и хорошо, если его привлекут только в качестве свидетеля и суд ограничится частным определением, а могут и запросто посадить на одну скамеечку с Митькой Казенным: как ни крути, а получалось, что он как бы соучастник всех Митькиных преступлений...

Словом, тогда Ивану Опанасовичу было не до Сашка и того, как его выпороли, вспомнил он об этом позже, когда завязался первый узел клубка происшествий, запутавших и старых и малых.

Соседи приняли порку вполне хладнокровно, не видя в ней ничего из ряда вон выходящего. Даже новые дружки Сашка, Юка и Толя, не слишком переживали. Кстати сказать, сам Сашко не переживал вовсе. После наказания он хотел демонстративно отказаться от ужина, но порка никак не отразилась на его аппетите, есть он хотел зверски, поэтому передумал, сел за стол, только ел молча и насупленно. Отец искоса на него поглядывал, потом сказал:

— Ну, надулся, как мышь на крупу? Тебе ж совсем и не больно. Только что обидно. Думаешь, Ивану Опа-

насовичу не обидно, когда всякие сопляки на него карикатуры малюют? А сейчас и волки сыты, и овцы целы: ты свою правду доказал, а я старшему человеку уважение оказал... Выходит — полный порядок, и нечего надуваться.

Сашко мог бы возразить, что хлестать его ремнем — странный способ оказывать уважение старшим, но он этого не сказал и даже не подумал: своего отца он очень уважал, слова его звучали как извинение, и Сашко дуться перестал.

Юка сначала до глубины души возмутилась чудовищной несправедливостью, но когда Сашко рассказал, как отец подмигнул ему и потребовал крика погромче, потом притворно хлестал, а сам Сашко притворно орал, засмеялась и сказала, что такую несправедливость пережить можно. Толя иронически улыбнулся и промолчал. Его никогда не тронули даже пальцем, поэтому любое рукоприкладство он считал дикостью, но, как мальчик вежливый, не хотел обижать Сашка нелестным отзывом о его отце.

Только Семен Верста отнесся к происшествию с неподдельным живым интересом. От того, что другого бьют, самому легче не становится, но приятно хотя бы то, что бьют не только тебя...

— Ну то как, здорово тебя батько отшмагал? — спросил он.

— Не, — сказал Сашко. — Так только, для виду.

— Брешешь! Там, мабуть, такие узоры — неделю не сядешь...

— Я брешу? — возмутился Сашко. — На, смотри!

Недолго думая он скинул штаны и показал Семену то место, пониже спины, которое некоторым родителям служит скрижалями, на коих они высекают свои моральные принципы. Что тут скажешь? Какова скрижаль, такова и мораль...

На смуглых Сашковых ягодицах не было никаких узоров. Оживление на лице Семена Версты угасло, оно опять стало полусонным, и он углубился в невеселые думы о том, какой он невезучий и разнесчастный: если порют его, так уж порют — неделю приходится спать на животе, а других только для видимости, и им после такой порки хоть бы что...

Иван Опанасович не был злопамятен. Конечно, попадись ему под горячую руку Сашко, он, не ожидая родительского гнева, сам бы надрал уши сопливому обличителю. Однако, поостыв, он не мог — про себя,

разумеется, — не признать, что Сашко был прав. Это он, председатель, пошел на поводу у санитарно-эпидемиологического надзора, который, вместо того чтобы бороться с настоящими разносчиками бешенства — лисицами,— каждый год требует собачьего побоища. Толку от таких побоищ никакого, а вреда много. Для людей вреда. Разве годится на глазах у ребятишек бойню устраивать? Человек все живое любить должен, он только тогда и человек. А если он с малых лет привыкнет стрелять в кого попало, ему потом и в человека выстрелить не штука... Да, и выходит стыдная вещь — взрослые, образованные люди этого не понимают, а ребятишки понимают: они собак своих, жучек и тарзанов всяких, собой заслоняют... Что ж, молодые, у них совесть еще шерстью не заросла, им до всего дело. Молодцы, молодцы, разумные хлопчики растут...

Таким образом, вместо того чтобы озлобиться, Иван Опанасович проникся к Сашку, а через него и к его товарищам расположением и даже некоторым уважением. Вот почему, когда на его голову свалился американец и он не знал, что делать, где искать помощи, Сашко Дмитрук своим появлением напомнил о себе и своих товарищах, Иван Опанасович высунулся из окна и окликнул Сашка, тот остановился.

— А ну-ка, зайди до меня.

— А шо такое, дядько Иван? — с опаской спросил Сашко. Ему вовсе не улыбалось повторение недавней порки.

— Да ты что, боишься? Дело до тебя есть...

Сашко вошел в кабинет и остановился у порога.

— Давай, давай ближе. Садись вот тут.

Сашко осторожно присел на краешек стула, готовый каждую секунду вскочить и убежать.

— Ну, как она, жизнь? — спросил Иван Опанасович.

Сашко двинул одним плечом к уху и стесненно улыбнулся.

— Нормально.

— Бегаем по селу, воробьям дули показываем?

— Не, я и дома помогаю...

— Знаю я вашу подмогу... Целый день, как лягушата, на Сокола не вылезаете.

— Так каникулы же, дядько Иван!

— Да нет, я не против, сам такой был... Чего ж не купаться, если вода теплая?.. — Иван Опанасович мямлил, ища «подхода», не нашел его и решил говорить

напрямик, без всяких подходов. — Тут дело такое. Важное дело. Понятно? — Не сводя с него взгляда, Сашко торопливо покивал. — Приехал до нас американский турист. Слыхал? Ну вот. А переводчик заболел.

— Так я знаю, батько ж его в больницу возил, — сказал Сашко.

— А? Ну да!.. Так вот, значит, американец остался один, и что он, к примеру, сейчас делает — неизвестно...

— Чего ж неизвестно? — сказал Сашко. — Рыбу ловит.

— Ага! Так ты его уже видел?

— А конечно! Здоровый такой, бровастый... Брови такие черные, мохнатые, глаз почти и не видать, а голова седая...

— Точно! Он самый! — покивал Иван Опанасович.

— Так он по берегу Сокола ходит со спиннингом... Спиннинг у него — закачаться! Я таких сроду не видел... Ничего еще не поймал, — деловито заключил Сашко.

— То пехай ловит на здоровье... Не сегодня завтра за ним приедут — заберут отсюда, но покуда он тут — мы за него в ответе, значит, надо за ним как-то приглядывать. Понятно? — Сашко поспешно кивнул. — Кому это поручить? Люди в разгоне, при деле... Не отрывать же от работы? Да и неудобно как-то ходить за человеком по пятам, а он, может, ничего такого и не думает... Ну вот... А вы все одно целый день на речке, в лесу болтаетесь. Вот тебя, к примеру, никто не просил, а ты и так все видел. Я и подумал: хлопчики вы уже разумные, сознательные, вам вполне можно поручить это дело.

— А конечно, дядько Иван! — сказал Сашко и весь готовно подобрался.

— Только действовать надо с умом, — продолжал Иван Опанасович. — Не ходить за ним по пятам, не торчать перед глазами, а так вроде вам до него никакого дела нету — вы сами по себе, он сам по себе. Издаля так, незаметно... Ну, и никому не болтать про это, держать язык за зубами.

— Все понятно, дядько Иван! — сказал Сашко, и глаза его блеснули. — Наблюдение будем вести скрытно... — Сашко не пропускал в клубе ни одной кинокартины, больше всего любил картины про разведчиков и многое из них почерпнул. — А в случае чего — действовать по обстановке?

Иван Опанасович уловил металлический блеск в глазах Сашка и похолодел. Если бы он знал про джиннов

и верил в них, он бы понял, что сам, можно сказать, своими руками выпустил из бутылки джинна мальчишеского воображения, а что этот джинн может натворить, предугадать не в состоянии даже он сам... Иван Опанасович про джиннов не слыхал, но когда-то и сам был пацаном. Он не стал гадать, что выдумают эти нынешние пацаны, он представил, что ему скажут, когда вызовут в Чугуново, и тут его бросило в жар...

— Нет! — твердо и решительно сказал он. — Никак не действовать! Ваше дело — смотреть. И точка! Понятно?

— А чего ж, конечно, — без прежнего энтузиазма сказал Сашко. — То я уже пойду?

Дела наплывали одно за другим и мало-помалу оттеснили американца на задний план, пока он не затерялся в суматохе, телефонных звонках и спорах. Иван Опанасович шел домой обедать, когда издалека донесся звонкий детский крик: «Дядько Иван! Дядько Иван!» Иван Опанасович остановился, кое-где за плетнями, привлеченные криком, появились лица любопытных. Вздымая пыль, к нему бежал маленький Хома Прибора, а следом ковылял его толстопузый щенок. Подбежав, Хома, выполняя, очевидно, инструкцию, оглянулся по сторонам и поманил рукой Ивана Опанасовича, тот нагнулся над ним.

— Чего тебе?

Громким таинственным шепотом Хома сообщил:

— Сашко сказал — уже!

— Что уже?

Хома наморщил лоб и оттопырил губы, вспоминая про себя все, что Сашко поручил ему сообщить.

— Тот дядька американец уже пошел до дому.

Иван Опанасович, с трудом удержав ругательство, выпрямился.

— Ладно... Беги скажи Сашку, чтобы потом до меня пришел.

Хома припустил обратно.

— Шо там такое, Иван Опанасович? — окликнули его.

— А! — отмахнулся председатель. — Ребячьи игрушки.

К тому времени, когда пришел Сашко, возмущение его несколько пригасло, но решение не изменилось.

— Ты что ж это, из дела на все село цирк устраиваешь? — жестко сказал он. — Я с тобой, как с серьезным хлопцем, а ты игрушки строишь? Тебе привлекать не-

кого, хлопцев в селе мало? Ты бы еще из детсадика войско набрал... Ладно, хватит! Весь наш уговор отменяется. Пацаны — вы и есть пацаны! И чтобы близко до того американца не подходили, чтоб я про вас и не слышал! Понятно?

Сашко пристыженно зыркнул на него и опустил голову. Оправдываться было нечем. Он хотел, чтобы посвященных было как можно меньше, поэтому рассказал о поручении лишь Юке и Толе, но те отнеслись к нему без всякого интереса.

— Сыщики-разбойники? — насмешливо спросил Толя. — Я в детские игры не играю. Лучше почитать.

В Чугунове он взял у Вовки толстый том романов Сименона и теперь упивался повествованиями о доблестях инспектора Мегрэ. Юка насмотрелась на иностранцев в Ленинграде.

Если говорить по правде, Юка была не совсем искренной. В другое время она бы не отмахнулась от предложения Сашка, но сейчас ей было не до того. Желание порождает надежду, надежда побуждает к действию. Всегдашние жажда и предчувствие тайны, которая внезапно может открыться, неотступное, жгучее желание проникнуть в нее понуждали Юку искать ее там, где и при самом буйном воображении нельзя заподозрить существование даже пустякового секрета. Сейчас все внимание Юки было поглощено Лукьянихой.

3

Приезд участкового уполномоченного Кологойды заметили все, а когда он, застигнув на месте преступления Митьку Казенного, арестовал его и увез в Чугуново, происшествие долго обсуждали. На старушку, которая сидела рядом с Кологойдой в чугуновском автобусе и тоже сошла в Ганышах, никто не обратил внимания. Ее все знали, она была своя и так же малозначительна и незаметна, как ничем не примечательный камень у дороги — о нем вспоминают, лишь споткнувшись. О старушке вспоминали, пожалуй, еще реже. Ее имени и фамилии не помнили, при нужде звали ее Лукьяновной, а за глаза Лукьянихой. Неизвестно было, откуда она родом, когда и как попала в Ганыши. Все сверстники ее перемерли, следующее поколение, поседев и облысев, все дружнее перебиралось на вечное жительство под невысокие холмики на сельском кладбище. Лукьяниха

непременно участвовала в их погребении, а сама, усохшая и согнутая годами, все так же мелкими, старушечьими, но спорыми шажками семенила по своим делам. А все дела ее сводились к добыче пропитания. С возрастом глаза повыцвели, но остроты зрения не утратили, и Лукьяниха с самодельным лукошком с весны до ранней осени собирала всякий «божий дар» — лечебные травы, землянику, костянику, чернику, а потом грибы. Особого спроса на добычу Лукьянихи не было, но рубли, как известно, складываются из копеек. Лукьяниха вела им бережный счет, в ее большим никогда не гналась. Донашивала она чужие обноски, однако содержала себя в чистоте, пахло от нее всегда мятой и богородичной травой, в сельмаге покупала только отпрочное мыло, хлеб, постное масло и соль. На луковку и воду хозяева не скупились, поэтому горсть — неизменная еда Лукьянихи — всегда была обеспечена. Если добрые люди звали к столу похлебать постного борща, она не отказывалась, но сама никогда не напрашивалась. Что же еще? Знали, что она богомолка, — бывая в Чугунове, церковной службы не пропускала. По доброте сердечной бралась ухаживать за безнадежно больными, обмывала покойников, но платы за это не требовала, только что кормилась, ну а если чем одаривали — не отказывалась. Не было у нее, что называется, ни кола ни двора, жила у хозяев из милости. Когда-то нянчила там детей, дети выросли, отселились, сами обзавелись детьми, а Лукьяниха, как кошка, приживалась к месту. К ней и относились, как к кошке, которая ловить мышей больше уже не может, но за прежние заслуги на улицу не выброшена, а доживает свой век в тепле.

Вот такова была Лукьяниха. Может быть, ее следовало назвать паразиткой или, как модно теперь говорить, тунеядкой, потому что в колхозе она никогда не работала, только отиралась меж людьми, но никто о ней так не думал. Да и вообще никто и ничего о ней не думал. Вреда она никому не причиняла, а самое главное — ничего для себя не просила, не добивалась, и потому была личностью совершенно незаметной. При редких встречах в сельмаге или на автобусной остановке замечал ее только дед Харлампий и не упускал случая поглумиться:

— Скрипишь еще, старая? Все покойников отпеваешь?

— Отпевает батюшка, священнослужитель, на которого сан, — кротко отвечала Лукьяниха. — Я, грешная,

только молюсь за них. — Кротость изменяла ей, и она добавляла: — Бог даст, и за тебя еще помолюсь...

— Давай, давай, шишига болотная! Без блата и на том свете худо, так ты похлопочи, пристрой меня где потеплее...

— А тебе место приуготовано, давно по тебе плачет...

— Но? — прищуривался дед. — Какое?

— А ты и сам знаешь, — отвечала Лукьяниха и, крестясь, поспешно отходила, чтобы не поддаться соблазну, не впасть в грех злословия.

— Так ить, милая, — кричал ей вслед Харламний, — мы там в одном котле кипеть будем... Так что ты надейся — иншо повеселимся!

Если рядом был хотя бы один слушатель, дед непременно добавлял:

— Про родимые пятна капитализьма слыхал? Вот она и есть — пятно. Только ходячее.

«Пятно капитализьма» поспешно семенило под горку и скрывалось за поворотом. Злословию Харламния смеялись и тут же забывали о нем: самого деда по возрасту и всем известному чудачеству тоже всерьез не принимали.

В хозяйском саду у Юки было излюбленное место: застеленный рядном ворох веток и травы под вишняком служил Юке убежищем, когда она ссорилась с мамой, хотела без помех почитать или просто полежать, слушая воробьиные перепалки и виолончельное гудение шмелей, пикирующих на цветы. Однажды к этим звукам примешались новые, прежде не слыханные. Через дыру в ветхом плетне Юка заглянула в соседний сад.

Под небольшим навесом у тыльной стороны сарая, поджав под себя ноги, сидела чистенькая старушка в черном. Перед ней на вертикально поставленной оси от тележки был укреплен гладкий деревянный круг с комом глины посредине. Одной рукой старушка вращала круг, а пальцы другой быстро и ловко превращали комок глины в маленькую мисочку. Юку охватил восторг — она никогда не видела ничего подобного. Окунув пальцы в котелок с водой, старушка окончательно пригладила мисочку, ножом подрезала ее донышко, сняла с круга и поставила в сторонку на дощечку, где уже сохли три такие же мисочки. Юка вскочила.

— Бабушка, можно мне к вам? Я хочу посмотреть...

Старушка оглянулась.

— Можно, можно. Отчего ж нельзя? Калитка там не запертая...

Юка не поняла, при чем тут калитка, и перемахнула через плетень. Присев на корточки, она с восторгом наблюдала, как бесформенный, вязкий шлепок глины уплотняется, становится округлым и гладким, как под пальцами появляется в нем углубление, приподнимаются стенки, делаются все тоньше, глаже и чище и как, наконец, срезанная с круга мисочка становится в рядок с ранее сделанными. Это было похоже на чудо.

Зарождением цивилизации человечество бесспорно обязано женщинам. Мужчина, сильный и ловкий, охотился, убивал зверей. Однако охотничье счастье переменчиво: сегодня все объедались до изнеможения, потом много дней подряд приходилось голодать. Здоровые и сильные зрелые выживали, старики и дети умирали. Чтобы подкармливать детей во время голода, женщины собирали орехи, плоды и, разумеется, прятали их. А куда прятать? Только зарыть в землю. Спрятанный таким образом плод портился — он прорастал. Наверное, десятки тысяч лет эти запасы прорастали на глазах у человека, пока он понял, что закапывается горсть семян, а вырастает пять... Додумалась до этого женщина — ей нужно было прокормить детей, и она не могла полагаться на неверное счастье мужа-охотника. Она придумала и первый мельничный постав — два камня, между которыми раздавливались, перетирались зерна, тогда ребенку легче было их есть. Мясо убитого животного сохранить нельзя, но можно сохранить его живым — животное не убивать, а держать на привязи и даже кормить, чтобы оно жило дольше. Так появились прирученные козы и коровьи предки. А кто же, кроме матери, когда у нее от голода пропало молоко, мог додуматься и поднести своего умирающего ребенка к сосцам той же козы или отдаивать ее? И всегда перед женщиной вставал вопрос — куда положить, во что собрать, в чем хранить? Для сыпучих продуктов достаточно было мешков, плетенных из листьев, корня из тонких веток. А если корзину обмазать глиной? Глина намокает, но жидкость не пропускает... Такую корзинку, обмазанную глиной, можно даже поставить в огонь костра. Оплетка сгорала, а уцелевшая глиняная обмазка совершенно меняла свои свойства — она уже не намокала, не раскисала ни от воды, ни от молока, становилась твердой как камень...

Со временем мужчины оттеснили женщин от гончар-

ного дела, приписали его изобретение себе, как, впрочем, и многие другие изобретения и открытия женщин, а изначальный приоритет в гончарном деле проявляется теперь у женщин, быть может, только в том, что и поныне редкая женщина не страдает неутолимой страстью снова и снова покупать посуду...

Домашним хозяйкам угодить трудно: одной нужна мисочка и именно вот такая, а не эдакая, второй — крышечка для горшка, третьей — такая чашечка для мальца, чтобы не разбивалась, а если разобьется, так чтобы не очень было жалко...

Вот этим капризным вкусам чугуновских домохозяек Лукьяниха и потрафляла. Настоящей посуды — горшков, мисок, крынок — она не делала, поливы не знала. Но неказистые муравленые изделия ее — крышечки, мисочки, чашечки — хотя и были шершавы и неравномерно обожжены, зато звонки, прочны и дешевы. Хозяйки охотно их раскупали, поддерживая бюджет Лукьянихи на таком уровне, чтобы и в случае неурожая лесной ягоды каждодневная тюрька была обеспечена. За лето раза три, а то и четыре Семен Верста отвозил в Чугуново две ручные корзинки с изделиями Лукьянихи, за что из выручки, если боя не было, получал трешку.

На несколько дней Юка впала в восторг. Она по пятам ходила за Лукьянихой к печи для обжига, которой служила пещерка, выкопанная в отвесной стене овражка, натаскала столько хвороста, что его хватило бы на обжиг воза посуды, дома прожужжала всем уши рассказами о чудной старушке, какая она бедная и одинокая, и хотя ей за восемьдесят, она еще бодрая, работает и сама себя содержит. Узнав, что вместо чая Лукьяниха пьет заварку из сушеных земляничных листиков, принесла ей чаю, сахару, и если бы мама носила платья подлиннее, ей наверняка пришлось бы с несколькими распроститься. Лукьяниха все принимала с благодарностью, ласково привечала Юку и называла ее доченькой, хотя по возрасту вернее было бы называть правнучкой. Они разговаривали о разных разностях, и только рассказывать о своей молодости Лукьяниха мягко, но непреклонно отказывалась.

— Было да прошло и быльем поросло... Что ж и ворошить, душу теребить?.. Я уж и забыла все, ровно ничего и не было. То ли в сон, то ли в явь... Все это пустое, доченька. Живу изо дня в день — вот и вся недолга...

Уклончивость старухи только распаляла Юкино воображение, и у нее все больше крепло убеждение, что

над прошлым Лукьянихи распростерла свои невидимые крылья какая-то тайна. И вдруг трепет этих крыльев послышался ясно и отчетливо.

Однажды к Лукьянихе пришла женщина с узелком в руках. Преждевременно постаревшее лицо ее было изможденно, губы поджаты в горестной гримасе.

— К тебе, Лукьяниха, к тебе, милая, — полупричитая, заговорила она и кончиком платка привычно вытерла глаза и под носом. — Больше пособить некому, просить некого, — Она опустила голову и заплакала.

— Иди, доченька, погуляй, — сказала Лукьяниха. — Тут дела бабьи, тебе неинтересные...

Юка ушла. Увы, стыдя и коря себя, она ушла, чтобы тотчас вернуться. Только уходила она открыто, во весь рост, а обратно поспешно проползла на животе под плетнем и припала к дырке в плетне.

Сказать, что Митьку Кавенного в Ганьшах не любили, значило бы сильно упростить дело. У одних, как у деда Карзанина, он вызывал презрение, у других — страх, кому-то был безразличен, а кто-то негодовал и удивлялся, как земля таких носит. К нему относились по-разному, но в финале его подвигов все отнеслись одинаково — вздохнули с облегчением, повторяя подходящие к случаю пословицы: по делам вору и мука, повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить... И только единственный человек в селе, да и на всем белом свете, продолжал его любить, боялся и страдал за него, пытался ему помочь и спасти — его мать. Каков он, она знала не хуже других, а может, и лучше, но он по-прежнему оставался ее сыном, первеньким, единственным светом в окошке, единственной и так нужной опорой в жизни, единственной защитой и надеждой. Горько оплакивая его и свою разнесчастную судьбу, Чеботариха металась — она искала путей, ходов и способов помочь ему, выручить, вызволить, спасти... Все ее попытки заканчивались ничем, и она пришла к Лукьянихе. Та слушала ее жалобы, причитания, сочувственно поддакивала и вздыхала.

— Вот так и бьюся, — закончила Чеботариха. — Ни-кто и слушать не хочет — сиди, говорят, бабка, и жди; все будет в свое время и по закону. Ну, на поблажку не надейся, навряд чтобы.

— Да ить это дело такое... — неопределенно отозвалась Лукьяниха.

— Вот потому я к тебе и пришла. Больше просить некого, надеяться не на что...

— А что я могу — старуха никчемная? Разве меня кто послушает?

— Не тебя — силу твою послушают...

— Да ты что, милая! Чего плетешь-то? Перекрестись да подумай — какие такие у меня силы? Чего я такого делала али сделала?

— Ну как же! — сказала Чеботариха. — А Гришку Опанасенко кто вылечил? А Катьку Гаеву кто? Ну, потом-то она померла, а сначала-то ей полегчало!..

— Да когда это было? С тех пор у меня и из головы-то все выдуло...

— Ты не думай! — спохватилась Чеботариха. — Я не задаром! Вот... — Она суетливо развязала узелок, — вот яичек тебе трошки принесла. Мало — так ведь больше где взять? Четверо ртов — их напихать надо... И вот. — Она расправила зажатую в кулаке зеленую бумажку, положила сверху. — Не взыщи — сколько есть. Рубли-то, они с неба не падают...

— Ох, не падают, — покивала Лукьяниха, покосившись на дары.

— Я и еще, коли что... Огородинки принесу — картофельки там, капусточки... Только ты уж пожалей меня, не отказывай.

— Да ведь кабы он болел, лихорадкой, к примеру, как Григорий... Есть молитва и от Трясовицы, и от Медни, и от Коркуши, и от Коркодии, и от Желтодии... От всех двенадцати скопом и от каждой на особицу. А от суда нету.

— Да ты поищи, подумай, может, какая отыщется.

— Да ведь суд-то безбожный! На него молитва не подействует. Не молитвы, ума твоему Митьке поболе бы надобно.

— Где ж его взять, коли нету? — снова заплакала Чеботариха. — Может, все-таки попробуешь?

— А как не поможет?

— Там уж как бог даст... Только ты уж постарайся, чтобы помогло.

— Не знаю... Есть одна молитва от урока.

— Это от чего же?

— Ну, от сглазу, что ли, от порчи... а ведь суд — не порча, никто его там не не сглазит.

— Ну все одно прочитай, какая ни на есть... все лучше, чем никакой.

— Надо бы какую вешшичку евонную, что ли...

— А я припасла, припасла, — засуетилась Чеботариха

достала из узелка вспухшую от грязи, засаленную кепку Митьки.

Лукьяниха взяла ее обеими руками, как полную тарелку чьей-нибудь милостыни, зашевелила губами, не то вспоминая, не то примериваясь, сколько могла выпрямилась и вдруг заговорила не своим обычным, а совсем другим голосом — и нараспев:

— Встану я, раба божия, не благословясь, пойду, не перекрестясь, на дверей не в двери, из ворот не в ворота, сквозь дыру огородную. Выйду я не в чистое поле, в сторону не в подвосточную, не в подзакатную. Подымаются ветры-вихори со всех четырех сторон, от востока до запада, сдымают и сдувают с крутых гор белы снежки, сдымают и сдувают с вшивого добытка уроки, озепы, призоры, злые-лихие приговоры. Подите же вы, уроки, озепы, призоры, злые-лихие приговоры, понеситесь во лузя-болота, где скотинке привольно, народу невходно, там вам жить добро, спать тепло. Замыкаю свои слова замком, кроме ключи под бел горюч камень алатырь; а как к замкам ключи крепки, так слова мои метки. Будь моя молитва крепка и дивка, хитрее хитрово хитрова и щучьего зуба. Аминь.

Плечи Лукьяниха опустились, она снова сгорбилась и начала вытирать кончиком головного платка простуженный нос. Чеботариха, некоторое время еще вслушивалась в отзвучавший заговор, кивала в такт головой, потом сказала:

— Вот истинно: злые-лихие приговоры... Ох, злые! Ох, лихие... — Она помолчала и осторожно сказала: — А не коротка молитва-то? А, Лукьянна?

— Да что ты, мать? Чай, не на базаре, молитвы аршином не меряют...

— Да ты не сердись на меня, бабу глупую!.. Я ведь от горя, от мученья своего... Может, сыщется какая позабористее? А я уж не постою...

Она достала из-за пазухи такую же пропотевшую зеленую бумажку, расправила и положила на первую.

Лукьяниха взяла кепку и снова заговорила-запричитала:

— По имя отца и сына и святаго духа. Аминь. Встанет раб божий Дмитрий, благословясь, пойдет, перекрестись, из избы дверьми, из двора воротами, пойдет в чисто поле, облаком оболочится, утренней зарей подпояшется, частыми звездами затычется от призоров, от приносов, от урочливого человека, от прикосливого чело-

века, от черного, от белоглаза, от черноплота, от белоплота, от одножена, от двоежена, от однозуба, от двоезуба, и от троезуба, и от колдуна, и от колдуньи, от ведуна и от ведуньи, и от всякия змия лихих, и от своей жены, и от чужих, и от всякого рожденного: от сутулого и от горбатого, наперед покляпаго, от старца, от старицы, от чернеца, от чернечихи, и от попа, и от дьякона, и от пономаря, и от всякого крылоса, и от девки-простоволоски, и от бабы-белоголовки, от всякого на дороге стречного, постигающего, засмотряющего, завидяющего. Всякому рожоному человеку божии твари не узнать; облака не открыть, не отпереть; частых звезд не оббивать и не ощипати; утряны зори топором не пересекчи; млада месяца не ототкнуть, не отпереть — так и его, раба божия Димитрия, никому не испортить, не изурочить, век по веку, отныне и до веку. Злому и лихому порченику, урочнику, всякому рожоному человеку — соли в глаз, железна спица в гузно, дресвяной камень в зубы. Которые слова забытущие, обыдущие, будьте мои слова все сполна переговорены, по всяк день, по всяк час, безотпяточно, безоглядочно, век по веку, отныне и до веку. Небо — ключ, земля — замок. Аминь!

— Ну вот — все, боле ничего не знаю, — уже своим обычным голосом сказала Лукьяниха.

— Спасибо тебе, милая, вот уж какое спасибо! — сказала Чеботариха. — Эта вроде как поспособнее, поскладнее... Дай-то бог, чтобы помогла! Дай-то бог!..

Она помолчала, нерешительно потопталась и осторожно спросила:

— А может, еще какая есть?.. Бог — богом, молитва — молитвой, а может, еще и это самое... — Она показала глазами на землю и тут же испуганно перекрестилась.

— Да ты что? Ты что, ополоумела, баба? — замахала руками Лукьяниха. — Да как у тебя язык-то повернулся? Да разве я этим занимаюсь? На вот тебе твои деньги, и уходи с глаз долой!.. Ишь чего придумала! Не нужно мне от тебя ничего, уходи только с богом... Ишши кого другого, кто с нечистой силой водится, а ко мне и не приходи... Эка придумала дура-баба, прости, господи, меня, грешную...

Чеботариха посмотрела на трешки, которые сунула ей Лукьяниха, поколебалась, потом решила, что, чего доброго, и этот заговор потеряет силу, если деньги взять обратно, и положила их опять на узелок с яйцами.

— Да ты не сердись... Разве я со зла или от балов-

ства? От горя своего горького... Не сердись, Лукьянна!

— Иди, иди с богом, — не глядя на нее, ответила Лукьяниха.

Митькина мать ушла. Лукьяниха перекрестилась и, что-то шепча про себя, спрятала деньги, взяла узелок с яйцами и пошла к дому. Широко распахнув глаза, потрясенная Юка смотрела ей вслед.

О дьявольских, демонических силах Юка знала немного. Ну, во-первых, у Лермонтова: «Печальный Демон, дух изгнанья, летал над грешною землей...» Совсем не страшно и даже жалко — такой он красивый и непризнанный... Потом Мефистофель в «Фаусте». Самое лучшее, конечно, куплеты — «люди гибнут за металл, сатана там правит бал», серенада уже так себе. А «Вальпургиева ночь» — просто балет. Даже не очень интересный... Ну, еще у Гоголя. В «Ночи перед рождеством». Там такой смешной и глупый черт. В «Вие» — панночка-ведьма и какой-то непонятный сам Вий. А в «Страшной мести» колдун действительно жуткий. У Юки мурашки по спине бегали, когда она читала... Вот, в сущности, и все. Ну конечно, она читала сказки о джиннах, добрых и злых волшебниках, о магах и всяких таинственных силах. И Юка верила всему. Но это было давно, осталось в детстве. А теперь она очень хорошо знала, что вера в колдунов, знахарей, ворожбу — ужасная отсталость и суеверие. Никаких тайных сил не существует, есть природа, которая подчиняется не тайным силам, а своим законам, и человеку нужно только узнать эти законы, чтобы подчинить себе природу. Он узнает и подчиняет. А в чудеса верят только отсталые, необразованные люди. Это, как религия, тоже опиум. Об этом можно прочитать в книжках, спросить папу — он историк и прекрасно объяснит, как уже не раз объяснял. И все-таки...

И все-таки у Юки, умной и начитанной девочки, за всеми этими рассуждениями таилась где-то сумасшедшая, бредовая надежда — а вдруг?.. Конечно, теперь конец двадцатого века, кибернетика, полеты в космос и все такое. Но вот ведь — живет рядом старушка, которая знает заклинания и кого-то ими вылечила. Может, она обыкновенная темная старушка, верит бредням или даже не верит, а просто околпачивает других, чтобы выманить деньги. А если нет? Например, телепатия — передача мыслей на расстояние. Юка сама читала, что американцы пробовали ее применять даже в военном деле — передавать на подводную лодку приказы. Не по радио, а просто

так — один человек на борту подумал, а другой на подводной лодке сейчас же подумал то же самое... Правда, там, кажется, не очень получилось у них... Но все-таки!.. А люди, которые пальцами видят, различают цвет, буквы? Не глазами, а пальцами!.. А гипноз? А йоги, которые могут не есть, не пить и даже не дышать... А научно установленный факт, что все растения, деревья и даже цветы способны чувствовать, запоминать, и получается, что они не менее живые, чем животные, только что не могут двигаться...

Тут Юку занесло в такие фантастические сферы, где все окончательно перепуталось — тайны египетских пирамид, исчезнувшие сокровища Монтесумы, Летучий Голландец, проклятье Тутанхамона, три карты из «Пиковой дамы», летающие тарелки и прочие дива и чудеса, о каких она слышала или читала.

Стоит ли после этого удивляться, что к сообщению Сашка Юка отнеслась без всякого интереса. Сашко пробрался к ней в тайник, где Юка лежала на животе и, подперев подбородок кулаками, думала. Сашко присел на корточки, полистал отброшенную книжку и сказал:

— Чудно!

Юка перевела на него взгляд.

— Плачет, — пояснил Сашко.

— Кто плачет?

— Да тот американец. Я по тропке шел мимо камня, где — помнишь? — Антон с Боем прятались. А он на том камне сидит. Я думал, рыбу ловит, так спиннинг под камнем валяется, а он просто так себе сидит, ничего не делает, только на речку смотрит. А по щекам слезы текут.

— Ну так что? — сказала Юка.

Сашко пожал плечами.

— Да нет, ничего... Только я никогда не видел, чтобы такой здоровый дядько просто так сидел и плакал.

— Наверно, пьяный. Пьяные часто плачут. Почему-то им становится себя жалко, и они начинают плакать.

— Не! — решительно сказал Сашко. — Было б заметно. Шо я, пьяных не видел?

— Ну, тогда, может, по дому, по родным соскучился?

— Может, — подумав, согласился Сашко. — Купаться пойдем?

Юка отрицательно повела головой. Она смотрела в спину уходящему Сашку и колебалась: рассказывать или не рассказывать? И твердо решила: нет! Никому нельзя рассказывать. Ни Сашку, ни Толе — начнет умничать,

ни папе — будет смеяться... Какая тайна допустит, чтобы в нее вламывались целой оравой? Она и одному-то может не открыться, а уж целой толпе сразу — смешно даже думать... Про себя Юка решила: все это, конечно, предрассудки, суеверие и так далее, надо верить науке, а не сказкам темных людей, однако наука — наукой, но она ни себе никогда в жизни не простит, если, встретившись с живой знахаркой, может, даже ведьмой, не выяснит все до конца, не проверит и не докопается. А вдруг...

С маминого разрешения Юка взяла пачку чая, сахар, немного печенья и перед вечером пошла к соседке. Лукьяниха, как всегда, ласково встретила ее, захлопотала, чтобы отблагодарить гостью и самой побаловаться чайком.

— Ах, кабы знать-то, — приговаривала она, — я бы загодя в Семигорье сходила, ключевой водички припасла...

— А какая разница? Вода и вода.

— Вот-вот! Все так-то... Всё спешат, спешат, неведомо куда, неведомо зачем. Что из колодца, что из болотца — налил живот, и ладно... А раньше жили осмотрительней. Ну, в деревнях чаю не пили — дорого, да и толку в нем не понимали. А вот в обители Семигорской...

— Какая еще обитель?

— Ну как же! Ты небось у Сокола-то бегала, в Семигорье на горушке церковь видала? Раньше там не только церковь — целая обитель была, монастырь. Это уж после революции иноков разогнали, обитель разорили, одна только церковь осталась... Такого духовитого чая, как в той обители, нигде не было. А почему? Иноки ни из реки, ни из колодца воды не брали. За Семигорьем в лесочке ключик из земли бил. Невеличкий такой ключик, тоненький, только уж вода в нем — слаще да чище не найти. Иноки следили за ключиком, оберегали его. И уж на чай только оттуда воду и брали. На господский двор тоже возили.

— Господский?

— А вон над речкой. Сейчас-то пепелище, голые стены, а какие хоромы были!.. Да что здесь! Говорили, будто воду из того ключика самому архиерею возили...

— А сейчас?

— Что ж сейчас? Забросили, засорили. Воде выходу нету, и стоит там болотиной...

Юка слушала вполуха, все собираясь и никак не решаясь задать вопрос, ради которого пришла.

— Бабушка, — сказала она наконец, — можно,

я спрошу? Только вы, пожалуйста, не сердитесь и не обижайтесь... Ну, как это сказать? Вы — ведьма, да?

Лукьяниха упустила алюминиевую ложку, всплеснула руками.

— Господи! Да как... Да что ты выдумала, Христос с тобой?! Как у тебя язык-то повернулся?

— Ой, я не так... Простите, бабушка! Я не то хотела сказать... Ну как это? Знахарка, да? Или — ворожея?

— И не знахарка я, и не ворожея! Постыдилась бы такую пакость на старуху наговаривать! Грех тебе! Совестно обижать меня!

Лукьяниха заплакала, и у Юки тоже защипало глаза. Ей было мучительно стыдно — она же всегда стояла за справедливость, а тут вот взяла и ни за что ни про что обидела несчастную старушку...

Юка вытирала глаза и шмыгала носом, пыталась объяснить, что она совсем не нарочно, не со зла и вовсе не хотела обидеть... Просто она слышала вчера, когда приходила эта женщина, как просила помочь Митьке Казенному и как Лукьяновна читала заклинания.

— Типун тебе на язык! Каки это заклинания? То молитвы, дурочка. Молитвы!.. Еще бабка моя, царство ей небесное, когда люди приходили за помочью, так-то молилась. Я у нее и переняла. Только уж давно все, почитай, перезабыла... А ты вон куда! Знахарство — грех смертный! Знахарям-то разве бог помогает? Разве они богу служат?.. Сатане они служат!.. Господи, помилуй меня, грешную!..

Старуха еще долго вытирала слезы, крестилась, поминала бога и святых угодников, но, в конце концов, смягчилась. Сладкий чай помог окончательному примирению, настроение Лукьянихи стало даже благодушным, и она сама вернулась к роковой теме.

— Знахарь! Знахарь ведь это человек, который тайное знает, другим неведомое...

— А какие они? Вы хоть одного видели? — снова загорелась Юка.

— Ох, видела, помилуй мя, господи! Я об том сколько годов и вспоминать боялась... Теперь-то уж, должно, ничего. Должно, успокоилась душа его грешная, — перекрестилась старуха.

— Чья?

— Старого барина, упокой, господь, его душу!

— А кто он был?

— Я ж говорю — барин. Большой дом над речкой

построил молодой барин на моей памяти, уже после смерти старого. Ну, комнаты, где старик жил, рушить он не посмел. А так построил, что они в новый вросли. Так и стояли — никто в них не жил и не заходил никогда.

— Заколоченные?

— Почто заколачивать? Страх пуще гвоздей держит. Там портрет висел. На него глянуть, и то со страху помереть можно было. Сейчас про то никто не помнит. Да и кому помнить? Перемерли все тогдашние люди, одна я зажилась... А в свое время — гроза на всю округу.

— Что ж он, бил всех?

— Бить не бил. Нет, не бил. Страх к нему был, прямо ужас какой. Взгляд у него такой дикой да страшный, как глянет — девки да бабы прямо обмирали... Сила в нем такая была.

— Значит, он был колдун?

— Не знаю, милая, колдун ли, знахарь ли... Знахари, они ведь как? Перед смертью всю свою силу, всю бесовскую науку должны обязательно кому другому передать. Как не передаст — нет ему покоя на том свете, он то и дело на этот шастает, ищет, на кого заклятье свалить... Так у них в роду и было. Ну, а сейчас, поди, заклятье-то уж кончилось... Они ж проклятые были, Ганыки, весь род проклят до седьмого колена. Годов тому двести, а то и боле, как здесь первый Ганыка объявился. Пришел он то ли из Питера, то ли еще откуда и был, кажись, из офицеров, вот и сделал дом как крепость, мужиков научил стрелять из ружей...

— Он их, наверно, ужасно эксплуатировал, крепостных? Да?

— Там уж я не знаю... А чего хотел, то и творил, кругом леса да болота — глушь, дичь, ни пройти ни проехать. И сидел он так много годов, ровно от мира хоронился: ни сам никуда, ни к нему никто... Может, он от того в уме повредился, а может — господи прости! — с нечистым стакнулся... Стал прямо зверь лютый. Потом куда-то уезжал, привез молодую жену. Сынок у них народился, а он все лютует, все лютует... И вот однова обидел он девушку: забрал к себе в дворню, чтобы при нем состояла. А был у нее суженый, с малых лет дружок сердечный — только тогда кто про это спрашивал? Суженого на конюшню, а ее — на барский двор. И вот в ту же ночь, когда барин уснул, несчастная девушка выбежала из ненавистного дома, пала на колени и взмолилась господу богу. Три раза на коленях обошла она вокруг барского дома, про-

кляла весь род Ганык страшным проклятьем, а потом бросилась в реку и утонула. Тогда Сокол был не то что нынешний — глубокий, быстрый... И враз тут надвинулась гроза и буря, ударила молонья в господский дом, и занялся он сразу с четырех сторон. Барыню с ребеночком люди добрые спасли, а сам барин сгорел. Заживо... Вот с тех пор и нависло над Ганыками заклятье. То один, то другой в роду трогался умом, становился как бешеный зверь. Это дух того дикого барина, что сгорел, переходил в другого, пока тот тоже не помирал мучительной смертью, только и после нее не знал покою. Так и перевелся весь злосчастный род, никого и не осталось...

— А вы Старого барина хорошо знали?

— Ну как хорошо? Я была у молодых в услуженни, у старика свой камардин был. Ну, не без того, что и меня иной раз за чем посылали. Вот уж, бывало, страху натерпишься! В кабинете портрет его отца висел. Как с него самого писанный. Прямо вылитый портрет — как есть в натуру, только что до половины. Глаза под бровищами огнем горят, и весь он напруженный — вот-вот из рамы выпрыгнет и на тебя кинется. А под этим портретом он сам завсегда в кресле сидел. Вставать уже не мог — ноги у него отнялись. А глаза — вот сверлит тебя насквозь, да и только. Войдешь — не знаешь, кого больше бояться: этого, полуживого, али того, мертвого... И помирал страшно. Ночью гроза приключилась — я такой страсти никогда больше и не видела. Темно стало — зги не видать, ни неба, ни земли, ни леса. А потом как молонья хлобыстнет, как загремит, как ветер завоет... Ну, прямо конец света — небо рушится, земля проваливается. А молоньи хлещут, а молоньи хлещут... И уж гремит! Криком кричи — ничего не слыхать... А вот его звонок услыхали. Кинулись туда, а там, батюшки!.. Стекла все выбиты, шторы, гардины разные ветер напрочь рвет, а все бумаги, что на столе были или еще где, так по комнате и летают, так и летают. А сам глаза выпучил, что-то сказать силится и не может... А потом — царица небесная! — все аж попятились! Встал и пошел... Это параликом-то разбитый! Два шага сделал и грянул об пол... Перенесли его на кровать, всю ночь он метался, маялся, а к утру затих — помер. Тут и гроза кончилась. Что бурелому в лесу было, что крыш в деревне посрывало... Это ведь когда было, а я и сейчас все помню, будто вчера...

— И неужели, — сказала Юка, — неужели никакого

средства от этих колдунов не было? Чтобы они из могил не выходили. Вот у Гоголя, например...

— Средство есть, как не быть... Надо выкопать его из могилы, перевернуть лицом вниз, подрезать пятки и вбить между лопатками осиновый кол... Вот тогда уж он не встанет, вся его сила пропадет. Да сделать-то это может только праведник. А где их взять, праведников?.. Да что это мы на ночь глядя про такие страсти. Еще, чего доброго, спать не сможешь. Беги-ка ты, милая, домой... А про все эти страхи и не думай. Ничего от них не осталось, и слава те господи!

Юке всегда хотелось узнать какую-нибудь тайну, и чтобы она была пострашнее. Но о такой жгучей тайне она даже не мечтала. Здесь было все: и скрывающийся в глуши офицер (может, даже гвардейский?), и роковая несчастная любовь, и утопленница, и страшное проклятье, и колдуны, которые встают из гроба, и вырождение до полной гибели проклятого рода...

Юка притихла, широко распахнутые глаза ее силились заглянуть в такую недоступную окружающим даль, что мама встревожилась и спросила, здорова ли она и, может быть, ляжет спать не в сараюшке с Галкой, а дома, в постели? Юка решительно отказалась — это помешало бы ей исполнить задуманное, то есть первым делом встать как можно раньше, когда все еще спят, и побежать к развалинам ганыкинского дома. До сих пор они ее совершенно не интересовали, но теперь она решила прежде всего как следует осмотреть обгорелую коробку, а потом...

Вопреки предположениям Лукьянихи, Юку не только не мучила бессонница, но она даже не успела додумать, что будет «потом», и провалилась в такой крепкий сон, что не услышала, как встала ужасная соня Галка, и спала до тех пор, пока ее не разбудила к завтраку мама.

Зато сама Лукьяниха не сомкнула глаз. Она давно отвыкла вспоминать свою молодость. Та была так давно, что казалось, ее как бы вовсе и не было, а только пригрезилась она в далеком смутном сне. Был сон и растаял, ушел навсегда, и не к чему сирой, убогой старухе теребить себе душу воспоминаниями. Ей даже казалось, что она действительно все перезабыла — ведь вот то и дело забывалось сделанное или сказанное вчера или неделю назад. Лукьяниха не имела никакого понятия о психологии и, уж конечно, о французском психологе Рибо, известном своим законом памяти, который так и называется законом Рибо: «Ранее усвоенное дольше остается в па-

мяти, чем усвоенное недавно». Но стоило только прикоснуться к прошлому, казалось, навсегда забытому, как закон Рибо заработал со всей своей непререкаемой силой.

Вспомнилась ей совсем в другой, будто чужой жизни голенастая, нескладная девчушка, привезенная из Олонца в Питер, Петербург, чтобы к землячке-кухарке пристроить в судомойки. Палат каменных не наживет, а сыта будет, и дома одним ртом поменеет. Поначалу Таиска боялась за порог ступить, потом обвыкла, осмелела, открыв от изумления рот, глазела на невиданные хоромы, каменных, железных мужиков и баб, которые то в чудных одежках, а то и вовсе без всякой одевки, телешом, расставлены на улицах и в садах. Появись у них такое в погосте, под свист и улюлюканье разбили бы все вдребезги. А тут все идут мимо, и хоть бы что, даже не смотрят. Таиска поначалу краснела и отворачивалась, потом приобыкла и решила, что если срам каменный или железный, то не считается, как бы его и вовсе нету.

Отъелась, подросла Таиска, стала попригляднее и была замечена барыней. За ловкость и резвость забрали ее из кухни в комнаты, под строгим приглядом экономки готовили в горничные. После олонецкой пашни, на которой больше камней, чем земли, здесь была не работа, а сплошной роздых — держи себя в аккурате да верти хвостом, по первому зову беги, как собачушка на посвист, — вот и вся премудрость.

Жить бы да жить, только барские дела пришли в упадок, прислугу отпустили. Вот тогда и попала Таиска к молодому Ганыке. Он только что женился и принялся протирать глазки жениному приданому. И ребятенок уже появился, а они все в театры да рестораны, в рестораны да театры. Только веселье было короткое — Старого барина в Ганышах хватил удар. И увезли Таиску в Ганыши... Спервоначалу-то вот как дико показалось: будто в родном олонецком погосте — глушь, лес да камень... За каждой малостью — в губернский город, а то и в Киев. Обвыкла, прижилась.

После смерти Старого барина хозяйка увезла сына в Петербург, в гимназию. Хозяин остался — дом перестраивать. Получился он несуразно огромный, путано построенный и чем-то похожий на самого хозяина. В нем полно было каких-то приживалов, служащих, которые не служили, а только жрали на дармовщину да крали. Все шло вкруговерть, без всякого толку и разбору. И сам Ганыка, какой-то непутевый, заполошный, все время выдумывал то одно, то другое, чтобы поддержать хозяйство, а толку было чуть, никакого толку. И не то чтобы вертопрах был, а так, незадачливый.

Ну, Таиске и горя было мало. Хозяин ее к себе приблизил, сделал экономкой, и теперь ее все величали Таисьей Лукьяновной... Жила в свое удовольствие, полной хозяйкой. Уж что было пито-едено, пето-плясано. Эх, молодо-зелено, дуром зерно мелено!.. Нет бы оглянуться на других и самой про будущее, про черный день подумать. На всю жизнь могла себя обеспечить, горюшка не знать. Дура была; живу, мол, барыней, так неуж у самой себя воровать? Барыня так больше и не приехала. Несколько раз летом приезжал сын — на каникулы. Неказист был сынок и, видно, не жилец: бледный, большеротый, насупленный. Ну, он ей был не помеха — колесом жизнь катилась. Одна только и досада была — Старый барин. Сколько раз уговаривала хозяина снять страхолюдный портрет и прибрать куда в чуланчик или хотя бы завесить. Только, видно, барин и сам его боялся — трогать не велел... Отзвенели колокольчиками веселые годочки. Война и та не шибко помешала — война была далеко, а тут все утехи рядом.

А потом враз все оборвалось. Дождливой холодной ночью заявился вдруг сынок. Подрос, а все такой же гадючий, смотрит исподлобья, весь в прыщах. Что они там говорили — неизвестно, только на другой день лошадей запрягли и на станцию — в Екатеринослав ехать. Таиске наказ: прислугу рассчитать, добро беречь. При первой возможности возвернутся... Только она их и видела...

Денег для расчета никаких не было, прислуга сама разбежалась, прихватывая вместо жалованья что глянется. Пробовала Таиска придержать, постращать — самое чуть не пристукнули. Осталась она во всех хоромах одна. Но выдержала недолго. По ночам и глаз не могла сомкнуть: запрется в боковушке, дверь сундуком заставит и трясьмя трясется. В доме, как в пустой бочке, все гудит и гремит — двери хлопают, стекла звенят, под тяжелыми шагами половицы стонут — то ли воры хозяйничают, то ли Старый барин свое имущество сторожит...

Бросила Таиска выморочный дом и сбежала в Семигорье, поближе к обители. Игумен ее знал и привечал, когда бывал в Ганышах. Барский дом ночь от ночи ого-

лялся. Дом был обречен, и когда в нем осталось только то, что без риска для жизни утащить было нельзя, он занялся и выгорел дотла...

Вскорости и обитель закрыли, разбрелись иноки кто куда. Сорвалась с места и Таисья... И понесло ее по горькой дорожке — где только не была, чего не испытала, не навидалась!.. Мыкалась, мыкалась бездомовница и вернулась обратно. Здесь никто не ждал, никто не приветил. Кое-кто косился. Живы были еще те, что все знали и помнили, — и про ее развеселую жизнь в помещичьем дому, и про то, как истаяло, расплылось по деревням ганькинское имущество, а с дымом пожара́ улетели все следы... Вот и пошла жизнь из кулька в рогожку. Из Таиски, потом Таисьи Лукьяновны стала Лукьяниха, человечий отопок...

Растревожили, разбередили душу воспоминания, сон так и не пришел. Лукьяниха подождала, пока солнце подберет самую обильную росу, взяла лукошко и засеменила на правый берег. После недавнего дождика могли уже появиться лисички.

Идя через мост, она то и дело поглядывала на каменную коробку ганькинского дома, стоящую на пригорке. Сколько годов не подходила, не заглядывала туда? Должно, без малого пятьдесят... Да и на что там глядеть? На развалины куцего счастья своего?

Лисички действительно появились. Совсем еще молоденькие, тугие. Набрав полное лукошко — не только себе, а и хозяйке на гостинчик, — она пошла обратно и не удержалась: перед мостиком свернула вправо, к пепелищу. Отчего ж не поглядеть разок? Лучшие годки пролетели тут, как ласточки... И сама, бывало, на эту горушку взлетала, будто ласточка, а теперь вот каждый шаг все тяжеле. Опустив голову к земле, она медленно поднималась по косогору и повторяла про себя вчерашнюю фразу: ох, пито-едено, пето-плясано... Остановившись, чтобы перевести дух, она подняла голову и обмерла — в оконном проеме стоял Старый барин и своим пронзающим взглядом смотрел на нее.

Лукьяниха зажмурилась и перекрестилась: «Да воскреснет бог и расточатся врази его...»

Старый барин не исчез. Весь напружиненный, он опирался о подоконник и, казалось, вот-вот выпрыгнет, чтобы броситься на нее... Старуха упустила лукошко, рассыпая

грибы, оно покатилось под гору, и следом за ним, взмахивая руками и как-то боком, будто подшибленная птица, припрыгивая и причитая, из последних сил заковыляла Лукьяниха.

В это время, крутя на пальце авоську, Юка подошла к сельмагу, стоящему у дороги, — мама послала ее за солью. Каких-то десять-пятнадцать минут разницы не составят, и можно сбегать к развалинам посмотреть. Ну, пока только так, предварительно... И тут она увидела, как, нелепо взмахивая руками, Лукьяниха ковыляет от развалин к мосту. Юка побежала навстречу.

— Бабушка, что случилось? — еще издали закричала она.

На старухе не было лица. Добежав до моста, она ухватилась за перила и начала креститься, что-то бормоча.

— Что случилось? Что с вами, бабушка?

Лукьяниха наконец узнала ее и забормотала:

— Вот — грех!.. Вот — бог наказал!.. Не надо было поминать, не надо было рассказывать... Грех! Смертный грех!

— Да что? Что такое?

— Он! — сказала старуха, крестясь. — Не иначе как по мою душу пришел, окаянный...

— Да кто? Кто пришел?

— Старый барин! — прошептала старуха. — Осподи, спаси и помилуй!

Юка распахнула глаза и бегом бросилась к развалинам. Она обежала вокруг коробки, заглядывая в оконные проемы, вошла в проем, где когда-то была дверь, заглянула во все закоулки. Там не было никого.

Она собрала бабкины грибы в лукошко и, хмуря брови, медленно пошла на левый берег, к сельмагу.

4

Статистика наша не стоит на месте. Улучшаются ее методы, применяются электронно-счетные машины, и каждые полгода мы убеждаемся, что количество всевозможных тонн, штук, центнеров, условных единиц и процентов растет от сводки к сводке, а уровень 1913 года так далеко уходит в прошлое, что начинает сливаться с мифологией. Однако по сравнению с мировыми стандартами в одной области статистики у нас обнаружился зияющий провал,

и нет никакой надежды на то, что провал этот будет заполнен.

Кто может сказать, сколько у нас ведьм, колдунов и привидений? Увы! Даже графы, даже соответствующей рубрики и в помине нет в сводках ЦСУ. В этой области западный мир не то что опередил нас на голову или корпус, а просто обошел как стоячих.

В ФРГ, например, со свойственной немцам аккуратностью, взяты на учет 60 тысяч ведьм. Правда, динамика ведьмобытия отсутствует, потому нельзя сказать, возрастает их число, чтобы успешнее обслуживать население, или благодаря совершенствованию методов работы на каждую ведьмо-единицу приходится все больше клиентов, и потому число их постепенно сокращается.

А в Англии в различных домовладениях проживает ни много ни мало 25 тысяч привидений. Англичане, как известно, — консерваторы, они крайне неохотно расстаются со своими традициями, не собираются расставаться и с привидениями. Однако жизнь в одном доме с привидениями имеет все-таки некоторые сложности и неудобства. Поэтому жильцы не очень охотно снимают такие дома, а если уж снимают, то требуют, чтобы из-за этих привидений квартирная плата была снижена, что в свою очередь понуждает домовладельцев подавать в суд иски, требующие снижения налогов, поскольку доходы по указанной причине падают. И судьи, посмотрев, скажем, телерепортаж о высадке астронавтов на Луну, возвращаются к скучной прозе жизни: надевают мантии, традиционные нашейные цепи и с пристрастием допытываются у свидетелей: какие именно привидения водятся в данном домовладении, сколько их и какими своими качествами или действиями они причиняют беспокойство жильцам...

А у нас ничего подобного нет. Правда, иногда в рапортах появляются призрачные центнеры, объекты и тонны. Это означает, что на самом деле они не собраны, не построены и недоданы, а в рапортах и сводках фигурируют как собранные, построенные и сданные. Но, во-первых, тут речь идет о вещах, а настоящее привидение — непременно дух, во-вторых, насаждение таких призрачных достижений на деловом языке носит название приписок, очковтирательства и карается «строгачами», снятием с должности и отдачей под суд. Так что тут особенно не разгуляешься, много призраков не разведешь.

С духами, призраками и привидениями нам не повезло.

Наш ассортимент нечистой силы всегда был как нельзя более реальным, плотским. Черта, как у Гоголя, можно было и в мешок затолкать, и верхом на нем ездить; лесовик — опрятный, веселый старичок, в отличие от заросшего шерстью лешего — мрачного неряхи и растрепы; ведьмы, когда они не заняты своими бесовскими мероприятиями, — проворные, оборотистые хозяйки... И колдуны-оборотни, если уж они появляются, так живьем, во плоти, а не в виде там какого-нибудь тумана полунощного, сквозь который пройдешь и не заметишь...

По всяком случае, в этом была совершенно убеждена Лукьяниха. Старый барин, как и положено, появился не где-нибудь, а на пепелище своего дома, там, где много лет назад испустил дух. Призраки с того света зря не приходят. А зачем он мог прийти, если ничего и никого здесь не осталось, никто о нем не знает, кроме нее, Лукьянихи? Стало быть, пришел он к ней, вернее, за ней... Может, наказать за то, что не уберегла, не сохранила барский дом и имущество, впопыхах на нее брошенные, может, настала пора возмездия за грехи Таискиной молодости? А было их немало — грех, как известно, сладок, а человек падок, и падала Таиска усердно... Старый барин — не чета своему дуроватому сыну — хотя и был парализован, а все видел, все понимал, только что ни сказать, ни сделать ничего не мог. Зато теперь никуда не денешься, от него не спрячешься...

Придя к такому заключению, Лукьяниха отдала все грибы хозяйке, а сама, не пивши, не евши, пошла в свою боковушку и пала на колени перед иконой. Молитв она знала множество, перечитав их, перешла на псалмы и молилась до тех пор, пока от бесчисленных земных поклонов спину скрючило — ни согнуть, ни разогнуть. С трудом поднявшись, она достала давно приготовленное «смертное», переоделась, легла на лавку, которая служила ей кроватью, и сложила руки на груди. Хозяйка, не видя старухи, встревожилась, заглянула в боковушку.

— Ты что, Лукьянна, захворала, что ли? Может, тебе принести чего?

— Ничего мне не надо. Я, Семеновна, помирать буду.

— Ну уж, выдумала! — махнула рукой хозяйка. — Ты еще всех нас переживешь. С чего тебе помирать-то?

— Уж я знаю отчего, — твердо сказала Лукьяниха. — Ты иди, Семеновна, иди — у тебя семья, хозяйство. Я тут сама управлюсь.

Хозяйка ушла. Лукьяниха лежала и шептала молит-

вы. Голода она не чувствовала, но стала донимать жажда. Она кротко терпела, но жажда становилась все сильнее, Лукьяниха покричала хозяйке, только та, видно, ушла на огород. Пришлось по воду сходить самой. Она снова легла, снова шептала, однако через какое-то время — мало ли что нужно человеку? — пришлось опять подниматься и выходить. Разгуливать в «смертном» — грех, непорядок. Лукьяниха сняла похоронный свой наряд, аккуратно сложила его и переоделась в свое всегдашнее платье буро-черного цвета. Наступила ночь, хозяева угомонились, затихли. Лукьяниха молилась и ждала, что вот-вот объявится ей Старый барин или сама Костлявая с косой. Но они все не шли и не шли, и ослабевшая от голода, измученная страхом старуха крепко заснула.

Проснулась она на рассвете, и, странным образом, страха перед немедленной смертью у нее как-то поубавилось. За окном загорался яркий день, горланили петухи, мычали отгоняемые к околице коровы. Жизнь не кончилась, значит, надо было жить дальше. Лукьяниха, помолясь, размочила кусок хлеба в воде, пожевала, взяла лукошко и снова пошла по грибы. Только теперь она направилась не на правый берег Сокола, где торчали проклятые руины, а по крутому левому берегу пошла вверх по течению.

— И что же? — иронично спросил Толя. — Ты поверила в появление Старого барина?

— Ой, ну нет, конечно! — нетерпеливо отмахнулась Юка. — Я побежала проверить, нет ли там кого-нибудь, кого бабка могла принять за этого барина. Ведь мог быть вполне обыкновенный человек, а ей показалось — вот и все. А там ну — никогошеньки! Хоть бы овца или коза — и то не было... Почему же ей привиделся этот барин?

— Что ж тут непонятного? — с еле заметным превосходством сказал Толя. — У старухи ожили воспоминания, она рассказала тебе бредни, которых в свое время наслушалась. При ее невысоком культурном уровне она, конечно, все принимала за чистую монету, во все верила. А теперь сработало самовнушение. Какая-нибудь поляризация света, вот ей и померещился Старый барин, поскольку она все время о нем думала, была, так сказать, зафиксирована... Даже среди образованных находятся люди, которым мерещится всякая чушь. А тут какая-то древняя,

выжившая из ума старуха. Ей и не такое может привидеться...

— Никакая она не выжившая!

Юка рассказала обо всем Толе, может быть, потому, что просто не могла удержаться, а может, потому, что надеялась с его помощью что-то выяснить, но, как она и опасалась, Толя начал умничать, показывать, какой он ужасно начитанный и образованный. Это всегда раздражало Юку, и она оборвала разговор. Однако вскоре она убедилась, что Толя был прав.

Увидев Лукьяниху на всегдашнем месте — в тени под навесом возле гончарного круга, Юка немедленно перелезла через плетень. Лукьяниха всегда ласково привечала ее, а тут отнеслась как-то отчужденно, даже неприязненно. Она чистила грибы так, словно никогда этим прежде не занималась или внезапно разучилась. Руки у нее тряслись, она обламывала чуть ли не полшляпки, вкривь и вкось срезала корешки.

— Давайте я вам помогу, бабушка, — предложила Юка.

— Что тут помогать? И собрала-то всего ничего...

— Не нашли грибного места?

— Их и искать не надо. Грибов, как мякины на гумне, да только... — Она, спохватясь, поджала губы и надолго замолчала.

— А вы туда больше не ходили? — осторожно спросила Юка. — К развалинам?

— Почто? Что там делать-то? — рассердилась вдруг Лукьяниха. — Ты про это не думай больше и не спрашивай. Мало ли что мне сдуру да сослепу примстилось... Все это одна глупость и выдумки... Старые люди сказки рассказывали, я тебе наплела, а ты потом смешки над старухой устраиваешь.

— Что вы, бабушка Лукьяновна! Я и не думала смеяться.

— Ну, все одно! Было — не было, сказано — забыто. Ни к чему эти греховные россказни...

— Хорошо, — сказала Юка и поспешила перевести разговор: — А вы когда в Чугуново поедете, можно мне с вами? Я вам корзины нести помогу.

— Ни к чему, милая, ни к чему! — отрезала Лукьяниха. — Кака из тебя помощница? Корзины тяжелые, и мне Бабиченков сынок таскает, у нас давний уговор...

Никакие попытки Юки вернуть прежнюю атмосферу ласкового доброжелательства не помогли. Старуха то ли

устала, то ли была нездорова, руки у нее тряслись, и никакого разговора она не хотела поддерживать. Юка слегка обиделась и ушла.

И тотчас ее вовлек круговорот сначала странных, а потом в некотором отношении опасных и печальных происшествий. Юка с Толей собрались идти купаться, когда вдруг появился Сашко и, по всегдашней своей манере, коротко сообщил суть дела:

— Снова кто-то копал.

Юка и Толя ничего не поняли.

— Ну там, в развалинах, — пояснил Сашко, но и это объяснение ничего не объяснило. Пришлось рассказывать все сначала.

Сашко вместе со своим неотлучным адъютантом Хомой и Серком шли мимо развалин к мосту. В это время из пролома вышел американец. В руках у него была лопата и ржавая консервная банка. Увидев ребят, он замахал рукой и закричал:

— Hello, boys! [1]

Ребята остановились. Американец подошел, достал из кармана ярко раскрашенную коробочку и открыл ее — там лежали такие же яркие, похожие на стекляшки, леденцы, — протянул им.

— Take it please! [2] Кон-фетта... Ландрин.

Хома, долго не раздумывая, ухватил сразу три. Сашко помялся и взял штучку. Американец тоже сунул в рот леденец и спросил, показывая консервную банку:

— Any worms here a bouts? [3] Червъяк... Риба ам-ам... — И он очень наглядно изобразил, как рыба хватает червяка, а он потом вытаскивает рыбу удочкой.

Сашко удивленно посмотрел на него. Рубашка американца была слегка присыпана кирпичной пылью и землей.

— Черви там, — махнул он рукой к реке.

— А!.. Thank you [4],— понимающе кивнул американец и напрямик зашагал к берегу.

В ожидании продавщицы возле сельмага стояло несколько человек, и дед Харлампий рассказывал им, как американцу приспичило пить чай из самовара и как вместо чая он лакал водку, а потом лазал ночью в реку. Слушатели смеялись.

---

[1] Эй, ребята! *(англ.)*
[2] Берите, пожалуйста! *(англ.)*
[3] Где здесь черви? *(англ.)*
[4] Спасибо *(англ.)*.

— А мы его сейчас видели, — сказал Сашко. — Ходил в развалинах червей копать.

— Червей? — удивился дед. — Брешет, собачий сын! Червей там сроду не было.

— Чего ж он тогда искал?

— А это ты у него спроси...

Ганьшин — большое село, но все слухи и сведения, или, как теперь принято говорить, вся информация со скоростью лесного пожара достигает самых дальних его пределов. Пустяковый разговор возле сельмага стал известен всем. Это никак не сказалось ни на ходе хозяйственных и всех прочих дел, ни на поведении жителей. Но на лицах некоторых появилась некая остраненность или задумчивость. Впрямую, открыто никто не обсуждал причины странной задумчивости. Разговоры на эту тему если и были, то чрезвычайно краткие и невразумительные. Например:

— Слыхал, чего говорят?

— А, мало ли брешут... Делать нечего, вот и...

Или, например:

— Так шо, выходит, он сюда не зря приехал?

— Кто его знает? Может, и не зря, а может, язык у некоторых без костей...

— Это — факт!

— Ну все-таки...

— Что все-таки?

— Да нет, я просто так...

Ничего не проясняя, разговоры эти только способствовали усилению некой тщательно скрываемой напряженности и того налета задумчивости, который обозначился на первых порах.

Сашка никакая задумчивость не осеняла. Он просто сбегал к развалинам и проверил. Кое-где лопатой были отвернуты небольшие пласты дерна — не глубже, чем на штык лопаты. На стене в одном месте кирпичи были подолбаны, но нельзя было понять, подолбаны они с незапамятных времен или совсем недавно.

Мистера Гана Сашко из поля зрения не выпускал и знал, что к развалинам он больше не подходил, однако там появились новые раскопы и уже не на штык — на два, а глубже — до коренного слоя мертвого песка. А кто, когда и зачем копал, было неизвестно. Сашко целый день с утра до темноты наблюдал за развалинами. К ним никто не приближался, оттуда никто не выходил, но на следующее утро Сашко обнаружил новый раскоп. И теперь он

не знал, что об этом думать и что делать. Кто-то приходил ночью и копал, чего-то ища. Кто и чего?

— Клад ищут, — фыркнул Толя. — Может, и ты начнешь рыть? — обернулся он к Юке. — Еще какую-нибудь тайну выкопаешь...

— Может быть! — рассердилась Юка. — Почему бы и нет?

— Да бросьте вы, — сказал Сашко. — Тут, может, дело серьезное, а вам смешки.

— Давайте спрячемся, выследим, кто копает, и накроем на месте преступления, — загорелась Юка.

— Какого преступления? — сказал Толя. — Если вам так хочется стать сыщиками — нужно не играть в прятки, а думать. — Толя уже прочитал романы об инспекторе Мегрэ и был полон почерпнутых оттуда идей. — Все великие детективы раскрывали загадки при помощи логического мышления.

— Надо бы дядьке Ивану сказать, — заметил Сашко. — Ну, голове сельсовета. Он должен быть в курсе...

Сашко сказал это из чистой сознательности. После выговора и строжайшего запрета, который наложил Иван Опанасович на всякую Сашкову инициативу, обращаться к председателю сельсовета ему совсем не хотелось.

Проблема отцов и детей появилась не сегодня и не вчера. Роману Тургенева уже больше ста лет. Без малого 2400 лет назад Сократ был осужден на смерть за то, что «развращал» молодежь, уча ее критически относиться ко всему, в том числе к авторитетам и канонам. Проблема существовала и будет существовать всегда, ибо все дело в том, что это не «проблема», а живая жизнь.

Все недоразумения и конфликты между взрослыми и подростками происходят потому, что взрослые слишком поспешно забывают, какими были они сами до того, как окончательно и бесповоротно повзрослели, а также потому, что взрослые хотят, требуют и добиваются, чтобы дети непременно повторяли их слова, их мысли, их поступки, были всячески и во всем похожи на них. А они не могут. И не должны! Если бы сбывалась вполне идиотическая мечта родителей и все поколения повторяли друг друга, в каждом новом Ване во всех качествах воспроизводился предшествующий Иван Иванович, человечество не стало бы таким, каково оно есть, наши отдаленнейшие предки не вышли бы из пещер, и неизвест-

но даже, слезли бы они с деревьев на землю или нет... И счастью, это невозможно. Маленький Ваня со временем станет Иваном Ивановичем, только будет иным, чем Иван Иванович, его папа. И закладывается, проявляется это в детстве и юности. А папы и мамы с удивлением, испугом, иногда отчаянием допытываются — почему они такие? Откуда этот дух противоречия, нетерпение, упрямство, неуважение к авторитетам?

А худенькие, взъерошенные мальчики, недоверчивые и непреклонные, исподлобья смотрят на них и молчат. Они еще слишком мало знают, они еще неловки и неумелы, поэтому не могут ничего объяснить. Просто они такие и другими быть не могут. И не хотят. Потому что они считают...

Ах, эта наивная и благословенная формула детства, в которой начинается все — характер, человек, все перемены, открытия, весь прогресс — «А я считаю!..». Мальчики моего не слишком радостного детства, уже отдаленного десятилетиями, мальчики последующих поколений, мальчики нынешние — все они стоят в памяти рядом. Какие они разные и как они похожи! Их человеческое достоинство начиналось и начинается с этой формулы: «А я считаю!..»

А девочки — тоненькие, большеглазые, неуклюжие, смешные девочки, с каким радостным изумлением всматриваются они в предстоящий им мир, который обязательно, непременно должен принести им счастье, — и в предвкушении его они однажды внезапно превращаются в прекрасных и неповторимых... Ну как же им поверить в наставления теток, мам и соседок, если те уже такие старые и совсем другие? Счастье не может, не должно быть одинаковым! С какой надеждой и доверчивостью они ждут своего, еще никогда не бывалого счастья...

Что ж, и мальчикам случается заблудиться в поисках и борениях, и девочки, бывает, не находят вовсе или получают не такое счастье, какое им грезилось и какого они заслуживают... Не оступаются только стоящие на одном месте.

Конечно, они не безупречны, эти мальчики и девочки, нам не нравится в них и то, и это... Но не следует впадать в крайности. В общем, они нисколько не хуже нас. Ведь и мы совсем не такие, какими хотели видеть нас наши родители, и — будем честными — далеко не такие, какими хотели бы видеть нас наши дети да и мы сами. Мы многое обещали им и себе, однако не все сумели и смогли

сделать. И не потому, что мы из роду вон, наше поколение хуже, чем другие. Ни одно поколение не бывает хуже предшествующих. Просто каждое поколение замахивается на большее, чем может сделать. Так было у наших отцов, так было у нас, так будет и у них, нынешних детей. В этом природа человека — желать и добиваться больше того, что необходимо лишь для поддержания жизни.

Так шагайте смелее, мальчики и девочки, становитесь лучше, чем мы, и вы сможете больше, чем мы!

Если принять в соображение все вышесказанное, станет понятной ошибка, которую совершил Иван Опанасович. Поручая Сашку и его товарищам наблюдение за американцем, а потом отменяя свою просьбу и запрещая проявлять какую бы то ни было инициативу, он не учел решающего обстоятельства. Ни один нормальный пацан по самой своей природе не может остаться безучастным наблюдателем, когда происходит какая-то заваруха, и верхом наивности было ожидать, что запрет подействует и ребята, сложа ручки, будут из-за плетней и заборов наблюдать происходящее, довольствоваться той скудной, невразумительной информацией, которой их удостаивают взрослые.

Юка горячо настаивала на том, что следует самим выследить таинственных копальщиков, поймать их, а тогда уж идти к председателю. Толя молчал, а Сашко, подумав, сказал:

— То бы добре... Только кто кого поймает? Так набьют, что на карачках лазать будешь.

— Как это набьют? — возмутилась Юка. — Какое они имеют право?

— Ну, право!.. — Сашко лучше знал местные нравы. — Сначала побьют, а права потом будут спрашивать... Нет, надо идти до председателя.

У Ивана Опанасовича засосало под ложечкой, когда он увидел входящих в кабинет Юку, Толю и Сашка. До сих пор каждое их появление не предвещало ничего хорошего.

— Что скажете? — настороженно спросил он.

— Мы насчет тех развалин, — сказал Сашко. — Вы, мабуть, слыхали.

— Слыхал, — махнул рукой Иван Опанасович. — Разнесли ту дурость по всему свету. Как малые дети сказками тешатся.

— Не, дядько Иван, не сказки — там копать начали.

— Что копать?

— Ямы. Здоровые. Мне вот так будет. — Сашко провел рукой по плечам.

— А кто копает?

— Не знаю. Я целый день в кустах сторожил — никого не было. Ночью копают. Может, тот американец?

— Нет, — сказал Иван Опанасович. — Бабиченко говорит, он ночью головы не поднимает — храпит так, что весь дом трясется. Если б в комнате спал — через окно можно уйти. А ему краской там воняет, что ли, вытащил койку во двор и всю ночь у Бабиченки перед глазами... Где ж их копают, те ямы?

— А внутри. Прямо под стеной.

— Ах, черт!.. — Иван Опанасович с досадой пристукнул кулаком по столу. — Ну что за народ?! Ведь завалится стена к чертовой матери и того дурака придавит, как муху.

— Может быть, — сказал Толя, — может, написать объявление? Даже несколько. Объяснить, что там ничего нет, копать бессмысленно и опасно — стена может обрушиться.

— Не, — сказал Сашко, — то еще хуже. Подумают — для отвода глаз, еще больше копать начнут.

— То верно, — кивнул Иван Опанасович. — Привыкли у нас понимать наоборот... Чего доброго, все кинутся вчерашний день откапывать...

— А еще, — сказал Сашко, — сегодня утром на машине двое приезжали и чего-то там делали. Может, тоже какие иностранцы? Один вроде как обыкновенный, а второй в черных очках и вот с такой бородой... Весь заросший.

— Ну?

— Обошли всю домину. Потом первый взял лопатку, ковырнул у самой стенки снаружи и в середке, постучал по кирпичам, потом достал книжечку и что-то стал записывать. Я подошел и говорю: «Дяденьки, чего вы тут делаете? Без спросу не положено...» Так тот, первый, даже не посмотрел, а который с бородой, тот говорит: «А ты что за спрос? Давай мотай отсюда, пока по шее не схлопотал...»

— Не, — решительно сказал Иван Опанасович, — то не иностранцы. Раз лаются, значит, свои. Имеют право.

— Как это имеют право? — возмутилась Юка. — Никто по закону не имеет права ругаться!

— Ну, по закону, конечно, — поморщился на ее непонятливость Иван Опанасович. — Дело не в том. Если права и не имеют, а ведут себя нахально, значит, свои. Чужой бы опасался... Так что было дальше?

— Ничего, — сказал Сашко. — Они недолго были. Может, с полчаса. Потом сели в машину и уехали. В сторону Чугунова. Машину я запомнил: светло-серая «Волга», ЯЯ-06-56.

— Так ведь копать до них начали?

— Ага.

— Тогда тут что-то другое...

— А вдруг там на самом деле что-нибудь есть? — сказала Юка.

— Ей все мерещатся сокровища, — улыбнулся Толя. — Клады. Горы золота и драгоценных камней.

— Какие там клады! — сказал Иван Опанасович. — Тот Ганыка дошел до ручки, только слава, что помещик, — один дом, вот и все его богатство было.

— А может, там подземный ход есть? — не сдавалась Юка.

— Куда? — спросил Толя. — И зачем?

— Ну, я знаю? На тот берег, под Соколом...

— Тю! — сказал Сашко. — Да на кой он нужен?

— А как же! Вот, например, напали на дом, они защищались, а потом раз — подземным ходом на тот берег, и скрылись...

— Где ж тот ход может быть? — сказал Иван Опанасович. — У нас земли-то метр-два, а дальше сплошная скала, гранит... И кто б тот гранит длубал? Метростроевцев тогда не было... Нет, ребятки, уж хоть вы ничего не выдумывайте и про свои выдумки никому не рассказывайте! — взмолился Иван Опанасович. — А то тут такое начнется — все с кайлами и лопатами побегут... У меня и без того голова кругом идет. Хорошо хоть тот американец угомонился — ходит себе вдоль Сокола и хлещет воду своим дурацким хлыстом...

— Это у него спиннинг, — уточнил Толя.

— Так я ж и говорю. Там чем ни хлещи, все одно ничего не поймаешь... Переводчика из больницы не отпускают, другого не шлют... А мне вот сейчас в Чугуново ехать, в суд вызывают.

— Митьку Казенного судить?

— Ну да.

— Так что с теми копальщиками делать? — спросил Сашко.

— Ничего! Обождите. Я вернусь, тогда разберемся. А пока наблюдайте так, незаметно, вот и все.

Итак, в который раз, взрослые не поняли ребят, не оценили их наилучших устремлений, благородных порывов, смелую инициативу и готовность на все, вплоть до подвига. Им оставили только то, что, по совершенно ошибочному мнению взрослых, составляет потолок мечтаний и смысл их жизни летом — ничегонеделание, шатание по лесу и купание, если поблизости есть водоем, в котором воды хотя бы по колено.

Они перебрались на правый берег, пришли к излюбленному месту и только разделись, как Сашко вдруг подпрыгнул и неистово закричал и начал махать рубашкой над головой.

Размахивая руками и тоже крича, от опушки леса к ним во всю прыть бежал Антон.

Первые несколько минут улыбки у них кончались за ушами, а вместо членораздельной речи сыпались междометия. Только потом начался настоящий разговор. Конечно, Бой тоже приехал. Он просто не захотел уходить от Федора Михайловича. Жить будут там же — у тетки Катри и Харлампия. Ну, а как тут жизнь?

Антону рассказали об американце, наблюдениях Сашка и о только что состоявшемся разговоре с Иваном Опанасовичем, который ничего не позволяет им делать.

— А я считаю, — сказал Антон, — это неправильно! Почему мы должны сидеть сложа руки? — Все местные дела сразу стали для него «своими», ему и в голову не пришло, что происходящее здесь никак его не касается. — Сидеть и ждать, пока там рухнет стена и кто-нибудь гробанется? Это... Это даже подло, я считаю!

— Так голова ж не разрешает, — сказал Сашко.

— Мало ли что! Это просто взрослый предрассудок — они считают нас еще маленькими...

Обмахиваясь хвостами, роняя зеленые блины, мимо них прошли коровы, следом брел Семен Верста.

— Здоров, коровий сторож! — крикнул ему Антон.

— Снова приехал? — вместо ответа сказал Семен. — А где та черная чертяка?

— Есть, не беспокойся... Он тебя еще погоняет вместе со стадом.

— Может, он знает? — сказала Юка. — Он ведь каждый день мимо развалин гоняет стадо. Слушай, Семен, ты про развалины слышал?

— Да что ты его спрашиваешь? — с досадой сказал

Сашко. — Спроси у него фамилию, он и то скажет: «А шо?»

— Ну дак шо? — сказал Семен, и лицо его стало еще более сонным, чем обычно.

Ребята засмеялись.

— Ты в развалины заходил? — спросила Юка.

— Не, — на всякий случай соврал Семен. На самом деле он облазил там все закоулки. — На шо оно мне надо?.. Я послезавтра в Чугуново поеду. С Лукьянихой, — не удержался и похвастал он.

— Хороша парочка, — сказал Сашко, — баран да ярочка...

Ребята захохотали.

— Га-га... Ну шо, «га-га»?! — передразнил Семен хохочущих ребят. — В городе погуляю! — гордо сказал он и пошел к своим коровам.

Поездка в Чугуново была отдыхом от надоевшего стада, его праздником. Подтащить две корзины до базара — это «тьфу», остановка рядом. А потом он целый день свободный, ничего не надо делать. Можно сколько хочешь ходить по базару, все рассматривать и даже приценяться. И по магазинам. А потом просто ходить по улицам и на все смотреть — на дома, на людей. Как они ходят, разговаривают и смеются. Он смотрел и примеривался, как будет ходить он, когда батько отвезет его в ремесленное.

— Так что же нам делать? — спросила Юка. — Объявление нельзя.

— Только хуже будет, — подтвердил Сашко.

— А если установить дежурства? С вечера спрятаться и следить.

— Побьют, — уверенно сказал Сашко. — Еще как побьют!

— Вот если бы с Боем — никто бы пальцем не тронул, — сказала Юка.

Ребята уставились на Антона, тот замялся.

— Навряд... — сказал он. — Без разрешения дяди Феди нельзя, а он навряд чтобы разрешил. Бой, в случае чего, может покусать... То есть обязательно покусает, если кто полезет в драку... Представляете, что тогда будет?

— Да, — сказал Сашко, — то не с Митькой Казенным... Может нагореть.

Ребята огорченно замолчали, и тогда отозвался все время молчавший Толя.

— Есть одна мысль, — сказал он, и голос его опустился почти до папиных басовых низов.

Среди многих достоинств, которые Толя перенял у папы, была и благородная страсть к латыни. Нет, латыни папа не знал, и где бы он мог ее изучать? Но папа увлекался изучением латинских слов, подобным звону бронзы, преклонялся перед силой и лаконизмом латинских изречений, разящих, подобно ударам короткого меча. Эти изречения папа собирал, любил повторять, любовь к ним привил и сыну. И сейчас Толя совершенно папиным голосом торжественно сказал:

— Римляне говорили: Similia similibus curantur.

— Толя! — вскипела Юка. — Ты не можешь без своих премудростей, объяснить просто, по-человечески?

Но Толя не позволил сбить себя с нужного тона.

— Я ведь повторяю общеизвестное изречение: «Подобное лечится подобным!» А мысль состоит в следующем... По-моему, вера в клады — самое настоящее суеверие. А если человек суеверен в одном, так он и в другом суеверен. Его можно напугать так, что он не только перестанет искать клад, а за километр и место это будет обходить.

— Придумал тоже! — сказал Сашко. — Да кто нас испугается?

— Нас — нет. Но люди, которые верят в таинственные клады, верят и в тайные силы, которые эти клады охраняют, — в духов, привидения... У меня, кажется, сложился один замысел... Нет, я расскажу потом. Прежде мне необходимо съездить домой, и я сегодня же поговорю с родителями. А сначала пойдем посмотрим развалины, прикинем все на месте.

Над дверным проемом сохранились остатки лепнины. Верхняя часть обрамления осыпалась, на уцелевшем щите выпуклое сердце пронзали накрест две сабли. Когда-то все было раскрашено, но краска давно осыпалась, и теперь только въевшаяся пыль и грязь оттеняли барельеф. Для ребят это была ничем не интересная грязная наклейка, но Юка, узнавшая от Лукьянихи трагическую тайну ганыкинского рода, приостановилось.

— Красиво! — сказала она. — Сердце, пронзенное мечами...

— По-моему, не мечами, а саблями, — возразил Толя. — И что тут красивого — протыкать сердце саблями?

— А, ты не понимаешь!.. Узнать бы, что это значит...

— Ну, навряд чтобы такая стенка упала, — сказал Антон, упираясь руками в полуметровую стену.

— Что ты делаешь? — испугалась Юка и оттолкнула его.

— Да ее бульдозером не своротишь, — засмеялся Антон.

— А если подкопать? — сказал Сашко. — Дядько Иван лучше знает.

У самого основания капитальной стены в разных местах зияло несколько раскопов. Внутренние стены перегородок были тоньше и кое-где уже разрушались. В правом крыле, ближе к лесу, стены достигали почти метровой толщины, оконные проемы были узки, как бойницы, и даже перегородки устояли против огня и времени. С них осыпалась штукатурка, но кладка осталась целехонькой.

— Во! — сказал Сашко. — Как дот! Наши сельские пробовали кирпич выколупывать — ну, для всякого дела... — ничем его не возьмешь. Как железо. Батько говорил, тут раствор какой-то особый, старинный.

Юка догадалась, что именно в этом крыле и жил когда-то Старый барин. Она жадно шарила взглядом по стенам, углам и проемам, ища хоть какие-нибудь следы той, давно минувшей жизни, но она исчезла, не оставив после себя ничего, кроме несокрушимых стен и обломков кирпичей под ногами, давно присыпанных землей и поросших лебедой и крапивой. Только в одном простенке между окнами на уровне человеческого роста была как бы небольшая ниша — не то остаток тайника, не то место опоры для могучей балки. Юка на всякий случай засунула руку и все ощупала — оттуда посыпался мелкий сор, нанесенный ветром.

Толя никогда не лгал. Он говорил правду даже тогда, когда окружающим это казалось не только бессмысленным, но и просто вредным — для дела, скажем, не говоря уж о самом Толе. Папа про себя этим очень гордился, а мама, хотя и одобряла полную правдивость сына по отношению к ней самой, с тревогой думала о том, как Толя будет жить дальше, среди людей, где бескомпромиссная правдивость, случается, приносит правдолюбцу одни неприятности... Сам Толя считал, что лгать унизительно для человеческого достоинства, а так как к себе в глубине души он относился с немалым уважением, то и достоинство свое строго оберегал. Ему даже казалось, что со-

врать он просто не сумеет, что это органически ему не свойственно и потому невозможно. Но сейчас он врал совершенно бесстыже, глядя невинными глазами на папу и маму, врал, не испытывая при этом никаких укоров совести или смущения и, может быть, лишь с некоторым удивлением перед той легкостью, с какой это вранье складывалось.

Ни поехать в Чугуново, ни привезти оттуда что-нибудь тайком было невозможно. Но совершенно невозможно было и посвятить родителей в свой замысел. Не только мама, у которой мог случиться шок от такого замысла, но даже всегда уравновешенный и терпимый папа мог утратить всю свою уравновешенность, возмутиться, запретить и просто не допустить его осуществления. А этого в свою очередь не мог допустить Толя. Он сам предложил, взял на себя, обещал, а обещания надо выполнять. Любой ценой. Потому что не выполнить обещание — это уж совсем, как говорится, потерять лицо... Толя избегал об этом думать прямыми словами, но меньше всего хотел бы «потерять лицо» перед Юкой.

Тут же после обеда, когда мама уже покончила с посудой, а папа еще не успел заснуть и до автобуса оставалось достаточно времени, Толя небрежно заметил, что, кажется, Ганыши он для себя исчерпал и начинает подумывать, не заняться ли ему делом. Каким? Ну, например, немецким. Отметки у него хорошие, но ведь учат язык не для отметок. Поверхностные знания по учебнику, которые дает школа, — это же, в общем, ерунда, познания, которые без практики моментально улетучиваются. У него совершенно нет разговорной практики. А ведь самое главное — чтобы чужая речь была, так сказать, на слуху, все время звучала в ушах... В том-то и дело, что здесь разговаривать по-немецки не с кем. Эта ленинградская девочка — она изучает французский, а Сашко — ну, этот соседский мальчик, местный, с которым он дружит, так тот просто плюется, слышать ничего не хочет, говорит, ему этот язык за зиму надоел... Так вот, не будут ли мама и папа возражать, если он съездит домой и привезет магнитофон и немецко-русский разговорник... Нет, конечно, не «Днепр», «Днепр» — тяжелый, возить неудобно... Вот если бы папа позволил взять его портативный, репортерский?..

Папа вынул трубку изо рта и задумался. Они любили музыку, поэтому давно купили магнитофон «Днепр» и часто им пользовались. Но Толин папа еще не утратил

иллюзий и надежд. Он все надеялся, что когда-нибудь сможет выбрать время, куда-то поехать, к каким-нибудь знатным, прославленным людям, взять интервью, записать его на пленку и опубликовать. Или, может быть, случай сведет его с выдающимся ученым, художником — записать беседу с ним, а потом написать очерк... И однажды, будучи в Киеве, он купил в комиссионном магазине портативный магнитофон на батарейках. Прекрасный оказался аппарат! Запись чистая, воспроизведение ясное, громкое, не хуже, чем у «Днепра». Но Толин папа работал секретарем в районной газете, а ответственный секретарь в районной газете — это человек, который никогда не сможет «выбрать время», никаких очерков не пишет и интервью не берет. Он делает газету. Поэтому, исключая время на сон, вся жизнь его протекает в редакции и типографии, в типографии и редакции. И прекрасный портативный магнитофон недвижимо стоял дома на письменном столе и не зарос пылью только потому, что у Толиной мамы неостановимая война с пылью возобновлялась изо дня в день.

Папа молчал, и Толя обмирал, опасаясь, что он побоится доверить ему аппарат и все провалится, но папа не боялся — он просто вдруг понял, что все его надежды несбыточны, иллюзии вздорны, и теперь мысленно прощался с ними.

— Ну что ж, — сказал, наконец, папа, — пожалуйста, я не возражаю.

Все остальное далось уже легко. Толя кротко выслушал мамины наставления, записал ее поручения, положил в карман деньги и, теряя по дороге остаточные угрызения совести, побежал к сельмагу, возле которого останавливался чугуновский автобус.

5

Человек не может любить будущее — он его не знает. Он любит или не любит настоящее — все, что вокруг него, и он любит или не любит то, что образовало это окружающее, то есть прошлое. Если знает его...

Можно любить родину, зная только нынешнее и ближайшее, то есть то, что окружает человека сейчас. Такая любовь зарождается с мгновения, когда крохотный живой комочек, будущий человек, впервые открывает глаза и видит мир, в который он вошел. Он врастает в этот мир, а мир врастает в него, он — часть целого, а целое —

часть его самого. Но насколько глубже и сильнее становится эта любовь, если человек узнает, что сущее — земля отцов, и узнает, какими были, что сделали отцы, чтобы она стала такой, какова есть.

В большинстве мы любим родину безотчетно и бессловесно, это чувство целомудренно и молчаливо. Любая попытка перенести разговор о нем в обиходность приводит к ходульности и фальши. Иное дело, если любовь к родине находит свое выражение в поступках. Когда мы произносим слово «патриот», мы вспоминаем имена людей, которые в далеком или недавнем прошлом совершили из ряда вон выходящие деяния в защиту родины или во славу ее, и с благодарностью склоняемся перед их памятью. Но есть категория патриотов, о которых история молчит, хотя их множество, они рассеяны по всей нашей огромной стране. Они не совершают необычайных деяний, которые поражали бы воображение, но они — истые подвижники, и вся жизнь их по справедливости должна быть названа подвигом. Сами о себе они так не думают, не требуют и не ждут, чтобы перед ними склонялись, не рассчитывают на награды и благодарность. Они даже редко просят о помощи, и единственное, чего жаждут — чтобы им не мешали. Их окрестили «краеведами» и отнесли к разряду иногда назойливых, но, в общем, безвредных чудаков.

Часто повторяют присловье: «Чудаки украшают мир». Это неверно и придумано представителями той «нормальной», «нормальной» категории людей, которым кажется, что мир — это они и есть, так как один от другого ничем не отличается, а чудаки потому и чудаки, что они из ряду вон, что-то выдумывают, что-то делают «не как все»...

Что такое чудак? Человек странного нрава, поступающий вопреки принятому порядку и обыкновению. И действительно. В далекой первобытности все топали пешком по берегу реки, а какой-то чудак взобрался на плывущий ствол дерева, поплыл на нем, а там, глядишь, и появилась лодка. Нормальные люди, как и все дикие звери, панически боялись огня и бежали от него, а чудак преодолел страх, научился греться у огня и готовить на нем пищу; все нормальные люди просто жили в пещерах, или спали, а чудак начал выцарапывать, малевать на стенах, и из этого родилось искусство; и так можно продолжать до бесконечности. Вся история человеческого рода — непрестанная борьба между инертной нормой,

обыкновенностью и подвижным, любознательным и неутомонным чудачеством. Чудаки не украшают мир, они его создают. Всеми успехами, достижениями, всеми взлетами человеческого гения мы обязаны чудакам. Не случайно корень слова «чудак» тот же, что и в словах, которыми мы называем все поразительное и необыкновенное, — чудный, чудесный или просто чудо.

От звериной праистории до компьютеров и космических полетов человечество прошло тяжкий, залитый кровью путь, на котором уничтожались целые культуры, вдребезги разбивались цивилизации. Но находились чудаки, которые подбирали остатки разбитого вдребезги прошлого, сохраняли его памятки и памятники, любовно берегли для потомства. Эти чудаки сохранили для мира древние науки и искусство, они писали хроники и летописи, собирали все, что могло людям, каждому народу рассказать о его родине, откуда каждая земля пошла есть, кто были отцы и как они распорядились своей землей и своей судьбой.

Конечно, главную долю этого труда давно уже выполняют историки и археологи. Обладающие специальными знаниями, во всеоружии библиотек, хранилищ и архивов, они пишут капитальные труды, создают гипотезы, теории, направления. По трудам, заслугам и награды — звания, почет и все прочее, что сопутствует успеху.

Ничего этого у краеведов нет. Специальной подготовки большинство из них не имеет, да и когда было ее получать, если нужно было иметь какую-то профессию и работать, чтобы жить, ибо краеведением не проживешь. Писать они не борзы и чаще всего совсем не златоусты, поэтому печатных трудов не имеют. Почетных званий и орденов им не дают, иногда дают им только клички, но — не обидные: их, как когда-то городских сумасшедших, зря не обижают. У них нет никаких привилегий и прерогатив, к сожалению, очень часто у них нет и никаких прав.

У них есть только одно — всепоглощающая страсть, неутолимая любовь к родной стране, ее настоящему и ее прошлому. В отличие от других видов любви, эта никогда не ослабевает, а только усиливается, в ней не разочаровываются и не охладевают. Ей подчиняется, ей отдается вся без остатка жизнь. Она не приносит ни славы, ни денег, ради нее терпят лишения и невзгоды, семейные нелады, а иногда и полный разлад. Она делает людей неуязвимыми к насмешкам и даже оскорблениям, дает

силы и стойкость, которые позволяют все перенести и выдержать. Она способна двигать горами и, пожалуй, даже больше, потому что иногда легче сдвинуть гору, чем преодолеть тупое упрямство невежественного чиновника. Зародившись как личное увлечение, отдушина для себя от повседневной «нормальности», страсть краеведа очень скоро превращается в служение людям, потому что в этом ее единственный смысл. Все, что собирает, узнает краевед, предназначено другим, и смыслом его жизни становится желание и готовность сообщить, отдать людям то, что сумел собрать и узнать он. Только становясь общим достоянием, собранное превращается в сокровище.

Вот таким краеведом был директор чугуновского музея Аверьян Гаврилович Букреев. Университет он закончил перед самой революцией, в силу разных житейских передряг оказался в Чугунове, где долго преподавал в школе историю и по совместительству географию. Одних уроков для его деятельной натуры было мало, он заинтересовался кустарными промыслами района — тогда они еще существовали — и начал собирать образцы их продукции, потом старинную посуду и утварь, потом... Потом очень скоро домик, принадлежавший его жене, превратился в склад хлама и старья, как говорила жена, в котором не то что жить, а нельзя было повернуться. Рассказывать о мытарствах Аверьяна Гавриловича, пока он добивался решения об открытии музея, слишком долго и стыдно. Музей в конце концов открыли, Аверьян Гаврилович покинул школу и стал его директором. Жена Аверьяна Гавриловича умерла, и если прежде так называемой личной жизни он отводил крайне ограниченное время, то теперь все, без остатка, время было отдано любимому делу и не приходилось отвлекаться на то, что называется бытом и семейной жизнью. Несложное домашнее хозяйство вела младшая сестра Букреева, бодрая еще старушка. Ее Аверьян Гаврилович приспособил и к работе в музее в качестве кассира и контролера у входа, так как охотников до пустяковой кассировой зарплаты найти было трудно. Несмотря на то, что ему уже было под семьдесят, Аверьян Гаврилович остался по-юношески поджарым и подвижным.

Нельзя сказать, чтобы музей ломился от посетителей. Хотя Аверьян Гаврилович безотказно — и бесплатно — проводил всюду, где удавалось, беседы и лекции, взрослые предпочитали посещать кино, ресторан или, на худой

конец, чайную, где по вечерам чай уже не подавали. Но Аверьян Гаврилович добился, чтобы все учителя истории окрестных школ приводили или привозили в музей своих учеников. И это было самым важным — детские души восприимчивее, они еще не обросли корой бытовых забот и жадно тянулись к знаниям. В летнее время посетителей было еще меньше, во всяком случае, не было экскурсий, и Аверьян Гаврилович без всяких командировочных — откуда бы они взялись? — на попутных машинах, а то и пешком колесил по округе. Он знал в ней не только каждое селение, но чуть ли не каждый дом, неустанно искал и находил то, что, по его мнению, следовало поместить в музее. Если удавалось — выпрашивал в дар, у хозяев-жмотов покупал, а поскольку средств на закупку музей почти не имел, Аверьяна Гавриловича останавливал только лимит собственной зарплаты — убежденный вегетарианец, он считал, что им с Дусей вполне хватит овощей и картошки с приусадебного огорода. Чтобы увеличить жалкий закупочный фонд, Аверьян Гаврилович старался подработать. Он был мастером на все руки и в свободное время ремонтировал для школ разного рода наглядные пособия, которые школьники с извечным постоянством ломали или портили.

Годы, а особенно война с разного рода бюрократами наложили на лицо Букреева явственный отпечаток. Густые брови нависли над глазами, почти скрывая их, а возле рта прорезались горькие, с некоторым даже оттенком сарказма, складки. Но стоило кому-нибудь проявить интерес к музейному экспонату или любому вопросу из истории края, как лицо Аверьяна Гавриловича совершенно преображалось: под нависшими бровями оказывались нисколько не полинявшие, а как-то даже по-детски сияющие глаза, саркастическая гримаса превращалась в обаятельную улыбку.

Вот так и просияло лицо Аверьяна Гавриловича, когда Толя по дороге домой зашел в музей и со своей обычной вежливостью спросил, не может ли товарищ директор ответить на один вопрос.

— С удовольствием, с удовольствием! Чем могу?

— Мы всей семьей живем сейчас на даче, в Ганышах. Там стоят развалины бывшего помещичьего дома...

— Ну как же! Как же! Знаю! — подхватил Аверьян Гаврилович. — Деревянный дом был заменен каменным в начале девятнадцатого века. А в начале двадцатого к нему пристроили большой новый. Разграблен и сожжен

в восемнадцатом году. Все перекрытия рухнули, но коробка весьма прочная. Могла бы еще пригодиться... Я не раз ставил вопрос об использовании. Ее можно было бы и под дом отдыха приспособить, и под школу... А еще бы лучше...

Тут Аверьян Гаврилович остановился, едва не выдав свою затаенную мечту — после соответствующего ремонта разместить там музей. Мечта была несбыточной — деньги и фонды на ремонт нужны большие и никто их не даст, а если бы даже дали и все произошло по желанию Аверьяна Гавриловича, то кто бы посещал захолустный музей? И Аверьян Гаврилович оторвался от своих бесперспективных мечтаний.

— Да, так что же с этими развалинами?

— Там над входом было что-то такое налеплено — не то герб, не то украшение...

— Нет, какое же украшение?! Герб, конечно! Фамильный дворянский герб. Ганыки — род литовско-русского происхождения. Род, в общем-то, малозначительный, ничем, так сказать, себя не прославивший, но герб Ганыки имели самый настоящий. И даже высочайше, то есть императором, утвержденный. Если интересуетесь, могу показать...

— Если вас не затруднит, — вежливо сказал Толя, — я с удовольствием.

Герб Юке понравился, и Толя решил узнать о нем побольше.

Моторы всякого рода играют в нашей жизни все большую роль, и все чаще по отношению к людям употребляют слова из автомобильно-тракторного, так сказать, лексикона, и, например, о людях, которые быстро включаются в какое-либо дело, увлекаются, принято говорить, что они «заводятся с пол-оборота». Аверьян Гаврилович заводился даже с «четверти оборота», если речь заходила о деле его жизни. Сейчас Аверьян Гаврилович уже «завелся» и спешил рассказать если не все, что знал, то хотя бы то, что удастся.

— Гербоведение, или геральдика, весьма любопытная отрасль исторической науки. Зародились прообразы гербов еще в древности, как особые знаки, изображения, которые выделяли какое-либо лицо среди других. Но особенное развитие гербы получили в средние века у рыцарства. Они стали просто необходимы, потому что — представляете? — все закованы в стальные латы, все похожи друг на друга, так-скать, как консервные банки, как тут

отличить одного от другого? Как отличить прежде всего вождя, командира? Вот и появились всякие условные изображения, эмблемы на латах, знаменах, печатях. Постепенно они закреплялись, стали передаваться по наследству, становясь, так-скать, родовыми. К нам гербы пришли через Польшу, ведь и само слово «герб» — польское... А в России они начали утверждаться со времен Алексея Михайловича, потом особенно при Петре Первом, а император Павел даже особым манифестом обязал составить общий гербовник дворянских родов. Но вообще-то в России, в отличие, скажем, от Польши, к гербам относились спустя рукава. Всего насчитывалось около шестидесяти тысяч дворянских родов, а гербы зафиксированы были у каких-нибудь трех тысяч... одной двадцатой... Но Ганыки, хотя никакими доблестями свой род не прославили, герб имели...

Аверьян Гаврилович ввел Толю в свой кабинет — маленькую комнату, в которой стояли крохотный ученический столик и узкая табуретка перед ним. Все остальное было занято книгами. Ими до самого потолка были забиты пристенные полки, они шаткими колонками прислонялись к полкам, стопками и грудами занимали пол, оставляя лишь узкий коридорчик к столу. Они лежали на столе, под столом, должно быть, и в столе тоже, и если пол комнаты не проваливался, то только потому, что проваливаться было некуда — он лежал на фундаменте. Аверьян Гаврилович усадил Толю на табурет перед столом и достал с полки толстую книгу без переплета.

— Сейчас посмотрим, — сказал он, открывая ее. — Г... г... г... Ганыка... Вот, пожалуйста — И он положил перед Толей развернутую книгу — Это изображение герба Ганык. А вот и описание... «В щите, имеющем серебряное поле, изображено красное сердце, пронзенное двумя саблями. Щит увенчан дворянским шлемом с дворянскою на нем короною. Намёт на щите серебряный, подложенный красным». Намётом называется вот это обрамление по бокам и сверху щита из таких условных как бы листьев... Он образует, так-скать, шатер над щитом... Да, собственно, намёт — это и есть по-польски шатер...

— А что это значит, — спросил Толя, — сердце, пронзенное саблями?

— Вот уж тут, знаете, — развел руками Аверьян Гаврилович, — не умею вам объяснить. Думаю, просто перенято с какого-нибудь другого герба. Это довольно распространенный в геральдике мотив — сердце, пронзенное мечом, кинжалом... А может, и был какой-нибудь Ганыка, переживший трагическое разочарование? Или измену? Мотивы, так-скать, вечные. Ведь и до сих пор, — прижмурился Аверьян Гаврилович, — молодые люди вырезают на скамейках и на деревьях сердца, пронзенные стрелами...

— Да, бывает, — согласился Толя и почему-то покраснел, хотя сам никогда таких сердец не вырезал. — А можно, — сказал он, чтобы перевести разговор, — вы не позволите мне перерисовать этот герб? Я бы хотел показать его своим товарищам в Ганышах, — добавил он и покраснел еще больше.

— Пожалуйста! Вы хорошо рисуете? Может, лучше скопировать: на папиросной бумаге, я имею в виду? Вот вам листочек бумаги, карандаш... Только, пожалуйста, сильно не нажимайте...

Толя перерисовал герб, записал, как он раскрашен, и, несмотря на полную готовность Аверьяна Гавриловича продолжить столь интересно начатую беседу, поблагодарил и распрощался. Он был очень доволен собой. Не потому, что многое узнал, а потому, что его осенила мысль сделать Юке сюрприз. Он представил, как удивленно и восхищенно Юка взмахнет своими мохнатыми ресницами, и заранее сдержанно и скромно улыбался.

Внезапно эта воображаемая картина исчезла вместе с улыбкой. Толя припустил бегом к дому. Он схватил портативный магнитофон, проверил, на месте ли бобина, и побежал обратно. За высоким дощатым забором выла собака. Может быть, она потеряла хозяина и теперь изливала свою тоску о нем, а может, это просто был уже большой, но еще глупый щенок, которого оставили одного, ему стало невыносимо неуютно и скучно в одиночестве, и он жалобным воем выражал свою обиду на судьбу и хозяев. Толя подвесил микрофон к нагрудному карману, приоткрыл крышку магнитофона и включил. Бедный пес начинал с короткого повизгивания, его сменял скулеж, становящийся все громче и протяжнее, и завершал все необычайно тягучий, с какими-то даже фиоритурами, невыносимо тоскливый вой. Толя записал несколько таких рулад и, очень довольный, выключил магнитофон.

В этот день ему решительно везло. Неподалеку от своего дома он нагнал женщину, катившую коляску, в которой куксился и хныкал маленький ребенок. Толя включил запись. Ребенок плакал все громче, пока не за-

шелся в отчаянном «уа-уа». Мать вынула его из коляски, начала тетешкать на руках и тут заметила Толю.

— Что тебе нужно, мальчик? — сердито сказала она. — Не видишь, ребенок плачет, а ты тут крутишься со своим ящиком.

— Извините, пожалуйста, — сказал Толя и ушел.

Фонотека всегда была у них в идеальном порядке, и Толя тотчас нашел серенаду Мефистофеля из оперы Гуно. Правда, Шаляпин пел ее по-французски, но это не имело значения — слова Толе не были нужны. Однако, прослушав Шаляпина, Толя поставил серенаду в исполнении Пирогова и — остановился на ней: запись была свежее, голос звучал грубее, резче... Толя свел записи на одну пленку, потом, меняя их местами, вслушивался, регулировал тембр, громкость, а кое-где даже менял скорость, и звук растягивался, плыл, становился странным и каким-то диким...

Настал вечер, который в Чугунове очень быстро переходит в ночь. Толя покончил с записями и сел к столу у открытого окна, чтобы изготовить свой сюрприз. Он отодрал от блокнота обложку из плотного картона, перенес на нее рисунок герба и густо раскрасил акварельными красками. Потом он вырезал герб, обтянул целлофановым листком; а при помощи клея и полоски материи прикрепил английскую булавку к обратной стороне герба. Получилась вполне приличная брошка.

Он подошел к зеркалу, приложил герб к нагрудному карману, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, и едва не уронил свое изделие — за окном раздался утробный вопль... Толя бросился к магнитофону, включил его и поставил микрофон на подоконник. За первым воплем последовал второй — тягучий, душераздирающий. Орали коты. Они были где-то совсем близко — в палисаднике или за штакетником на улице. Толя оглянулся на магнитофон — бобины бесшумно вращались, успокоительно горел зеленый глазок индикатора — и погасил настольную лампу, чтобы она не помешала подзаборным солистам. Но им уже ничто не могло помешать. Они входили все в больший раж и выли, орали все исступленнее. Раньше Толя не обращал никакого внимания на кошачьи крики, но теперь с удивлением подумал, как эти ласково мяукающие, нежно мурлыкающие маленькие животные могут испускать такие громкие и гнусные вопли? Можно было подумать, что кричат не обыкновенные домашние мурки и васьки, а какие-то ягуары или пантеры. В этих

воплях было все — и бесконечное страдание, и дикая страсть, и кровожадное предвкушение расправы, и смертельный ужас добиваемой жертвы. Коты заводили то поодиночке, то оба сразу, на мгновение смолкали и снова начинали невыносимо мерзкими голосами, от которых мороз шел по коже, хотелось зажать уши, захлопнуть окно... Но Толя наслаждался. Он с упоением вслушивался в эти кошмарные рулады и боялся только одного: что разбуженный сосед или случайный прохожий камнем или палкой оборвет кошачий концерт.

В Чугунове глубокой ночью не бывает случайных прохожих и никто не просыпается из-за кошачьих криков. Они оборвались сами. Довольный сверх всякой меры, Толя снова сделал перезапись, уложил магнитофон в рюкзак, чтобы никто не видел, что он везет, в авоську сложил покупки, сделанные по маминому заданию, и, боясь проспать первый автобус, поставил заведенный будильник возле кровати.

Дальнейшее сложилось наилучшим образом. Толя сошел на остановке возле лесничества, где, как они заранее условились, Антон уже ожидал его. Сопровождаемый псом, Федор Михайлович вместе с лесничим уехал на какой-то дальний кордон, принарядившийся дед Харлампий первым автобусом отправился в Чугуново на суд, а тетка Катря, не поднимая головы, копалась на огороде на своей хатой. Поэтому никто не видел, как Антон спрятал под рядном рюкзак с магнитофоном.

Дома Толя очень непринужденно объяснил, что, увидев вернувшегося Антона — родители уже знали, кто такой Антон и всю предшествующую историю, — сошел с автобуса, чтобы с ним поговорить, ехать уже было не на чем, а тащить и магнитофон, и авоську с продуктами тяжело. Поэтому он решил, что важно в первую очередь принести продукты, которые мама поручила купить, а магнитофон он принесет вечером или завтра.

Эта маленькая ложь помогла Толе добиться послабления домашнего режима, которое было совершенно необходимо для выполнения плана.

Толя спросил, не будут ли мама и папа возражать, если он переберется спать под навес. Ночи очень теплые, в хате душно даже при открытом окне, а если вынести раскладушку под навес...

Мама, конечно, сказала «нет!». Что бы ни говорили или предлагали другие, она первым долгом обязательно

говорила «нет». Просто у нее такой рефлекс на любые просьбы и предложения. Почему нет? Мало ли что... Могут украсть...

— Меня украсть? — улыбнулся Толя. — Простыни или одеяла? В селе воров нет. Митька Казенный сидит, а другие...

— Тебя там загрызут комары!

— Ну, — сказал папа, — это все-таки комары, а не аллигаторы. Я думаю, до смерти не загрызут, а мальчику полезно быть больше на свежем воздухе. Насидится в комнатах зимой.

Вмешательство папы, а главное, аккуратность, с которой Толя выполнил ее поручения и тем растрогал материнское сердце, принесли победу. Чтобы закрепить ее, Толя тут же перетащил раскладушку под навес и расстелил постель.

— Да, и еще, мамочка, я хотел тебя попросить: дай мне, пожалуйста, какую-нибудь темную рубашку. Для города эта хороша, а здесь я пойду с ребятами в лес, на речку и могу испачкать. Просто жалко.

На такую благоразумную просьбу даже мама не смогла ответить отказом.

Толя переоделся, позавтракал и, не застав Юки дома, пошел на их условленное место сбора — к гречишному полю. Ребята были уже там.

Все произошло точно так, как он и предвидел. Достав картонную коробочку из-под каких-то маминых пилюль, он протянул ее Юке.

— Ты хотела видеть герб Ганыки? Вот, пожалуйста.

— Ой, какая прелесть!.. Где ты взял?

— Директор музея, — скромно сказал Толя, — показал мне рисунок герба, я по рисунку и сделал.

— Ну, ты такой молодец, я просто даже не знаю! — сказала Юка.

Конечно, специалист по геральдике или даже заурядный фалерист пренебрежительно отмахнулись бы от Толиного рукоделия. Антон и Сашко отнеслись к нему без всякого интереса, но Юка тут же приколола герб к своему синему платьицу и побежала к крохотной заводи, неподвижное зеркало которой тотчас подтвердило, как прекрасно идет ей эта первая в жизни подаренная брошка. Ей даже показалось, что она сама стала от этого хоть и самую чуточку, а все-таки какой-то другой.

— Давайте к делу, — сказал Толя, когда Юка, налюбовавшись собой и подарком, вернулась к ним. —

И уже устроил так, что буду спать во дворе и могу уйти когда нужно. Важно знать, когда село засыпает.

— Да в десять все спят, как куры, — сказал Сашко. — Даже дачники.

— Тогда давайте к десяти соберемся здесь. Возле развалин нельзя, могут увидеть. И вообще лучше к развалинам подходить отсюда, а не от села. Все ясно?

— Не, — сказал Сашко, — я не могу. Я в хате сплю. А отпрашиваться... Батько у меня такой, что его не обманешь. Сразу догадается, что шо-то не так...

— Ну что ж, придется нам вдвоем с Антоном.

— Ты, наверно, сошел с ума? — сказала Юка. — Как это вам вдвоем? А я?

— Но ведь, понимаешь... — замялся Толя. — Все-таки есть некоторый риск. Неизвестно, чем это кончится...

— И по-твоему, я боюсь риска? — металлическим голосом спросила Юка, и в глазах ее не осталось даже следов восхищения и благодарности, сиявших три минуты назад. Теперь они источали оскорбленную гордость и презрение. — Скажите, какой благородный рыцарь! Весь риск он берет на себя... И не убьют же в конце концов! — сказала Юка. — Пусть еще попробуют поймать...

Таким образом ссора угасла, не разгоревшись. Ребята вскоре накупались, и когда, проголодавшись, вернулись в Ганыши, село гудело от свежей сенсации: из Чугунова только что вернулись мать маленького Хомы и причитающая в голос Чеботариха — суд дал Митьке Казенному три года исправительно-трудовых. Иван Опанасович вернулся тоже и был мрачен: суд все-таки вынес особое определение насчет того, что он доверил огнестрельное оружие такому рецидивисту. Довольна была только мать Хомки и с удовольствием рассказывала каждому, кто хотел слушать, как все было на суде, как она выложила всю правду, не смолчала и про то, как она за своего Хомку приварила тому босяку и бандюге коромыслом, так что все долго смеялись, и как прокурор требовал пять лет, а дали три, а если Чеботариха плачет — пускай плачет: надо было раньше думать, с малолетства не давать волю тому хулигану...

Юка кое-как поглотала обед и побежала в свое убежище возле плетня. Ей не терпелось увидеть Лукьяниху, посмотреть, как она отнеслась к тому, что все заклинания ее оказались ерундой. Была у нее и тайная надежда на то, что придет Чеботариха и устроит скандал незадачливой колдунье, вроде как в кино, когда сеанс срывается

и зрители требуют деньги обратно. Она просидела у плетня до позднего вечера, но Чеботариха не пришла, а Лукьяниха не показалась. Юка спросила наконец хозяйку, и та сказала, что Лукьяниха со своими черепками уехала в Чугуново.

Толя хорошо знал свою маму и лег в постель заранее. Мама несколько раз приходила и спрашивала, не холодно ли ему и не дать ли теплое одеяло, не кусают ли его комары. Толя заверил, что ему жарко, одеяло не нужно, а на последний вопрос не ответил — притворился спящим. Наконец в комнате погас свет. Для страховки Толя полежал еще немного, потом — на всякий случай — сунул под одеяло ворох сена, придав ему форму лежащего тела, и вышел со двора.

Ганыши уже спали. Мерцающие в отдалении огоньки гасли один за другим. Луна еще только всходила, и село было окутано тем призрачным полусветом, который не позволяет ярко и отчетливо видеть предметы, но помогает быстро и уверенно идти. Толя предусмотрительно надел кеды, и его бесшумные шаги в тени плетней и вишняков не тревожили даже собак.

Антон и Юка были уже на месте. Большую часть дороги они прошли по шоссе, но за полкилометра до развалин свернули в лес.

— А что ты сказал Федору Михайловичу? — спросил Толя.

— Я рано ушел, его еще не было, — ответил Антон. — Оставил записку, чтобы он не волновался, — я вроде понес тебе твой рюкзак. Так и деду Харлампию сказал.

Толя одобрительно кивнул.

Они подошли к опушке леса. Метрах в тридцати гнетущей черной громадой высились развалины. В Ганышах по ту сторону Сокола было темно, только над входом в сельмаг возле шоссе покачивалась под легким ветерком тусклая лампочка фонаря.

— Эх, — сказал Антон, — одному надо было там спрятаться — там же каждого видно, кто пройдет.

— Не следует считать противника глупее себя, — шепотом ответил Толя. — Они так же, как и мы, могут зайти совсем с другой стороны. Поэтому ложиться и молчать.

Толя не заважничал, просто он осуществлял задуманную им серьезную и небезопасную операцию, и потому говорил очень деловито. Прикрывшись полой куртки, он

светил фонариком циферблат недавно подаренных папой часов — стрелки показывали без четверти одиннадцать. Потом они лежали и ждали, и это было самым трудным. Сколько ни всматривались они — никто не появлялся на освещенном пятачке перед сельмагом, никакие тени не скользили по мосту или пригорку, на котором стояли руины. Луна поднялась выше, тени стали гуще и чернее. И ко всему — стояла гнетущая тишина. Словно сговорившись, молчали даже лягушки в петляющем здесь Соколе. Ветерок, который дул вдоль поросшей кустарником поймы, сюда не достигал — грабовый массив слева преграждал ему путь, и верхушки соснового подроста стояли бесшумно и недвижимо, как незажженные свечи. Юка несколько раз толкала Толю и показывала на его наручные часы, но Толя лишь отрицательно покачивал головой: стрелки были неразличимы, а зажигать фонарик он опасался.

И вдруг все трое затаили дыхание. Нет, им не показалось. Вслед за легким глухим ударом послышался отчетливый звяк — металл чиркнул по камню. Еще и еще... Потом звяканье прекратилось и слышались лишь глухие удары отбрасываемой земли. Сердца ребят заколотились, будто они побежали во весь дух. Они посмотрели друг на друга, но увидели не глаза, а лишь черные провалы глазниц. Толя притянул к себе головы друзей и еле слышно прошептал:

— Юка остается здесь. Антон, пошли. И смотри — обратно не бежать! Там запас пустой ленты на несколько минут.

Он достал магнитофон. Темно-серый, он был еле различим в темноте. К счастью, у него не было светового индикатора, а все хромированные детали Толя еще дома предусмотрительно облепил черной бумагой.

Пригнувшись, стараясь не наступать на сухие ветки, ребята выбрались из густого соснового подроста. Толя все рассчитал. При дневном осмотре он нашел подходящее место и теперь уверенно направился к нему. Толстая стена старинной части постройки в одном месте поднималась почти до человеческого роста. Подойдя к нему, Антон пригнулся, а когда Толя взобрался ему на плечи, медленно выпрямился. Поставить магнитофон в углубление и нажать на клавиш было делом нескольких секунд. Антон снова пригнулся, Толя мягко спрыгнул с него. Снизу магнитофон совершенно не был заметен. Соблюдая те же предосторожности, они вернулись в подрост и легли.

Гнетущая тишина висела над развалинами, только в дальнем конце их глухо падали отбрасываемые комья земли. Ребята лежали и ждали; ждали и ждали, и все так же глухо падали комья земли, и больше ни звука не доносилось от развалин. Юку начала трясти первная дрожь, и она шепнула Толе в ухо:

— Сломался?

И в это время захныкал ребенок. Они знали, где стоит магнитофон, откуда должен идти звук, но он шел к ним не с какой-то определенной стороны, а отовсюду, даже снизу, словно из-под земли. Ребенок хныкал все громче, хныканье превратилось в плач, отчаянный, безнадежный плач горластого грудника, и вдруг совершенно непонятным образом перешел в звериный вой. Начавшись с низких нот, вой повышался, менял тональность, нарастал и звучал такой безысходной тоской, что Юка невольно прижала кулаки к щекам и сжалась.

Вой оборвался. Звяканье лопат и шум падающей земли тоже прекратились. Ребята переглянулись. Все трое подумали одно и то же: те, неизвестные копальщики, идут теперь и ищут, откуда доносились плач и вой. Они найдут магнитофон, а тогда... Сердце у Толи оборвалось — он только теперь понял, что может произойти, если магнитофон найдут...

Замерев, они вслушивались в тишину, боясь услышать в ней крадущиеся или решительные, смелые шаги. И вместо них снова услышали плач.

«Уа-уа!» — отчетливо и ясно заливался детский голос, и внезапно победный, злорадно-утробный вопль прорезал воздух. Это кричал Зверь. Зверь, которого никогда не знали окрестные леса. Огромное свирепое чудовище увидело свою жертву — дитя человеческое — и издало вопль радости: жертве не уйти. Ребенок жалобно плакал, а Зверь, предвкушая вкус крови и хруст костей беззащитного человечьего детеныша, исходил мерзким криком. Он орал все громче и упоеннее. Лишь изредка в гнусные вопли прорывалось безнадежное детское «уа-уа», а потом вместе с ними, откуда-то из них зародился леденящий душу вой... Все смешалось — плач, стоны, вой и чудовищные, невыносимые вопли Зверя...

Юка не могла больше выдержать, зажала уши, опустила голову, но в это время Толя подтолкнул ее. В призрачный полусвет от черной громады развалин оторвались две человеческие тени и сломя голову помчались вниз по косогору. А над ними вместо ужасающих диких

воплей каким-то невероятно-оглушительным, глубочайшим басом загремел издевательский хохот дьявола:

— Ах-ха-ха-ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха-ха!..

Он не вмещался в развалинах, метался меж стен, вырывался в проломы дверей и окон, падал сверху, настигал из-под земли, лесное эхо множило, удесятеряло его, и он гвоздил, гвоздил панически бегущие тени.

— Ах-ха-ха-ха-ха-ха!..

Тени перебежали через мост, и вдруг вторая из них упала. Дьявольский хохот оборвался, ребята слышали только, как громко стучат их сердца. Бежавший первым остановился, потом вернулся и наклонился над лежащим.

— Ой, — шепнула Юка, — неужели умер?

Второй человек помог упавшему встать, но тот, по-видимому, стоять не мог и снова осунулся на землю. Тогда первый поднял его, взмостил себе на закорки, и оба скрылись в тени вишняков.

— Ну-ну! — сказал Антон и покрутил головой.

— Да, Толя, — сказала Юка. — И как только ты такую гадость сумел сделать? Ведь это, если не знать, это же ужас! Это прямо с ума сойти можно!..

Толя был очень доволен результатами своих трудов, и его уязвило такое отношение товарищей, особенно Юки.

— Самые радикальные лекарства, — басовито сказал он, — сильнодействующие!

— За такое лекарство... — сказал Антон.

— Ладно, пошли, — оборвал Толя.

Они сняли магнитофон, уложили в рюкзак, и Антон снова надел его на плечи. Возвращались той же кружной дорогой. Немного не дойдя до лесничества, Юка и Толя свернули к Соколу, Антон направился к дому Харлампия.

Если переходить через Сокол посуху, то есть там, где когда-то был порог, а теперь просто торчали сухие камни, Дом туриста нельзя было миновать. Они издали заглянули во двор. Под деревом стояла переносная койка, и лежащий на ней человек громко храпел. В тени, отброшенной деревом, прохаживался человек с ружьем на плече — это был Бабиченко.

То ли сказалось нервное напряжение и усталость, то ли в души их закрались наконец запоздалые сомнения насчет разумности и последствий сделанного, но Юка и Толя почти не разговаривали. Юка только спросила:

— Отчего он упал, тот человек? Неужели сломал ногу?

— На ровном месте? — фыркнул Толя.

— Ломают и на ровном...

Угрызения совести появились в конце концов и у Толи, хотя, в сущности, оснований для них не было, были ведь только предположения. Поэтому едва Юка легла рядом с Галкой, которая даже не шелохнулась, а Толя очистил свою постель от сенной трухи и тоже лег, угрызения совести не помешали обоим мгновенно уснуть.

6

Антону не повезло — он попался, а вернее, сам себя поймал. На ночь они вынимали оконную раму, так как форточки в ней не было. Чтобы никого не будить, не отвечать на вопросы и въедливую воркотню тетки Катри, Антон заранее решил, что стучать в дверь не станет, а попросту влезет через окно. Федор Михайлович может и не услышать.

Антон просунул голову и руку в темный проем окна и осторожно положил рюкзак на пол. В то же мгновение совершенно бесшумно возле окна очутился Бой и лизнул его лицо во всю ширину своего языка. А так как радость встречи Бой обязательно выражал двумя, так сказать, оконечностями тела, то одновременно ударом хвоста он разбудил Федора Михайловича. Антон этого не видел. Вслед за головой и правой рукой он втиснул правое плечо и попытался просунуть левое, оно не лезло — оконный проем был слишком узок. Антон вытащил правое плечо и руку и попробовал протиснуться левой стороной, получилось еще хуже — он застрял в окне и не мог двинуться ни взад, ни вперед. Антон взмок и как-то сразу обессилел. В этот момент в глаза ему ударил свет фонарика и зазвучал невозмутимый голос Федора Михайловича, будто он вовсе не спал, никто его не будил и ничего особенного не происходит.

— Очень интересно! — сказал Федор Михайлович. — Никогда не думал, что увижу живую иллюстрацию к евангельской притче о верблюде, пролезающем через игольное ушко... — Федор Михайлович отложил фонарик в сторону. — Почему же ты остановился? Продолжай, продолжай, а мы с Боем посмотрим это чрезвычайно назидательное зрелище...

— Окно маленькое, — пристыженно сказал Антон. — Я думал, оно больше.

— Вот-вот! — сочувственно сказал Федор Михайлович. — Наверно, у верблюда тоже была наивная надеж-

да, что игольное ушко несколько шире... Впрочем, там ничего не было сказано, что верблюду удалось это мероприятие... Да-да, там сказано, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем кому-то там войти в царство небесное... Итак, этим путем тебе явно не удалось войти, однако останавливаться в таком положении вряд ли следует. Ты затянул собой окно, а свежий воздух нужен не только твоему тылу, но и нам тоже. Поэтому давай задний ход и иди к двери... Нет, Бой, лежать! Торжественной встречи с фанфарами и литаврами не будет... Час ночи, — сказал Федор Михайлович. — Я обещал блюсти твое физическое и нравственное здоровье. Что я теперь скажу твоей тете? Похоже, что вместе с обетом я взвалил на себя тяжкий крест... Ложись и спи, а завтра мы попытаемся выяснить размеры этого креста, иными словами, ты мне расскажешь, в каких оргиях участвовал...

— Итак, — сказал Федор Михайлович после завтрака, — что содержит эта таинственная котомка и откуда она взялась? Ага, магнитофон... Не возражаешь? — спросил он, собираясь включить.

— Только не здесь! — испуганно сказал Антон.

— Ага! Ко всему еще — ужасный секрет... А если не здесь, то где?

— Ну, в лесу, что ли... Чтобы людей не было.

Они вышли из дома, и Бой, мотая черным факелом хвоста, уверенно направился знакомой дорогой в лес, к гречишному полю. Антон и Федор Михайлович пошли следом и увидели издали, как черное пятно и внезапно появившееся темно-голубое бросились друг к другу и покатились по земле, услышали, как забухал Бой...

Бесконечно счастливая Юка, стоя на коленях, пыталась поймать Боя за шею, тот увертывался, но ухитрялся лизнуть ее в лицо, отпрыгивал, бухал и снова подбегал, чтобы лизнуть и снова отпрянуть. Рядом стоял Толя и снисходительно наблюдал эти обоюдные восторги. Он первый заметил подходивших и сказал Юке, та вскочила.

— Ой, дядя Федя, здравствуйте! — закричала она. — Как я рада вас...

Она увидела магнитофон в руках Федора Михайловича, осеклась и растерянно посмотрела на Толю, потом на Антона. Толины уши начали наливаться краской, Антона же почему-то необыкновенно заинтересовало гречишное поле, и он не сводил с него глаз.

— Ну, а при них можно? — спросил Федор Михайлович. Антон кивнул. — Так вот, граждане, — сказал Федор Михайлович, садясь, — сегодня Антон явился поздно ночью, почему-то вообразил себя бесплотным духом и пытался пройти в дедову хату сквозь стену. Точнее, через окно, но оно таких размеров, что имеет характер чисто символический. А утром он почему-то боялся познакомить меня на людях с музыкой, под которую ночью веселился... Судя по вашим растерянным физиономиям, вы тоже участвовали в ночной оргии... И он тоже? Привет, Сашко! — помахал он рукой Сашку, который подошел к ним с застенчиво-радостной улыбкой.

— Сашка не было, — сказал Антон.

— Ну так как — вы посвятите меня в тайну или она умрет вместе с вами?

— Я — «за»! — сказала Юка. — Ну, в самом деле, ребята... Дядя Федя же все понимает!..

— Вот спасибо! — сказал Федор Михайлович. — Если бы так всегда думало мое начальство...

— В конце концов... — сказал Толя, слегка пожимая плечами. — Разрешите, я сам прокручу.

Он перемотал ленту и включил воспроизведение. Услышав вой и душераздирающие утробные вопли, Бой приподнялся, шерсть на его загривке вздыбилась. Федор Михайлович успокоительно похлопал его по холке, и тот снова лег. Отгремел приглушенный хохот Мефистофеля, и Толя выключил магнитофон.

— Н-да, — сказал Федор Михайлович. — Довольно впечатляюще... И что означает эта мерзопакостная дьяволиада? Новый номер художественной самодеятельности под названием «Шабаш ведьм в Семигорском лесу»? У вас разбегутся все слушатели!

— Еще как бежали! — фыркнул Антон.

— Там? — впился в него глазами Сашко.

— Ну да!

— А никто не падал?

— Упал один... — сказала Юка. — А откуда?..

— Тогда я знаю, кто копал, — уже спокойно и деловито сказал Сашко. — То Яшка Яремчук с верхнего кутка. От них раненько до Голованихи прибегали, ну, до медсестры, колхозного головы жинки...

— Неужели ногу сломал? — ужаснулась Юка.

— Вроде не, сказала Голованиха. Растяжение. Или связки порватые.

— Что все это значит, граждане? — сказал Федор

Михайлович. — Что вы натворили? А ну, выкладывайте!

И Юка выложила все. О приезде американца, болезни переводчика, о непонятных слухах, и как начал кто-то копать в развалинах, и как они решили вышибить клин клином, раз навсегда отпугнуть искателей кладов от опасных руин... Федор Михайлович схватился за голову и сказал трагическим голосом:

— Боже мой! Боже мой! Что вы делаете со мною? И что вы делаете с собой?! — Он опустил руки и уже своим обычным голосом сказал: — Ну ладно! Я не стану объяснять вам, кто вы такие...

— Дураки, да? — спросила Юка.

— Если бы! Тогда какой с вас спрос? Тогда все в порядке вещей и других поступков от вас нечего ждать... Нет! Назвать вас дураками, это значило бы сильно польстить вам, а лесть не в моих привычках... Клин клином! Подобное подобным! Есть суеверы? Сплотим и удесятерим их ряды! Так выходит, а? Ударим мракобесием по темноте и невежеству?

Краска от ушей разлилась по Толиным щекам, и теперь уже он старательно гипнотизировал гречишное поле.

— Но ведь мы хотели как лучше, — сказала Юка.

— Вы хотели! Довольно давно известно, что дорога в ад вымощена добрыми намерениями... Но я не допущу, чтобы и вы внесли свой вклад в это дорожное строительство... Кто об этом знает? — показал он на магнитофон.

— Мы. Только мы, — сказал Толя.

— Немедленно стереть. И откусить собственные языки, чтобы никто не узнал. Люди почему-то не любят, когда подобными способами их спасают от суеверий, и вместе с магнитофоном могут запросто переломать вам ребра...

— Точно! — сказал Сашко.

Толя перемотал ленту и включил стирание записи.

— С лентой просто, — сказал Федор Михайлович. — А что делать с вашими мозгами, которые от этих тайн и происшествий съехали набекрень?.. Самые мудрые мысли — простые мысли, но вы еще слишком молоды, чтобы это понимать. И вам, конечно, не пришло в голову, что прямой путь — наилучший путь к истине. Если все началось с приезда американца, то и объяснения надо было искать у него.

— Так что мы могли, когда переводчика нет? — сказала Юка.

— Если вы не смогли, может, мне удастся зацепить конец ниточки, чтобы размотать весь нелепый клубок?..

Как лучше идти в этот местный рай для отпускников, Дом туриста?

— До американца? — сказал Сашко. — Вон он сам идет.

Из-за кустов справа показался мистер Ган. Широко размахнувшись, он забросил блесну почти под левый берег и начал сматывать леску. Крючок был пуст. Мистер Ган прошел несколько метров, поравнялся с ребятами, сидевшими под ветлой, увидел их и осклабился.

— Oh, boys! Hello! — воскликнул он. — How are you? [1]

— How d'you do? [2] — вставая, ответил Федор Михайлович.

Мистер Ган на мгновение осекся, потом раздвинул улыбку до крайних пределов возможного, отбросил спиннинг и закричал:

— Do you speak English? [3]

— Yes, I do, but I don't know very much English [4].

— It's really fine! — закричал мистер Ган.— After this peace of news I just feel wonderful [5].

Вскинув руку приветственным жестом и вместе с тем протягивая ее для рукопожатия, мистер Ган зашагал к Федору Михайловичу.

— I'm glad, I'm awfully glad [6],— осклабясь и нещадно тряся руку Федора Михайловича, повторил мистер Ган.

Лежавший в тени вербы Бой поднялся, распушил хвост, пружинистым шагом подошел к незнакомцу и вытянул шею, принюхиваясь. Восторг мистера Гана мгновенно приутих.

— It's just amazing! The gigantic dog! — закричал он, но уже как бы шепотом. — Is it Labrador? [7]

— No, a Newfoundland [8]. Все в порядке, Бой, лежать! — сказал Федор Михайлович.

Бой лег, но уже не развалясь на боку в тени вербы, как прежде, а рядом с Федором Михайловичем в напряженной позе чуткого, ежесекундно готового вскочить сфинкса.

---

[1] Ребята! Привет! Как поживаете? *(англ.)*
[2] Здравствуйте! *(англ.)*
[3] Вы говорите по-английски? *(англ.)*
[4] Да, но я мало знаю английский *(англ.)*.
[5] Очень хорошо. Это известие меня так обрадовало — для меня это просто замечательно *(англ.)*.
[6] Я рад. Очень рад *(англ.)*.
[7] Потрясающе! Огромная собака! Это лабрадор? *(англ.)*
[8] Нет, это ньюфаундленд *(англ.)*.

Мистер Ган с заметным облегчением перевел дыхание, обернулся к ребятам.

— Hello, boys! What are you... [1]

Он внезапно замолчал и странно напряженным взглядом уставился на Юку. Улыбка еще растягивала его рот, но она поспешно гасла, губы сомкнулись в твердую скорбную линию, а он все смотрел и смотрел, словно силясь что-то вспомнить или сообразить. Под этим напряженным взглядом Юке стало не по себе, она оглянулась, как бы ища защиты.

— What's wrong? [2] — спросил Федор Михайлович.

— Oh,— спохватился мистер Ган.— I beg your pardon,— сказал он Юке и повернулся к Федору Михайловичу.— Everythings all right. Never mind! Is the girl your daughter? [3]

— No, she isn't [4].

— So, she isn't. If you don't mind. — Он достал свою коробочку с яркими леденцами и протянул ребятам. — Please have some [5]. Кон-фетта, да? Ландрин! Хорошо.

Брови Федора Михайловича приподнялись, но тотчас вернулись на свое место. Ребята, стесняясь, взяли по штучке. Стеснялись они не брать, а того, что их, как маленьких, угощали конфетами. Леденцы были кисленькие, с ментолом, и приятно холодили во рту.

— Давайте сядем, что ли, — сказал Федор Михайлович.

— Take you pleace! [6]

Они сели как бы в кружок, так что американец и Федор Михайлович оказались друг против друга.

— Can I give him? [7] — спросил мистер Ган, указывая глазами на Боя.

— Please, but he shalln't take! [8]

Мистер Ган положил перед Боем несколько леденцов, тот понюхал и равнодушно поднял голову.

---

[1] Ребята! Что вы... *(англ.)*
[2] Что случилось? *(англ.)*
[3] Простите, пожалуйста. Пустяки, не стоит говорить об этом. Девочка ваша дочь? *(англ.)*.
[4] Нет *(англ.)*.
[5] Прекрасно... Если вы ничего не имеете против... Берите, пожалуйста *(англ.)*.
[6] Садитесь! *(англ.)*.
[7] Могу ли я дать ему? *(англ.)*
[8] Пожалуйста, только он не возьмет! *(англ.)*

— О! — уважительно покачал головой мистер Ган. — It's really fine [1].

Он говорил, хлопотал над леденцами, но взгляд его то и дело возвращался к Юке, словно она кого-то напоминала ему, или он не понимал, зачем эта девочка оказалась здесь, и наконец не выдержал:

— May I know your name, please? [2]

— Он спрашивает, как тебя зовут, — сказал Федор Михайлович.

— Я понимаю, — ответила Юка. — Юлия. My name is Julia [3].

— О, Julia! — восхитился мистер Ган. — A most beautiful name! But where's your Romeo? [4]

Антон и Сашко ничего не поняли, Толя понял и покраснел. Юка засмеялась.

— Еще пока нет.

— He will be! — убежденно сказал мистер Ган и необычайно серьезно, даже торжественно добавил: — May all your dreams come true! [5]

Юка взглянула на Федора Михайловича.

— Он желает, чтобы исполнились все твои мечты, — перевел тот.

— Большое спасибо! — сказала Юка.

— Не иначе, как он в тебя влюбился! — сказал Антон и захохотал.

— Фу, какой ты дурак! — рассердилась Юка и даже покраснела.

Мистер Ган, усмехаясь, покивал головой каким-то своим мыслям, потом встал на колени, из заднего кармана брюк достал плоскую флягу.

— Shall we have a drink? [6]

— No, thanks, — сказал Федор Михайлович. — It's too early in the morning [7].

— Quite true, - охотно согласился мистер Ган. — All is good... What's the Russian for... [8] Во бла-го-вре-мении...

— Ого! — сказал Федор Михайлович. — Откуда вы так хорошо знаете русский язык?

[1] Очень хорошо *(англ.)*.
[2] Могу ли я узнать ваше имя? *(англ.)*
[3] Мое имя Юля *(англ.)*.
[4] О, Юлия! Прекрасное имя! Но где же ваш Ромео? *(англ.)*
[5] Будет! Пусть осуществятся все ваши мечты! *(англ.)*
[6] Выпьем? *(англ.)*
[7] Нет, спасибо. Слишком рано *(англ.)*.
[8] Это правда. Все хорошо... Как это по-русски? *(англ.)*

— Oh, no. It's a very difficult language, but it's a wonderful language too. As well as the country, as well as its people! A great people and a great country! [1] — мистер Ган, как для объятия, широко развел руки. — Матýшка-Русь!.. А?

Федор Михайлович, прищурясь, внимательно смотрел на него, ребята не поняли, что сказал американец, но их задачило волнение, вдруг прозвучавшее в его речи.

Мистер Ган, словно устыдясь своего порыва, снова сел как прежде — опираясь о землю коленями, а седалищем о задники башмаков, и замолчал, уставясь в землю.

— I say, Mr. Gun, — сказал Федор Михайлович. — I'm sorry, but I think I must do it anyway. There is a question. I should like to ask you. Who are you? [2]

— I'm an American citizen. A tourist [3].

— I know, and I ask you again. Who are you? [4]

— I don't get you. What d'you mean? [5]

И без того нависшие брови американца сошлись в сплошную черную полосу.

— Вы прекрасно понимаете, и для полной ясности я предлагаю вам перейти на родной язык.

Ган, упершись кулаками в колени, резко склонился в сторону Федора Михайловича, и в то же мгновение Бой припал на передние лапы, Федор Михайлович поспешно схватил его за холку и с трудом вернул в прежнее положение.

— Прошу вас не делать резких движений. И тем более не хвататься за оружие. Бой этого не переносит и может порядком попортить вас.

Мистер Ган не шелохнулся. Он в упор смотрел на Федора Михайловича, лицо его начало медленно и страшно бледнеть. Ошарашенные ребята не сводили с него глаз, и им казалось, что вместе с краской из этого еще минуту назад такого большого и шумного человека вытекает сама жизнь. Губы его стали пепельно-серыми. Несколько раз они беззвучно шевельнулись и снова сжались жесткой, скорбной складкой. Наконец мистер

[1] О, нет! Это очень трудный язык. Но и прекрасный язык, как и страна, как и народ! Великий народ и великая страна! *(англ.)*
[2] Послушайте, мистер Ган. Простите, но я должен сделать это. У меня есть вопрос, который я хотел бы задать вам. Кто вы? *(англ.)*
[3] Американский гражданин, турист *(англ.)*.
[4] Я знаю это. И я спрашиваю — кто вы? *(англ.)*
[5] Не понимаю вас. Что вы имеете в виду? *(англ.)*

Ган заговорил, но как не похож был этот хриплый, натужный голос на его прежний...

— У меня нет оружия, я не диверсант, — сказал он. — Я — Ганыка...

Это признание было словно стержнем, на котором он держался, и стоило ему вырваться, как тело мистера Гана обмякло, обвисло и даже как бы сразу стало меньше.

В каком-то неожиданно бабьем смятении Юкины ладони взметнулись к щекам. Ребята растерянно зыркнули на Федора Михайловича и снова уставились на американца.

— Ганыка? — спросил Федор Михайлович. — Тот самый, помещик?

— Нет, сын. Помещик умер. Давно... — И, глядя исподлобья на Федора Михайловича, Ганыка спросил: — А вы — агент ка-ге-бе?

— Нет, — сухо ответил Федор Михайлович. — Я лесовод.

— Однако выследили меня?

— Я такими вещами не занимаюсь и вообще о вашем существовании узнал какой-нибудь час назад.

— Но как вы догадались, что я — русский?

— Вы слишком старательно притворялись. Если у человека болит нога, он, естественно, хромает. Но если он хромает то на одну, то на другую ногу... Я плохо знаю английский, русский несколько лучше. Вот своим русским языком вы себя и выдали. Вы говорили неправильно, но сама эта неправильность была неправильной. Поляк может сказать «мату́шка», но англичанин, как и русский, скажет «ма́тушка» — он привык ставить ударение на первом слоге. «Во благовременин» даже по слогам иностранец правильно произнести не в состоянии, он обязательно его исказит, сделает хотя бы одну ошибку. А «ландри́н» выдал вас с головой. До революции некий кустарь-лоточник Федор Ла́ндрин торговал леденцами вразнос, выбился в купцы. Его именем стали называть леденцы, а так как в России привыкли думать, что все лучшее идет из-за границы, фамилию купца, которая превратилась в название леденцов, стали произносить на французский лад — «ландри́н». В революцию исчез Ла́ндрин, слово «ландри́н» умерло. Кто мог теперь употребить это слово? Только коренной русак, но оторванный от стихии русского языка, сохранивший дореволюционную лексику. И наконец, помимо всего, вы отлично поня-

ли вопрос, который я задал по-русски. Как видите, все довольно просто.

— О нет, совсем не просто! — сказал мистер Ган, глядя поверх ребячьих голов.

Над гречишным полем с самолетным гулом барражировали шмели и пчелы, на скале левого берега медленно покачивались кроны сосен, их прекрасные двойники струились в речном плесе, беззвучно текли и никуда не могли утечь, нагретый воздух доносил запахи аира и лещины, и даже неугомонные лягушки затихли в щемящем душу полуденном покое. И нет покоя только для него. Изобличен и пойман, как завравшийся мальчишка... Кто этот человек с канадской собакой? И при чем тут дети?.. Но в конце концов, что, собственно, произошло? Узнали, что Ган — бывший Ганыка... Ну и что? Преступления он не совершил, никаких правил не нарушил. Что могут сделать ему, гражданину USA?

Напряжение, сковавшее мистера Гана, ослабело, голос утратил натужную хрипотцу. Он говорил по-русски без ошибок, но замедленность и старательность произношения показывали, что язык этот ему уже нужно вспоминать. Утратив напускную оживленность, лицо оказалось значительно старше, чем виделось прежде, — носогубные складки резче и глубже, в румянце отчетливо проступили багровые узелки склеротичных капилляров.

— Остальное — не просто, — согласился Федор Михайлович. — Вот вы выдаете себя не за того, кем на самом деле являетесь, оказывается, вы не мистер Ган, а Ганыка...

— Был Ганыка... Отец переменил фамилию, когда принимал американское гражданство. И не для того, чтобы «замести следы», а потому что ее сократили сами американцы: вместо двух-трех слогов они всегда предпочитают произносить один. Так Ганыка превратился в Гана...

— Однако здесь никто не знал этого, а вы не спешили сообщить, играли роль этакого простоватого малого, рубахи-парня. На самом деле вы, кажется, не такой уж развеселый балагур... Иными словами, вы притворялись.

— Я не знал, как здесь отнесутся ко мне. Хотя у отца, в сущности, не было имения, а только тот нелепо большой дом, но все равно считалось — помещик...

— И вы боялись, что вас, помещика, немедленно поставят к стенке? — Ганыка пожал плечами. — Для

взрослых вы — реликт необратимого прошлого. А для этих молодых людей, которые на наших глазах могут ежесекундно лопнуть от неутоленного любопытства, для них вы просто вроде ожившего мамонта или динозавра...

Юка вспыхнула, Антон заулыбался во весь рот, у Толи порозовели уши, и только Сашко остался напряженно серьезен. Взгляд Ганыки скользнул по лицам ребят и снова задержался на Юке.

— Есть другое определение, — сказал Ганыка, — но они не учат Священного писания и не знают притчи о блудном сыне... С той разницей, что здесь блудный сын вернулся в отчий дом, где уже никто не ждет его. И где от самого дома остались одни развалины.

— Блудный сын вернулся открыто, — сказал Федор Михайлович. — А вы крадучись, аки тать...

— Открыто возвращались знаменитые люди, у них — имена, популярность... А кто я? Даже отец никогда не занимался политикой. Ни до, ни после революции... Он был мягкий, даже безвольный и очень добрый человек. И глубоко несчастный. Он не мог себе простить панического бегства и часто повторял, что бегут от своей родины трусы или негодяи. Негодяем он не был... А я... Что ж я? От политики был еще дальше, чем он. Да и какой может быть политик из владельца провинциальной drugstore — это, кажется, помесь аптеки с забегаловкой?

— Забегаловкой? — не понял Ганыка.

— Закусочной, кафе...

— Да, да... У вас это считается — капиталист?

— Не знаю, не знаю... Предприниматель, во всяком случае. Чтобы купить такую аптеку, нужно, наверно, немало денег?

— Я не покупал аптеку. Я учился на фармацевта и зарабатывал себе на жизнь чем придется. Потом меня взял к себе в помощники владелец drugstore... Я женился на его дочери, а после смерти тестя стал хозяином аптеки. Так что, если я капиталист, то не «мульти», а «мини» или даже «микро»...

— М-да... — сказал Федор Михайлович. — Там, возможно, все ясно, но тут вокруг вас многовато тайн. И таинственное или кажущееся таинственным поведение ваше вызвало изрядное смятение умов.

Брови Ганыки удивленно поднялись.

— Но почему? Разве я делал что-то недозволенное? Ел, спал, ловил рыбу...

— Вот именно — ловили рыбу. Что могли подумать о вас местные жители? Рыбы в реке нет, а он ловит. Значит, это ловля — для отвода глаз? Почему американцу вздумалось копать червей в руинах, где, как здесь прекрасно знают, червей быть не может? И вообще — зачем ему черви, если ловит он спиннингом, для которого никакая наживка не нужна, приманкой служит блесна?

Ганыка покраснел и, пристыженно улыбаясь, поднял руки.

— Сдаюсь, сдаюсь... Только ничего таинственного в моих поступках нет. Я просто не умею ловить рыбу. Никогда не ловил и не знаю, как это делается — когда нужны черви, а когда нет и где их добывают. В Америке их можно купить. Готовых, в различной фасовке. Но не везти же было червей из одного полушария в другое?

— Вы упустили прекрасную возможность повеселить таможенников... Как бы там ни было, совершая свои странные поступки, вы не учитывали психологию ваших бывших земляков. А она отличается, с одной стороны, сугубым реализмом, житейской практичностью, с другой же стороны — буйной фантазией, которую не ограничивают не только узкие рамки высшего образования, но у многих не стеснены даже средним. В силу первой особенности здешний житель просто не может допустить мысли, что человек будет что-либо делать, если это не принесет практической пользы, а в силу второй особенности эта предполагаемая выгода или польза могут приобрести в его воображении характер самый фантастический — от горшка с червонцами до миллионов Бегумы или алмазов Великого Могола. Впрочем, о Бегуме и Моголе я упомянул для красного словца.

— Какие сокровища? Ведь я только червей!..

— Но вы никому этого не сказали. А если б и сказали, вам бы наверняка не поверили. Правильно, Сашко?

— Точно! — уверенно сказал тот.

— Но почему же, господи боже мой? Ведь я говорю правду!

— Человек создание сложное, очевидной правде он привык не верить и, как принято у критиков говорить, старается в поступках ближнего отыскать подтекст — правду, на поверхности не лежащую. Поставьте себя на место здешнего жителя. Как он будет рассуждать? Из-за океана приехал человек. Не куда-нибудь, а именно сюда,

в Ганыши. Турист? Знаем мы этих туристов! Они или шпионят, или в Большом театре смотрят «Спящую красавицу». Здесь шпионить не за кем, «Спящей красавицы» тоже нет. Значит, у человека есть какая-то своя, тайная цель. Кто же поверит, что человек ехал на другой конец света только для того, чтобы пошататься здесь с удочкой? Да он же втирает очки! Или, по-местному говоря, бреше як собака. Так, Сашко?

— А конечно! — подтвердил Сашко.

— Остальное проще пареной репы: приехал человек и что-то искал в развалинах. Значит, надо и самим поискать там. С какой стати отдавать какому-то американцу то, что там скрыто? И нашлись охотники искать то, чего не прятали... Мне бы хотелось, мистер Ган, поставить все точки над «i». Если вы не умеете ловить рыбу, зачем вы притворяетесь, что ловите ее?

— Теперь уже незачем притворяться... Меня увезли из России мальчишкой... Мальчишкой, который очень мало понимал, но, как оказалось, много запомнил... Я вырос, состарился и вот — поседел, но воспоминания о родной земле — они до самой смерти терзали моего отца, быть может, и ускорили его смерть... — за все годы воспоминания не потускнели и не угасли. И вот почти через пятьдесят лет стала возможной поездка на родину... Надо побывать в шкуре эмигранта, чтобы понять, что это значит... — Голос мистера Гана подозрительно дрогнул, он отвернулся к гречишному полю и помолчал. — Встреча с родиной через пятьдесят лет... Быть может, вам покажется наивным, сентиментальным, но мне нестерпима была мысль о каких-то свидетелях встречи после стольких лет разлуки. Это не спектакль, здесь невыносимы зрители. Горькую радость такой встречи нужно пережить в одиночестве и молчании... Я не знал, разрешат ли мне поехать в родные места. Но если б удалось, как мог я мотивировать, объяснить желание вдруг остаться одному, без спутников? И перед самым отъездом меня осенило: что может быть естественнее желания рыбака остаться одному? Я бросился в шоп и купил самые современные удочки, как заверил меня владелец шопа. Он же и объяснил, как надо их забрасывать. Вот и все.

— Вы говорите о встрече с родиной, но вы американский гражданин.

— Это совсем другое... Можно стать гражданином любой страны и не обрести родины... Вам этого не по-

нять, вы с ней не разлучались. И не дай вам бог отведать горького хлеба изгнанников.

— Вы верующий?

— И баллардист.

— Что это значит?

— Есть такое вероучение, — сдержанно ответил мистер Ган. — Вам, атеисту, это не интересно.

— Интересно, но я не настаиваю, если не хотите об этом. Не пойму только одного: почему вы говорите об изгнанниках? Вы беглецы, а не изгнанники.

— Так или иначе — песчинки, подхваченные историческим вихрем...

— Не льстите себе. Песчаные вихри, они горы стирают до основания. А эмигранты — просто песок, просыпавшийся между пальцами истории.

— Важно, что лишились родины... А беглецы или изгнанники — какая разница?

— Огромная! Изгнанника лишают родины, беглец сам себя лишает ее. Изгнанники борются, беглецы прячутся за чужим забором и оттуда кукиш кажут — ага, посмотрим, как вы без нас обойдетесь...

— Вы осуждаете эмиграцию... А ведь право на эмиграцию теперь общепризнанно, оно даже указано в Декларации прав человека, принятой ООН.

— Вовсе я не осуждаю эмиграцию! По мне, так пусвай каждый едет, куда ему вздумается. Только, если ты ищешь, где тебе лучше, — не корчи из себя мученика. И не умею сочувствовать ловчилам, притворяющимся жертвами, и драпающим героям.

Мистер Ган прищурился и отрицательно покачал указательным пальцем.

— Вы не есть лесовод! Если вы не ка-ге-бе, то вы — политический работник. Пропаганда, а?

— Нет, — сказал Федор Михайлович, — я действительно лесовод и не занимаюсь пропагандой. Но я люблю историю, немножко знаю ее и не выношу, когда свои промахи и ошибки люди взваливают на историю. История за людей ничего не делает, они сами делают историю. И за то, какой они ее сделали, сами и должны отвечать...

— То, что вы говорите, очень интересно, только вряд ли справедливо. Человек может отвечать за свои поступки, но не за поступки других.

— Должен! Иначе он никогда не будет свободным.

— Какая же свобода в том, чтобы сделать человека

ответственным за все? Он не всегда может ответить сам за себя.

— Пока человек делит мир на «я» и все остальное, он — потенциальный раб, он одинок и слаб, поэтому обязательно покоряется кому-то, и тут возможна любая тирания. На этот случай человек придумал множество подлых оправданий: «моя хата с краю», «сверху виднее», «своя рубашка ближе к телу» и так далее. А вот когда человек будет чувствовать свою ответственность з а в с е, он будет поступать по отношению к другим так же, как к самому себе, делать не потому, что его заставляют или обязывают, а потому, что сам считает это необходимым для него и для других.

— Так откуда ж то знать, — спросил Сашко, — что для всех хорошо? Каждый думает, шо он самый разумный, и тянет на свое...

— Чем интеллигентнее человек, тем шире его кругозор, интересы, тем больше он думает не только о себе, но и о других. Интеллигентность — не образовательная категория, а нравственная: можно быть очень образованным и безнравственным человеком. Интеллигентность — это желание и способность сострадать другим.

— Ну хорошо, — сказала Юка, — насчет будущего я согласна. А прошлое? Разве мы или кто другой должны отвечать за то, что раньше жили какие-то люди, чего-то там натворили, а мы за них отвечай... С какой стати? Разве это справедливо?

— Наверно, все-таки справедливо. Ты ведь не считаешь неправильным, что потомки пользуются успехами и достижениями своих предков?

— Конечно, они наследуют все лучшее. Например, культуру, искусство.

— А плохое? Кому его отдашь, Камеруну или Бразилии? Оно и хорошо бы кому-нибудь сплавить, только как? Наследство нераздельно, и хотим мы этого или не хотим, а приходится нам отвечать за своих предков и иной раз тяжело платить за грехи отцов.

— Да, да, — сказал мистер Ган. — Это верно. Последующим поколениям приходится тяжко расплачиваться за легкомыслие и ошибки предков... I'm sorry, — перебил он сам себя, поворачиваясь к Юке. — Простите! Я давно хочу спросить: что это у вас за значок?

— Это не значок, а герб. Мне понравился герб над входом в ганыкинский дом, а Толя... Ой! — спохватилась

она и покраснела. — Это же ваш герб. Толя перерисовал его на гербовника и... Я... я сейчас сниму...

— Нет, нет, — сказал мистер Ган. — Пожалуйста. Для вас ведь это просто значок, брошка.

— А почему, — сказала Юка, — почему сабли на нем пронзают сердце?

— Не знаю, почему неизвестный предок наш избрал такой треб. Для моего пращура он оказался пророческим...

— Из-за того проклятья?

— Какого проклятья? — удивился Ган.

— Ну как же... Когда этот ваш... Ну, я не знаю, как называется предок, который поселился здесь. Он был ужасный негодяй, прямо изверг, всех терзал и мучил, а потом отнял невесту у своего крепостного. И тогда в грозовую ночь она на коленях трижды обошла дом, проклиная весь помещичий род до седьмого колена, а сама бросилась в омут и утонула. И тут началась ужасная гроза и буря, дом загорелся сразу со всех сторон, помещику с сыном спасли, а сам помещик сгорел заживо и его трижды хоронили, потому как земля его не принимала, выбрасывала из могилы. И с тех пор в каждом поколении происходили ужасные несчастья, а старший в роде погибал страшной смертью, когда за ним приходили с того света... Вот! — И Юка обвела всех торжествующим взглядом.

Антон и Сашко ошарашенно смотрели на нее, у мистера Гана отвисла челюсть, Толя иронически улыбался, а Федор Михайлович весело хохотал.

— Боже мой! — сказал мистер Ган. — Откуда вы все это взяли? Кто наплел вам эту дикую чепуху?

— Мне рассказала... Ну, старушка одна.

— Нет! — решительно сказал мистер Ган. — Возможно, это разочарует вас, но ничего такого не было! Никто не проклинал наш род. Мой пращур не отнимал чужих невест, и за ним вовсе не приходили с того света...

часть вторая

Известно, нет событий без следа:
Прошедшее, прискорбно или мило,
Ни личностям доселе никогда,
Ни нациям с рук даром не сходило.

А. К. ТОЛСТОЙ

1

Из открытого окна тянула резкая струя осенней прохлады, колебала пламя свечей, но не могла преодолеть их устоявшийся чад. Зябко потирая руки, король стоял возле камина и поворачивался к огню то одним, то другим боком.

— Нет, — говорил он, раздвигая фалды полукафтана, — я никогда не смогу понять маркизу. На охоте прохлада неизбежна. Но почему нужно мерзнуть в собственном дворце? Впрочем, от холода страдаю, кажется, только я, а вам, граф, все нипочем?

— Здесь совсем не холодно, ваше величество, — сказал высоколобый мужчина в темно-голубом полукафтане, — напротив, скорее, жарко.

— Ну вот, ну вот — из этого следует, что король избалован, король изнежен... Хотя так ведь и должно быть? — Граф склонил голову, как бы соглашаясь. — А вы, я вижу, остаетесь верны себе — закалены, как истый спартанец, неизменный простой кафтан и все то же странное кольцо?

— Да, ваше величество.

— Вы как-то говорили, кто вам его подарил, но я запамятовал.

— Чандрагупта Викрамадитья, глава великой империи Гупта.

— Почему я о нем ничего не знаю? Где это?

— В Индии, ваше величество.

— Может быть, с его помощью мы сможем вернуть наши потери?

— Это весьма затруднительно, ваше величество.

— Почему?

— Он умер. И довольно давно: тысячу триста сорок восемь лет назад.

— Как? А кольцо? Вы говорите, он сам подарил вам кольцо. Что же он, с того света приходил к вам?

— Нет, зачем?! Мы виделись, когда он был жив.

— Вот как? Ха-ха... У вас странный способ шутить, граф. Вы что, считаете меня дураком?

— Что вы, ваше величество!.. Я просто верю в силу вашего воображения. Вам достаточно небольшого усилия, и вы прекрасно представите себе, как это произошло...

— Вы думаете? — Король искоса посмотрел на него. — Хорошо, я как-нибудь попробую...

Заметив, что опущенные кисти рук побагровели от притока крови, король поднял их до уровня лица и начал ими потрихивать, сгоняя кровь.

— Чанда... Нет, произнести это немыслимо! Если он был таким великим правителем, как вы говорите, ему следовало выбрать другое имя. Такое потомки непременно забудут или переврут, и он перестанет быть великим... Вообще быть великим — ужасно утомительно. Прежде всего эти проклятые деньги, которых почему-то всегда мало. Хорошо было Мидасу... Кстати, граф, вы еще не изобрели способа превращать все в золото? Он бы мне очень пригодился...

— Это бесполезно, ваше величество. Оттого что у вас будет больше золота, вы будете не богаче, а беднее...

— То есть как?

— Оно станет дешевле... Представьте, что в стране золота столько же, сколько, например, железа. Оно не будет иметь никакой цены. Чем бы вы платили своим поставщикам, слугам? На что содержали армию и флот? Свой двор, наконец?

— Да! Это было бы ужасно... Нет уж, пусть все остается по-старому. Хотя иногда это раздражает... Все считают, что у короля денег куры не клюют. Вот на днях я посадил к себе в коляску герцога Шуазеля и спросил, как он думает, сколько стоит моя коляска. Он сказал, что

купил бы такую за пять-шесть тысяч ливров, ну а мне, как королю, очевидно, пришлось заплатить за нее тысяч восемь... Как бы не так! Тридцать тысяч она стоила для меня! Крадут, крадут чудовищно, и помешать этому никак нельзя. Вот совсем недавно я узнал... Только прежде скажите, вы не пишете мемуаров? Или, может быть, собираетесь писать?

— Нет, ваше величество, не пишу и не собираюсь.

— Тогда ничего, тогда можно рассказать... Ужасно боюсь мемуаристов. Никогда не известно, что о тебе потом напишут. Короли, конечно, — короли, но они ведь и люди! Мы не можем поминутно изрекать высокопарную чепуху в назидание потомкам. А проклятые мемуаристы обязательно подслушают, подсмотрят что-нибудь этакое... или даже придумают какую-нибудь гадость и сразу — в свой брульон. А потом? Ведь после смерти даже короли бессильны... Так вот, — но между нами, граф! — я сам только на днях узнал. Чтобы выносить мою ночную посуду, в придворном штате состоят два человека. Они одеты в бархат и вооружены шпагами... Бархат — я еще понимаю, но для чего им шпаги?.. Вы не знаете? И каждый получает двадцать тысяч ливров! Но ведь столько же получает и министр... И потом — только это уж совсем между нами! — у меня теперь случается по два-три дня — ничего... Им же выносить нечего! А деньги идут.

— Этому легко помочь, ваше величество. Перестаньте ужинать и принимайте на ночь настойку ревеня.

— Вы думаете?.. Нет, невозможно! Я ведь не могу опубликовать рескрипт — ужины при дворе отменяются, так как король страдает запорами. Как я буду выглядеть перед дамами?.. А если не объяснить, все подумают, что я просто скуп! Хорошенькое дело — войти в историю с таким прозвищем! Был Людовик Девятый Святой. Это почетно! Был Людовик Десятый Сварливый. Малоприятно, однако терпимо. Но Людовик Пятнадцатый Скупой? Скупость — это уже не характер, это порок, не правда ли? Нет, я предпочитаю более приятные пороки... Или слабости. Например, вкусно покушать. Кому мешает эта невинная слабость?

Сверкающие белым лаком двери, на которых резные позолоченные амуры резвились среди цветочных гирлянд, бесшумно распахнулись. В салон вошла маркиза де Помпадур. Ее роба из бледно-розовой, шитой серебром, тафты, перехваченная в тонкой, по-девичьи, талии, крупны-

ми волнами ниспадала к парчовым туфелькам с перламутровыми прижками.

— Ваше величество, — сказала маркиза, склоняясь в реверансе, — карточная партия составлена и ждет вас.

— Благодарю вас, мой друг, — галантным полупоклоном ответил король. — Уверен, что она составлена наилучшим образом. Что бы я делал без вас?! Что бы делала бедная Франция?! Вы видите, граф, — повернулся король к своему собеседнику, — мы так и не смогли поговорить о деле. Вот так всегда — ни одной свободной минуты. А еще говорят: короли — повелители... Они — невольники, рабы своих бесчисленных обязанностей... Но вы можете быть уверены, граф: я заранее одобряю все, что скажет маркиза. Мне повезло больше, чем древним: у них были особые богини — мудрости и красоты. А мой трон украшает женщина, в которой соединились мудрость Минервы и все прелести Венеры... — сказал король, целуя руку маркизы.

— Вы слишком добры, ваше величество, — сказала маркиза.

— Я только справедлив, мадам. Никакие комплименты не отразят ваших достоинств... Как ни жаль, я вынужден вас покинуть. Не провожайте меня.

Маркиза и граф склонились в поклоне. Маркиза звякнула колокольчиком, двери распахнулись. Помавая бедрами, скользящей походкой записного танцора король вышел из салона. Маркиза колокольчиком указала появившемуся лакею на приоткрытое окно. Камер-лакей закрыл окно и плотно притворил за собой двери.

— Только что король уверял меня, — сказал граф, — будто вы любите прохладу.

— Прохладу, но не чужие уши. Их слишком много вокруг. Говорят, Фридрих тратит на шпионов больше, чем на армию. Садитесь, граф.

Маркиза села на пуф возле подзеркального столика с гнутыми ножками и, опершись локтями о столешницу, автоматическим жестом стареющей женщины разгладила морщины в уголках глаз.

— Что еще говорил король?

— Жаловался на несварение желудка.

— Это, кажется, единственное, что его на самом деле беспокоит... Вы удивлены, граф, тем, что я просила вас приехать?

— Нет, мадам, я был бы удивлен, если б этого не случилось.

— Тем лучше. Тогда вы должны понимать, о чем пойдет речь.

— Я весь внимание, мадам.

— Вы знаете наши потери. Величие Франции рушится. Мы потеряли Канаду, теряем индийские владения, наши войска в Европе терпят поражение за поражением, Великая Франция все еще блистает, задает тон... Но чем блистает? Праздниками, фейерверками? Задает тон в покрое женских платьев и мужских камзолов? Версаль набит придворными бездельниками, галантными пустомелями. Кто окружает короля? Вот сейчас против него сидит герцог, в его жилах течет голубая, почти королевская кровь. Он умеет все, что нужно при дворе, — играть в карты, кланяться, танцевать и плести комплименты. Но жеребец, на котором он скачет во время охоты, умнее своего хозяина... И все гребут, хватают, выпрашивают подарки, пенсии, награды...

Маркиза бросила пытливый взгляд на графа, его лицо выражало лишь почтительное внимание.

— Вы думаете, не мне об этом говорить, я ничем не лучше?.. Ну конечно, — кто я? Фаворитка, метресса... Фаворитка? Да. Но уже давно не метресса...

— Тем больше чести это делает вам, маркиза.

— Какой чести? Меня ненавидят. Пересчитывают мои бриллианты, мои туалеты. Маркиза Помпадур утопает в роскоши, маркиза Помпадур разоряет страну... Так говорят за глаза сейчас. А что скажут потом?

— Людям, естественно, бросаются в глаза блеск и роскошь, особенно умноженные злословием и завистью. Станьте выше этого, мадам. Вы уже стоите выше. Разве не с вашей помощью Машо пытался провести финансовую реформу? Она не удалась потому, что посягнули на богатства церкви. А это противник слишком сильный даже для королей. Вас огорчает злословие врагов, но почему вы забываете о друзьях? Вас ценят, отдают вам должное лучшие люди Франции. Они умеют за сверканием бриллиантов разглядеть блеск ума и доброй воли. Что дурного может сказать о вас Мармонтель? Разве без вас не грозила нищета Кребийону? Без вас «Энциклопедия» была бы сожжена на Гревской площади, энциклопедисты брошены в Бастилию, и Франция лишилась бы своей славы. И разве вы тратите деньги на пустые затеи? Разве для себя вы перестраивали и заново украшали Версаль? А дворец на Елисейских полях, который стал украшением Парижа? Без вас не было бы пансионата

Сен-Сира. Без вас не было бы Севрской мануфактуры, и севрский фарфор уже сейчас прославлен не меньше саксонского... Я не стану больше перечислять, чтобы вы не посчитали меня льстецом... Голос черни всегда громче, но это вовсе не означает, что она права. Ее просто больше. Прислушивайтесь к тем, кто олицетворяет ум и честь страны. А вами восхищается даже самый язвительный ум нынешнего времени...

— Вольтер? Да, восхищается — и смеется надо мной.

— Над кем не смеется старая фернейская лиса?

— А Руссо?

Граф улыбнулся.

— Даже выдающиеся женщины остаются прежде всего женщинами: они непременно хотят нравиться всем... А так ли важно мнение сочинителя чувствительных романов и наивных утопий, который живет не в реальном, а в им самим придуманном мире?..

— Не знаю... Может быть, во мне говорит уязвленное самолюбие плебейки? Маркиза де Помпадур никогда не забывает, что прежде ее звали Антуанеттой Пауссон...

— А если ее следовало называть Антуанеттой Ленорман де Турнэм?

— Вы и это знаете?

Граф развел руками.

— Если Ленорман де Турнэм и не был моим фактическим отцом, он был отцом духовным. Мудрым отцом. Ему я обязана всем... Хорошо. Оставим, граф, воспоминания о прошлом и сожаления о настоящем. Меня тревожит будущее. Судьбу его решают деньги и шпаги. А казна наша пуста, и мы не можем больше полагаться на остроту французских шпаг. У нас осталась одна надежда — на остроту французского ума. Поэтому я и просила вас приехать.

Граф поклонился.

— Меня винят в том, будто я втянула Францию в войну. Какой вздор! Зачем мне война? Или она нужна Шуазелю? Война сама надвигалась на Францию, и еще счастье, что нам удалось создать союз с Австрией и Россией. Это был единственный способ противостоять аппетитам Фридриха Второго. И вот результат — русские разгромили его.

— Его войска, мадам, но не Пруссию! Войска Фридриха соберет заново.

— Да, я помню, вы предсказывали, что поражение, которое нанесут русские, не приведет к победе. Так и

случилось, к сожалению. Но может случиться значительно худшее. Императрица Елизавета тяжело больна. А ее голштинский племянник, объявленный наследником, молится на Фридриха. Став императором, он прекратит военные действия. Более того, он может поставить бесчисленные русские штыки под фактическое командование Фридриха. Союз прусского волка с русским медведем — это слишком опасно для Европы. Мы не можем, не должны допустить этого союза, иначе Франция погибла!

— Надеюсь, вы не предлагаете мне убить наследника русского престола?

— Ах, ну нет, разумеется! На смену великим всегда приходят эпигоны. После Петра Первого в этой дикой стране не прекращается династическая борьба. Вам придется, как говорят, mettre la main a la pâte...[1] Наверно, там есть какие-то силы, противостоящие этому голштинцу, которые могли бы подчинить его своему влиянию или хотя бы сдерживать...

— Несомненно!

— Может быть, у вас уже есть план?

— Нет, мадам. Планы нельзя придумывать заранее, они должны возникать из обстановки. Один человек в чужой стране не может по своей воле управлять событиями. Он может лишь воспользоваться ими. Вы позволите задать вам один вопрос? Почему герцог Шуазель не поручит этого нашему послу в Санкт-Петербурге?

— Барону Бретэлю? Он глуп, как табурет. И наши дипломаты там бессильны. Чего нам стоило восстановить отношения с Россией после злосчастной высылки де ла Шетарди! Он был настолько наивен или глуп, что полагал, будто «черный кабинет» есть лишь у Бертье. Но полиция русских не менее любознательна, и она так же старательно читает дипломатическую почту. Когда Бестужев показал императрице Елизавете, что Шетарди наболтал о ней в своих письмах, его просто выгнали... под конвоем. С тех пор русские так настороженно, даже предубежденно следят за нашим посольством, что оно с грехом пополам выполняет официальные обязанности. При первой попытке вмешаться во внутренние дела его уличат или сами русские, или шпионы Фридриха. Если Париж переполнен ими, можно представить, сколько их в России. Нет, граф, наши дипломаты ничего не могут и не должны ни о чем подозревать.

[1] Опустить руки в тесто... *(франц.)*

— Тем лучше, мадам. Одно опасение. Его величество считает себя великим дипломатом и время от времени возобновляет свою игру в le secret du roi[1]: одновременно поручает одно и то же дело нескольким людям и чаще всего авантюристам. Посланный им Казанова очень мешал мне в Гааге и едва не провалил переговоры с генералом Йорком. Как бы в Петербурге опять не оказался какой-нибудь болван, вроде переодетого женщиной шевалье д'Эона, который стал чтицей у Елизаветы. Быть может, сегодня его величество потому так пространно и обсуждал работу своего желудка, чтобы не говорить о деле и предпринять что-то помимо вас и Шуазеля?

— Можете быть уверены, граф, я этого не допущу! Король иногда пытается хитрить и со мной, но хотя все его внимание поглощено женщинами, он так и не научился их понимать... Петербург — это слишком серьезно, чтобы вести там любительскую игру с переодеваниями и прочим театральным вздором. У вас трудная миссия, граф, поэтому я не стану осложнять ее мелочными условиями. Если будет невозможен дальнейший союз России с Францией, пусть хотя бы не возникнет союз России с Пруссией. Пусть прусский волк сторожит русского медведя, а медведь опасается волка... Россия все ближе подбирается к Черному морю, потом она захочет пробраться и в Средиземное. Этого допустить нельзя. И если у нее в тылу будет щелкать зубами прусский волк, она перестанет теснить Блистательную Порту.

— Рано или поздно, это произойдет, — сказал граф.

— Пусть, но как можно позже. Полного разгрома Порты мы не допустим никогда — Средиземное море останется нашим морем. От этого слишком многое зависит... Быть может, граф, вам следует появиться под личиной гонимого? Об этом позаботится Бертье.

— Начальник полиции?

— Почему это вас удивляет? Если он не умеет ловить врагов Франции, пусть хотя бы научится создавать их. Если вы явитесь в Россию как изгнанник, беглец, вам будут больше доверять, труднее будет разгадать ваши действительные намерения. Если не сумеет Бертье, кое на что в этом смысле гожусь и я.

— О да!

— Что-то вы слишком горячо подтверждаете. Вы считаете меня интриганкой?

— На вашем уровне, мадам, уже нет интриг, есть

[1] Секрет короля *(франц.)*.

только политика. Нет, мне не нужен венец страдальца и гонимого. Чем меньше шума будет вокруг моего имени, тем лучше. И так чего только обо мне не наплели: картежник, шпион и бонвиван, знаток каббалы и магистр оккультных наук, не то фокусник, не то маг, а может быть, сам Агасфер...

— Наверно, дым не без огня... — улыбнулась маркиза. — Если бы ко всему вы были еще и алхимиком, умели делать золото! Для многих политиков звон золотых монет — самая привлекательная музыка, а мы сейчас не в состоянии снабдить вас достаточными средствами, чтобы вы могли употребить их по своему усмотрению...

— Пусть русские сами подкупают друг друга, если это понадобится, я никого подкупать не собираюсь, так как не доверяю подкупленным. Если человека можно подкупить, его можно и перекупить, дав больше.

— Как вы будете сообщаться с нами?

— Никак, мадам. Вы сами напомнили о Шетарди и любознательности полиции. А любой курьер надежен не более, чем письмо. Вам придется полностью положиться на меня. О том, что произойдет, вы узнаете и так — из газет, донесений посла.

— И еще, граф... Раз уж вы поедете так далеко, быть может, вы посетите и Польшу? Это странное королевство, которое называет себя республикой... — я никогда не могла его понять. Страна, в которой любой дворянин считает, что он не хуже короля, а король значит не больше, чем захудалый дворянин. Впрочем, что и может значить король, если он занят только едой и охотой? А теперь, говорят, он ленится даже ездить на охоту и только стреляет в бездомных собак, которых для этого сгоняют под окна его дворца... Когда-то Польша лицом была обращена на Запад, а оружие направляла на Восток, была щитом Европы от диких орд. Но уже давно она ничего не может дать Европе...

— Франции она дала королеву!

— Ах, боже мой! Этому радовался только король, да и то недолго... Нет, граф, это не рецидив запоздалой и нелепой ревности! Королева добродетельна и достойна уважения, но она ничего не значит для поляков. Другое дело, если бы отец ее не сидел во Франции в качестве герцога Лотарингского, а оставался королем в Варшаве... Оставим бесполезные сожаления о прошлом. Неужели нет в Польше сил, которые могли бы возродить ее былое значение?

— Вы, конечно, помните, маркиза, притчу для детей о снопе соломы? Его нельзя сломить, пока он связан, но нет ничего легче, как переломать соломинки развязанного снопа. Сейм Польши так усердно теребят соперничающие магнаты, что, боюсь, ему недолго продержаться. И конечно, развязать его с радостью помогут ближайшие соседи... Хорошо, мадам, я заеду в Польшу. Не думаю, что мне удастся что-то сделать, но я постараюсь узнать как можно больше, чтобы потом сообщить вам.

— Когда вы сможете выехать?

— На пороге зима, распутица, а дорога дальняя — даже если очень спешить, она потребует не меньше месяца. Сейчас я возвращусь в Париж, а выеду завтра.

— Желаю вам успеха, граф. Это будет успех Франции.

Граф поцеловал протянутую руку, маркиза тряхнула серебряным колокольчиком.

— Проводите графа, — сказала маркиза камер-лакею, появившемуся в дверях.

Граф еще раз поклонился и пошел следом за лакеем.

В прихожей дремали, слонялись слуги, истомленные ожиданием своих господ. Слуга графа устремился к нему с плащом и шляпой. Одев господина, он выбежал на крыльцо, и тотчас глашатай прокричал:

— Карету графа Сен-Жермена!

Через несколько минут сияющие окна Версальского дворца скрылись за поворотом, карета графа выехала на парижскую дорогу и растаяла в темноте.

2

Восемнадцатый век принято называть веком просвещения. Это справедливо, но только с нынешней точки зрения, перспективы, отдаленной во времени, быстротечный поток которого сменил и безвозвратно унес немало суждений и оценок, когда-то казавшихся непреложными. Античный мир насчитывал всего семь мудрецов. Новое время потеряло им счет. Разгорающийся свет знания все ярче озарял мир, показывая, что мир этот — изрядною мерою дело рук человеческих. Но если так, то в силах человеческих и изменять его... При отблесках салонных свечей сияние разума казалось безопасным и привлекательным, как светляк в сумерках. Но скоро обнаружилось, что это не безопасный милый светлячок, а грозная молния. Вырвавшись из салонов, она ударила во мрак — в вековые залежи горя, зависти, ненависти, и чудовищный

взрыв потряс мир. Тогда идея свободы уже не рядилась в пасторский сюртук реформации, не напяливала горностаевую мантию на казачий кафтан или мужицкую сермягу...

Это произойдет только в конце столетия. Пока же ничто не предвещало катастрофу, философы и поэты еще не казались исчадиями ада, они в чести и моде — к ним прислушивались, им подражали. Коронованные особы кропали пиесы и вирши, выступали в балетах, искали дружбы властителей дум, зазывали к своим дворам. А как же — лестно! Лестно слыть другом прославленного писателя, полезно хвалить и одаривать его — глядишь, может, пасквиля на благодетеля и не напишет, а напротив того — воспрославит в глазах современников и потомков... Приятно быть не просто монархом, а слыть монархом просвещенным. Кстати, это ничему не мешало: когда было нужно, кнут, виселица и топор в просвещенной монархии действовали столь же исправно, как и в не просвещенной...

Но при этом монархи хорошо помнили, что опора их трона и державы — не властители дум, а владельцы земель, в России же и душ, то есть благородное сословие. Благородное сословие тоже прекрасно понимало, в чем его сила, и не только не преклонялось, но и не слишком доверяло всяким бумагомарателям. Кто они, в сущности? Те же слуги, только что безливрейные. Как повар, парфюмер или музыкант. Их, как слуг, можно нанять, можно и прогнать. Можно даже побить. И капитан Борегар, например, когда Вольтер публично изобличил его как предателя и доносчика, не замедлил доказать свое благородство: в укромном месте подстерег тщедушного поэта и избил его. Шевалье де Роган-Шабо носил звание маршала, хотя пороха не нюхал и ни в одном походе не участвовал. Умственные доблести маршала не превосходили военных, но сам он ценил их очень высоко. Пытаясь уязвить Вольтера, он оконфузился и был тут же высмеян поэтом. Все равно маршал доказал свое превосходство — приказал слугам избить Вольтера палками, что и было сделано. И наше отечество было не из последних, оно тоже являло образцы и примеры торжества благородного сословия над худородным: кабинет-министр императрицы Анны, знатный вельможа Артемий Волынский, собственноручно поколотил образованнейшего российского просветителя, поэта и переводчика Тредьяковского... Чтобы сверчок знал свой шесток. И если худородные сверчки зани-

мались всяким там бумагомаранием, дурно пахнущей алхимией и шумной механикой, совсем не резон окрещивать век в честь этих плебейских занятий. Важны занятия не подлых сословий, а сословия благородного, оно и было поглощено тогда совсем другим.

В ту пору не существовало институтов общественного мнения, никто не проводил опросов и референдумов, но если бы опросить тогдашних представителей благородного сословия, как следует назвать восемнадцатый век, ответ был бы единодушным — галантным. Благородное сословие было поглощено наукой, переходящей в искусство, искусством, переходящим в науку: каждый стремился быть galant homme, галантным. Галантный человек — чрезвычайно обходительный, разумеется, только с равными себе, — изысканный и утонченный. Утонченный во всем. От пера на шляпе до каблука и пряжки на туфле. Как и полагается человеку особой породы, он по-особому ходит и говорит, смеется и ест, смотрит и кланяется... Одни поклоны — целая отрасль науки и тончайшего искусства с множеством градаций, переходов и оттенков. Как и все, искусство быть галантным не стояло на месте, оно развивалось, и благородный человек всегда был начеку, жадно подхватывал все новинки светского обхождения и всесильной моды. Он учился есть не руками, а вилкой, привыкал носить недавно изобретенные в Англии белые подштанники, разучивал гавоты и менуэты, отвыкал сморкаться при помощи перстов, вытирать пальцы после этого о камзол и учился собирать извержения благородного носа в кружевные платочки. Не хуже портных он разбирался в лентах, пряжках и пуговицах, и для его изысканных потребностей возникли промышленность и торговля, которые дожили до наших дней под названием галантерейных... Галантность даже в кулинарии оставила свой след — блюдо галантин, в котором все истончено и утончено до потери всякого сходства с первоначальными продуктами. Итоги не бог весть как велики, но что поделаешь, если на смену галантному восемнадцатому пришел девятнадцатый — век машин и всеобщего огрубления...

В галантном же восемнадцатом веке все происходило в высшей степени галантно. И даже на войне надлежало оставаться галантным. Разумеется, это не касалось простонародья, людей подлого звания, которых силком или обманом загоняли в солдаты. Они не могли постигнуть ни духа, ни смысла галантности — месили пехтурой

грязь, рубили друг друга палашами, кололи штыками, по команде с превеликим шумом, хоть и без большого толку, палили из ружей — почему потом Суворов и скажет, что пуля — дура, а штык — молодец. На поле боя их держали в таких больших и плотных каре, что даже плохие артиллеристы из плохих пушек ухитрялись попадать в живые мишени. При всех этих экзерцициях солдаты, конечно, гибли, получали ужасные раны и увечья, но кто-то ведь должен нести потери, если идет война...

Совсем иное дело — люди благородные, самой судьбой предназначенные для того, чтобы командовать, побеждать и принимать награды за победу. Разумеется, иногда погибали и они, но такие случаи бывали редко, потому как полководцы не барахтались в грязи сражений, а направляли их с подходящих к случаю и достаточно живописных высот. Высоты выбирались в благоразумном отдалении, чтобы полководцы могли охватить взглядом всю картину боя. В руках у них непременно был эспантон — тонкая короткая пика. Никакого делового применения она не имела и служила попросту тростью, позволяя принимать множество картинных поз.

Конечно, каждый офицер имел шпагу. По прямому назначению высшие офицеры их не употребляли, но в двух случаях применяли обязательно. Чтобы воодушевить войска и указать им путь к победе, следовало обнаженной шпагой бесстрашно пронзить воздух вперед и несколько наискосок, но не к земле, а к закраине небесной тверди, как бы снимая оттуда венки посмертной славы для самых доблестных. Если вместо ожидаемой виктории случалась конфузия, проще сказать, срамное поражение, то надлежало, приняв исполненную достоинства позу, вынуть шпагу, с полупоклоном отдать ее противнику и при этом произнести нечто краткое, но настолько значительное, чтобы оно мгновенно и навеки врезалось в анналы истории. Благородный противник, отобрав шпагу, трактовал сдавшегося уже по-свойски и не гнушался им, а, случалось, даже сажал за свой стол отведать что бог послал. Бог посылал в прямой зависимости от ранга, за чем строго следили исполнители его воли на земле — интенданты и денщики. Во всяком случае, человеку благородного происхождения плен не угрожал чрезмерными лишениями и неприятностями, а если он не проявлял излишней заядлости и не рвался снова на поле хвалы и славы, то мог беспечально поджидать конца войны в дальних ты-

ных противника, развлекая скучающих жен своих победителей.

Так сдаваться в плен следовало только офицеру, то есть человеку благородного происхождения, стало быть, галантному, и упаси бог было попасть в руки простой солдатне. А такое несчастье как раз и произошло с флигель-адъютантом прусского короля Фридриха II...

В то время единой Германии не существовало, а было множество курфюршеств и герцогств, одно другого меньше. В начале века курфюршество Бранденбургское и герцогство Прусское слились и образовали королевство Пруссию. Королевство в некотором роде было ублюдочным — между двумя его частями лежало исконно польское Поморье. Оно торчало посреди королевства, как кость в глотке, — выплюнуть невозможно, проглотить — не по силам. Но курфюрсты бранденбургские, а впоследствии прусские короли умели ждать. Король Фридрих Вильгельм I прославился тем, что был толст, неимоверно скуп и груб. Единственный свой кафтан он носил до тех пор, пока тот не расползался, но и тогда приказывал медные пуговицы с него перешить на новый. Подданных Фридрих Вильгельм опекал вполне по-отечески и любыми способами выколачивал из них деньги, справедливо полагая, что коли подданные его, то их деньги также принадлежат ему и у него они будут сохраннее. В обиходе он соблюдал полное равенство — раздавал удары дубинкой, затрещины и пинки всем, кто попадал на глаза, не делая исключения ни для женщин, ни для пасторов. У него были две противоположные, но трогательно однозначные страсти: любовь он отдал армии, ненависть обратил на книги, музыку и все то, что определяется таким расплывчатым термином — культура. В первой он преуспел — из семи миллионов талеров основного дохода тратил на армию шесть и добился, что его десятое по размерам государство в Европе имело четвертую по величине армию. В борьбе со второй успехи были менее значительны, так как зараза просвещения проникла в его собственный дом. Сын и наследник престола Фридрих не только читал книги и самозабвенно свистел на флейте, но и сам в большом количестве кропал вирши на французском языке, переписывался с Вольтером и даже сочинил трактат «Анти-Макьявелли», где доказывал, что государь должен руководствоваться гуманными идеями и высоконравственными принципами. Фридрих-Вильгельм бросал книги в огонь, ломал флейты, колотил сына дубин-

кой, даже сажал его в крепость и всерьез подумывал, не отрубить ли упрямцу голову, поскольку она все равно уже набита книжным вздором, значит, не годна для наследника, а наследников в запасе еще трое, однако не успел этого сделать и умер.

Как только к имени наследника прибавился порядковый номер, оказалось, что расхождения его с родителем были чисто внешними, кажущимися. Старомодный король просто не понимал, что наследник его хотел идти в ногу со временем, но шел он в том же самом направлении, что и усопший родитель. Свистеть на флейте и плести вирши он не перестал, но теперь этому отдавались досуги, на первом плане оказалась та же страсть, что и у незабвенного покойника, — в кратчайший срок его армия оказалась самой большой в Европе. Клеветники пытались доказать, что его «Анти-Макьявелли» был сплошным фарисейством, сам он не только не следовал гуманным и высоконравственным принципам, которые недавно проповедовал, но превзошел все пределы беспардонного вероломства и цинизма. На то они и клеветники. Настоящие историки во всем его поведении усматривали лишь государственную мудрость и без промедления окрестили своего монарха Великим.

Фридрих, несомненно, и был великим человеком — уже хотя бы потому, что умел управляться с армией, в которую по всей Европе вербовали всякий сброд, или, как говорили прежде, отбросы общества. И кто осудит короля, если он ввел жесточайшую палочную дисциплину, чтобы держать в повиновении эту банду вооруженных разбойников? Правда, приходилось принимать и некоторые специальные меры, например, особым рескриптом Фридрих запретил размещать и даже проводить войсковые колонны поблизости от леса, дабы не облегчать дезертирам бегства...

Что общего, какая могла быть связь у армии и справедливости? На первый и, скажем прямо, легкомысленный взгляд — никакой, что — глубокое заблуждение. Между ними была не связь, а прямая зависимость, которую можно изобразить в виде четкой формулы: чем больше у государства армия, тем оно чувствительнее к справедливости. Пока никакой армии нет, то чувствует ли государство на себе или наблюдает какую-нибудь несправедливость по соседству, это никак на его поведении не сказывается: оно помалкивает, так как в таких случаях ни словами, ни слезами не поможешь. Оно даже

делает вид, что все в полном порядке и никакой такой несправедливости просто не существует. Но стоит ему обзавестись армией, как государство начинает замечать и все болезненнее ощущать любую несправедливость. Чувствительность эта нарастает по мере роста армии, пока наконец не становится настолько болезненной, что честь, долг и престиж государства больше не позволяют безучастно наблюдать творимую несправедливость.

Вот такое превращение и произошло с Фридрихом II. В сущности, это не было превращением. Сочиняя «Анти-Макьявелли», он проповедовал высокие принципы гуманности, но тогда это были, так сказать, слова, чистое теоретизирование. Как только его армия стала самой большой в Западной Европе, а с Англией был заключен союз о совместной борьбе против Франции и Австрии, Фридрих перешел от слов к делу.

Прилегающая с юга Саксония была слишком богата и слишком плохо управлялась, чтобы Пруссия могла мириться с существованием столь неустойчивого курфюршества у себя за спиной. Поэтому в 1756 году войска Фридриха вторглись в Саксонию и заставили саксонские войска капитулировать. Так началась война, названная впоследствии Семилетней. Просто отнять государство у саксонского курфюрста было бы несправедливо. Поэтому Фридрих решил отдать курфюрсту Чехию, которую для этого следовало отнять у Австрии. Но это было делом будущего. Пока же Фридрих саксонскую армию влил в собственную и вторгся в Силезию — польскую провинцию, незаконно и несправедливо захваченную Австрией. Провинция была слишком богата копями и мануфактурами, чтобы оставлять ее в руках Австрии, давно ставшей колоссом на глиняных ногах и неспособной обеспечить надлежащий порядок и процветание провинции. Несправедливо было бы и возвращение Силезии Польше, которая давно пришла в упадок и агонизировала в нелепых попытках вырастить диковинную помесь монархии с республикой. Невозможно было мириться и с тем, что Пруссия разделена на части польскими землями. Это была несправедливость историческая, экономическая, политическая и какая угодно. Поэтому Фридрих приготовился разгрызть и проглотить, наконец, торчащую в глотке Пруссии польскую кость, а заодно присоединить и герцогство Курляндское, которое исторически, экономически и духовно всегда тяготело к Пруссии...

Однако такую несправедливость не могла уже допу-

стить Россия. По ее мнению, Курляндия исторически, экономически и политически тяготела как раз не к Пруссии, а к России. И вообще Фридрих оказывался слишком прытким, пора было умерить его аппетиты, к чему, кстати, обязывал и союзнический договор с Австрией и Францией. Русские войска под командованием фельдмаршала Апраксина вошли в Восточную Пруссию и под Гросс-Егерсдорфом разгромили пруссаков. Путь на запад был открыт, но в это время стало известно о болезни русской императрицы, и Апраксин в почти панической спешке отвел войска из Восточной Пруссии, за что был отстранен от должности и привлечен к ответу.

Но дело свое он сделал — в плаще воинской славы Фридриха зияла изрядная дыра, которую нужно было срочно латать. Армии Франции и Австрии тоже в значительной части состояли из завербованных наемников, но наемники Фридриха больше боялись палок своих капралов, чем неприятеля, командовали же ими профессиональные вояки, а не придворные шаркуны, как у австрийцев и французов. И Фридрих нанес сокрушительное поражение сначала французам у Росбаха, потом австрийцам у Лейтена. Там во всей красе Фридрих показал изобретенную им «косую атаку», при которой сосредоточенные силы наносили удар по флангу неприятеля как бы по касательной, сминая его, создавали сумятицу, а потом уже с легкостью довершали разгром. Если говорить правду, атаку такого рода изобрел фиванский полководец Эпаминонд и применял ее настолько успешно, что побеждал даже спартанцев. Но, как известно, новое — это просто хорошо забытое старое, и кто там помнил про Эпаминонда, если жил он двадцать три столетия назад? С присущей ему скромностью Фридрих не стал отрицать своего авторства...

Однако ликовать довелось недолго. Назначенный вместо Апраксина Фермор снова ввел русские войска в Восточную Пруссию, та немедленно капитулировала, а жители, со свойственной немцам аккуратностью и послушанием, присягнули в верности русской императрице. Оставив в Кенигсберге губернатора и пройдя через польское Поморье, Фермор осадил крепость Кюстрин. На выручку крепости подоспел сам Фридрих. Русские войска отошли к деревне Цорндорф и приготовились к фронтальному сражению. Трудно было выбрать позицию хуже: русские войска расположились в низине, разъединенные и стесненные оврагами, болотами и реками. Фридрих

обладал полной свободой маневра и расположил свои батареи на господствующих высотах.

В 9 часов утра 12 августа грохот этих батарей возвестил начало сражения, а после двух часов пушечной пальбы Фридрих приказал атаковать правый фланг русских. Однако так прекрасно оправдавшая себя на Западе «косая атака» на этот раз дала осечку — русские не только не сдались и не побежали, а ответили контратакой. Повторные атаки, косые, прямые, с флангов, с фронта и тыла, вызывали отчаянную сечу, но русские не отступали. Фридрих впервые своими глазами увидел то, что говорил впоследствии: русских легче перебить, чем победить. И тогда же он увидел, как его прославленная пехота под ударами русских кирасиров превратилась в стадо и на глазах у своего великого полководца бросилась в паническое бегство...

Зейдлиц! Где Зейдлиц со своими гусарами и драгунами?.. Фридрих прекрасно знал, что Зейдлиц отвел свои эскадроны в тыл, чтобы дать им хотя бы короткий роздых. Но какой мог быть отдых, если решалась судьба сражения, быть может, королевства, самого короля?!

Втянув голову в плечи, Фридрих побелевшими от ярости глазами скользнул по своему окружению, ткнул эспантоном в сторону фон Шверина.

— Где этот Schisser Зейдлиц? Скачи, найди! Атаковать! Атаковать немедленно, а не отдыхать!.. Он на поле боя или...

Не будем повторять все, что сказал по этому поводу король, и тем более переводить сказанное им на русский: Фридрих II с легкостью сочинял стихи на французском языке, но с еще большей легкостью своим лексиконом на родном языке мог вогнать в краску пьяного драгуна.

Фон Шверин вскочил на коня и карьером слетел с холма. Следом поскакал ординарец. Однако почти тут же им пришлось перейти на рысь. Несмотря на пыль и дым, затянувшие все урочище Фюрстенфельде, с высокого холма, где находился Фридрих, можно было различать свои ближайшие деташементы и даже иногда в просветах виднелись в отдалении зеленые мундиры русских, белые клубы дыма, взлетавшие над их батареями. Но как только Шверин спустился с холма, все смешалось и спуталось. Спешили куда-то повозки, пешие команды, на рысях пролетали посыльные и ординарцы, ковыляли, поддерживая друг друга, легкораненые. Казалось, даже вещи, заведомо неподвижные, как рощи, перелески и

овраги, тоже сдвинулись со своих мест и ищут спасения от жестокой баталии, распростершейся на неохватные глазом версты.

Несколько десятков эскадронов — тысячи всадников и лошадей — не иголка в стоге сена, но найти их в пылу боя оказалось не легче, чем пресловутую иголку. Зейдлица на месте предполагаемого отдыха не оказалось. Артиллерийский секунд-лейтенант, наблюдавший за тем, как в походной мастерской у пушки меняют разбитое колесо, сказал, что русские вчинили жестокую контратаку и Зейдлиц на рысях повел свою конницу, чтобы атаку эту пресечь. Куда повел? Кажется, к левому флангу русских. А может, и в центр... Впрочем, насчет атаки русских в точности не известно. Может, Зейдлиц просто сменил позицию?...

Граф дернул поводья и пришпорил коня. Он понимал, что настал критический момент, который должен решить исход сражения, быть может, всей войны... Во всяком случае, он мог решить его собственную судьбу. Что ждет его? Бесславная смерть в этой тыловой неразберихе от шальной пули? Или ему суждено повторить своего отца?

Кому только не служил старый вояка?! Всем, кто хорошо платил. Голландским Генеральным Штатам, герцогу Мекленбургскому, шведу Карлу XII, русским и, наконец, прусскому королю, отцу нынешнего, и самому Фридриху II... Год назад в сражении под Прагой генерал-фельдмаршал Курт Кристоф граф фон Шверин схватил знамя и бросился вперед. Войска ринулись за ним, битва была выиграна, но старый фельдмаршал пал, пронзенный сразу семью пулями. И тогда Великий Фридрих сказал, что победа куплена слишком дорогой ценой — жизнью Шверина... За такую эпитафию можно отдать две жизни. А он, Вильгельм Фридрих Карл фон Шверин, способен ли он на такой поступок? Граф ни секунды в том не сомневался. Но не мог же он, состоя при короле, хватать знамя и призывать самого Фридриха к победе... Вот теперь другое дело. Сама Фортуна распростерла над ним крылья удачи. Граф так отчетливо, прямо наяву, увидел себя с развевающимся знаменем, воодушевленные колонны, которые бегут за ним следом... И потом, Фридрих, Великий Фридрих, склонившись над его хладным телом, горестно произносит: «Старый фельдмаршал воскрес в своем сыне и снова погиб. Какая утрата!» Видение было настолько явственным, что Шверин почувствовал, как от жалости к

себе у него защекотало в горле и стало холодно в животе...

Это была волнующая картина, но воображение Шверина не стало на ней задерживаться. В конце концов, совсем не обязательно, чтобы его тут же семь раз убили, как отца. Почему должен погибнуть именно он, а не кто-либо другой? Разве так необходимо, чтобы герой сразу погибал?

Перед глазами Шверина мелькали купы деревьев, растрепанные ветром кусты, полосы едкого порохового дыма, но внутренний взор его опережал спешный тротт коня и рисовал картины того, что может... вполне может случиться.

Зачарованный своими видениями, граф все пришпоривал и пришпоривал коня, пока тот не перешел на тяжкий, усталый курцгалоп, и граф видел уже лишь то, что предстояло потом, а не то, что на самом деле было перед его глазами, и слишком поздно долетел до него предостерегающий крик ординарца...

Из какой-то неприметной лощинки, из-за кустов внезапно, как дьяволы из преисподней, высыпали зеленые мундиры и направили на графа штыки. Конь взвился на дыбы и остановился, тяжко храпя и водя боками. Где-то вдалеке заглох топот ускакавшего ординарца, а штыки взяли всадника в кольцо и подступали все ближе, ближе...

Граф поступил по всем правилам галантного века. Он приложил два пальца к виску и вынул шпагу. Перед тем как с поклоном протянуть ее противнику, ему оставалось только произнести подобающую случаю звонкую фразу, и Клио, сама муза Истории, уже прижала стило к нетленным своим таблицам, чтобы навеки запечатлеть сказанное графом фон Шверином в момент пленения. Однако златоустом он не был, особой находчивостью не блистал никогда, а теперь уж и вовсе в голову ошарашенного графа, как он ни тужился, ничего не приходило. Никакого изречения или там афоризма. Даже плохонького, даже чужого. Граф промедлил, и его превратно поняли.

— Ах ты сука, еще пыркалкой тыкать, так твою... — сказал один из обладателей зеленых мундиров.

Богиня Клио испуганно отшатнулась и, опечаленная, улетела прочь, так ничего и не записав, ибо произнесенный далее текст был совершенно не пригоден для печати. А графа за ногу стащили с лошади, дали ему по сусалам, благородная шпага, как лучина, хрупнула на мужицком колене. Затем графа обыскали. На беду его, он с детства

боялся щекотки и совершенно не переносил чужих прикосновений. Как только грубые солдатские лапы взялись за него, он выгнулся дугой и, издавая дикие, ни с чем не сообразные вопли, начал с такой бешеной силой отбиваться, что солдаты враз смекнули: или это самый главный прусский шпион и где-то в загашнике у него спрятаны все военные тайны, или он битком набит дукатами, гульденами и разными там талерами. Чем именно, не суть важно, так как золото на всех языках звенит одинаково. Догадка удвоила солдатское усердие, оно усилило сопротивление пленника, и через две минуты все кончилось. Мундир был изорван в клочья, шляпа выпотрошена, ботфорты вспороты и разобраны на изначальные части, почти херувимова красота графа изрядно подпорчена, а сам он так помят, что еле стоял на ногах и дышал, как загнанная кляча. Левая рука его висела плетью, а правой он поддерживал рейтузы, так как во время свалки все пуговицы и застежки были вырваны с мясом. Ни военных тайн, ни дукатов не оказалось.

Люди не прощают другим своих ошибок и заблуждений. Обозленные неудачей солдаты только собирались выместить свое разочарование на графовых боках, как прискакал подпоручик, их командир. Солдаты прянули от графа, но испытания его этим не закончились.

— Что такое? Кто таков? — закричал подпоручик.

— Пленного пымали, вашбродь. Шпион или кто его знает...

— Почему в таком виде?

— Драчлив оказался, вашбродь... Мы его маленько успокоили...

Увидев подпоручика, граф приободрился. Офицер, даже если он противник, все равно офицер и подлежит тому же кодексу чести. Граф попробовал щелкнуть каблуками, но босые пятки в жидкой грязи издали какой-то плямкающий звук, вроде поцелуйного. Тогда граф вытянулся во фрунт и вскинул руку к виску. В то же мгновение, лишенные единственной укрепы, рейтузы его пали вниз, и граф предстал перед подпоручиком во всем естестве, какое принято показывать только в бане. Солдаты грохнули жеребячьим гоготом, подпоручик закусил губу, а несчастный граф, побагровев от такого неслыханного позора, нагнулся и неловко, одной рукой, начал натягивать злополучную часть туалета.

— Wer bist du eigentich? — Боясь расхохотаться, подпоручик прокричал это сквозь стиснутые зубы. Единственной пока пользой от тянувшейся спрохвала[1] войны было то, что русские офицеры понаторели среди пруссаков в немецком и при надобности могли довольно бойко болтать. — Кто таков, я спрашиваю?

— Флигель-адъютант его королевского величества, — не поднимая головы, ответил Шверин.

— Адъютант Фридриха? Врешь!

Граф оскорбленно выпрямился и со всей надменностью, какая возможна в положении человека, который держит в кулаке падающие рейтузы, отчеканил:

— Граф фон Шверин никогда не лжет!

Подпоручик присмотрелся к остаткам его мундира.

— Нет, в самом деле? Вот черт... — Такую добычу следовало немедленно доставить по начальству. Но в таком виде?.. — Ах вы р-ракальи! — с напускной яростью закричал подпоручик на солдат. — Вы как смели господина графа?! Вот я вам!.. Я вас!.. Подать господину графу коня!

Коня немедленно подвели, но только уже без седла — распотрошенное, как и ботфорты, оно валялось неподалеку. Тайн и дукатов в нем тоже не оказалось. Подпоручик все понял и только погрозил солдатам кулаком.

— Садитесь, господин граф, — сказал он, но тут же увидел невыполнимость своего предложения: одна рука графа висела плетью, другой он судорожно вцепился в злополучные рейтузы. — А ну, подвяжите ему штаны! Быстро!

Это было еще одно унижение: в ту пору штанами называли короткое мужское исподнее, и получилось, что граф по полю боя будто бы разгуливал в подштанниках... К счастью, граф не знал по-русски и неблаговидного выпада подпоручика не понял.

Солдат гол как сокол, ни обоза у него, ни припаса, но на то он и солдат, чтобы в любой момент соответствовать и из любого затруднения выходить. И тут неизвестно откуда немедленно нашелся тонкий, но прочный сыромятный ремешок, графовы рейтузы были закреплены на надлежащем уровне, сам граф поднят и охляпом посажен на хребтину его мосластого коня.

Граф Шверин был красавцем. Когда, отстав на корпус, он скакал за своим обожаемым монархом, немало женских глаз провожало его восхищенным взглядом, немало вздохов летело ему вслед. Увидели бы теперь вздыхательницы

[1] Неспешно, полегоньку.

предмет своих мечтаний! Избитый, изваляный в грязи оборванец — вот во что предательница Фортуна в несколько минут превратила своего недавнего баловня. Радуйтесь улыбающемуся лику богини, ликуйте ее поцелую, но горе, если богиня повернется к вам седалищем... Повесив голову, граф Шверин думал, что теперь только такое безрадостное зрелище и предстоит ему, но на этом его злоключения закончились.

Ввиду приближающейся ночи полководцы развели свои войска в противоположные стороны, после почти двенадцатичасового кровопролития русские и прусские солдаты перестали наконец убивать друг друга. Оба полководца были в некоторой оторопи и убеждении, что сражение ими проиграно. Однако вскоре у обоих появились сомнения, а потом и уверенность, что сражение выиграно, так как противник не помышлял о преследовании и сам понес слишком большие потери, чтобы назавтра возобновить баталию. Поэтому Фридрих объявил по войскам о решительной победе, а Вилим Фермор отправил императрице Елисавете реляцию о сокрушительной победе русского оружия, в ведомости же о трофеях среди пленных первым назвал королевского флигель-адъютанта.

Битвой при Цорндорфе летняя кампания 1758 года закончилась, и русская армия отошла на кантонир-квартиры в Восточную Пруссию. Назначенный губернатором генерал-поручик барон Корф расположился в Кенигсбергском замке и зажил на широкую ногу, поражая пруссаков роскошью и обилием балов и приемов. Сюда же, в Кенигсберг, привезли пленных познатнее, а среди них графа Шверина, который к тому времени залечил синяки и восстановил душевное равновесие. Для прилику к нему назначили двух приставов — Александра Зиновьева и его двоюродного брата Григория Орлова. В назначении Зиновьева и Орлова не было ничего удивительного — в летнюю кампанию оба явили отменные образцы храбрости и воинской доблести. Особенно проявил свою богатырскую стать Григорий Орлов, который во время Цорндорфского сражения был трижды ранен, но поля боя не покинул. В сущности, они были не приставами, а как бы компаньонами пленного графа. Молодые люди быстро сдружились, совместно заняли квартиру поблизости от замка и, как принято говорить, со всем пылом молодости ринулись в вихрь удовольствий, а попросту — в разгул. От этого вихря над угрюмым Кенигсбергом дым стоял

коромыслом, а пруссаки ходили с вытянутыми от удивления лицами. Главным заводилой, самым рьяным выдумщиком всяких затей был двадцатичетырехлетний красавец и богатырь Орлов, который ни воевать, ни веселиться вполсилы не умел.

Вихрь остановило лишь самоличное пожелание императрицы увидеть пленного Фридрихова адъютанта. Его отправили в Санкт-Петербург, ко двору, и, конечно, в качестве приставов сопровождали его Григорий Орлов и Александр Зиновьев. В столице приятели поселились вновь, и пути их вскоре разошлись, чтобы никогда уже не пересечься вновь.

Но прежде Шверин, а вместе с ним Орлов и Зиновьев были приняты императрицей. На русских поручиков Елисавета не обратила внимания, граф же был обласкан и обнадежен, что русские сердца отходчивы и благорасположены, а потому пребывание в плену у петербургского общества не будет ему в тягость. Затем вся троица была представлена Малому двору, то есть наследнику, великому князю Петру Федоровичу, и его супруге Екатерине Алексеевне. Карл Петер Ульрих, герцог Голштейн-Готторпский, перекрещенный в Петра Федоровича, боготворил Фридриха, и встреча с его адъютантом была для него даром небес. Пленный граф был встречен распростертыми объятиями, вскоре стал ближайшим другом и конфидентом наследника, любимым спутником и собутыльником. Зиновьев и Орлов заинтересовали наследника еще меньше, чем императрицу, зато на великую княгиню Екатерину Алексеевну воинские доблести, богатырская стать и красота Орлова произвели впечатление глубокое. Григорий Орлов обладал счастливым даром привлекать всеобщие симпатии, здесь же эта симпатия была усилена тем, что великая княгиня переживала в ту пору период как бы некоей заброшенности и сугубого одиночества, не имея в ком искать ни сочувствия своим бедам, ни опоры для противостояния им.

Так, кроме всех профессиональных и доброхотных шпионов, Фридрих II, по воле императрицы, заимел еще одного, который получал все сведения из первоисточника — от наследника престола и его придворных.

Широко распространено убеждение, будто шпион непременно опасен и вреден той стороне, за которой он соглядатайствует. Однако это справедливо лишь в том случае, когда шпион умен. Шпион-дурак более опасен своей стране, так как, и находясь в самом средоточии

тайн противника, не умеет ничего узнать, узнав, не в состоянии понять узнанное, правильно истолковать, и потому донесения его приносят не пользу, а вред, сбивают с толку. Именно такими и были донесения фон Шверина. Не зная ни языка, ни людей, он видел опасности там, где их не было, и считал самыми коварными врагами людей, ни сном ни духом не виноватых. Так в своем апрельском письме Фридриху главными врагами Петра Шверин называет Шувалова, утратившего всякое влияние фаворита покойной Елисаветы, и генерала Мельгунова, который на самом деле был преданным сторонником Петра. Правда, большого вреда от донесений Шверина не было, так как благодаря другим шпионам и осведомителям Фридрих знал обо всем происходящем при русском дворе. Важна не шпионская деятельность Шверина, а то, что благодаря Шверину сопровождавший его Григорий Орлов был принят не только при Большом дворе императрицы, но и при Малом дворе наследника, что впоследствии повлекло за собой события, самой возможности которых не могла бы допустить и безудержно богатая фантазия.

На этом история графа Шверина, личности, в общем-то, совершенно ничтожной, заканчивается. Дальнейшая судьба его бесцветна, а конец жалок. Дослужившись до генерал-лейтенантского чина, он командовал прусскими войсками, действовавшими против поляков, неоднократно и постыдно был бит ими во всех стычках и сражениях, вследствии чего военный суд отстранил его от командования и подверг аресту.

История Шверина рассказана здесь только потому, что не сыграй с ним Фортуна свою злую шутку, некоторые события, несомненно, пошли бы иным путем. То, что исторически должно было произойти, случиться, случилось бы, произошло так или иначе, но иными были бы сроки событий, иные люди осуществляли их, а стало быть, и результаты, последствия событий были бы несколько другими, чем сложились в действительности.

Григорий Орлов закончил Санкт-Петербургский шляхетский корпус и выпущен был подпоручиком, но не в столичный гвардейский, а в линейный полк. Воинские доблести, личное обаяние Орлова рано или поздно помогли бы ему вернуться в Санкт-Петербург и выдвинуться, но произошло бы это в иное время, с иным кругом людей и обстоятельств столкнула бы Григория судьба, иным было бы его поведение и участие в событиях, и, стало быть, совсем иную роль сыграл бы он в истории, а быть

может, не сыграл бы и никакой. Так что, как ни ничтожна личность самого графа Шверина, она сделала свое дело в ходе событий, а после этого по справедливости может быть забыта.

3

Увидеть Санкт-Петербург издали нельзя. Еще с моря, если нет ни дождя, ни тумана, над путаницей ериков, проток и оловянной зеленью тальника на островах иногда призывательно сверкнет золотая игла колокольни, воткнутая в нависшее небо, неподалеку обозначится вторая — покороче и поосновательнее. Сверкнут и растают в мареве. И еще долго лоцман будет вести корабль, а в безветрие шлюпки тянуть его на буксире в глубину дельты. Проплывут по берегам плохо скрытые кустами пушки и развалины шведских батарей, редкие лачуги рыбаков и только тогда откроется впереди частокол мачт в Адмиралтействе, распластается над самой водой Санкт-Петербургская крепость — начало, символ и твердыня стольного города Петра.

Посуху и того хуже. Откуда ни подъезжай — из Швеции через Белоостров, из Риги через Нарву, из Варшавы через Лугу и Гатчину, из Москвы через Чудово и Тосно, — останутся на пологих изволоках сосняки, все реже будут попадаться поляны и песчаные выплески, дорогу вплотную обступят мокрые ельники, мочажины да ольшаники. И невелики ростом болотная черная ольха, редкие березки, трепетнолистое иудино дерево, осина, а и за ними ничего не видать, кроме полоски серого неба над головой. Ковыляет, ковыляет карета или возок по колдобинам узкой просеки, пока не упрется в шлагбаум заставы. За ним, — где избы, склады — «магазеи», где и вовсе ничего, — все те же лохмы сорного древостоя, а города не видать.

Зато слышно Санкт-Петербург издалека. Поначалу кажется, будто где-то впереди слетелись тучи невиданных дятлов и что-то взапуски долбят и расклевывают. По мере продвижения громче становится перестук, распадается на множественные разнозвучия. Первыми на особицу выделяются тяжкие, ухающие удары, от которых подрагивают земля — многопудовые каменные бабы гонят бесчисленные сваи в болотину. Увесисто, с оттяжкой гупают кувалды, звенят обухи топоров, вколачивая в бревна скобы и костыли, и со всех сторон летит дробный

сухой клекот каменотесных зубил. Город строится. Он строится, горит, разваливается и снова строится.

Города складываются веками, иные тысячелетиями. Несчетные поколения сменяются в каком-нибудь селении, оно исподволь увеличивается, мало-помалу стареет и так же исподволь обновляется, растет вширь и ввысь, незаметно сливается с обликом страны, а потом становится самым ярким его выражением, порой даже название города становится названием государства. Здесь все было наоборот — внезапно и скоропалительно.

Петра Романова приближенные и потомки назвали Великим. Иные из подданных потихоньку звали его антихристом. Мир знал великих завоевателей, но их завоевания рано или поздно шли прахом, созданные ими гигантские империи разваливались. Мир знал великих реформаторов, случалось, их учения покоряли не только свой, но и другие народы, однако эти реформы были религиозные. Завоевания Петра не столь уж значительны, к религии он был равнодушен и священнослужителей не трогал, если они ему не мешали. Право называться Великим дала ему любовь к родине. Любовь Петра к отечеству была непомерна и необузданна, как он сам, нетерпение неистовым, а энергия ужасающей. Он обрушил свою любовь на Россию, как ураган, вздыбил, переворотил все сверху донизу и погнал косную, лапотную, одной тюрей кормленную Русь в науку, культуру и если не к богатству, то к могуществу.

Могущество России совсем не улыбалось соседям — в годины слабости и разрухи Руси они кромсали ее по живому, отхватывали не деревеньками, пустошами, а целыми краями, и ведь легко взять, отдавать куда как тяжко... И росла, крепла вокруг России негласная стена блокады: знатоков, умельцев, учителей в Россию не пускать — дикую, нищую страну легче грабить под видом торговли. Петр проломил эту стену, отвоевав новгородские земли, захваченные шведами в Смутные времена, поставил в устье Невы военный пост. Задул над Россией свежий балтийский ветер, разгоняя застоявшийся чад ладана и курных изб. Но что пост? Фукнул враг, и нет поста, и снова заткнуто бутылочное горло Финского залива. Вместо поста на Заячьем острове заложена Санкт-Петербургская крепость. Только ведь одна крепость — не крепость: нужны корабли, для них — верфи, склады, мастерские, жилье... Для крепости только город настоящая подпора.

И начался город. Легко говорится... Это не на юру, не на косогоре где-нибудь. Как его начинать, если берега почти вровень с водой, ползут под ногами? Если на аршин выше — слава богу, на два — и вовсе благодать. Шаг в сторону — болотина, в другую — трясина. И все заросло такой древесной дрянью, что ни в стройку ее, ни в гать, ни в костер — кашу не сваришь. Дрянь эту надо вырубать, корчевать, воду отводить, дороги гатить, подсыпать, сваи забивать. А на месте — вода да грязь, не то что леса или камня, песка и того нет, возить надо бог весть откуда. Везли. Подсыпали, гатили, забивали. И строили, строили... Поначалу дома только деревянные. Их для красоты и солидности обшивали тесом и раскрашивали под каменную, кирпичную кладку. Красоты хватало ненадолго: дожди, болотная мга съедали краску, вместе с ней осыпалась красота, обнажая бурую, с прозеленью гниющую древесину. Строили мазанки — сколачивали каркас, забивали его землей, глиной, тоже обшивали, тоже раскрашивали. Такие халабуды вовсе не держались — отекали сыростью, разваливались.

Во все концы России полетели указы, поскакали воинские команды — погнали на стройку военнопленных, ссыльных, недорослей, бродяг и всяких работных людей. Повсеместно воспрещено каменное строение, дабы освободить мастеров для Санкт-Петербурга. Не смели в город въехать возы, подплывать лодки и барки, если, кроме прочего груза, не везли камень. Камень для фундаментов, для кладки, для мостовых. С каждого воза полагались три камня, с каждой лодки — десять, а ежели лодка поболе, то и все тридцать.

Петр строил, будто шел на приступ, а во время боя убитых не считают. Здесь не считали и после. Мёр работный люд без счета и сроков. От дурной воды, от худой еды, от мокряди и стужи, от непосильной работы и щедрых — батогами — понуканий к усердию. Ну — и от всякой хвори. Не барской, которую немцы-лекари пользовали, вроде тифуса или ревматизмуса. Для простого люда без всяких лекарей хватало отечественных лихоманок — трясовица да невея, подтыница да гнояха, ворогуха да маятница, — всех не перечесть. От всего этого впадал народ в отчаянность, ударялся в бега — только куда убежишь, если кругом заставы, засады, воинские команды почище гончих псов... Рвали беглым ноздри, вразумляли кнутом и, коли выживали, гнали снова на работу. В иных державах города и крепости тоже на кро-

ви и костях росли, только растягивалось это на века, но так было наглядно. А тут и не понять, чего больше шло в землю — человечьих костей или просмоленных свай.

При всем этом нельзя сказать, что Петр был просто жесток или кровожаден, не любил ближнего. Петр был великим государственным мужем, а великие мужи любят ближнего издали. Только такая любовь и позволяет великим подняться над мелкими устремлениями отдельных личностей, их частными горестями и страданиями во имя прекрасного будущего для всех — для державы. Благо державы — настолько высокая цель, что в сравнении с нею благо или неблагополучие отдельных личностей не имеет никакого значения. А если, по мнению такого мужа, и сам народ еще не дорос до понимания своего истинного блага, его следует к благу тому вести, не ожидая, пока он дорастет и созреет. Даже силком. Даже поколачивая при том батогами для вящего вразумления. А когда нужно — и под конвоем... Непокорные перемрут, вырастут покорные, те поймут и оценят.

Через десять годов, еще не став городом, стал Санкт-Петербург столицею. Спешил Петр Алексеевич, торопился: не поспеешь, не доделаешь сам — поворотят наследнички вспять, снова потащут Россию в беспросветную азиатчину. Не поспел. На большую меру скроен был человечище, а не хватило и его — слишком много задумал, слишком многое начал. Потом приблудные, самозваные наследники не сумели доделать начатое им и за двести лет. Рухнул великан, и рука, которая, играючи, махала топором, кузнечной кувалдой, держала корабельный штурвал, ворочала пушки, не удержала грифеля. «Отдайте все...» — последней натугой сил нацарапала она и упустила грифель. Вместе с грифелем упал и державный венец. Уже не царский — императорский. На кого возлагать? Кто посмеет руку протянуть?

Нашлись бы, посмели... Пока жив был Петр, из кожи лезли вон от усердия, от прищуренного взгляда государева обмирали смертным страхом, жене под одеялом нашептать боялись — судьба царевича Алексея, Кикина со товарищи всем памятна, — а про себя не один прикидывал, в венецейское зеркало заглядывая: чем, мол, я хуже?.. Только что не судьба, не пофортунило, по-нонешнему... Эка невидаль — Романовы! Худородные выскочки... Мы-то древнее, знатнее — по прямой от самого Рюрика... Поначалу провозгласить Петра II, Алексеева пащенка, — единственный наследник! — царицу Евдо-

кию возвернуть из монастыря, чтобы вроде как при нем состояла — как-никак законная бабка. У старой бабы ума не боле, чем у малолетнего губошлепа, без нас не обойдутся, а там видно будет... Главное — исподволь разогнать стаю волков — преображенцев да семеновцев. Везде их покойник понатыкал — и в генералы, и в адмиралы, и в воеводы. В Сенате и то все время толкутся — наблюдают, прислушиваются. Поналезли из грязи в князи. Пора, давно пора их туда же...

Но скоропалительные князья не хотели снова в грязь. И только император отхрипел в последних мучениях, а сенат и синод собрались в покое поблизости, чтобы решать судьбу трона, а значит, и свою, ввалились Меншиков, Бутурлин и ватага преображенцев. Со свойственным ему нахальством светлейший князь Ижорский вынул бумагу, сдул с нее воображаемую пылинку, даже зачем-то протер обшлагом и предложил, говоря по-современному, набрать в императрицы супругу покойного Екатерину Алексеевну. Вот Бутурлин, лично он, Меншиков, и вся гвардия «за», а если кто из господ сенаторов против матушки-государыни, пускай скажет, очень интересно будет послушать... И им, и всем преображенцам и семеновцам, которые выстроились перед дворцом на площади, кто сомневается, пускай выглянет в окошечко...

Бабу на императорский престол? Да еще какую бабу?! Мало, что немка, она же самого подлого звания — пастухова служанка, солдатская утеха... Царь до себя возвысил, и тут не удержалась — привыкла по рукам ходить, — блудила с Вилимом Монсом, — давно ли голову ему отрубили? Она и у Меншикова побывала, теперь будет куклой в его руках... Это что же такое получалось — Алексашка Меншиков вроде императора будет?

А что скажешь? На пьяных, разбойных харях гвардейцев так и написано, что они по первому знаку начнут тыкать своими шпагами направо и налево. Ладно, не забудется тебе, Лександра Данилыч, нынешнее глумление и торжество, ступеньки круты, еще споткнешься... И господа сенаторы дружно проголосовали, то есть присягнули тоже не слишком трезвой матушке-государыне, которая слабеющие силы поддерживала венгерским.

После этого недописанное Петром завещание на протяжении целого столетия будут дописывать и переписывать шпагами, штыками, а то и просто удавками, но это будет потом. Сейчас же стало очевидным, что порушить начатое Петром не удастся. Не потому, что все недавние

соратники рвались продолжать его дело, горели желанием просветить Россию. Конечно, возвышенные слова о служении Отечеству, продолжении дела Петра Великого, об истории они произносили, но заботились не об истории, а о себе. Уцелеть они могли, лишь удержав власть, а удержать ее можно было, только уцепившись за дело Петрово, продолжая его. Они и продолжали. Бестолково, наобум и вразнобой, но продолжали.

Шло продолжение и Санкт-Петербургу. По установленному плану и распорядку: дома «для подлых людей» — в один этаж, четыре окна, «для зажиточных» — в четырнадцать окон, с мезонином, «для именитых» — в два этажа. Ну а горела столица уже без плана и всякого распорядка, по погоде и удаче: то факелами в ночи вспыхивали одиночные постройки, то занимались целые порядки, а то ревело, полыхало лютое пламя из квартала в квартал, оставляя после себя груды мусора да закопченные трубы. Поджигателей, как бешеных псов, расстреливали на месте. Не помогало. Ширились пустыри, груды мусора зарастали буйной крапивой, лебедой, снова лез из земли недокорчеванный ивняк. Но стройка не утихала — стучала, гремела, звякала на все лады. Здесь, подгоняемый кнутом и батогами, копошился в грязи, надрывался и безропотно подыхал подлый работный люд. Это был тот крайний предел тьмы, мучений и безнадежности, который попы называли кромешным и обещали грешникам в аду, но который был уделом бесправных и на земле.

Долго сопротивлялись российские именитые люди Петру и его делу, но, в конце концов, поняли, что исхода не будет, городу стоять, столице расти. И начали оседать по-настоящему, строить не балаганы, палаты. Дворцов тоже набралось много. На Зимней Канавке — собственный Петра. Тот был мал и тесен: великий преобразователь больших хором не любил, высоких потолков не переносил вовсе. Здесь Елисавета потом поместила своих любимых лейб-кампанцев — чтобы были под рукой, поближе. Там, где ныне находится Инженерный замок, стоял деревянный двухэтажный Летний дворец. На Неве богатые каменные палаты построил себе петровский адмирал Апраксин. Умирая, завещал их Петру II, но тому жить в них не довелось — вскоре помер. Жила Анна, потом Брауншвейгская фамилия, а после переворота Елисавета. Для нескончаемых приемов, балов и маскарадов дом Апраксина даже после перестройки был тесен, и

придворному архитектору Бартоломео Растрелли было предписано «для единой славы всероссийской» построить новый, воистину императорский Зимний дворец. Предварительно на Большой Першпективе Растрелли построил для императрицы временный Зимний. Дворец был деревянный, но занял со службами громадную площадь в два квартала от реки Мьи до самого Адмиралтейства. А на месте, где прежде стоял апраксинский дом, поднялась четырехэтажная громада. Величественная и роскошная, она затмевала все, построенное прежде. Но пока ее самое затмевал хлам. Строительство окончилось, леса сняли, внутри дворца шла спешная отделка, но подступа ко дворцу не было — всю гигантскую площадь вокруг дворца загромождали бараки, склады, времянки, мастерские, штабеля бревен, теса, будки для караульных, балаганы, горы кирпича и камня.

Бартоломео Растрелли в эту пору в зените славы. Он создал уже много знатных построек. Смольный монастырь, где когда-то были склады смолья. На правом берегу Фонтанки у Аничковой заставы — дворец потаенного супруга императрицы, графа Алексея Разумовского. А на левом берегу Мьи, прямо против деревянного императорского, поставил каменный дворец другому графу — Строганову. Именно в этом дворце, не как пленного, а как почетного гостя, и поместили графа Шверина. В Санкт-Петербурге пленный граф был на совершенно вольной ноге, в приставах нужды не было, и бывший пристав, теперь уже просто приятель, Григорий Орлов обосновался тоже неподалеку от императорского дворца, только у другого его конца — снял дом придворного банкира Кнутсена на углу Большой Першпективы и Большой Морской.

В кругу надежных конфидентов Кнутсен не раз повторял, скорбно улыбаясь:

— Придворный банкир? Это просто особый вид самоубийства. Вы видели, как ветряные мельницы осушают польдеры в Голландии? Они непрерывно качают воду, днем и ночью, зимой и летом. Но все они — детские игрушки по сравнению с этой мельницей... — Через плечо он показывал большим пальцем за спину, и все отлично понимали, с какой мельнице идет речь. — Она, тоже никогда не останавливается, только качает не воду, а деньги. Из меня. Скоро она выкачает все до последнего

фартинга, тогда я покину этот дом, надену нищенскую суму и пойду пешком на свою дорогую родину.

Однако придворный насос давал, по-видимому, изрядную утечку. Кнутсен действительно покинул этот дом, но нищенскую суму почему-то не надел и не пошел пешком на дорогую родину, а перебрался в новый дом, построенный им поблизости от голландской церкви на Большой Невской першпективе. Там охотнее всего селились иностранные резиденты, представители разных фирм и компаний, и Кнутсен мог здесь чаще разговаривать на родном языке, а не на русском, которого он так и не сумел одолеть. Новый дом был уже не с мезонином, а в полных два этажа, намного просторнее и солиднее. Старый на Большой Морской был, в сущности, тоже еще новым, и Кнутсен с гордостью показывал его поручику Орлову, сколь основательна и добротна была постройка — дубовые панели в столовой, обложенные узорчатым кафелем печи и камин, кованые решетки, которые ночью надевались изнутри на окна, и целая система крюков, засовов и замков на дверях.

— Теперь буду знать, — улыбаясь, сказал Орлов, — как банкиры свое золото прячут.

— Господин официр! — внушительно сказал Кнутсен. — Банкир не прячет золото, он не ест... этот... ростовщик! Он хранит важный документ, папир... Бумага! Инокта даже государственный папир! От него зависит репутаций, а инокта, — он внушительно поднял палец и скорбно покачал головой, — зависит и война... В Англии есть поковорка: «My home is my castle». Это ест мой кастль и тепер ваш кастль, крьепость.

— Чего мне прятать в крепости? Золота нет, никаких бумаг в заводе не было, а репутация моя всегда при мне.

— То ест никокта неисвесно, — глубокомысленно покачал пальцем господин Кнутсен.

— Ну ладно, — сказал Григорий, — дом, службы — все как следует быть. Одного только не пойму — мезонин есть, а ходу к нему нету.

— О, — хитро заулыбался Кнутсен, — это ест мой маленький секрет. Битте — я пряталь, ви находиль... Битте!

Григорий снова обошел комнаты, заглянул во все кладовки и чуланы. Дом был построен не прямоугольником, как обычно, с рядами окон по обе стороны, а квадратом, так что некоторые комнаты посредине не имели дневного света и планировка их была несколько

странной, необычной, но об этом Григорий не думал — он искал лестницу, а ее не было.

— Выходит, наверху поставили халабуду только так, для видимости, а никакого мезонина нету? — спросил он наконец.

— Как можно! — сказал Кнутсен. — Это ест секрет, но не ест обман! Битте, ви пошоль шляфен... И тут колокол бам-бам-бам — пошар!.. Ви спасаль всех человеки и себя тоже, потом приходиль и смотрель... — Кнутсен показал, как он горестно, но и не без гордости скрестит ручки над округлым животиком и будет смотреть на пожар. — Что у вас сгорель? Салоп, картус, пара панталён? Пфуй! Ви ест спокойны — ваши папирен не сгорель... Или ви пошоль шляфен... И тут пушка — бум-бум-бум... Наводнений! Ви взяль свой семей, все человеки и ушоль бесопасний мест. Наводнений ушоль, ви пришоль — ваши папирен не утонуль. Или ви...

— Пошел шляфен, — ухмыляясь подсказал Григорий.

— Найн! — торжествуя, воскликнул Кнутсен. — Ви пошоль шпацирен! И пришоль расбойник! Он искаль, ломаль, что он нашоль? Салоп, картус, пара старый панталён! Пфуй! Ви пришоль — все ваши папирен лешаль на место... И немношко талер и гульден, какой у вас быль, тоже лешаль на место...

— И где же все это лежит?

— А! — торжествуя, поднял палец Кнутсен. — Это и ест секрет! Битте, ви корошо смотрель. Ошень корошо!

Кнутсен показал рукой на дубовые панели почти в рост человека, покрывающие стены столовой. Швы между широкими дубовыми пластинами перекрывали узкие планки. Такие же планки обрамляли панели сверху. На каждой планке на равных расстояниях были укреплены по три литых бронзовых розетки.

— Ви не понималь? — торжествуя, сказал Кнутсен. — Тогда я показываль фокус-покус.

На третьей от камина планке он повернул все три розетки влево и слегка нажал ладонью на панель. Она беззвучно подалась, открывая дверной проем. Кнутсен зажег свечу и, шагнув в проем, кивнул Орлову. Пол довольно большого помещения был завален остатками вывезенного хлама, но это был не склад, не кладовая: комната скрывала пять массивных каменных столбов, связанных наверху металлическими перекрытиями. Возле дверного проема начиналась лестница. Основание ее было сложено из кирпича, ступенями служили гранитные

плиты. Орлов и Кнутсен поднялись на площадку, и Орлов понял, что они находятся в мезонине. Изнутри он был совершенно не отделан, не пригоден для жилья и служил лишь прикрытием для каменного сооружения, занимавшего почти всю площадь мезонина. Кованая дверь была заперта массивными запорами и крюком, которые открывались поразительно легко и бесшумно. Кнутсен открыл дверь — она оказалась необычайно толстой, коробчатой и чем-то набитой. Необычайной толщины были и стены, покрытый чугунными плитами пол застилали веревочные маты, так что шаги были совершенно бесшумны. Каменная комната не имела окон, но воздух в ней не был застоявшимся, спертым — где-то были вентиляционные каналы. В углу стояла металлическая этажерка, рядом с ней топчан, а напротив маленького камина — простой деревянный стол и скамейка. Кое-где на матах светлели прямоугольные пятна — следы вынесенных сундуков или ящиков.

— Ну-ну! — сказал Григорий. — Настоящий каземат! Его только пушками прошибешь, и то не вдруг! — Он предостерегающе поднял руку и прислушался — извне не долетало ни звука, ни шелеста, хотя в эту пору по булыжной мостовой гремели колесами кареты, грохотали груженые подводы. — Почище всякого каземата!

— Мой маленький секрет, — самодовольно улыбался Кнутсен.

— Секрет, положим, большой — уж тут спрячешь — никто не найдет. Жаль только, мне прятать нечего...

— Кто зналь, кто зналь, — сказал Кнутсен.

Кнутсен запер каменный тайник, они спустились в столовую.

— Господин официр, — сказал Кнутсен, поворачивая вправо розетки на планке и тем запирая потайную дверь, — я даваль айн маленький совет: один человек зналь — ест секрет, два человеки зналь — не ест секрет.

Григорий растерянно согласился и лишь много времени спустя по достоинству оценил совет Кнутсена.

Сторговались, ударили по рукам, чего, по мнению Орлова, было вполне достаточно, но по настоянию Кнутсена подписали арендный договор, и Григорий Орлов зажил своим домом. Собственно, его домом он был недолго, так как сразу стал домом всех Орловых, потом домом их друзей... Друзья приводили своих друзей, знакомые своих знакомых, и в когда-то чинном, благопристойном доме Кнутсена не было ни дня ни ночи, дым стоял коромыслом. Не раз случалось, что после затянувшейся до утра попойки Григорий возвращался домой и с трудом находил место, чтобы отоспаться. В одной комнате, как и где пришлось, спали упившиеся до потери способности к самостоятельному передвижению, в другой еще допивали «по последней» и уже не столько словами, сколько нечленораздельным мычанием и рыком подбадривали друг друга, в третьей никак не могли остановиться игроки с зелеными испитыми лицами, в четвертой, кое-как отоспавшись, по еще пребывая в полном запьянцовском помрачении, ковшами дули квас и огуречный рассол, чтобы затем снова вернуться к серьезным напиткам. На свершавших когда-то воском полах окаменела грязь, дубовые панели в нескольких местах были залиты, камин чаще занимала пустая посуда, чем дрова. Заросшая жирной грязью посуда была повсюду — на столах, стульях, подоконниках, а то и просто по углам на полу, и весь дом с ужасающей скоростью наполнялся мусором и неописуемой дрянью. Но никто не ужасался, а меньше всего — денщики и дворовые. Никогда не трезвеющие до конца, они изредка появлялись после настойчивых звонков, иногда даже по собственному, трудно объяснимому позыву, но при этом были более всего озабочены задачей сохранить вертикальное положение, так как возвращение в него из всех иных позиций было просто неисполнимой мечтой. Стараясь не нагибаться, они ширкали веником по замусоренному полу, очищая что-то вроде тропки, сгребали со столов пустую посуду и, как бесплотные духи, исчезали на совершенно не контролируемое время.

Поглощенный своими делами, Григорий на все смотрел сквозь пальцы, но иногда, осердясь, кричал на денщиков и дворовых, грозил отослать в полк, перепороть всех пьяниц и бездельников. Бездельники и пьяницы мучительно старались сохранить равновесие, таращили непроизвольно слипающиеся глаза и коснеющими языками лопотали: «Так точ...», «Оно известно...», «Барская воля...», «Как следует быть...» Дышать они старались в сторону или застенчиво прикрывали рты ладошками. Григорий был добр и отходчив, раздражение быстро гасло в нем, он махал рукой и гнал «чертей полосатых» с глаз долой.

Так продолжалось до лета. Братья не раз думали, рядили, как жить дальше. Четырнадцать лет назад умер незабвенный родитель. Не щадя живота, воевал он во всех войнах Петровых, проявляя храбрость отменную,

за что Петр собственноручно повесил ему на шею свой портрет на золотой цепи. В последние годы Григорий Иванович состоял новгородским губернатором. Корысти не искал, не мздоимствовал, служил верой и правдой, и потому с чем был, с тем и остался, а детям завещал единственно свое доброе имя да имение в сельце Бежецком. Именьишко пустяковое — из конца в конец переаукнешься, только и прибытку, что память: родительское гнездо, общая всех братьев колыбель, да на погосте родные могилки под бурыми от времени крестами. Под хозяйским глазом, может, еще и был бы какой прок, только откуда хозяйскому глазу взяться, все братья в службе, а служба не лапоть, через плечо не кинешь. С редкой оказией поп убогой бежецкой церкви слал жалостные письма — все-де пришло в разруху и запустение, и не будет ли от господ какого решения или вспомоществования, поелику имение и приход весь впали в скудость велию. Откуда было взять вспомоществование, если братья из одного долга вылезали только в другой: жалование не бог весть, да и платят через пень в колоду даже гвардейцам. Решили старшему, Ивану, испросить отпуск, дабы посмотреть, что можно в Бежецком сделать, навести порядок, а подвернется случай — избавиться от обузы, продать. Иван уехал, остальные вернулись к своим делам.

Возвращаясь однажды с охоты, Григорий только миновал Аничкову заставу на Фонтанке, как услышал тяжкий галоп. На огромном караковом жеребце навстречу скакал Алексей. Григорий помахал брату рукой, тот резко осадил коня, жеребец вздыбился, заплясал на задних ногах и стал.

— Здоров, братушка! — закричал Алексей. — Как полеванье?

— Так себе... Откуда такой?

— Хороша зверюга, а? — осклабился Алексей. — Бибикову барышник привел.

Жеребец бешено косил фиолетовым глазом, грыз удила и скалил зубы, норовя хватить Алексея за колено, но тот был настороже и короткими рывками узды удерживал морду коня в безопасном отдалении от своих колен. Жеребец сразу почувствовал твердую, уверенную руку грузного всадника, знал, что укусить себя всадник не позволит и это не более, чем игра, но обоим нравилась эта игра — состязание в силе и ловкости, и они с удовольствием ее поддерживали.

— Неужто выиграл?

— Куда там — не хочет в карты. Так приценяюсь.

— А деньги где возьмешь?

— Кабы были деньги, я б не приценивался... Постой, — оборвал он сам себя, — ты сколько дома не был?

— Три дни.

— Так ты ничего не знаешь? — обрадовался Алексей и захохотал. — Ну, езжай, езжай...

— А что случилось?

— Нет уж, сам увидишь! — засмеялся Алексей и пустил каракового рысью.

Еще издали Григорий увидел, что все окна в доме распахнуты настежь. Григорий слез с коня, постучал молотком в дверь. Дверь никто не открыл, а в окнах появились какие-то бабьи лица в низко, по самые глаза, повязанных повойниках и с любопытством уставились на него. Григорий снова постучал молотком, и опять никто не открыл.

— Не стучи, барин, не пустют, — сказала одна из баб.

— Как — не пустят? — возмутился Григорий. — Я — хозяин.

Бабы прыснули.

— Чего скалитесь? А ну, откройте счас же!

— Мы там не знаем, нам не велено, — отозвался тот же голос, и все бабы разом исчезли.

Григорий в сердцах сплюнул и пошел к воротам. Двор был загроможден, заставлен мебелью со всего дома. Сюда вынесли все, что только удалось сдвинуть с места. Кнутсен за модой не гнался, никаких мягких пуфов и диванчиков не заводил, а в свое время выписал себе добротную, на века сработанную мебель из мореного дуба. Сейчас над ней хлопотали невесть откуда взявшиеся бабы — ошпаривали кипятком, скоблили ножами, терли мочалой. Оттягивая до самой земли веревки, сохли выстиранные маты и дорожки. На удивленье трезвые и моторные денщики и дворовые мужики таскали котлы с кипятком и бадейки холодной воды. Они не прочь были поточить лясы с бабами, но, оглянувшись на крыльцо, делали вид, что ничего такого не помышляли, и поспешно убирались с глаз долой — в кухню или каретную.

Возле крыльца, опираясь на клюку, стояла рослая старуха в черном повойнике и строго поглядывала на работающих. Клюка ее вовсе не была признаком слабости или немощи, опорой при ходьбе, это был посох для шествий, почти скипетр — свидетельство власти.

Григорий присмотрелся к старухе, развел руки и бросился к ней.

— Мамушка! — закричал он, обхватил ее за плечи, приподнял и закружил на одном месте. — Мамушка, какими судьбами?

— Пусти! — сердито приказала старуха. — Пусти, говорю, медведь долежалый!..

Высвободившись, она сердито заправила седую прядь под повойник, вытерла губы хвостиком платочка.

— Поздоровался бы сперва по-людски, а потом лез со своими лапищами.

— Не серчай, мамушка! — сказал Григорий. — Уж больно я рад!

Они троекратно облобызались. Лицо старухи дрогнуло в гримасе подавленного всхлипа, она подняла руку, чтобы перекреститься, но из-под руки увидела, что все бабы замерли, кто с тряпкой, кто с мочалкой в руках, и не сводят глаз с Григория.

— А вы чего уставились? — крикнула старуха. — Живого мужика не видали?

— Такого-то красавчика где увидишь? — отозвался озорной голос. — Нам бы такого хучь вприглядку...

Бабы вызывающе засмеялись. Старуха метнула взгляд, но не угадала говорившей и пригрозила клюкой:

— Вот я вас, сквернавки бесстыжие! Живо за работу, а то всех прогоню со двора и полушки не дам!

— Где ты их столько набрала, мамушка? — удивился Григорий.

— Эка невидаль! В портомойне. Бабы балованные, дерзкие... Ну, тебе до тех баб дела нету, об тебе разговор пойдет. Ты что же, Григорей, ай совсем стыд прогулял да пропил?

— С чего ты взяла, мамушка? Что я такого сделал?

— А как же не сделал? Ну, про меня, рабу глупую, куда уж помнить... А мать померла, отец преставился — ты хоть на глаза показался, на могилку сходил?

— Так ведь служба, мамушка... — пристыженно сказал Григорий. — Сам в себе не волен.

— Служба? А кака така служба неволит кормилицу свою продавать? Как корову, которая молоко перестала давать, — хоть на убой, лишь бы с глаз долой...

— Что ты, мамушка! Как ты придумала такое? Разве я...

— Не ври, Григорей! Кого-нито обманешь, меня — нет! Иван приехал, я спрашиваю: «Продавать при-

ехал?» — «Продавать». — «И дворовых тоже?» — «И дворовых. Куда ж их девать?» Ну, я узелок свернула и на тракт — где подвезут, где пешком. Все ноженьки отбила — почитай, месяц шла до этого содома... Ты только не думай — я не просить тебя пришла. Я пришла тебе в глаза поглядеть... А потом обратно пойду, али можешь меня здесь на съезжую отправить... Пускай потешатся — высекут старуху... Что ж ты в землю уставился? Ты мне в глаза гляди! Стыдно небось?

— Ох, как стыдно! — не поднимая налитого краской лица, ответил Григорий.

Ему и впрямь было мучительно стыдно. Не того, что собирался продавать свою мамку — этого в мыслях не было, — а того, что он просто забыл о ней... Ведь он непритворно, на самом деле горячо любил ее и знал, что она отвечает ему еще большей любовью. Нянчила она всех — и Алексея, и младшеньких — Федора с Владимиром, но для Григория была еще и кормилицей. Вымахал Григорий в здоровенного детину, а для нее так и остался ненаглядным дитятей. Собственный сын Домны помер в малолетстве, и все нерастраченные материнские чувства обратились на барских детей, и прежде всего на Григория. Она и в давнюю пору была строга, баловства никакого не допускала, но и обижать детей не позволяла. Родитель был поровом крут, на руку скор, перечить ему никто не смел, решалась на это одна Домна и умела поставить на своем. Мало-помалу она оказалась всем необходимой, превратилась в барскую барыню, полную хозяйку, и только что не член семьи. Григорий всегда вспоминал о ней с нежностью, только случалось это все реже, пока не случилось вот так, что не вспомнил вовсе.

— Прости, мамушка! — сказал он. — Вот как перед богом: не было этого в мыслях.

— Ты за бога не прячься! Сам за себя отвечай.

— Да что уж тут прятаться — кругом перед тобой виноват. Ну вот он я, делай со мной что хочешь, только прости!

От стыда и огорчения у Григория даже слезы выступили на глазах, и старуха смягчилась:

— Ладно уж, бог простит... голова непутевая... А вот этого сраму, — снова ожесточилась Домна, показывая клюкой на дом, — ни бог, ни люди не простят! Экую грязь да пакость завел. Да у твоего батюшки в хлеву скотина

чище жила!.. Серчай не серчай, я всех твоих пьянчуг, что здесь отсыпались да бражничали, повыгоняла. И ходу им сюда больше не будет! Пускай по кабакам сосут свое клятое зелье. Да тут не то денщик, не то дворовый лодырь ерепениться вздумал, кто, мол, такая да откуда, так я его маленько клюкой поучила. Небось к тебе жалиться придет.

— Пускай, — сказал Григорий, — я ему еще подбавлю.

Домна удовлетворенно кивнула.

— Вот и ладно! Баб я подрядила, вывезут грязь, а дальше выбирай, ты хозяин: или снова вертеп тут костный откроешь, тогда я завтрева же обратно уйду. Или останусь, но только уж гляди — никаких гульбищ!

— Да мамушка, я всей душой... Бери все это хозяйство и володей как хочешь. Как скажешь, так все и будет. Неуж я против тебя пойду?

— Попробуй только! Разучился жить, как православные живут, так я тебя снова обучу... Отдавай сюда все ключи.

— А у меня нет никаких ключей. От кладовой, погреба, что ли? Ключи, чай, у дворовых, а может, там и замков нет...

— Ну, хозяин! — в сердцах сказала Домна. — Уйди ты за ради бога с глаз долой, не вводи меня во искушение... Я уж как-нибудь сама все найду.

В доме Кнутсена началась новая жизнь. Не то чтобы квартира молодого холостого офицера превратилась в монастырь строгого устава, где громче шепота не говорят, крепче ключевой воды не пьют. Случалось и шумство — пили, и в картишки перекидывались, дом стал даже хлебосольнее, но гульбища не затягивались за полночь, исчезла заросшая салом грязная посуда, а с ней и полчища тараканов, в доме всегда было светло, тепло и чисто. Дворню Домна Игнатьевна не била, но та в несколько дней сделалась шелковой — летела по первому зову, подавала, прибирала чуть ли не бегом, а без надобности была не видна и не слышна. К гостям Домна Игнатьевна не выходила — не в обычае, и единственно всегда сама встречала Григория, если ему случалось задержаться. Бравый вояка для нее все еще оставался несмышленышем, и она привычно тревожилась, не могла уснуть, пока он не возвращался.

4

Императрица устала умирать. Несколько лет назад, выйдя из церкви, Елисавет Петровна упала на землю и два часа пролежала в беспамятстве. К ней боялись прикоснуться, только накрыли, чем пришлось. Отлежалась, отошла. С тех пор, поначалу изредка, потом все чаще, затылок наливало свинцом, разламывало жестокой болью. От любимого венгерского на малое время становилось легче, боль стихала, но вскоре возвращалась еще злее, и все проваливалось в беспросветную черноту. Силы убывали, а лейб-медики усердно отнимали последние, то и дело пуская кровь. Как и все люди, Елисавет Петровна не думала о своей смерти, не ждала ее — становилось легче, и жизнь снова катилась по заведенному кругу. Но вдруг мир, в котором она жила и в котором были ясны все начала и концы, весь он, последовательно и мерно представший перед ней, этот цельный, неделимый мир раскололся, распался на какие-то полосы, клочья и обрывки. Императрица пыталась слепить заново, соединить обрывки и клочья, заполнить внезапные провалы и, словно помогая своей памяти, торопливо перебирала пальцами кружево одеяла. Новые кружева сминались под пальцами и тут же расправлялись, но кружево памяти путалось и рвалось, как застиранный, изношенный вязаный.

И тогда же ушел страх. Тот всегдашний, неотступный, который она двадцать лет всячески заглушала и не могла заглушить. Вертушка, хохотушка, ветреница... Она знала, какая слава за ней идет, как сплетничают приближенные, что врут полномочные министры и посланники своим правительствам. Ну, любила повеселиться, попрыгать. Пиры, аманты, балы да машкерады... Это видели, знали все, она и не пряталась. А кто знал ночи ее, до краев налитые страхом и сводящим с ума ожиданием?!

Бессонные ночи долги. У Елисавет Петровны они все были бессонными. Смолоду — от веселья и иных радостей, угасавших только к утру, потом — от страха. Она даже не раздевалась, не ложилась в постель, сидела в креслах, прислушивалась и обмирала при каждом шорохе. Каждую ночь ждала, воочию видела, как с ней делают то же, что сделала она с правительницей Анной Леопольдовной в ту глухую ноябрьскую ночь сорок первого...

Стоило примкнуть веки, как в ушах раздавался оглушительный визг и хруст снега под ногами гвардейцев.

Чтобы не привлекать внимания, сани пришлось оставить, но, оказалось, идти Елисавет Петровна не может — у нее тряслись, подгибались колени, ватные ноги оскальзывались и спотыкались. Гвардейцы подхватили ее на руки и понесли. Лютая стужа обращала дыхание солдат в пар, окутанная им, Елисавета плыла, как в облаке... В гауптвахте Апраксина дворца затрещала под ножами шкура на барабанах, чтобы не вздумал кто отчаянной дробью поднять тревогу. Изумленные, но отнюдь не раздосадованные гвардейцы, стоявшие в карауле, безропотно отдавали оружие и уступали место внезапной смене, ворвавшейся с улицы. В одних рубашках повытаскивали из постелей правительницу Анну и мужа ее Антона. Валялись у нее в ногах, молили о пощаде, помиловании. Помиловала. Не нарушила своего обета — став императрицей, никого не карать смертью... И эти остались живы — годовалый император Иоанн Антонович и вся незадачливая Брауншвейгская фамилия. Только погребены в неизвестности. Никто не знал, где заточены, никто не знал, кто в заточении. Даже в рапортах стражи запрещено было называть «известных особ» по имени...

А если дознались? Если давно уже созрел заговор, и сейчас, вот сию минуту, крадутся по темной улице заговорщики и освобожденный ими император без империи, чтобы отобрать государев венец, отнятый у грудного несмышленыша? И вот уже снова трещит под ножом шкура на барабанах, скрипят лестничные ступени, топочут грубые солдатские сапоги...

— Скорей! Запри! Запри сейчас же! — кричит Елисавет Петровна, расталкивая спящую юнгферу.

Та бросается к двери, но, и не добежав, видит: массивные, как в амбаре, засовы задвинуты, крючья закинуты в петли.

— Так ведь заперто, ваше величество!

— Заперто, заперто... — брюзжит Елисавет Петровна. — Не переломишься, коли разок проверишь... Погоди!.. Ничего не слышишь? Вроде идет кто?.. А?..

Подавляя зевок, юнгфера вслушивается.

— Нет там никого, ваше величество! Почудилось... И кому ходить в эту пору — спят все.

— Кому надо, тот ходит... Это вы все спите, тетери сонные, — говорит Елисавет Петровна и с ненавистью смотрит на тут же уснувшую юнгферу.

Чтобы успокоиться, она отпивает половину бокала

любимого венгерского, потом до рези в глазах таращится на пламя свечей, чтобы и самое не сморил сон...

Смаривал. В ужасе вскакивала, обмирала, вслушивалась. Знала, что за дверью на карауле стоят верные лейб-кампанцы, да ведь сколько их там? Кабы все, кабы всегда быть среди них... Негоже императрице жить в солдатской казарме, а ей бы — в самый раз. Ночных сподвижников своих, лейб-кампанцев, осыпала милостями, выделила противу всех, поселила поближе — в батюшкином дворце, почитай, со всеми породнилась-покумилась. Через полтора года особым указом предписала — лейб-гвардейцам, которые по ночам стоят в пикете возле ее покоев, выплачивать по десяти рублев на день. Почему, за что такое неслыханно щедрое вознаграждение, сказано не было, но и так все понимали — для вящего их усердия к охранению. Они-то усердствовали. Сама Елисавет Петровна не могла преодолеть страха перед тем, что застигнут ее врасплох, захватят спящей, как она Анну Леопольдовну... Того ради объявлен был розыск стариков, кои бы имели такую твердую бессонницу, чтобы ночью вовсе глаз не смыкали. Старик — не мужчина, его стесняться нечего, а все надежнее молодых кобыл, что вокруг нее, те только и знают, что дрыхнуть. Отыскали такого. Старый хрыч оказался мошенник: он просто мог спать с открытыми глазами...

И вот страха не стало. Сна тоже не было, вместо сна наваливалась мучительная одурь, только теперь, и очнувшись, Елисавет Петровна не пугалась. Она устала от тяжких приступов кашля и рвоты, провалов в дурноту, от своего разбухшего, изжитого тела, от того, что все время торчали над ней, причитали и охали... Вон духовник, отец Федор, бормочет — молится. У дальнего стола стоят наготове со своими ножами и салфетками лейб-кровопивцы Шилинг и Круз — готовы, чуть что, снова пустить кровь по всем правилам заморской науки. На коленях приткнулся у кровати засморканный, изреванный сердечный друг Ванечка, последний амант... Этот горюет вправду, не притворяясь. Единственный, кто просто любил, без корысти и расчету. Не просил и не принял никаких титулов и наград, остался просто Иваном Шуваловым... И наследничек тут как тут. Этому не терпится — на месте устоять не может, будто свербит у него в этом самом... Глаза бы не глядели!

Елисавет Петровна отворачивается, все замечают это движение, устремляются к ней — не надо ли чего? Но ей

тошно на них смотреть, и она опускает веки, чтобы отстали...

Заторопилась тогда, вытребовала в Петербург сиротуплемянника, расчувствовалась. Думала, будет, как с тем племянником, незабвенным Петрушей... Бедный мальчик! Он ведь был влюблен в нее, четырнадцатилетний император, на все был готов, а она, дылда здоровая, с ним кокетничала... Были даже прожекты поженить их, чтобы престолонаследование было законней законного. Грех? Ну, грех попы отмолили бы. В крайности тому дароносицу подороже, тому панагию в бриллиантах пожертвовать — благословили бы... Да, видно, не судьба — помер Петруша. И вовсе судьба ей не задалась. Кого только в женихи ей не прочили? И французского короля, и Мориса Саксонского, и всякую немецкую шушеру. Чтобы, как сестрицу Анюту, из России вытолкать, подальше от престола. Ан выкусили! Она сама батюшкин престол восприяла. Только после всяких королей, князей да маркизов в потаенные супруги выбрала малороссийского пастуха... Красавец какой был, голос — прямо ангельский, и малый добрый. Да ведь за это на престол не втащишь, Европе на смех... А что — Европа? Шут с ней, с Европой...

Елисавет Петровна мучительно старалась вспомнить, додумать какую-то важную, самую важную мысль, чтобы успеть сказать, сделать, пока не поздно, но мысли ее ускользали, путались, и она никак не могла ухватить и удержать главную.

Что-то про Европу!.. Нет, на Европу наплевать. Держава... Да, вот — держава Российская! Каково-то с ней будет? На кого останется? На немецкого выкормыша? Великая, необъятная, а...

Елисавет Петровна посмотрела на окна, за которыми простиралась эта самая держава, но отсюда ее не было видно — порывистый ветер хлестал по окнам снежной крупой. И мысли Елисавет Петровны снова утратили возвышенный характер. Она подумала, что к утру может сделаться гололед, опять будут калечиться некованые лошади. И люди тоже. Бывает, и до смерти убиваются. О таких происшествиях ей непременно докладывали. Ей было жалко пострадавших, но какой-то короткой и небольшой жалостью. Она приказывала отслужить панихиду и, себе в том не признаваясь, радовалась, что случилось это с людьми, которые ей вовсе неизвестны. А то бы она жалела и огорчалась куда больше...

И тут же она почему-то начала перебирать в памяти

людей, которых знала, встречала, запомнила. Вереницы, толпы придворных, лакеев, попов, егерей, тесня друг друга, поплыли перед глазами, от их мельтешения голова пошла кругом, снова стало мутить. Грузное тело императрицы передернуло судорогой, она приоткрыла глаза. Вокруг все те же ненужные лица. Не лица — рыла... Наблюдают, сторожат, ждут смерти... Где же ее други верные, лейб-кампанцы? Она в них души не чаяла, они — в своей императрице... С гвардейцами ей всегда было хорошо. С детства, от самых малых годов. Мамки, няньки, как водится, были, а выросла, почитай, на руках у гвардейцев. На всю жизнь полюбила казарму, запах сильных мужских тел, биваки, жизнь в палатках... Ей бы мужчиной родиться. И так-то мужикам не уступала: загонивая лошадей, за двое суток могла доскакать от Москвы до Санкт-Петербурга, на пирушках с мужиками пила вровень, а уж в забористой солдатской словесности такое могла завернуть — придворных болтунов столбняк хватал... И первая любовь ее, незабвенный Алеша Шубин, тоже был бравый прапорщик Семеновского полка, загубленный этой дикой, злой дурой императрицей Анной... Господи! Как давно и как недавно это было. Почему?.. Почему так быстро пролетело все?

Невнятный хрип императрицы не поняли. Великая княгиня Екатерина Алексеевна склонилась над умирающей:

— Чего желает ваше величество?

Елисавет Петровна ненавидящим взором обвела всех и прохрипела:

— Подите прочь! Надоели, постылые!

Ее опять не поняли. Тогда с силой, удесятеренной ненавистью, она ясно и отчетливо произнесла:

— Идите все... — и по-солдатски объяснила, куда именно все должны пойти.

Сердечный друг Ванечка горестно закрыл лицо руками, отец Федор оторопело сморгнул и еще громче продолжал молиться, великая княгиня выпрямилась и поджала губы, лейб-медики не поняли и остались невозмутимы. Только великий князь осклабился — из русского языка он успешнее всего усвоил его не лучшую часть...

В те времена очень хорошо понимали, что правда нужна далеко не всякая и что в воспитательных целях следует изображать действительность не такой, какова она есть, а какой должна быть. И в скорбном отчете о кончине блаженной памяти Елисавет Петровны, который был

напечатан в особом приложении к «Санкт-Петербургским ведомостям», во всех подробностях было описано, как трогательно она прощалась с окружающими, наставляя близких жить в любви и согласии, и, исполнив свой долг, просветленная, отошла в лучший мир с молитвой на устах... Не будем спорить.

Историки в прошлом любили лапидарно и однозначно определять характеры народов. Считалось, например, что «норманны были воинственны», «гунны свирепы», «восточные народы отличаются изнеженностью», а северные, напротив того, — суровостью... Все подобного рода характеристики — совершенный вздор. В лучшем случае такие определения наивны и ошибочны, довольно часто они бывают и просто лживыми.

Однако если не претендовать на исчерпывающую полноту и бесспорность, подойти к этому без предвзятости и не искать у других народов недостатки для того, чтобы оттенять ими свои достоинства, то сопоставление национальных черт позволит увидеть как раз слабости и недостатки собственные. Известно, например, что французы — народ легкий, скорый на проявление чувств и особливо на язык. Произойдет что бы там ни было, француз тут же изречет какое-нибудь mot [1] и — как припечатает. Попадет, скажем, француз в трудное, неприятное или даже смешное положение, он пожмет плечами и скажет: «C'est la vie!» — такова жизнь! — и все. Голова у него больше не сохнет, ни себе, ни другим он ее не морочит, душу не теребит и не надрывает.

А вот у россиянина никакой такой легкости не было, чуть что, и начинался у него надрыв, выматывание душ чужих и собственной «проклятыми вопросами», всякого рода переживаниями и излияниями. Иногда, правда, излияния и переживания оказывались переливанием из пустого в порожнее, но это крайний случай, в большинстве же все было так серьезно, сложно и запутанно, что деловитые, практичные европейцы иной раз не могли взять в толк, какого рожна этой российской душе надобно, почему и окрестили ее «загадочной».

А как же было не метаться «загадочной» русской душе двести лет назад, когда то и дело происходили внезапные перемены в обстоятельствах жизни и особенно у кормила власти. Опять-таки — у французов и на этот счет была

[1] Меткое выражение *(франц.)*.

безотказная формула: le roi est mort, vive le roi! — король умер, да здравствует король! — и дело с концом. Короли следовали друг за другом в надлежащем порядке, а если исключения и бывали, то кратковременные. А возле российского императорского престола, после того как Петр I казнил сына и отменил прямое престолонаследование, то и дело возникала толчея, причем толчея разносемейная, разноязычная и даже разнополая. Разбираться в этой толчее было не легко, не просто, и потому какой-либо устойчивый ритуал утвердиться не мог, каждый раз происходило изрядное смятение умов.

Шилинг и Круз проделали все, что полагалось, — прослушали и не услышали остановившееся сердце, приоткрыли веки и увидели невидящие, неподвижные зрачки. Шилинг сложил руки покойницы на груди и с приличествующей случаю торжественностью произнес:

— Die Kaiserin ist gestorben! [1]

Согбенные плечи Шувалова затряслись от рыданий. По щекам отца Федора струились и исчезали в бороде слезы. Он прижал пальцами веки Елисавет Петровны и положил на них тяжелые серебряные рубли, на которых еще так недавно был выбит профиль покойницы. Великая княгиня, мужественно и очень успешно борясь со слезами, поднесла к глазам платок. В это время раздался странный звук, все изумленно и даже испуганно оборотились к великому князю. Нет, ничего особенного не произошло: напряженно всматриваясь в лицо умирающей, Петр Федорович непроизвольно открыл рот, а когда тетка умерла, закрыл его и громко сглотнул воздух, отчего и произошел тот самый странный звук. Петр Федорович не заметил, какое это произвело впечатление, повернулся и, громко топая ботфортами, устремился из опочивальни.

Конечно, великому князю не следовало никуда уходить, но он ничего не мог с собой поделать: он не шел, не бежал — его несло, несла некая волна. Сколько раз уже подхватывала его волна надежды, поднимала все выше и выше, потом вдруг откатывалась назад, и он вновь оказывался на бесплодном песке ожидания. Он ждал двадцать лет. Двадцать лет им командовали, помыкали, пренебрегали и унижали. Все, кому не лень. Заполошная тетка, ее фавориты, министры, чуть не лакеи... Великий князь и наследник, ложась спать, не знал, кем проснется: снова наследником или только герцогом крохотной Голштинии, которого прогнали обратно, узником Санкт-Пе-

[1] Императрица умерла! *(нем.)*

тербургской или Шлиссельбургской крепости или арестантом в заиндевелой кибитке, которого под конвоем гонят в ледовую беспредельность Сибири... Подполковник Преображенского полка, он не смел сделать гвардейцу замечание... И вот — все! Над ним больше нет никого! Он сам! Над всеми! Один! Самодержец!..

У Петра Федоровича не было опыта. Правда, после отца он унаследовал герцогство Голштинское, но произошло это на расстоянии, так сказать, заочно, и ничем, кроме основательной выпивки с приближенными голштинцами, день этот не отличался от других. А вот императорского престола он еще никогда не наследовал, никто не научил его, не сказал, что и как он должен делать и говорить. Да кто бы и посмел обучать этому при живой-то императрице, недреманных очах и вездесущих ушах Тайной канцелярии?.. Однако, не зная и не умея, Петр Федорович не мог оставаться в бездействии. Его распирало от нетерпения, жгучего желания, чтобы другие узнали тоже. Как можно скорей...

Выбежав из опочивальни, он направился было к парадным залам, потом приостановился — с этим успеется! — штатских шаркунов он презирал. Петр Федорович повернул влево и побежал по коридору. Следом за ним устремился верный друг и адъютант Гудович. Обеими руками Петр Федорович настежь распахнул двери и вбежал в дворцовую гауптвахту. Свободные от караула гвардейцы отдыхали. Четверо играли в карты, над ними склонились сочувствующие, или болельщики, как сказали бы теперь, кое-кто, сидя, подремывал, а кто-то всухомятку жевал. Один, пристроившись на скамеечке возле печки, переобувался — он только что стащил сапог с правой ноги и внимательно разглядывал подметку, проверял, не отстает ли. Увидев ворвавшегося великого князя, гвардейцы вскочили, скамьи с грохотом попадали. А вздумавший переобуваться растерялся от неожиданности и вместо того, чтобы бросить сапог на пол, почему-то прижал его к груди. Сияющие глаза Петра Федоровича ничего этого не видели.

— Солдаты! — ликуя, воскликнул он. — Von nun ab[1] я есть ваш император!

Он ждал ответного ликования, взрыва радости, но солдаты стояли недвижимо и молчали. Они не знали, что должны были сделать или сказать. То, что прокричал

[1] Отныне *(нем.)*.

Петр Федорович, не было приказанием или командой, а без команды им не полагалось проявлять свои чувства, и они не знали, как их проявить. Они не могли сделать даже самого простого, например, взять «на караул», так как ружья стояли в козлах, или отдать честь — «к пустой голове», как известно, руку не прикладывают, а их треуголки беспорядочной кучей валялись на столике у входа. Ничего нельзя было сделать и со знаменем — оно стояло в красном углу, а знаменосец как раз и прижимал к груди снятый сапог. Гвардейцы знали, что императрица больна, но в свое время они присягали ей и еще не знали, что смерть уже освободила их от присяги. В довершение беды их командира, разводящего, в этот момент не оказалось. Секунды шли, солдаты растерянно молчали, и каждый удар маятника становился все более грозным и чреватым. К счастью, в этот момент подбежал, наконец, полковник Гудович и из-за спины Петра крикнул почти на французский лад:

— Гвардейцы! Государыня скончалась. Нашему государю-императору Петру Федоровичу — ура!

— Ура! — облегченно взревели гвардейцы.

Они услышали наконец команду, все стало ясно, и они единодушно команду исполняли. Петр Федорович переводил ликующий взгляд с одного орущего рта на другой и вслушивался в сладкую музыку народного восторга.

— Ваше величество, — сказал Гудович на ухо Петру Федоровичу, — надобно немедля вернуться. Без вас там нельзя. Нехорошо может быть. Пожалуйте обратно!

Петр Федорович, вкусив первый плод хвалы и славы и услышав, что он уже не высочество, а величество, послушно повернулся и зашагал обратно. Следует добавить, что составитель записи в камер-фурьерском журнале, куда записывалось все, происходившее при дворе, во избежание кривотолков не стал записывать этот эпизод в точности, а несколько облагородил его в направлении того, как все должно было происходить. Поэтому потомки могли увериться, что первое явление императора народу, то есть появление его в гауптвахте, было встречено не грохотом падающих скамей, молчанием солдат и снятым с ноги сапогом, а торжественной барабанной дробью, громовыми кликами и преклонением знамени...

Все дальнейшее пошло уже без сучка и задоринки. Престарелый генерал-фельдмаршал князь Трубецкой, выйдя к теснившимся в залах придворным и всем высоким чинам столицы, объявил о кончине благочестивой

императрицы, и весь двор «наполнился плачем и стенанием», как писал очевидец и соучастник всех тогдашних действ. Однако вскоре двор был допущен пред императорские величества «для приношения рабской преданности», и тогда слезы горя и скорби тут же претворились в «слезы радости и умиления». Превращение слез скорби в слезы ликования, переход от горя к радости и даже восторгу в течение дня происходил несколько раз, причем круг скорбящих, а затем ликующих все более расширялся, и не удивительно, что такое смешение чувств сказалось впоследствии, порождая некоторые странные и даже смутительные диссонансы. Уже первый день, например, закончился как-то неожиданно. По оглашении манифеста о вступлении на престол государя императора Петра III, к присяге были привлечены все чины, лейб-кампанцы, гвардейцы, а также все наличные в Санкт-Петербурге воинские части. Уже в полной темноте, при свете факелов, сопровождаемый громовым «ура» и барабанным боем, Петр Федорович объехал выстроенные перед дворцом войска. После всех официальных церемоний государь император показал своим верноподданным пример мужества и душевной стойкости, образец того, как надлежит переносить даже самые невознаградимые потери. Для этого в галерее того же Зимнего дворца, в котором скончалась Елисавет Петровна, был учинен ужин для самых знатных кавалеров и дам, а так как присутствие дам, по-видимому, вызывало у кавалеров повышенный прилив мужества, то дам было значительно больше, чем кавалеров. Борьба со скорбью проходила очень успешно и закончилась только во втором часу ночи. Под конец, если у кого и появлялись слезы на глазах, это были уже исключительно слезы радости и умиления.

Радость и умиление испытывали не только придворные и служебные чины. К восторженно-служебному хору присоединился хор восторженно-поэтический и, как это у него в обыкновении, тут же принялся вещать. Нетрудно проследить истоки неодолимой и несколько комичной страсти писателей и поэтов к поучениям и пророчествам. Научившись создавать воображаемые картины действительности или то, что им кажется картинами действительности, по-своему их окрашивать и перетасовывать, они исподволь проникаются убеждением, что как бы приобретают власть и над самой действительностью, могут влиять на нее и даже предвидеть дальнейший ее ход. Такое влияние на действительность и в известных пределах

предвидение — удел гениев, но ведь мысль о том, что они не гении, приходит в голову только гениям... И потому так часто оказывается справедливым саркастическое четверостишие друга Пушкина князя Вяземского:

Делам и людям срок дан малый.
Вчерашний гений, поглядишь,
Уж нынче олух запоздалый,
И век любимцу кажет шиш!

Но... в нашем случае сроки пока не истекли, кукиши адресатам не розданы и даже еще не сложены. И пусть этим занимается сам век! В конце концов хихикать над несбывшимся пророчеством — занятие ничуть не более достойное, чем пророчествовать. Смехотворно сражать сраженное. Иное дело — сказать недосказанное, оправдать оболганное, приоткрыть утаенное...

Вернемся к пиитам. Во множестве од, посланий и посвящений они прежде всего заверили императора и его подданных в том, что он не только сам Петр, но и внук Петра, затем, что стенания об умершей Елисавет Петровне суть не что иное, как напоминания о верности ему, Петру Федоровичу, далее — воцарение его означает наступление золотого века, каждый день которого будет увенчан благодеяниями.

И благодеяния посыпались на Россию. Во все пределы державы, а прежде всего за ее пределы, в действующую армию, поскакали курьеры с радостною вестью. Первым поскакал Гудович с рескриптом главнокомандующему: военные действия против Пруссии прекратить немедля, а с австрийскими войсками разъединиться. В пределах державы в местах не столь и весьма отдаленных весть была радостной вдвойне, так как сопровождалась сообщением о помиловании ссыльных. Почившая в бозе императрица свято блюла свой обет и никого не карала смертью. Конечно, под кнутом и батогами преступники, случалось, умирали, но на то была божья воля — кроткое сердце Елисавет Петровны того не желало, а рука не утверждала. Однако интересы державы и закон требовали, дабы злодеяния были покараны, и карались они, главным образом, ссылкой в упомянутые места. За двадцать лет кроткия царствования императрицы таких ссыльных набралось тысяч восемьдесят, и всем им теперь рескриптом Петра Федоровича разрешалось вернуться. Правда, среди возвращенных не было Ивана Антоновича, который двухмесячным дитятей был провозглашен императором

державы Российской и целый год состоял в этой должности, но, во-первых, таковой заключенный по бумагам нигде не числился, а во-вторых, появление в Санкт-Петербурге еще одного законного и полноправного императора могло повести к последствиям, кои невозможно было и предугадать.

В последующие дни посыпались такие указы и рескрипты, что один из тогдашних пиитов А. Нарышкин воскликнул, обращаясь непосредственно к господу богу:

Петра ты здраво сохрани;
И нам, в блаженной вечно доле,
Продли ево несчетно дни,
Чтоб был весь свет чрез то свидетель,
Сколь в нем ты любишь добродетель,
Которую он свято чтит:
Сердца людские он исправит,
Святую истину восставит
И правду в свете утвердит.

Итак, воцарение Петра III прошло вполне гладко и благополучно, а если возникали какие-то незначительные сложности, то исключительно по упомянутой выше склонности россиян чрезмерно переживать и даже создавать эти сложности, а также по причине не совсем удачного календарного стыка событий. Смерть Елисавет Петровны должна была повергнуть и, конечно, повергла всю державу в скорбь и траур, но умерла она 25 декабря, то есть как раз в первый день рождества Христова. Рождество Иисуса Христа — великий радостный праздник для всего христианского мира, для православного, разумеется, тоже, и никакие скорбные события ни отменить, ни умалить этот праздник не могли, а за рождеством следовали святки... Таким образом, россияне должны были одновременно печалиться и веселиться. С другой стороны, утрата государыни, то есть всенародное горе, было причиной обретения государя, то есть всенародной радости. Такой сдвиг событий не мог не породить известного замешательства в умах и чувствах санктпетербуржцев, что, в свою очередь, влекло за собой такое сосуществование явлений и поступков, какие в иное время были бы просто немыслимы.

5

До конца сорокоуста было еще далеко, протодиакон усыпальницы российских императоров Соборной церкви святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургской

крепости ежевечерне разверзал волосатую пасть и зверообразным рыком сотрясал своды храма, возглашая вечную память в бозе почившей Елисавет Петровне, заупокойные службы шли во всех столичных церквах. Однако и похоронный перезвон нет-нет да и стали врываться плясовые погудки пищалок и дудок, разудалое треньканье балалаек, — сначала открылись аустерии почище, для благородных, а потом и прочие питейные заведения, вплоть до самых худых кабаков. О такой неслыханной дерзости доложили полицеймейстеру и ожидали, что тотчас воспоследует... Однако решительно ничего не воспоследовало. Барон Корф колобком катался по Санкт-Петербургу, без устали нанося визиты, так как полагал главным в своей должности ловить веющие поверху флюиды и их благорасположение. Располагались они так, чтобы скорбеть надлежащим образом, но соблюдая меру, ибо чрезмерная скорбь об усопшей могла послужить к умалению всенародного ликования по поводу восшествия на престол Петра Федоровича.

Еще будучи великим князем, государь император говаривал, что пруссаки — самые бравые офицеры, а какой же бравый офицер не курит табаку и не пьет вина? Сие даже полезно для поддержания отваги и воинского духа. Что в устах великого князя — пожелание, в устах императора — закон. И потому откупщики, содержатели аустерий и вольные кабатчики пуще прежнего принялись укреплять воинский дух и отвагу не только военнослужащих, но и штатских обывателей. Перед смертью Елисавет Петровна впала в сугубое благонравие и приказала выслать из столицы содержательниц аустерий, в которых можно было не только пить в свое удовольствие, но вкушать и от иных житейских радостей. Содержательниц выслали, а срамных девок, примерно отстегав, отправили на Калинкину мануфактуру и приставили к делу. Царица умерла, строгие иеромонахи, сменяя друг друга, еще читали Евангелие над ее разбухшим, зловонным телом, а все изгнанницы были уже тут как тут. И первою среди них — госпожа Фёлькнер.

В аустерии госпожи Фёлькнер, возле Вознесенского моста, пищалок и дудок не слыхивали. Тут счета на алтыны и полушки не вели — служивой и чиновной мелюзге место было не по карману, завсегдатайствовали господа гвардейские офицеры, иностранные негоцианты и прочая чистая публика. Потому и увеселения были только благородные: внизу, в распивочном зале, кегли и бильярд, на

уговор или небольшие деньги, второй этаж был для крепких нервов и тугих кошельков — в фараон по пустякам не играли.

Здесь не было сального смрада — в бра и настольных шандалах горели восковые свечи, меньше разило кухонной гарью, прокисшим пивом, и не надо было кричать, чтобы тебя услышал сосед. Щелканье шаров, стук глиняных кружек и пьяная разноголосица распивочной гасли за тяжелыми портьерами. Внизу бурлила словесная сутолока, наверху кипели страсти. И чем сильнее было их кипение, тем тише становились голоса, сдержанней движения, бледнее лица. Лишь иногда внутреннее напряжение выдавало себя неудержимой дрожью руки, протянутой, чтобы открыть карту или придвинуть монеты.

...Только один игрок не проявлял никаких признаков волнения. Девятипудовой горой он возвышался над столом, говорил и хохотал в полный голос. Он чувствовал себя как дома: скинул кафтан, расстегнул камзол и даже закатал рукава рубашки. Маленькие креслица с кривыми ножками не могли вместить его тулова, сидел он на дубовой самейке, но и та жалобно поскрипывала при каждом движении богатырского тела. У него было, что называется, открытое и даже привлекательное лицо, но лишь в том случае, если смотреть справа. Левую щеку его от угла рта до уха пересекал багрово-белесый шрам, и с этой стороны лицо казалось ощеренным, таким безобразным и свирепым, что незнакомые, столкнувшись с ним впервые, отшатывались и старались незаметно отдалиться. Но молодой гигант вовсе не был угрюмым или мрачным. Должно быть, он привык к тому, какое производит впечатление, или пренебрегал этим, и весело балагурил, подзадоривал счастливцев, посмеивался над неудачниками, самим собой и банкометом.

Подобранная витым шнуром портьера наполовину прикрывала дверной проем в соседствующий покой. Там за столиком сидели двое. При желании они могли все слышать и даже отчасти видеть происходящее в игральной зале, но нимало не интересовались картами и неторопливо беседовали. Говорил, в сущности, один, второй — это был Сен-Жермен в своем неизменном темно-голубом кафтане — внимательно слушал. На собеседнике его был почти столь же строгий кафтан коричневого цвета, только обложенный серебряным гасом. Лицо его...

Правильнее всего было бы сказать, что лицо у него

никакое. Лоб, нос, щеки, губы — все обыкновенно и на месте, но все настолько заурядно, что глазу не за что зацепиться, что-то выделить и приметить. При всем при том нельзя было сказать, что лицо у этого человека тупое, ничего не выражающее. Напротив, оно было чрезвычайно живым и как нельзя более выразительным. Выражение его всегда безошибочно соответствовало тому, что человек говорил, что он слышал, видел и должен был при этом чувствовать и выражать, сообразно обстановке, окружающему обществу и своему положению в нем.

— Сколько мы с вами не виделись, месье Теплов? — сказал Сен-Жермен. — Познакомились в Страсбурге, когда вы сопровождали юношу, путешествовавшего под именем Ивана Обидовского. И было это... семнадцать лет назад.

— Память ваша, господин граф, просто удивления достойна! — сказал Теплов.

— И вы по-прежнему состоите при графе Разумовском?

— Всенепременно-с. То есть числюсь при Академии де сьянс, а поелику их сиятельство президент оной, соответственно, и я при них...

— А как теперь поживает месье Обидовский, он же граф Кирила?

— Отлично-с. Отчего быть худу? При дворе их сиятельство обласканы. Мало, что президент академии, они еще и Малороссийский гетман, все одно, что удельный князь, и разных прочих званий и титулов обладатель. Щедры, хлебосольны, все их любят... Вот только... — Теплов осторожно оглянулся и, понизив голос, добавил: — Только экзерциции их донимают.

У Сен-Жермена поднялась правая бровь.

— Их величество обожают разводы. Пока они были наследным великим князем, до гвардии допуска не имели и для экзерциций выписали себе в Ораниенбаум роту голштинцев, с ними и забавлялись. Караульную и прочую парадную службу гвардия несла, но насчет муштры и шагистики — не шибко. Конечно, для порядка учения производились, так для этого хватало и сержантов... Ну, а как их величество восприяли престол, так последовал строгий приказ: гвардейским полкам на разводах быть, всем командирам при них присутствовать, свои деташементы сопровождать и самолично подавать команды.

— Что ж, — сказал граф, — по-видимому, это спра-

ведливое требование. Командир должен быть при команде.

— Так-то оно, конечно, так... Только есть деликатный пункт — кто командир? Вот, к примеру, их сиятельство, Кирила Григорьич, окромя того, что они — фельдмаршал, состоят еще в чине подполковника гвардейского Измайловского полка. Раньше они завсегда рапорты дежурных офицеров дома принимали, а в полк когда-никогда приедут, спросят: «Как живете, братцы? Сыты, обуты? Жалобы есть? Нету? Ну и слава богу. Вот вам трошки грошей, — они любят по-малороссийски словечко ввернуть, — выпейте за здоровье матушки-государыни». Солдаты, понятное дело, кричат «ура», а их сиятельство обратно в карету и домой. И все довольны. А теперь вольготная жизнь кончилась. Во-первых, каждый день вставать ни свет ни заря, во-вторых, надобно знать воинские артикулы... А ведь их сиятельство отродясь никакого оружия, кроме хворостины для родительских волов, в руках не держали-с. И если воевали, так только в отроческие годы на кулачках... Как прикажете тут быть? Отказаться нельзя. Вылезти не умеючи — сраму не оберешься. Чуть что — их величество, невзирая на чины, прилюдно обзывают всякими словами...

— И что же граф?

— Наняли поручика, из своего же полка. Теперь два-три раза в день под его команду все артикулы выделывают. Только все время приговаривают: «А сто чертей тебе в печенку...»

— Кому? — улыбнулся граф.

— Вот этого не сказывают, — улыбнулся и Теплов.

— Я не завидую вашим врагам, месье Теплов, — сказал Сен-Жермен. — Если своего покровителя вы представляете в столь осмешенном виде, то каково достается вашим недругам?

— Ах! Ах! — захлопотал лицом и руками Теплов. — Сколь несправедливо сие, господин граф! Да разве я... Как бы я осмелился?! Что я мог такого сказать, чтобы из того проистек вред для моего благодетеля?

— Из вашего рассказа следует, что граф Разумовский в юности был простым пастухом.

— Так ведь — святая правда-с! В отроческие годы их сиятельство действительно пасли родительских волов.

— Возможно, но распространение таких сведений о его прошлом вряд ли теперь доставит удовольствие графу.

— Да они сами не токмо не скрывают, а даже как бы кичатают. Вот когда соизволите посетить их сиятельство, поглядите: на видном месте в особом стеклянном шкапчике висит простая деревенская свитка — это вроде суконного кафтана, только по-малороссийски белая. И сопилка там лежит, пастушья дудочка. И их сиятельство не упустят случая сказать, что вот, мол, хранит это в назидание потомкам, дабы помнили, что в князи они — из грязи... Разве я так, от себя, посмел бы? Я — что? Эхо! Не более того... А вы такую напраслину на меня! Ах, ах, господин граф!.. Сколько я претерпел за правдоречие свое! Где бы смолчать, а я в простоте душевной все прямиком...

— Правда вещь обоюдоострая, даже когда она направлена против других.

— Премудро изволили заметить, господин граф!.. Однако если вы полагаете, что правду я говорю только про других, то совершенно напрасно-с... Я и про себя все могу сказать. Только кому это интересно?

— Мне, например.

— А вам на что-с? Человек вы здесь сторонний, путешествующий в свое удовольствие для изучения всякого рода мест...

— Любое место интересно прежде всего людьми, их нравами и обычаями.

— Извольте-с, я готов и о себе, только ничего примечательного в моей персоне нету. Матушка моя была женой истопника архиерейских покоев в Пскове, а вот родитель пожелал остаться неведомым. Ради того владыка указал: поелику она все время при печах и творит тепло, надлежит и сына наректи Тепловым... Они шутники были, их преосвященство, — усмехаясь, сказал Теплов.

— Вряд ли вам приятно об этом рассказывать, — сказал Сен-Жермен. — Зачем же вы это делаете?

— Единственно — из правдолюбия! Не корысти же ради... Разве может быть в том корысть?

— Может. Окружающие могут подумать, что если вы, не боясь унижения, говорите всю правду о себе, стало быть, и о других говорите правду. За такую репутацию можно заплатить и унижением.

— Ах, ах, господин граф! — снова засуетился Теплов. — Что я могу ответить? Восхищаюсь проницательностью вашей и немею. Мечтаю только о том, чтобы вы подольше гостили в палестинах наших и убедились, сколь несправедливо сие подозрение.

— Мы отвлеклись, — сказал Сен-Жермен. — Как же сложилась судьба ваша?

— Его преосвященство обо мне не забыли и, когда пришло время, отдали в школу при Александро-Невской лавре. После школы послали меня за границу для совершенствования в языках и науках, а по возвращении прикомандировали к Академии де сьянс. Вот тут едва не кончился не только карьер мой, а и самый живот... Человек худородный без покровителя быть не может — ни положения у него не будет, ни заступничества, ни продвижения по службе. Оценив мое трудолюбие и всяческое старание, взял меня под свою руку архитектор Еропкин, а он, в свой черед, принадлежал к приближенным Артемия Волынского — был такой кабинет-министр в царствование Анны Иоанновны. Человек этот был даровний обширных и на досуге сочинял от себя прожекты о поправлении государственных дел, с разбором об управлении и сословиях, об экономии и прочем. Эти свои прожекты он обсуждал с конфидентами, а потом преподнес на высочайшее рассмотрение самой императрице...

— После этого, — сказал Сен-Жермен, — ей ничего не оставалось, как отрубить ему голову.

— Помилуйте! Значит, вы знали эту историю? Волынскому и конфидентам его действительно отрубили головы.

— Нет, не знал. Просто это закономерное окончание всех историй такого рода.

— Но почему же, господин граф? Ведь тут преследовался не личный интерес, а государственная польза, благо отечества!

— Благо отечества выглядит совершенно по-разному, когда на него смотрят снизу и когда смотрят сверху... Правитель владеет державой и управляет ею при помощи слуг, которым он хорошо платит за преданность и повиновение. А они потому и преданны, что он платит им хорошо, и изо всех сил восхваляют мудрость и непогрешимость правителя. И вдруг кто-то осмеливается критиковать непогрешимое и предлагать реформы. Из этого следует, что у правителя не хватило ума увидеть недостатки и исправить их, а его слуги — подлые лгуны. Если так, глупого правителя надо заменить умным реформатором, разогнать подлых слуг и набрать новых, честных. Но, дорогой месье Теплов, слыхали ли вы о короле или султане, который бы провозгласил: «Любезные мои подданные! Я — дурак, а потому не умею и не имею права управлять вами. Гоните меня в шею, дорогие подданные!»

А главное — слыхали ли вы о таких слугах, которые позволили бы ему это сделать и тем самым отказались бы от власти, почета и богатства?.. Конец подобных реформаторов предрешен. У правителей нет другого способа доказать, что они умнее, им остается только уничтожать тех, кто осмеливается давать непрошеные советы.

— Беседовать с вами, господин граф, истинное наслаждение. Только получается, что не я путеводительствую вами по Санкт-Петербургу, как вы желали, а вы мною по бурному морю житейскому, между его Сциллами и Харибдами... Я-то счастлив тем, но вам мало проку от меня.

— Нет, почему же? Мне очень интересно все, что вы рассказываете. А вас по делу Волынского не привлекали?

— Как же! Как же! Был вторгнут в узилище, но... — Теплов развел руки и поднял очи горе. — Спасен... своим ничтожеством. Кто я был? Слуга слуги... В конфидентах не состоял, ни в чем участия не принимал. Поэтому — кому голову долой, кого кнутами и в Сибирь, а мимо меня пронесло — признали неповинным... Но уж страху набрался! На всю жизнь.

— Однако вы не производите впечатления человека робкого, запуганного.

— Что вы, сударь мой! Одна видимость... Только и отошел, когда Алексей Григорьич Разумовский избрал меня в спутники для братца своего Кирилы. Алексей Григорьич, надо вам сказать, человек удивительный! Другой бы на его месте, оказавшись в случае у императрицы, возмечтал и вознесся, а он каким был, таким и остался. Никакого там французского языка, этикету не признавал, только и перемен, что вместо свитки надел кафтан. В государственные дела не вмешивался, интриг не заводил... Разве что во хмелю прибьет кого.

— Как?

— Собственноручно-с. Тверезый мухи не обидит. А будучи в подпитии, буен и на руку тяжел. Теперь-то уж не то, постарел, а прежде, бывало, едут к нему на прием вельможи и трясутся — на кого сегодня жребий падет, кого он изволтузит...

— За что?

— Не любит он придворных. За двуличие, криводушие. Так-то всегда молчит, а в подпитии начнет кого-нибудь при всех обличать, а потом и того-с...

— И все-таки ездили к нему?

— Попробуй не поехать, если на том приеме имеет

быть сама императрица... Однако при всей простоте своей Алексей Григорьич очень хорошо понимал пользу просвещения, а будучи родственнолюбив, обо всех близких в том направлении заботился. В первую же очередь востребовал в Санкт-Петербург своего малолетнего братца, отдал его в науку, потом за границу послал. А меня к ним приставил как бы гувернером. Вот тогда-то и имел я счастье познакомиться с вами... Тем временем семейство Разумовских получило графское достоинство, по возвращении Кирила Григорьич, будучи от роду восемнадцати годов, стали президентом академии, потом гетманом Малороссийским... А я так при них все время и состою, во всех трудах, в меру сил моих, споспешествую...

— Стало быть, и вам в конце концов Фортуна улыбнулась.

— Где там! Фортуна — женщина, а женщины предпочитают красавчиков. Таким, как я, приходится рассчитывать на свое усердие и земных покровителей.

Граф допил вино и поставил бокал на стол. Теплов поднял бутылку, она оказалась пустой.

— Я прикажу еще бутылочку?..

— Не стоит, месье Теплов. Я ведь не люблю вина, обычно пью только воду. Но здесь, извините, мой друг, никогда нельзя быть уверенным, что в колодце не плавает дохлая кошка или собака...

— Кошка? — прикинул Теплов. — Кошка навряд. Не обзавелся еще Санкт-Петербург в достаточном количестве. По указу покойной Елисавет Петровны кладеных котов из Казани присылали, потому во дворце мышей развелось видимо-невидимо. Только кладеные коты, известно, к размножению не способны, потому котов и не хватает.

— Хорошо. Но почему — собаки? Срубы у колодцев высокие... и я никогда не замечал у собак склонности к самоубийству.

— Да, уж конечно, сами они в колодец не сиганут. Люди кидают.

— Для чего?

— Из озорства-с. Или в отместку. Поссорятся соседи, один другому и удружит темной ночью...

— Ссору ведь можно решить поединком или...

— Так это у благородных — на шпагах или еще там как. А у подлого звания проще — на кулачки или вот — дохлой собакой...

— Страшный способ сводить счеты.

— Что говорить! Только насчет воды вы, господин граф, напрасно сомневаетесь. Вода в колодцах, точно, мутная, ее для скотины и прочих надобностей употребляют. А для питья возят из Невы, там уж вода отменная.

— Возможно, возможно... Но я все-таки лучше буду пить вино. Здесь меня к нему даже потянуло. Оно напоминает, что на земле не только снег, мороз и туманы, но есть еще и тепло, горячее солнце...

— Скоро и у нас весна, солнышко пригреет.

— Мне кажется, и тогда здесь просто будет больше туманов, но солнце так и не появится... Нет, вашу страну никакому врагу не завоевать, у него всегда будут два противника — армия и климат. А если армия будет состоять из таких геркулесов... — Граф кивнул в сторону сидящего за игорным столом великана.

Теплов оглянулся.

— Как Орлов? Таких-то и у нас немного. Сами Орловы, да есть еще артиллерист Шванвич. Тоже дубина под потолок, и такой же буян.

— Вы говорите — Орловы. Их много?

— Целый выводок — пять братьев. Ну, старший-то смирен, младшие еще молоды, а самые отчаянные двое — второй, Григорей, да вот этот, Алексей.

— Храбрые офицеры?

— Смелости им обоим не занимать — в одиночку с рогатиной на медведя ходят. Да что там медведи! Григорей не только смел, он и дерзок до чрезвычайности. Вы позволили Фортуну помянуть — вот уж кому она своих даров не жалеет... Можно сказать, осыпан. Богатырь, красавец, при дворе обласкан, герой Цорндорфской битвы. Кто перед таким устоит? Ну, он и куролесит. Кутежи, романы направо и налево. Назначили его личным адъютантом к начальнику всей артиллерии генерал-фельдцехмейстеру графу Петру Ивановичу Шувалову. Чего еще, казалось бы, человеку надобно? Сам карьер под ноги стелется... Граф Петр Иванович, надобно вам сказать, был человек всесильный, поскольку жена его Марфа Гавриловна имела на императрицу большое влияние, а двоюродный братец Иван Иванович состоял в случае у императрицы... Так вот у Петра Ивановича была амантка — первейшая санкт-петербургская красавица Елена Куракина. Княгиня-с! Так что, вы думаете, выкинул этот Орлов? Заделался ее амантом!.. И не как-нибудь там скрытно, потихоньку, а только что в трубы не трубил. Сплет-

ни — на весь Санкт-Петербург. Дошло, конечно, и до самого графа Шувалова. Гнить бы Григорею где-нито в Сибири, только и тут грозу пронесло: графа удар хватил, а в январе вовсе приказал долго жить... Думаете, Орлов пострадал? Как бы не так! Еще и повышение получил. Нашлись покровители, оценили... Новый генерал-фельдцехмейстер назначил его в чине капитана цальмейстером — казначеем всего артиллерийского ведомства. Так что большими деньгами теперь ворочает Григорей Орлов.

— Вы так говорите, будто он пользуется ими для личных надобностей.

— Нет, зачем же-с! Просто человеку, который при больших деньгах состоит, веры больше. Раньше он что? Артиллерийский поручик, жалованье — не бог весть, да его еще и получить надо: у нас казначейство не шибко спешит. Отцовское именьишко было с гулькин нос — продали, теперь вот, — кивнул Теплов в сторону карточного стола, — остатние целковые на попа ставят. На веселую жизнь много денег надобно. Конечно — долги. А подо что должать?? Ну, молод, красив, слава... Так ведь под славу много не дадут. А вот если за тобой большие деньги стоят, хотя и казенные, отказу в кредите не будет...

— Вы, я вижу, циник, месье Теплов.

— Нет, господин граф. Я — практик, исхожу из опыта и наблюдения жизни. А что до Орлова, о нем беспокоиться нечего — везунчик. Впрочем, у них весь род везучий. А ведь могло и не быть!..

— Что могло не быть?

— Да всего орловского племени. Дед их только через дерзость свою и уцелел. Весьма примечательная история. У них это, можно сказать, семейное предание. Дело было при Петре Великом, только тогда он еще не был великим-то... Молодой Петр уехал за границу ума-разума набираться, всю державу оставил на князя-кесаря Ромодановского. И тут взбунтовались стрельцы. Войско такое тогда было в России... Но было и другое — сам Петр его учил и с ним учился: преображенцы, семеновцы и наемные войска. Верные Петру войска разбили стрельцов, перехватали и на правеж... На пытку, значит. Ромодановский не только войсками, а и тайным Преображенским приказом ведал. Все через его руки прошли... А тут сам царь доспел, и полилась кровушка. Боле тыщи голов полетело с плеч. Санкт-Петербурга еще в заводе не было, в Москве все происходило. Стон стоит над Красной пло-

щадью, ров. Кто молится, кто плачет, кто криком кричит. И сам царь там же — смотрит, чтобы какого послабления не вышло.

Подвели к Лобному месту, в черед на плаху, деда нынешних Орловых. Стрельцу перед ним голову отрубили, она скатилась ему под ноги, мешает пройти. Он ее ногой в сторонку откатил и шагнул к плахе. Петр это увидел, крякнул, ткнул перстом: «Этого ко мне!» Преображенцы подхватили осужденного под руки и — к царю. Царь на него смотрит, он — на царя. «Кто таков?» — «Иван Орел, сын Никитин». — «Не много ли на себя берешь — Орлом прозываться?» — «Я себя не прозывал, люди прозвали». — «Почему выю не гнешь, почему молчишь? Тебя ж на казнь привели?» — «Так, а что мне, выть? Я не баба». — «Вижу... Ты погляди, князь-кесарь, какова орясина». Царь всех на голову выше был, а Орел ему не уступит, только покряжестее. Князь-кесарь, сложив пухлые ручки на брюхе, повел взглядом из-под приспущенных век. «Помню, говорит, чертово семя. Даже на дыбе ни разу не ойкнул, только кряхтит да матерится... Под корень таких надо!» — «Под корень недолго, жалко, такая порода переведется... Помилую — снова бунтовать будешь?» — «Я не бунтовал, я приказ исполнял». — «Знаем мы вас, послушных... Ко мне служить пойдешь?» — «Нам все едино — мы люди служивые». — «Отпустите его! Явишься в Преображенский. Посмотрим, как ты служить умеешь. Ну, что молчишь?» — «А чего тут говорить? Явлюсь. Как служу — увидишь». — «Благодарить надо, пес собачий!.. Я тебе жизнь дарую!» — «Ты, царь-баютшка, не лайся. А жизнь мне не ты дал, она — от бога». Глаза Петра бешено округлились, щека задергалась. «Пошел прочь! А то, гляди, передумаю, тогда узнаешь, что от бога, а что от меня...» Служил Орел Петру верой и правдой. Потом и сын его, не щадя живота, под Петром воевал. Петр ему за храбрость сам на шею портрет свой повесил на золотой цепи... Потом нарожал сыновей, и все пошли по родительским стопам, все пятеро вояки...

— Откуда, — спросил Сен-Жермен, — откуда у Алексея этот ужасный la balafre?[1] После войны с пруссаками?

— Нет, он ведь гвардеец, а гвардия Санкт-Петербурга не покидала. И рубец этот получен не на поле брани,

[1] Рубец *(франц.)*.

а в драке. Если Григорей отличился в Цорндорфской битве, то Алексей отличается в битвах столичных. Можно сказать, первый дебошир и незакатная звезда санкт-петербургских кабаков... Я уж говорил, есть такой Шванвич — постоянный Алексея Орлова соперник по кабацкой части: кто кого перепьет, кто кого одолеет. Как сойдутся, так и пошло... Начинают с шуточек, кончают дракой. Вот как-то Шванвич слабину, что ли, почувствовал, озверел и палашом из-за угла полоснул Орлова. Другой бы от такого удара богу душу отдал, а этот выжил, только ликом страхолюден стал. Его все так и зовут Балафре — Рубцованный... Однако не подумайте, господин граф, что я стараюсь очернить Орловых в глазах ваших. Ни боже мой! По правдолюбию своему рассказываю, как оно все есть, а хулу возводить — у меня и мысли такой нету! И за что хулить? Можно только завидовать. Недаром они кумиры гвардейской молодежи. За что ни возьмутся, во всем первые — что в службе, что в пирушке, что на охоте... Что-то они там затихли. Неужто Фортуна отвернулась от Орлова?

— Нет, — сказал граф, — просто банкомет завязал ей глаза.

— Вы шутите, — сказал Теплов. — Не хотите ли взглянуть? Может, и сами пожелаете поставить?

— Я никогда не играю в карты, — сказал граф. — Игра интересна, если в ней есть риск, неизвестность. А что же интересного, если все знаешь наперед?

— Как можно знать все наперед?

— Можно, месье Теплов, можно.

Они поднялись и подошли к играющим. Против банкомета понтировал только Алексей Орлов. Остальные, утратив деньги или смелость, толпились вокруг, наблюдая за борьбой титана. Посредине стола возвышалась горка золотых и серебряных монет.

— Ну, прямо битва Давида с Голиафом, — сказал наблюдавший за игрой измайловец.

— Кто ж тут Давид? — подхватил Алексей Орлов. — Этот немецкий сморчок, что ли? Не много ли чести — в Давиды его производить?

— Eine Karte gefälligst?[1] — осторожно спросил банкомет.

Это был аккуратный, чистенький немчик. Роста он был махонького, сухощавые черты лица мелки, глазки

[1] Желаете карту? *(нем.)*

прятались за стеклами очков. Насколько он во всем был мелок и щупл, настолько не по росту был пышен в одежде. Плечи кафтана подложены, огромное накрахмаленное жабо подпирало подбородок, из кружевных манжет едва выглядывали пальцы. Тщательно завитой и напудренный парик казался меховой шапкой. Весь вид его свидетельствовал чрезвычайную аккуратность и добропорядочность.

— Давай! — сказал Алексей.

— Bitte![1] — ответил банкомет.

Алексей заглянул в карты, на мгновение задумался. На висках его выступили капельки пота.

— Еще! — Он посмотрел и бросил карты на стол. Банкомет мельком взглянул на них и, снимая с колоды карту за картой, укладывал их рядком.

— Schluß, — сказал он. — Ihre Karte ist geschlagen[2].

— Ладно, — сказал Алексей и вытряхнул из кошелька последние золотые монеты. — Давай еще.

— Bitte! — вежливо сказал банкомет и начал сдавать карты.

На этот раз Алексей выиграл, облегченно засмеялся и придвинул к себе удвоившуюся сумму.

— Погоди, перец, я те сейчас прищемлю! Ну-ка, давай...

— Bitte! — готовно согласился банкомет.

— Простите мое вмешательство, — сказал граф Алексею, — но я должен предупредить вас: вы играете с шулером.

Банкомет отпрянул от стола, бледные впалые щечки его начали розоветь.

— Это есть Verleumdung![3] — закричал он высоким голоском. — Я пуду klagen... Шаловался! Я заяфиль полицай-директор... Герр барон Корф...

— Цыть! — прикрикнул на него Алексей. — Что, и вам деле жулик? А вы почем знаете?

— Отверните его манжеты, — сказал граф.

Стоявший по ту сторону стола измайловец схватил банкомета за правую руку и дернул манжет — из рукава выпали туз червей и дама треф. В левом рукаве оказались бубновый валет и дама.

— Ах ты гнида! — даже еще не рассердясь, а про-

[1] Пожалуйста! *(нем.)*.
[2] Конец! Ваша карта бита! *(нем.)*
[3] Клевета! *(нем.)*

сто удивленно сказал Алексей Орлов и поднялся, горой нависая над столом.

Румянец на щеках банкомета погас, не сводя глаз с Орлова, он начал сползать с кресла вниз, под стол.

— Куда? Куда поехал? — закричал Алексей, перегнулся через стол, схватил банкомета за шиворот и вздернул его кверху. Стол опрокинулся, монеты, звеня, раскатились по полу.

Банкомет молчал и не сопротивлялся. Он знал, что сейчас его будут бить, бить жестоко, беспощадно, как ни разу не бивали прежде, но он не мог да и не хотел сопротивляться этому великану, чтобы не озлобить его еще больше. И, как схваченный за шиворот шкодливый кот, он висел в воздухе, подогнув конечности и как бы полумертвый.

— Что ж теперь с ним исделать? — спросил Балафре, обводя всех бешено-веселым взглядом.

— Может, шандалом его? — раздумчиво посоветовал измайловец. — Как всех шулеров.

— Шандалом ненароком убить можно. А вдруг у немцев тоже не собачий пар, а душа? — сказал Орлов. — А? — гаркнул он в ухо немцу и встряхнул его.

Спасая самые чувствительные места, шулер еще больше подогнул ноги и отчаянно зажмурился. Офицеры вокруг захохотали.

— И что за доблесть такого мозгляка пришибить?! Нет, — сказал Алексей, — мы с ним по-христиански... Что делает солдат, когда на него вошь нападет? Он ее в щепоть и — на мороз: гуляй, милая!

Он прошагал к низко расположенному венецианскому окну, пнул его ногой. С треском и звоном окно распахнулось. Орлов, словно куклой, размахнулся шулером и швырнул его вниз, в снежный сугроб, исполосованный желтыми потеками.

Раздался пронзительный заячий визг и оборвался.

— Не расшибся? — спросил Теплов.

Алексей высунулся в окно и оглушительно свистнул. Распластавшаяся на сугробе фигурка поднялась на четвереньки и, проваливаясь, увязая в сугробе, метнулась в темноту.

Поднимавшийся на крыльцо человек поднял голову и крикнул:

— Кто там озорует?

— Братушка? — обрадованно отозвался Алексей. — Иди скорей сюда!

Наблюдавшие за игрой офицеры подняли опрокинутые стол и кресла, начали собирать рассыпанные деньги. Орлов, не считая, рассовывал их по карманам.

Отбросив портьеру, в дверном проеме появился двойник Алексея Орлова. Двойником он казался только на первый взгляд. Григорий был таким же рослым, но не столь массивным, стройнее и красивее младшего брата.

— Алешка! — еще с порога воскликнул он. — Ты что это моду новую завел — человеками кидаться?

— Так он не человек, — смеясь, сказал Алексей. — Он шулер.

— А ты его поймал?

— Поймал не я, вот господин... не имею чести...

Григорий Орлов повернулся и увидел графа. Ярко-голубые глаза его распахнулись в радостном удивлении, Сен-Жермен предостерегающе шевельнул бровью. Как ни малозаметно было это движение, Григорий уловил его и тотчас, даже без секундной заминки, воскликнул:

— Сударь! Я сердечно тронут вашим участием в судьбе моего брата!..

— Не стоит преувеличивать, — улыбнулся Сен-Жермен, — не столько в судьбе вашего брата, сколько в судьбе его кошелька.

— Не скажите! Куда как часто честь, а значит, и судьба, зависят от кошелька... Позвольте, однако, представиться: капитан Григорей Орлов... — сказал он, кланяясь. — А это мой младший брат Алексей. — Алексей неловко, словно бодаясь, мотнул головой. — Скажите же, кого мы должны благодарить?

— Меня зовут Сен-Жермен.

— Граф Сен-Жермен, — деликатно уточнил Теплов.

— И вы здесь, Григорей Николаич?

— Как же — свидетель прямо чудодейственного обличения шулера.

— По-видимому, — сказал Сен-Жермен, — месье Теплова вам и следует благодарить. В свое время мы встречались в Страсбурге, а когда я теперь приехал в Санкт-Петербург, где никого не знаю, месье Теплов любезно согласился быть моим чичероне по вашей столице. Вот привел и сюда... Не мог же я равнодушно наблюдать, как жулик обманывает доблестного, но слишком доверчивого офицера...

— Не умаляйте своей заслуги, господин граф! Во всяком случае, наша благодарность не станет меньше, что бы вы ни сказали... Я просто счастлив знакомству с вами

и даже готов благословлять шулера, из-за которого оно произошло.

— Я так же рад нашему знакомству, — сказал Сен-Жермен. — Как раз перед этим месье Теплов рассказывал о вашем семействе и наилучшим образом аттестовал его.

— Ваши должники, Григорей Николаич! — сказал Орлов. — Господин граф! Не сочтите за дерзость... Коли судьба свела нас, прискорбно было бы тотчас и расстаться... Простите, я попросту, по-солдатски... Для закрепления знакомства не согласитесь ли отужинать с нами? — Истолковав по-своему молчание графа, Григорий Орлов замахал рукой: — Нет, нет — не здесь! Как бы я посмел предлагать вам ужинать в кабаке? Окажите честь пожаловать ко мне, тут вовсе и не далеко — на Большой Морской... Что ж вы молчите, Григорей Николаич? Замолвите словечко!

— Отчего бы и нет, господин граф? — сказал Теплов. — Вы интересовались познакомиться, как живут обитатели столицы нашей. Вот вам и случай...

— Да, Григорей Николаич, — сказал Орлов, — вы ведь не откажетесь с нами?

— Сожалею, — сказал Теплов, — весьма сожалею, однако в себе не волен: сегодня всенепременно должен быть у его сиятельства. В другой раз, если пожелаете.

— Всегда рады... Так что ж, не будем терять золотого времени... Алексей, распорядитесь каретой. Пожалуйте, господин граф.

Сен-Жермен ответил на поклон Теплова и, сопровождаемый Орловыми, вышел.

В подъезде Григорий Орлов попытался заговорить, граф жестом остановил его. Только когда карета, гремя железными шинами по булыжнику, отъехала от аустерии, Сен-Жермен громко, чтобы перекрыть шум, сказал:

— Вы молодец, Грегуар: сразу поняли и ничем не выдали наше прежнее знакомство. Я не хотел, чтобы в Петербурге знали, что в Кенигсберге я носил имя португальского негоцианта Аймара.

— Бог мой! Как вы пожелаете, так и будет. Только позвольте мне называть вас, как и тогда, caro padre? Ведь и с Алексеем сейчас вы поступили, как добрый и мудрый отец.

— Как хотите, Грегуар. Но сейчас нам лучше помолчать, а то на этой мостовой мы рискуем откусить себе языки...

Постучав молотком в дверь, Григорий конфузливо сказал Сен-Жермену:

— Caro padre, тут у меня старуха живет, мамка моя, теперь вроде экономки, — всему дому командир. Добрая душа, только очень ворчлива. Если что-нибудь, вы не обращайте внимания...

— Не беспокойтесь, Грегуар, — ответил граф, — все будет хорошо. Как ее зовут?

— Домна.

— У вас ведь принято называть еще и по отцу?

— Холопку по отчеству? — удивился Алексей.

— Холопка она для вас. Для меня человек, как все.

За дверью брякнул засов.

— Игнатьевна, Домна Игнатьевна, — поспешно сказал Григорий.

— Ну, явился, не запылился? Позже-то нельзя было? — сказала Домна Григорию. — А это еще кого на ночь глядя принесло? Люди добрые спят в эту пору, а не по гостям ходят... Опять, поди, бражничать станете?

— Тише ты, мамушка! Знаешь, что это за человек? Он нам — как отец родной. Однова меня спас, а сегодня Алешку...

— Добрый вечер, Домна Игнатьевна, — с жестковатой правильностью сказал по-русски граф. — Я не позволил бы себе приехать, если бы знал, что мое появление причинит беспокойство хозяйке.

— Кака там хозяйка! — отмахнулась Домна, но голос ее не был уже таким суровым — столь обходительно баре к ней еще никогда не обращались, а по отчеству, кроме дворни, никто не называл.

— Разумеется, хозяйка! — подтвердил граф. — Более того... Вы знаете, что означает ваше имя по-латыни? Оно означает — «госпожа»!.. Так что каждый раз, когда вас называют по имени, вас называют госпожой.

— Уж вы скажете! — внезапно заулыбалась, застеснялась Домна и распахнула дверь. — Проходи, батюшка, в горницу, что тут в прихожей-то стоять...

Граф и Григорий ушли в гостиную, Алексей нагнулся к уху Домны:

— Гляди, мать: что есть в печи, все на стол мечи, чтобы нам перед заморским графом не оконфузиться.

— Иди, иди! Учить меня будешь!..

К Домне Игнатьевне вернулась вся ее суровость. Она

прикрыла дверь за Алексеем и через другую ушла в дом.

— Caro padre! — Григорий восхищенно смотрел на графа. — Я просто поражен! Вы говорите по-русски, как настоящий россиянин.

— Не льстите мне, Грегуар, до этого еще далеко. В Кенигсберге у меня было слишком мало практики, а язык у вас трудный. Кроме того, люди из разных мест говорят каждый по-своему...

— Что верно, то верно, — сказал Григорий. — Москвичи нараспев говорят, акают, волжане, северяне — окают, там цокают, да мало ли еще как...

— Вот-вот! И ко всему еще ужасный французский, который бьет по уху, как палкой...

— Ничего, понатореем! — сказал Алексей.

— Не сомневаюсь. Но пока иностранцу очень трудно овладеть русским. Однако ехать в страну, совсем не зная ее языка, все равно, что стать глухонемым, — увидеть можно много и ничего не понять.

— Вы путешествуете по разным странам и каждый раз изучаете язык? Сколько же вы их знаете? — спросил Григорий.

— Порядочно. У меня как-то не возникало надобности подсчитывать... Только прошу вас не разглашать о том, что я понимаю по-русски. Мне так удобнее.

— Конечно, конечно! — поспешил согласиться Григорий.

Алексей обещание молчать подтвердил по-своему: оттопырил большой палец и полоснул им по горлу, как ножом.

— Я просто не могу передать, — сказал Григорий, — до чего я рад снова видеть вас. Вы, как добрый дух, появляетесь именно в тот момент, когда положение становится невыносимым и безвыходным...

— Вы о шулере? Стоит ли о такой безделице?

— Не скажите, господин граф! — возразил Алексей. — Кабы не вы, я б этой немчуре все просвистал. А теперь при своих, да еще шулеровы добавились! — захохотал он. — Небось не пришел свои деньги требовать, перец чертов!

— Дай срок, — сказал Григорий, — еще будут требовать, жаловаться полицейместеру, писать на высочайшее имя... Наползет этой шушвали поболе, и осмелеют. Еще будут тон задавать.

— Шулера-то?

— Я не про шулеров, про немцев. Голштинцев там и

всяких прочих. Только Елисавет Петровна поразгоняла всех.

— Немцев и при ней хватало.

— Не в том суть — не они верховодили! А наследник не успел тетку схоронить, уже всех из ссылки воротил, кого она сослала. Даже Бирона... А из Голштинии — прямо наперегонки скачут. Скоро от них продыху не будет.

— Вы не любите немцев, Грегуар? — спросил Сен-Жермен.

— Не то что не люблю, хоть и любить их вроде не за что... Я просто не хочу, чтобы меня тянули на немецкий копыл. И никто не хочет. Вот приказано всей гвардии враз переодеться на прусский лад. Ну и серчает народ, обижается...

— Как же не обижаться? — подхватил Алексей. — Мундир кургузый над задом кончается, будто сорочка у грудника, чтобы не уделался. И все в обтяжку — тут режет, там жмет. В таких мундирах танцы-баланцы на плацу выделывать, а не воевать. Летом он тебя душит, зимой выморозит. И портки — то белые, то желтые... Прямо не солдаты, а яичница... Глядеть тошно!

— Опять начал горланить, глотка луженая? — сурово сказала Домна, открывая дверь в ярко освещенную столовую. — Идите к столу, полунощники... А ты, батюшка, может, руки хочешь ополоснуть? — обратилась она к графу.

— С удовольствием, Домна Игнатьевна!

— Тогда пойдем, я там все припасла...

— Слышь, Алешка, — сказал Григорий, — ты бы придержался малость. Что ни слово, то зад или еще чего помянешь...

— А что?

— Да ведь не в полку с солдатами — с графом говоришь!

— Та а что — граф? Он ведь тоже не носом на стул садится, а этим самым местом. И все такие слова знает...

— Знает не знает, а придержись. Или иди спать, если без них не можешь. Тут разговор может всю жизнь решить, а ты с ерундой...

— Ладно, братушка, постараюсь.

В камине пылали короткие поленья, по столовой шел легкий горьковатый дух горящей березы. Сен-Жермен вытирал руки полотенцем, внимательно слушал Домну Игнатьевну, рассматривал накрытый стол, и по лицу его

было видно, что все происходящее доставляет ему огромное удовольствие.

— Уж не обессудь, батюшка, — говорила Домна, — убоинки нету. Великий пост — какая может быть убоина? Грех!

— Совершенно справедливо, Домна Игнатьевна! — подхватил Сен-Жермен. — Однако вы, я вижу, такая искусница, что и на постном столе человека чревоугодником сделаете. Вот, к примеру, что это за рыба такая аппетитная?

— Сижок... Сижок с грибами запеченный, — польщенно улыбнулась Домна. — Наши чудские сиги очень даже знаменитые против других. Это вот стерлядка заливная. А там вон — снетки сушеные. То уже для баловства — заместо семечек. Некоторые пиво заедают. Да ведь ты, я чай, не станешь лакать эти помои?

— Помилуйте — я ведь не немец!

— Да что вы, сговорились позорить меня? — в сердцах сказал подошедший Григорий. — Мамушка! Ну разве у графа спрашивают — будет он «лакать» или нет?! Может, еще спросишь, будет ли он «лопать»?

Старуха поджала губы, искоса поглядела на Сен-Жермена.

— От слова он не облинял, кусок не отвалился: потому — человеческое обхождение понимает... И ты от меня сраму еще не терпел, а мне от тебя доводилось!

Разгневанная Домна пристукнула клюкой и повернулась уходить. Граф вежливо, но решительно заступил ей дорогу.

— Нет, нет, Домна Игнатьевна, не уходите так! Вы мудрая женщина и все правильно рассудили. Важен не титул, а человеческое отношение. Ваше ко мне я очень оценил и прошу вас ни в чем не менять его. А вам, Грегуар, придется просить прощения у Домны Игнатьевны.

— Да уж вижу, — сказал Григорий. — Ладно, мамушка, не серчай. Снова невпопад сказал...

Не удостоив его взглядом, Домна вышла.

— Обиделась, — сказал Алексей. — Ничего, отойдет. У нее только и света в окошке, что Гришенька...

— Вам, дорогие братья, придется взять на себя мою долю, чтобы она еще больше не обиделась. Блюда я расхвалил, но у меня нет привычки есть по ночам.

— Об этом не извольте беспокоиться, господин граф, — подметем без остатку. После карт я скамейку сжевать могу... Вот какие тому могут быть причины, гос-

подин граф? Выпью — подраться хочется, подерусь — выпить хочется, а в карты сыграю — жрать хочу, будто неделю голодом морили...

— Причина одна, — улыбнулся Сен-Жермен, — вы просто очень здоровый человек. Постарайтесь таким и остаться.

— А как?

— Не принимайте ничего слишком близко к сердцу.

— Во! Слыхал? — Алексей наставительно поднял палец. — А что я тебе всегда говорю? Плюнь — обойдется!

— Тебе на все наплевать...

— Не на все, не на все, братушка! На хорошую лошадь я ничем не плюну. Хорошая лошадь — дар божий. А все остальное...

— Небось иначе запоешь, когда тебя наградой или чином обойдут.

— Это уж дудки! Мое мне отдай сполна!

— А вам что-нибудь недодали после войны? Вы ведь в ней не участвовали?

— Мы люди темные, господин граф, однако в дурачки пропаводить нас не следует. Причиталось не Орлову, Петрову, Сидорову — России. А значит, и нам — Орловым, Петровым, Сидоровым. Нас без России нету, однако и России без нас не было бы. Верно я говорю, братушка?

— Браво, месье Алексей! — сказал граф. — Я вижу, Орловы храбры не только на поле брани, они и в состязании умов способны доблестно оборонять отечество.

— А вы полагали нас тюхами да матюхами?

Алексей расплылся в своей сдвоенной улыбке — простодушной справа и ужасающей слева, подмигнул брату и принялся за стерлядь.

— Бог с ними, со словесными турнирами, — сказал Григорий. — Что толку от словопрений? Не потому я вам так обрадовался, не для того зазвал сюда... Мне... нам нужна ваша помощь.

— Я рад помочь вам, Грегуар, если смогу.

— Кто же сможет, коли не вы? Я верю в вас, как в бога...

— Не сотвори себе кумира! — улыбнулся Сен-Жермен. — Что же с вами случилось и что я должен сделать?

— Беда случилась, граф, только не со мной, а со всей державой Российской...

Граф предостерегающе поднял ладонь.

— Прошу вас не продолжать!

Алексей перестал шумно схлебывать заливное и опустил миску.

— Прошу вас не продолжать, чтобы вы не сказали лишнего и не пожалели об этом потом. Вы должны знать, что, где бы я ни находился — в европейской столице, в деревушке парсов или среди туарегов Африки, — я соблюдаю закон, поставленный над собою: ни прямо, ни косвенно не вмешиваться в местные дела — государственные распри, национальную рознь, соперничество правителей и прочее. Не потому, что опасаюсь последствий, а потому, что знаю: любое вмешательство извне бесполезно. Рано или поздно оно будет преодолено, отброшено внутренними силами, и все возвратится на круги свои... В истории нельзя забегать вперед, что-то ей подсказывать или навязывать — это неизбежно заканчивается провалом. И вам, дорогой друг мой, я готов помогать, но только в ваших личных делах.

— Caro padre, как бы я посмел впутывать вас? Да и и сам не хочу, не собираюсь... Я только совета прошу...

— Если так, то прежде всего отбросим преувеличения. Вы говорили о беде для всей державы. Я что-то не слышал ни о каких несчастьях. Да-да, конечно, умерла императрица. Насколько я мог заметить, большого горя это не вызвало. У вас появился новый император. Никакого недовольства, беспорядков не было, наоборот — возле открытых кабаков народ довольно шумно ликовал.

— Учинить такое ликование проще простого, — сказал Григорий. — Выставь поболе четвертей пенного, выкати несколько бочек полпива, вот и будут ликовать, пока все не высосут. А если еще с пуда соли алтын скинуть, тогда и вовсе удержу от радости не будет: вот, мол, дешевизна пошла. Прямо райская жизнь... Кто привык богачество полушкой мерить, тому и алтын — мошна. Суть не в том, как ликовали, суть в том, чему ликовали...

— Во Франции в таких случаях говорят: le roi est mort, vive le roi!

— Так то — во Франции. Там короли не привозные, своекоштные...

— Допустим, — улыбнулся Сен-Жермен. — Но сейчас и России не на что жаловаться: престол занял законный наследник. Оттого, что Петр родился не в России, а в Голштинии, он не перестал быть внуком Петра Великого.

— То-то и есть: после Великого — Малый... Даже не Малый, а козявка какая-то...

— Почему так уничижительно?

— А как иначе? Ведь он же дурак! Чему учился, что знает? В солдатики играть? Экзерциции да разводы? И посейчас играет. С детства оловянными, потом в Ораниенбауме голштинцами, ну, а теперь всю Россию заставит ножку тянуть. Корчит из себя вояку, а ведь сам-то трус. Только и способен Фридриху пятки лизать... Да на своей паршивой скрипице пиликать. Хорош император на российском троне — шут гороховый в чужом мундире со скрипицей!..

— Подождите, подождите, Грегуар. Пока во всем, что я услышал, больше запальчивости, чем справедливости. Вы говорите — с детства играл и продолжает играть в солдатики. А во что играют наследники престолов? Во что играл ваш Петр Великий? Тоже в солдатики под названием «потешные», из которых впоследствии образовались два гвардейских полка. Короли, цари — почти всегда командуют армией, для них детская игра в войну — это часть, так сказать, профессиональной подготовки. Почему же то, что было похвально для Петра Первого, предосудительно для Петра Третьего? Я познакомился с академиком Штелиным, бывшим воспитателем императора. Он рассказывал, что Петру преподавали языки, историю и географию. Правда, охотнее он изучал военное дело, фортификацию. Петр приказал подобрать для него библиотеку. Правда, без книг на латинском языке — латыни он не любит. Ну что ж, не все читают Цицерона в подлиннике. Его дед, Петр Великий, Цицерона тоже не читал. Только что умершая императрица за всю свою жизнь, кажется, вообще не прочитала ни одной книги, и это не помешало ей двадцать лет занимать отцовский престол. Вы полагаете, что императору зазорно играть на скрипке. Почему? Император Нерон считался великим артистом, Людовик Пятнадцатый участвует в балетах, а Фридрих Второй играет на флейте... Вы, Грегуар, слишком преувеличиваете значение личных качеств правителей. Вам кажется, что какие-то качества дают право занимать престол, а какие-то напротив, лишают такого права. Когда захватывают власть, нет никакого права и никаких законов. Законы издают потом, чтобы власть удержать... А недостаток ума ничему не мешает. У вас после Ивана Грозного правил его слабоумный сын Федор. И никакой катастрофы не произошло. А Карл

Второй Испанский? Он был дегенератом, не способным научиться грамоте, всю жизнь забавлялся шутами и карлами, и это не помешало ему тридцать пять лет быть королем. В его империи не заходило солнце, и он имел двадцать две короны. В династических делах недостаток ума — не помеха, а мудрость — не всегда помощник. Примеры первого я привел. А возьмите Марка Аврелия. Глубокий философский ум, обаятельный человек, упоительный собеседник. Сколько незабвенных часов мы проговорили друг с другом... Сохранившаяся в Риме на Капитолии бронзовая статуя плохо передает его облик, он был еще более худ и безбород. Бороду он отпустил по моему совету, так как из-за кожного заболевания не мог выносить бритья тогдашними тупыми бритвами. Казалось, он был всемогущим. Кто мог сравниться могуществом с римским императором?

Кусок стерляди шлепнулся в миску, разбрызгивая желе.

— Римским? — переспросил Алексей и перевел ошарашенный взгляд на брата.

— Да. Через сто шестьдесят лет после рождества Христова. А что вас смущает?

— Как же не смущать, сударь... Когда Рим, а когда мы... А вы и там и тут... Как же это? А? — И он снова посмотрел на Григория.

— А вы попросту не верьте, мой друг, — улыбнулся граф. — Иногда мне самому все это кажется невероятным и неправдоподобным... как сон. Но мы отвлеклись. Я только хотел сказать, что Марк Аврелий — пример противоположный: на троне мудрец, философ. И что же? Он ничего не мог изменить. Это был благороднейший, честнейший человек, но поступал он не так, как хотел, а как вынуждали обстоятельства. Сам он не был способен обидеть ребенка, не презирал христиан, как суеверов, и допускал их преследование, считал завоевателей разбойниками, но сам тоже вел войны, стало быть, был разбойником... И какова ирония судьбы! Марк Аврелий преследовал христиан, а в средние века, когда фанатики христиане повсеместно уничтожали статуи богов и язычников, его статую сохранили, так как считали, что она изображает святого Константина, византийского императора, насаждавшего христианство. Вот как превратны могут быть суждения людей, дорогой Грегуар, и как опасно полагаться на слишком пристрастные суждения. Смешно, конечно, ставить на одну доску Марка Аврелия

и нашего молодого императора. Но сказанное должно быть доказано. Вы утверждаете — он дурак. Из чего это следует? Только не приводите его изречений. Даже самые умные люди время от времени изрекают глупости. И от слов, как мудро заметила ваша Домна Игнатьевна, люди не линяют. Важны не слова, а поступки. Что дурного сделал Петр, став императором?

— Так я ведь говорил про мундиры.

— Извините, месье Алексей, но это пустяки. Мундиры непривычны, возможно, действительно неудобны, но смертельной угрозы не представляют. И потом: плохой мундир еще не означает, что плох император. Из-за покроя панталон революции не делают. И неужели он начал с мундиров? Что он сделал первое, сразу после воцарения?

— В ту же ночь объявил конец войне, — сказал Григорий.

— Ага! И это вызвало всеобщее возмущение? Народ требовал продолжения войны?

— Куда там! Казна пуста. Гвардейцы по уши в долгах, забыли, когда и жалованье получали, — сказал Алексей.

— Гвардейцы головы не подставляли. Они были в Санкт-Петербурге. А линейные полки? Они рвались умереть на поле брани и требовали продолжения войны?

— Помирать кому охота? Да еще зазря... Неизвестно, зачем и воевали.

— А «не зря» много охотников? Умирать не хочет никто, каждый надеется, что убьют соседа... Что же получается, Грегуар? Держава не имеет средств продолжать войну, никто не хочет умирать «зазря». Император прекращает войну. И это, по-вашему, доказывает, что он дурак? По-моему, напротив.

— Дурак-то он, может, не такой уж и дурак, — сказал Алексей, вытирая рот краем скатерти. — Только вот куда у него мозги повернуты? Война эта, конечно, нужна была, как вереду на мягком месте. Однако четыре года отмахали, какую прорву деньжищ всадили, какие тыщи людей ухлопали... Поначалу-то без толку. Ну, а когда вместо немцев наши начали командовать, вся фрицева слава лопнула, как пузырь, — Берлин сдал, не знал, где и прятаться... Тут бы его прищемить раз навсегда, чтобы неповадно было на чужое зариться, а мы как раз наоборот: ах, извиняйте, ваше величество, — ошибочка произошла. Вот вам обратно все ваше королевство, царствуй-

те на здоровье... Так за это Петру Федоровичу в ножки кланяться?

— Но договор еще не подписан, содержание его неизвестно, — сказал Сен-Жермен.

— Чего там неизвестно? — усмехнулся Григорий. — Шила в мешке не утаишь... Все отдали, что наши войска заняли.

— И Россия выступит на стороне Пруссии против своих бывших союзников?

— Нет. Этого нету.

— Ага! Значит, все-таки Петр сделал самое важное — прекратил войну. А вы недовольны. Ведь у вас же есть особая поговорка: худой мир лучше доброй ссоры...

— Вот уж правда: хуже такого мира не придумать, — сказал Алексей.

— Во всяком случае, перестали гибнуть тысячи людей. Не думаю, чтобы вы были кровожадны, как каннибалы, и жаждали дальнейшего кровопролития...

Братья промолчали...

— Вы говорите — император трус. Так ли? Все ваши императоры и императрицы сохраняли Тайную канцелярию, боялись остаться без нее. А Петр Третий, едва вступив на престол, упразднил Тайную канцелярию, ничего и никого не боится, гуляет по городу без всякой охраны, иногда даже без свиты. В чем же проявляется его трусость, Грегуар?

Григорий, не поднимая головы, смотрел в стол.

— Вообще это выглядит довольно забавно: я, чужестранец, вынужден объяснять вам, какой у вас император... Однако пойдем дальше. Великий Петр обязал всех дворян служить — в войске или на цивильной службе. Дворяне должны были служить практически до самой смерти, чаще всего вдали от своих имений, хозяйства, и те приходили в упадок. Так продолжалось и при преемниках Петра. А Петр Третий недавно опубликовал Манифест о вольности дворянской. Теперь дворяне могут в любой момент выйти в отставку или даже не служить вовсе.

— А жить чем?

— Это другое дело! Для того чтобы жить, есть и другие способы приобретать средства, имущество. Важно, что дворяне свободны, могут сами решать свою судьбу. Говорят, этот манифест вызвал такой взрыв радости, что сенат обратился к императору с просьбой о разрешении поставить ему памятник из чистого золота. Император

заменился и сказал, что, если у них такие излишки золота, он готов принять его в натуральном виде и найти ему лучшее применение. Ответ тоже, как видите, не свидетельствует о глупости монарха.

— Манифест тот, — сказал Григорий, — не император составил...

— Как бы ни составил, законом он стал, когда его подписал император.

— Манифест — бумага, за ней человека не видать... А вот когда он изо дня в день кричит, командует — тут вся его начинка наружу вылезает.

— Какова же эта начинка?

— Какой она может быть у немецкого унтера? Солдафон, хам, пьяница, в спальной псов держит... Чего можно ждать от человека, если он крыс судил воинским судом и вешал за то, что игрушечных солдатиков погрызли?

— Когда это было? Когда он был подростком?

— В точности не скажу, но ведь было! А оно известно, чем такие шутки кончаются. Иван Грозный тоже поначалу собак да кошек вешал...

— Более серьезных прегрешений за императором нет?

— А пьянство?

— Он так много пьет? Не в обиду вам, — сказал Сен-Жермен Алексею, — судя по тому, как вы запиваете эту прекрасно приготовленную рыбу, вряд ли император выдержит состязание с вами.

— Куда ему — кишка тонка! Меня вот только Григорей, может, перепьет да этот подлец, Шванвич... И то — навряд! Не в том суть... Пей, да меру разумей. И коли ты император, так держись по-императорски.

— А как надо держаться по-императорски?

— Я там в точности не знаю, сам в императорах никогда не был, — осклабился в своей сдвоенной улыбке Алексей. — Ну, все-таки... Вот придумал он такую забаву: приедет к кому-нибудь в гости из своих компанов, ну, ясное дело, напьются, а потом всей оравой вывалят в парк или там на лужайку, прыгают на одной ножке и норовят коленкой дружка дружке под задницу поддать, чтобы с ног сбить... Это что же, императорская забава?

— Да, — улыбнулся Сен-Жермен, — развлечение действительно не самое изысканное. Но я не знаю, намного ли оно хуже, чем нашумевшая в свое время свадьба шутов в Ледяном доме при императрице Анне. Во всяком случае, оно стоит дешевле... И это все?

— Неужели мало?

— Скажите, Грегуар, вы близки ко двору? Часто там бываете?

— Не так уж...

— Молодой император вас самого чем-то оскорбил, обидел? Или ваших братьев, близких?

— Нет.

— В таком случае нам следует оставить этот разговор.

— Но почему же?

— Вы хотите, чтобы я помог вам в случившейся беде. Однако тут же говорите, что беда случилась не с вами, а с Россией. Вместо объяснения вы, простите меня, пересказываете лакейские сплетни об императоре, перечисляете его действительные и мнимые недостатки и пороки, до которых цальмейстеру Григорию Орлову нет никакого дела, они ему не мешают и мешать не могут. Поступки императора не мешают и не вредят России, а идут ей только на пользу. И у меня такое впечатление, что все ваши доводы — не ваши, а чьи-то злые и глупые выдумки. Очевидно, за вашей тревогой стоит что-то серьезное, но вы не находите возможным рассказать истинные причины. Я не хочу требовать от вас откровенности, если вы считаете ее невозможной. Но я не гадалка и не могу давать советов в деле, сущность которого от меня скрывают.

Григорий перевел взгляд на Алексея. Тот махнул рукой.

— Что уж, братушка, в прятки играть? Семь бед — один ответ.

Григорий кивнул, соглашаясь.

— От вас, саго padre, мне таить нечего. Я не хотел об этом говорить, потому как это не мой секрет. Не только мой...

— Здесь замешана женщина? — спросил Сен-Жермен.

— Да.

— Императрица?

— Да...

— Вы что?.. Неужели вы близки с ней?

— Уж куда ближе...

— Ну-ну... — покачал головой Сен-Жермен.

— Наш пострел везде поспел! — сказал Алексей и захохотал.

— Да будет тебе! Какой тут смех?! — рассердился Григорий.

— Да, неосмотрительно... — помолчав, сказал Сен-Жермен.

Григорий стесненно развел руками.

У Григория Орлова было доброе сердце. Ко всем. Но особенно к женщинам. Ему было их жалко. Он жалел их за то, что они слабы и хрупки, за то, что так легко ранимы, так часто и походя их обижают, терзают и мучают, за то, что мечты их столь часто оказываются обманчивыми, а надежды призрачными, за то, что так мало радости и так много горя выпадает им на долю, за то, что так зависят они от воли родных и от воли мужей, жалел за постылое одиночество и неприкаянность, за то, что муж изменяет или может изменить в будущем, за то, что некрасивы и потому незадачливы, за то, что красивы и так легко гибнут в погоне за мимолетным счастьем, за то, что бедны и ничего не могут, и за то, что богаты и потому не знают, что с собой делать, за то, что вянут и чахнут в безвестности, и за то, что, как Куракина, слишком на виду и не могут себе ничего позволить, за то, что муж жил слишком мало или живет слишком долго, стар и просто недостоин, за то, что возлюбленного нет, или он есть, но подлец... Словом, причины и поводы сочувствовать, жалеть и желать помочь находились всегда. Однако чем он мог помочь? Не вельможа и не богач — зауряд-офицер, жил жалованьем, а больше долгами и надеждами. Он располагал только одним — добрым сердцем и уж его не жалел. Если можно так выразиться, он совал его кому попало, направо и налево, случалось, иногда двоим, а то и троим зараз, считая, что от него не убудет, а им — утеха и радость... Узнав об этом, женщины не могли его понять, обижались, ревновали, требовали верности, хотели владеть им единолично, но при всей своей мягкости и доброте он на то не соглашался. Не мог же он отдать себя целиком одной-единственной, а всех остальных оставить обездоленными?..

Кого жалеть, утешать и любить, выбирал всегда он сам. На этот раз выбрали его.

Потом, когда все же произошло, Григорий не раз пытался проследить, восстановить в памяти, как это случилось, как зародилось то, что не могло померещиться даже в пьяном бреду, и все-таки возникло, развилось и произошло. Из таких попыток ничего не получалось. Все оказывалось сотканным из каких-то мимолетностей, неоп-

ределенных, шатких и как бы вовсе не обязательных случайностей. Ни об одной из них нельзя было с уверенностью сказать — вот с этого все началось, но каждая из них и все вместе исподволь, но неуклонно вели к тому, что должно было произойти и в конце концов произошло.

Бравый воин и бесшабашный гуляка, Григорий в свои двадцать пять лет повидал немало, вовсе не был похож на библейского Иосифа, и жене Потифара не пришлось бы его долго уламывать. Он немало наслушался историй о том, как Фортуна внезапно опрокидывала свой рог на какого-нибудь до тех пор ничем не примечательного человека, даже простого офицера, тот попадал «в случай» при дворе, и у него начиналась совершенно сказочная жизнь. Подобного рода истории особенно действовали на юношеское воображение Григория в бытность его кадетом Санкт-Петербургского шляхетского корпуса. С редкими оказиями из дома отец посылал свое родительское благословение, многочисленные поклоны родственников, скудные деревенские харчи, которые мы бы назвали сухим пайком, и меньше всего — целковых, которые требовались более всего, но кои и у самого родителя тоже водились не часто. В силу этого Григорию случалось подкармливаться у чужого котла и подголодовывать, а голодное воображение представляет себе сказочное изобилие и роскошь неизмеримо ярче, чем тупое воображение пресыщенных. Однажды это произошло даже на его глазах.

Григорию было шестнадцать лет, когда восемнадцатилетний кадет Бекетов оказался «в случае»... Случай был скоропалительный и почти столь же краткий, но шляхетский корпус еще долго лихорадило. В потаенных, с глазу на глаз, разговорах, а главным образом в воспаленных ночных мечтаниях, чуть ли не каждый сравнивал себя с Бекетовым, видел в себе достоинств значительно больше, чем в нем, и возносился в заоблачные выси несбыточных надежд...

Из Григория Орлова всю эту дурь очень быстро и без остатка вышибла служба в линейном полку. А война, во время которой Григорию довелось не раз заглянуть в бездонные, пустые глазницы Смерти, выработала у него нехитрую, вполне трезвую философию: больше жизни не проживешь, выше себя не прыгнешь. Так как в запасе второй жизни нет, эту надо прожить так, чтобы, по возможности, получать от нее удовольствия, а не неприятности. Не зря сказано — однова живем! Поэтому хрип без

нужды надрывать незачем, заноеиться в мечтаниях — зря теробить душу, а копить деньги, дрожать над целковым — распоследнее дело: на тот свет ничего не унесешь. Так он и жил. Добрый, общительный, веселый, он располагал к себе всех, с кем сталкивался. Не было денег — не горевал, были — спускал их без сожаления. За это его особенно ценили мужчины, а так как ко всему он был еще и богатырской стати красавцем, женщины ценили его еще больше. Службу он нес исправно, но был с ленцой, из кожи вон не лез, за чинами не гнался и усердием своим начальству не надоедал, поэтому карьер его складывался как бы сам собой. В азарт он впадал единственно, если дело шло о каком-нибудь молодечестве, а тут уж соперников у него было немного.

Назначению сопровождать Шверина в Санкт-Петербург Григорий обрадовался. В столице к тому времени собрались все его братья — Иван, Алексей и Федор служили, а Владимир еще учился. Там осталось немало однокашников по шляхетскому корпусу, а скудноватые годы юношества, проведенные в корпусе, теперь, по прошествии времени, казались самыми счастливыми в жизни. Императрица при представлении сказала Орлову и Зиновьеву несколько одобрительных слов и поручила их попечению графа Петра Ивановича Шувалова. Фельдмаршал, генерал-фельдцехмейстер, то есть начальник всей артиллерии, изобретатель «шуваловской гаубицы», которая на полях сражения пользы принесла немного, зато изобретателю принесла немалые куши, так как на шуваловских гороблагодатских заводах их и отливали, откупщик и бессовестный хапуга, знатный вельможа и самодур взял Григория Орлова к себе адъютантом. Потом последовало представление великому князю и его супруге. Петр Федорович, когда Шверин сказал, что Орлов и Зиновьев были, в сущности, не стражами его, а друзьями, небрежно похвалил поручиков, подхватил Шверина под руку и отвел в сторону, чтобы без помех поговорить об обожаемом Фридрихе.

А далее произошел конфуз. Оставшись с глазу на глаз с великой княгиней, Григорий надеялся, что она столь же поспешно покинет его, но Екатерина Алексеевна не торопилась. Слегка улыбаясь, она рассматривала красавца поручика, потом сказала, что ей рассказывали о чудесах храбрости, проявленной Григорием во время войны.

— Какие там особые чудеса, ваше высочество? Обыкновенно — дело солдатское.

Великая княгиня заметила, что скромность только

украшает героев, на что Григорий не нашелся с ответом.

— В тавний времена, — сказала Екатерина, — настоящи рыцарь тем и отли... чивался — храбрость и скромность. Но рыцарь в сражений всекта вспоминаль свой дама сердца. Кого вспоминаль ви?

— В бою про дам думать некогда, ваше высочество. Думалось про то, как треклятым немцам накостылять, — не подумавши, брякнул Григорий и мучительно покраснел — он только теперь вспомнил, что великая княгиня тоже немка.

Екатерина несколько принужденно засмеялась.

— Это хорошо... это очень хорошо, что ви думаль, как побивать враг свой фатер... отьечество!.. Ви еще потом будете мне рассказываль про сражений, я люблю слушать про сражений. — И она протянула руку для поцелуя в знак того, что разговор окончен.

Григорий отошел со стесненным сердцем. Не то чтобы он опасался дурных последствий своей неловкости, хотя исключать их не следовало, если немка затаит обиду. Просто он не любил зря обижать людей, даже если они ему не нравились. А великая княгиня ему не понравилась. Малорослая полнеющая женщина с плоским, как бы вдавленным лицом, с большим подбородком и тонкогубым ртом, ноздри воспалены от нюхательного табака. Разве что улыбка? Но уж слишком много, прямо непрерывно она улыбалась... К тому же ей было явно за тридцать, с точки зрения двадцатипятилетнего Григория, была уже старухой, стало быть, заведомо выпадала из круга женщин, которые могли его интересовать — в этом кругу старше его сверстниц не водилось. Но прежде всего она была великой княгиней, супругой наследника престола и будущей императрицей, то есть одним из живых олицетворений высшей власти, и разве имело при этом значение, какова она как женщина? Во всяком случае, рядовому армейскому поручику думать об этом было совершенно ни к чему. Григорий Орлов и не думал — ему это было просто неинтересно, да и недосуг. Санкт-Петербург стал больше и красивее, возросло число злачных мест, отыскались старые друзья, появлялись новые, и Григорий, сообразно своей житейской философии, со всем усердием извлекал из жизни доступные ему удовольствия.

Великая княгиня зла не затаила. Став адъютантом всесильного графа Шувалова, Григорий бывал и при Большом дворе — у императрицы, и при Малом — у наследника. Екатерина Алексеевна, когда бывал к тому

случай, ласково подзывала его к себе, спрашивала о службе, расспрашивала об охоте, которую она, оказалось, тоже любила, о том, как он воевал в Пруссии. Первое неприятное впечатление постепенно сгладилось, потом исчезло вовсе. Григорий приобвык, осмелел, и теперь беседы с великой княгиней даже доставляли ему удовольствие. Она оказалась смешлива, любила забавные истории, а он знал их множество. Заметив, что ее ошибки в русском языке вызывают у него с трудом скрываемую улыбку, Екатерина с обезоруживающей простотой просила без всяких церемоний поправлять ее. Он поправлял, они вместе смеялись над ошибками, она затверживала правильное выражение и произношение, и эти мимолетные, непринужденные уроки как бы слегка сблизили их.

А потом разразился скандал с княгиней Куракиной. Не подумав о том, какое впечатление на молодую красавицу произведет его новый столь же молодой и красивый адъютант, а она на него, стареющий граф Шувалов посылал Орлова к своей любовнице то с записочкой, то с каким-нибудь презентом, и очень скоро они начали встречаться уже не только по приказанию фельдмаршала, а по обоюдному пламенному желанию. Большой свет Санкт-Петербурга был, в сущности, узким мирком, а княгиня слишком на виду, и очень скоро о скандальном романе узнали все. Друзья-приятели дивились отчаянной дерзости Орлова и сокрушались:

— Гляди, доиграешься, Григорей. Прознает граф, не сносить тебе головы!..

— Двум смертям не бывать!

Смутился он только однажды, когда при очередном посещении Малого двора великая княгиня, улыбаясь, погрозила ему пальцем и сказала:

— Говорят, ви есть прокасник — имеете расположений слушить сразу и Марсу и Венере. Про ваш амурны похождений шумит весь Санкт-Петербург.

Заметив смущение Григория, великая княгина успокоительно покивала головой.

— Ничего! Как это по-нашему, по-русску, говорица? Пьль молоцу не ф укор...

Затем она перевела разговор и спросила, получил ли он какую-нибудь награду за доблесть, проявленную во время войны. Узнав, что никакой награды не было, огорчилась, сказала, что это очень нехорошо и что кто-нибудь должен об этом позаботиться...

— А пока я дарью от себя этот маленький сувенир...

Екатерина Алексеевна достала из сумочки и протянула Григорию золотую табакерку.

В простоте душевной Григорий едва не брякнул, что он табаку не нюхает, но вовремя спохватился и благодарственно приложился к ручке.

— Только помните: это есть дар за военны, а не амурны храбрость! — смеясь, сказала Екатерина Алексеевна.

Она солгала: это был знак избрания. Бесчисленные преемники Григория Орлова, да и все окружающие, впоследствии будут знать, что означает такой дар, но Григорий не знал, не понял, да и где там было в ту пору думать о табакерке...

Как водится в таких случаях, граф Шувалов узнал последним. Коварная измена любовницы, неслыханная наглость и дерзость какого-то адъютантишки привели его в такую ярость, что она обратилась против него самого — его хватил удар. Григорий был спасен от беспощадной мести всесильного рогоносца, но некоторое время пребывал в полной безвестности касательно дальнейшей своей судьбы. Однако вскоре его вызвал к себе новый генерал-фельдцехмейстер Вильбоа, и, к удивлению окружающих и самого Григория, он был назначен цальмейстером с производством в чин капитана.

Окольными путями до Григория дошло, что новым назначением он обязан покровительству великой княгини, а когда попытался благодарить ее, она сказала:

— Ви получаль по заслугам. Доблесть и добродетель надо быть награждать. К сошалений, так не есть всегда, — с печальным вздохом добавила она.

Григорий понял, что Екатерина говорит о себе, и почувствовал к ней жалость. Он давно уже не замечал в ней недостатков, а видел только достоинства, притерпелся к тому, как она калечила русский язык, а положение ее вызывало в нем все большее сострадание. Положение это было известно всем близким ко двору: великая княгиня находилась у своего мужа в полном пренебрежении, наследник престола, почти не таясь, заменил законную супругу ее же фрейлиной — Лизаветой Воронцовой. Екатерина, конечно, появлялась на официальных приемах, но в остальном вела жизнь очень замкнутую, много читала, ездила на охоту. В Григории она нашла то, чего ей так недоставало — собеседника, и увлеченно пересказывала ему сочинения французских философов, коими увлекалась. Сам Григорий книг не читал, понимал не все и потому восхищался умом великой княгини.

А однажды осенью они встретились на охоте. Обычно великая княгиня ездила на охоту в сопровождении старого егеря, иногда же ее сопровождал гардеробмейстер, а попросту камер-лакей Шкурин, который в таких случаях превращался в оруженосца и телохранителя. Орлов подглядал их за Аничковой заставой. Без егерей, загонщиков и собак охота добычливой не бывает, и, в сущности, это была не охота, а верховая прогулка по лесу. Свернув с тракта, они пустили лошадей шагом и не столько высматривали дичь, сколько разговаривали. Видя, что Григорий понимает ее положение и сочувствует ей, Екатерина уже не намеками, а в открытую рассказывала о том, каково ей приходится в обстановке постоянной отчужденности, даже вражды, какие унижения приходится безропотно сносить и как горько ей, всей душой полюбившей свою новую родину и ее народ, смотреть в будущее, которое не сулит ей ничего хорошего. Пока жива императрица, он ничего не посмеет, а что будет потом?.. Григорий слушал, жалость и сострадание к несчастной княгине в нем все росли и росли...

Погожий день был прохладен, и через какое-то время Екатерина Алексеевна озябла. Тут очень кстати была бы добрая чарка, и в тороках у Шкурина на такой случай всегда находился погребец, но Шкурин, который все время плелся позади, отстал и где-то запропастился. На первой подходящей полянке они остановились. Григорий с ловкостью бывалого солдата и охотника наломал лапника на подстилку, соорудил что-то вроде шалашика и развел костер.

Екатерина села у входа в шалашик и показала Григорию место рядом с собой. Григорий замялся — она ведь была великой княгиней, хотя и опальной, принадлежала к императорскому дому...

— О, ви совсем не есть такой храбры! — засмеялась Екатерина. — Мне будет теплей, когда ви будете садиться здесь. И никто не увидит этот нарушений этикет...

Григорий послушно сел. Екатерина зябко поежилась и слегка придвинулась к нему.

— От ваш плечо идет такой тепльо... больше, чем от костьёр. Тепльо и — как это? — Kraft, сила! — посмеиваясь, сказала она, но голос ее дрогнул, и она закончила с неожиданной горечью: — О, если бы я могла иметь рядом такой надешный плечо...

— Ваше высочество! — сдавленным от волнения голосом сказал Григорий. — Я не могу... не смею... Но если вы... Мое плечо... Да что там плечо? Я весь ваш — располагайте мною как хотите...

Екатерина подняла голову и пристально посмотрела ему в глаза.

— Софсем и нафсекта?

— По гроб жизни!..

Когда Григорий уже затаптывал костер, появился и Шкурин. Впоследствии он и передавал шепотком Григорию, когда и куда тот должен прийти.

— Кто об этом знает? — после долгой паузы спросил Сен-Жермен.

— Камер-лакей ее величества Шкурин да вот Алешка. Теперь и вы.

— И что же, император начал догадываться или ему донесли и вам грозят неприятности?

— Кабы донесли, меня бы он, конечно, к ногтю... А сам бы, верно, обрадовался. Не во мне дело — в императрице... Он, видать, давно задумал избавиться от нее. В манифесте о восшествии на престол ни об императрице, ни о наследнике Павле — ни слова, будто их и на свете нету... А теперь вот разговоры идут, задумал он придворных переженить.

— То есть как?

— Ну, поменять жен у мужей, мужей у жен и перевенчать заново.

— Это какая-то чепуха!

— Может, и чепуха... Только под эту чепуху сам он может жениться на своей краснорожей Лизавете, а законную императрицу то ли в монастырь, то ли в тюрьму...

— Знаете, Грегуар, если он разлюбил свою жену и полюбил другую женщину, тут вряд ли можно помочь. Уговаривать — бесполезно, а заставить человека полюбить снова — нельзя, средства такого нет.

— Выходит, сидеть сложа руки и ждать, пока он ее погубит?

— Почему обязательно погубит? В других королевских семьях так бывало, да и сейчас тому есть примеры... У королей бывают любовницы, фаворитки, но королевы остаются королевами.

— Мало что где бывает! У нас иначе. Больно царями дорожка проторенная: разлюбил жену и — в келью ее...

— Что ж! Вы можете попросту убить его, после чего вам, несомненно, отрубят голову. Поможет ли это императрице? Без опоры и защиты она окажется еще в худшем положении. Кто она? Чужестранка, пришлый человек... А у вас ведь есть пусть отдаленные, но все-таки родственники Петра Первого. Даже готовый император — Иоанн, сын Анны Леопольдовны. Пусть он был тогда ребенком, но ведь его провозгласили императором.

— Неизвестно, где он, — сказал Григорий. — Да и жив ли?

— Конечно, иногда и жалкая песчинка бытия — один человек, — бросившись под колесо Фортуны, может изменить его бег, направить в другую сторону. Однако чаще всего в таких случаях пресловутое колесо превращается в колесницу Джаггернаута. Я видел в Пури, как фанатики бросались под такую колесницу и превращались в кровавое месиво. Но они, по крайней мере, верили, что после этого обретут неземное блаженство. Я слишком хорошо отношусь к вам, Грегуар, чтобы желать для вас такой судьбы... Вы спрашиваете моего совета? Вот он: в одиночку ничего предпринимать нельзя. У вас есть сторонники, единомышленники?

— Друзей у меня много.

— Речь идет не о друзьях, а единомышленниках или, по крайней мере, людях, из-за чего-то готовых рисковать жизнью. Даже если вы подкупите какое-то количество солдат и офицеров...

— Нельзя, — сказал Алексей. — Это канцелярскую крысу подкупить можно, а солдат — не выйдет. Присяга для русского солдата — дело святое.

— Однако бунтов в России было немало. Бунтовали и солдаты. Даже при Петре Первом был стрелецкий бунт...

— Так ведь не из-за бабы! Они против новых порядков бунтовали.

— Вы только подтверждаете мою мысль, месье Алексей. Допустим, вам удастся убедить, уговорить, словом, завербовать какое-то количество сторонников, все равно такой бунт обречен на неудачу. Реформы молодого императора вызвали общий восторг, а вы намерены идти против этого всеобщего течения. Оно слишком сильно и мгновенно сметет вас. Другое дело, если бы какие-то действия императора вызвали недовольство...

— Недовольных, положим, хватает, — сказал Алексей.

— Где? Каких?

— В армии. Ведь он одну войну кончил, а другую затевает. С Данией. Хочет отвоевать свой Шлезвиг. А на кой ляд он нам сдался? Там этот вшивый Шлезвиг небось меньше Псковского уезда, а ради него хлебай кисель через всю Пруссию, да еще и головы подставляй... Кому охота?

— Но вы же сами говорите — русские солдаты всегда верны присяге. Значит, пойдут?

— А куда денешься? Знамо, пойдут. Вот если он гвардию вздумает тронуть...

— Какая разница? И там, и там воинская присяга одинакова.

— Разница громадная! Армия что? Народ там серый, деревенский. Царя только во сне видит, как он сидит на троне и правит... — Алексей схватил ложку, небольшую миску и развел руки, изображая, как царь держит скипетр и «державу». — Для них он не только от бога, а и сам, почитай, как бог. А гвардейцы насмотрелись всякого. Императора видали и на троне, и на ночной посуде... Это уже не бог, с ним, в случае чего, можно и по-свойски...

— Любопытное наблюдение, — сказал Сен-Жермен. — И по-видимому, не лишено резона. Хотя само по себе ничего, конечно, не решает.

7

— Вас просто не узнать, граф Кирила! — сказал Сен-Жермен. — Где тот худенький юноша с раскрытыми от любопытства и удивления глазами, какого я видел когда-то?

— Стареем помаленьку, стареем, — ответил Кирила Григорьевич и указал на маленький диванчик. — Располагайтесь, ваше сиятельство.

— Я знаю широту русского гостеприимства и обыкновение хозяев предоставлять гостю самое лучшее, даже свое любимое. Поэтому, если позволите, сяду здесь, — сказал Сен-Жермен и сел в простое кресло с жесткими подлокотниками.

Кирила Разумовский с удовольствием уселся на диванчик и вытянул ноги.

Теплов прошел к столу и, доставая бумаги из сафьяновой папки, начал их раскладывать в должной очередности для рассмотрения.

— О старости вам говорить рано, — сказал Сен-Жер-

мен. — Вы, что называется, в зрелом возрасте, в лучшей поре для свершений, достойных государственного мужа.

— Какие наши свершения! День да ночь — сутки прочь. Всего и делов, что вот по милости Григорья Николаича из бумаг не вылезаю.

— Так вы ведь сами не пожелали, ваше сиятельство, — сказал Теплов, — отказались от свершений. А могли русскому оружию хвалу заслужить.

— Ну-ну, нечего хихикать! Тоже взял себе манеру...

— О чем вы, если не секрет? — спросил Сен-Жермен.

— Император предложил мне командовать армией, чтобы идти на Данию. Фельдмаршалов под рукой всего два — князь Трубецкой да я. Ну, из Трубецкого уже песок сыплется... как это по-французски сказать? Ага! Разбит... Он и на разводах-то еле-еле... Вот мне император и говорит: «Гетман, я тебя главнокомандующим армии назначу». Я говорю: «Премного благодарен, ваше величество. Милостью сочту... Только при условии, ежели вы еще одну армию соберете, чтобы мою подгоняла».

— И что же император? — улыбнулся Сен-Жермен.

— Рассердился. Придется, говорит, произвести тебя из фельдмаршалов в паркеттенмаршалы... И добавил пару слов по-немецки...

Теплов ухмыльнулся.

— Вы ведь знаете по-немецки, — сказал Сен-Жермен.

— Да трошки мерекаю... Больше командовать не предлагал.

— Он сыскал нового главнокомандующего, — сказал Теплов. — Дяденьку своего, Георга-Лудвига. Ба-альшой полководец! У себя в Голштинии небось ротой командовал, теперь — фельдмаршал российской армии.

— А почему вы так сказали? — спросил Сен-Жермен. — Армия не хочет воевать?

— Как же хотеть? Пять годов кряду воевали и — на́ тебе, снова... Солдаты помалкивают, а господа офицеры ропщут. Про меж себя, конечно.

— Я не понимаю: когда держава собирается воевать, это принято держать в секрете, пока готовится во всяком случае. А у вас все открыто говорят о предстоящей войне.

— Какой же секрет, если сам император провозгласил во всеуслышание! Он только стал императором и за ужином датскому послу напрямик и выложил: «Попользовались моим Шлезвигом? Хватит! Теперь я сам буду

им пользоваться»... Тот, конечно, немедля курьера с донесением. В Дании переполох, уже и армию собрали, шанцы роют...

— А главнокомандующим назначили Сен-Жермена, — сказал Теплов. — Случаем, не ваш родственник?

— Нет, — сказал Сен-Жермен. — Не родственник. Никаких родственников у меня нет. А может, вы действительно уклонились от легкой славы, граф Кирила? Дания — крохотная страна, Россия громадна, исход войны предрешен...

— Громадна-то громадна... До той Дании войску надо топать две тыщи верст — одной парой сапог не обойдешься, вези в запасе новые. Ну и все прочее — пока дойдут, солдаты оборванцами станут. А припас? Продовольствие? Фураж? Идти-то не по своей земле — у мужиков не возьмешь, немцу платить надо... А не приведи бог, мор какой начнется? Падеж лошадей?.. Нет уж, слуга покорный! Пускай эту славу Георг-Лудвиг собирает.

— Славу, коли будет, государь император себе заберет, — сказал Теплов, — а все незадачи да прорухи на других свалит.

— Сидя в Санкт-Петербурге, трудно присвоить славу полководца, — сказал Сен-Жермен.

— Император сидеть в столице не собирается, ладится в поход вместе с армией.

— Но еще ведь не было коронации!

— Их величество, — ухмыльнулся Теплов, — до венца Мономахова желает увенчать себя лаврами Александра Македонского.

— Ох и злоречив ты стал, Григорий Николаевич, — сказал Разумовский. — Гляди, опять до крепости добалтаешься. Второй раз выручить тебя удастся, нет ли...

— Так ведь вы, ваше сиятельство, я чай, не донесете? И господину графу ни к чему... Вот я и не опасаюсь.

— А ты поопасись! И у стен уши бывают. Тогда кто-то же донес на тебя!

— Нашлись люди добрые...

— Вас посадили в крепость? — спросил Сен-Жермен.

— Как же! Двадцать третьего марта только и выпустили. Что ж ты господину графу не похвастал, Григорий Николаевич?

— Было б чем...

— Ну, хотя бы тем, что после этого стал генералом...

— Решительно ничего не понимаю, — сказал Сен-Жермен. — За что вас могли посадить?

— За оскорбление императорской фамилии, — широко улыбался Разумовский. — Наш Григорий Николаевич помелкой не ходит...

— Грех вам насмехаться, ваше сиятельство! Конечно, в моем положении, поелику я всем обязан вашей милости...

— Ну-ну, не прибедняйся, сирота казанская. Знаем мы вас... Представляете, сударь, что-то мне занадобилось, приказываю позвать Теплова. Говорят — нету, не приходил. Посылаю в академию — и там не появлялся. Ну, думаю, захворал — может, лекаря надо? Посылаю дежурного офицера к нему домой. Тот возвращается сам не свой и что-то шепчет. Ты, спрашиваю, почему шепчешь? Говори как следует. «Не смею, говорит, громко». И дальше шепчет: «Господин Теплов по приказанию их императорского величества сею ночью заарестован и препровожден в Санкт-Петербургскую крепость». — «За что?» — спрашиваю. «Сие, говорит, осталось покрыто мраком». Я тут же во дворец, к императору. Тот обрадовался. «А, гетман, оставайся, обедать, мне свежее ангельское пиво доставили». — «Благодарствуйте, ваше величество, я пива не пью. Если уж пить, так горилку... Только мне сейчас и не до горилки. По вашему приказанию арестован статский советник Теплов, а он, можно сказать, моя правая рука». — «В таком случае, гетман, смотри, как бы тебе не остаться одноруким. Теплов — государственный преступник и после следствия будет судим по всей строгости законов. А ты в другой раз лучше будешь выбирать себе «руки»...» — «Да в чем его преступление? Что он сделал?» Ну, когда прибыло свежее пиво, с его величеством много не наговоришь. Однако я — настырный. На следующий день — снова. Без толку. На следующий — опять за свое. Его величество в одну дуду — следствие закончат, тогда доложат. Время идет — Теплов сидит. Известно ведь: посадить недолго, долго — сидеть... А я Григорья Николаича знаю: ему только дай рот открыть, он мигом ангела чертом изобразит, черта — ангелом. Себя — тем более. Я и говорю, мол, ваше величество, вы совершили такой мудрый акт — упразднили Тайную канцелярицю, повелели ложнодоносчиков наказывать, а тут ведь не иначе, как донос ложный. Я Теплова знаю десятки лет — он верный слуга царя и отечества, вашего императорского величества преданный раб. Явите милость — не ждите, пока приказные крючки состряпают обвинение, спросите его сами. При вашей проница-

тельности вы сразу увидите, брешет он или говорит правду, заслуживает наказания или невинно оклеветан... Ну, а дальше сам рассказывай, как ты выкручивался...

— Выкручиваться было не в чем — истинную правду рассказал. Привели меня, представили перед его величество. «Ну, говорит, признавайся, как ты оскорблял императорскую фамилию?» — «Никак, мол, не оскорблял. И в мыслях того не имел. Невинно оклеветан». — «Но ты про императорскую фамилию говорил?» — «Говорил. А что говорил — вот как перед богом! — имел намерение доложить вашему величеству, так как полагал, вашему императорскому величеству знать это надобно». — «Отчего же не сказал?» — «Случаю такого не представилось, а потом меня за мои же добрые помыслы — в крепость...» — «А что ты такое сказал?» — «Если по правде, так и сказал не я, я только повторил... Изволите видеть, ваше величество, когда вы восприяли императорский престол, народу, как водится, выкатили бочки вина, полпива, выставили быков на закуску...» — «Неужели целых быков?» — «Нет, ваше величество, простонародье называет быками толокно с постным маслом... Вот я тогда и потолкался меж людей, чтобы послушать, что говорят об этом радостном событии — известно ведь: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке... а пьяных было тогда предостаточно». — «Ну и что говорили?» — «Ликовали, радовались, пили ваше императорское здравие... А более всего понравилось мне, как сказал один солдат: «Оно, конечно, царство ей небесное, Лисавет Петровне... Ну, а все-таки ладно, что теперь обратно мужик будет, а не баба. Оно как-то сподручнее, когда мужик, а не баба в императорах... Больно много их было, баб-то...» Вот только эти слова я и повторил, ваше величество. А в них никакого оскорбления или неуважения к императорской фамилии нету. Посудите сами: Елисавет Петровне солдат желал царствия небесного, а сам радовался тому, что императором стали вы, ваше величество... Я потому и хотел доложить вашему величеству про эти слова, что сказаны они не по команде или наущению, а прямо из души, от полноты чувств, кои испытали все подданные при вашем восшествии. А меня за это — в крепость. Разве это справедливо, ваше величество?» — «Чуфства, — говорит Петр Федорович, — это карашо. А почему такой груби слова — «баба»?» — «Так ведь, говорю, народ-то темный, ваше величество, он по-благородному изъясняться не обучен... И суть не в словах, а опять же в чувствах и ликовании.

И, как услышал, у меня сердце зашлось от радости за вас, ваше величество, вот, мол, как нашему новому монарху радуются все подданные, от вельможи до самого последнего солдата... А меня за это — в крепость». — «Ладно, говорит, я строг, но справедлив. В крепость больше сажаться не надо. А за понесенную обиду... В каком ты чине?» — «Статский советник, ваше величество». — «Произвожу тебя в действительные статские советники». — «Премного вашей милостью...» — «Но, говорит, произвожу с оставлением в отставке. Чтобы не повторял глупи слова! Императрикс, die Kaiserin, не есть «баба», она есть священный осоп...» Так я и стал вроде как штатский генерал, да только по одному названию. Можно считать — в насмешку. Вот такая дурацкая история-с, — усмехаясь, закончил Теплов.

— Лишний раз убеждаюсь, — сказал Сен-Жермен, — сколь поверхностны и неосновательны могут быть суждения стороннего наблюдателя. Особенно чужестранца. У меня сложилось впечатление, что воцарение Петра Третьего было действительно встречено всеобщим одобрением и радостью. Оказывается, есть и недовольные...

— Он их сам делает, недовольных-то. Обижает людей как ни попадя, — сказал Теплов.

— Зачем?

— А ни за чем. Оттого, что можно. Кто осмелится возразить? Вот только их сиятельство подпускают иногда что-нибудь этакое... но тот и ухом не ведет.

— Странно, мне говорили, что он добрый человек, прост в обращении.

— Прост-то он прост, — сказал Раумовский, — только чересчур скоропалителен. Что в голову придет, то и выпалит. А кругом человеки, у каждого своя амбиция. Вот взять, к примеру, графа Никиту Панина, воспитателя наследника. Умнеющий человек, образование и все повадки европейские. Двенадцать годов состоял посланником при шведском дворе. Император вдруг решил сделать его генерал-аншефом. А зачем Никите Ивановичу генеральство? Одна докука. Он наотрез отказался. Император тут же во всеуслышание: «А еще говорили, что Панин умный человек... Только дурак может отказываться от генеральского звания». Никита Иванович, понятное дело, оскорбился... Да мало ли!..

— Мне рассказывали, — сказал Сен-Жермен, — гвардейцы недовольны новыми мундирами, говорят, очень неудобны.

— То само собой! — подхватил Теплов. — Окроми того, старые-то были Петром Великим введены, а нынешние — прусского образца. Российская императорская гвардия и вдруг в немецких мундирах... Кому это в радость? Того мало, их величество предписали старые названия полков отменить, а называть их по имени командиров. Конечно, может, их вот сиятельству приятно, что Измайловский полк будет теперь называться «Полк графа Разумовского»...

— Ты говори, да не заговаривайся, Григорей Николаич, — сказал Разумовский.

— Так я ведь только к примеру, ваше сиятельство!.. А каково преображенцам или семеновцам? Их сам Петр Великий создавал и нестовал, вся слава их под Петровым названием и штандартом воспроизошла. И все теперь похерено — нету ни преображенцев, ни семеновцев... Сегодня один командир, завтра другого назначат, полк снова иначе называть будут. Так и растрясется вся гвардейская гордость, уйдет слава, как вода в песок... Или, например, шефом конногвардейского полка всегда был сам император, и они тем гордились... А теперь Петр Федорович назначил шефом этого самого Георга Лудвига. Вместо императора — дяденька. Конногвардейцы так понимают, что это для них принижение. Его величество вообще гвардию недолюбливает. Считает, что она избалована, недисциплинированна, грозится навести в ней настоящий воинский порядок.

— Относительно гвардии, быть может, вы и правы, месье Теплов. Но ведь император издал такие манифесты, предпринял реформы...

— Насчет Тайной канцелярии, конечно, слава богу. Касаемо вольности дворянской тоже, хотя и неизвестно, как оно там будет дальше... А реформы? Многовато их сразу-то...

— Нетерплячка, — сказал Разумовский.

Сен-Жермен недоуменно приподнял бровь.

— Это по-малороссийски значит нетерпение, — пояснил Теплов. — Тут даже не нетерпение, ваше сиятельство, прямо, можно сказать, свербеж реформаторский...

— Однако ведь реформы направлены на благо государства и подданных, — сказал Сен-Жермен.

— Так это еще бабушка надвое гадала, куда они направлены... Вот, изволите видеть, прислал император Святейшему Синоду указ, чтобы всех монастырских крестьян причислить к императорскому державству, а вместо них выдавать монастырям жалованье. Вроде бы хорошо? Так это нам с вами, потому как мы — не архимандриты, не игумены. А черному духовенству — нож вострый, и очень оно тем указом в ажитацию и сокрушение введено. А далее того хуже: предписывает император дать волю во всех законах вероисповедания, какое у кого будет желание, и никого не иметь за то в проклятии и поругании.

— Так это же прекрасно! — сказал Сен-Жермен. — Религиозная нетерпимость — ужасное зло. Сколько из-за нее крови пролито...

— Простите, господин граф, вы есть лицо приватное, потому так и рассуждаете, а в интересах державства рассуждения такие пагубны. Посудите сами — народ наш уповает на веру, царя и отечество и, коли надобно, грудью становится на их защиту. А на что ему уповать, что защищать, ежели все будут верить кто во что горазд? И уж не говорю про схизматиков, еретиков всяких, а так, чего доброго, и магометова вера может у нас войти в закон. Тогда, стало быть, турков и тронуть не моги, пускай Гроб Господень остается в руках у басурман, пускай они над нашими единоверцами измываются? Нет, господин граф, тут уж не только черное и белое духовенство, тут весь народ наш принять такое расположение не может... Вы все время изволите защищать реформы нашего императора. А вот как, по-вашему, может император по своему произволу отменять заповеди господни?

— Вы шутите?

— Какие шутки! Про такое святотатство и в истории не слыхивано, а наш государь император тем же указом изволили повелеть: «О грехе прелюбодейном не иметь никому осуждения, ибо и Христос не осуждал»... Христос не осуждал, ибо всевышний уже осудил! Что гласят заповеди, начертанные на Скрижалях, кои Моисей получил от господа бога на горе Синайской? «Не прилюбы сотвори. Не пожелай жены ближнего»... Господь бог осудил, а государь император приказывает — не осуждать! Стало быть, можно и желать жену ближнего, и прелюбодейство совершать?! Для чего такое святотатство занадобилось? А для того, что монарху нашему мало державных реформ, они имеют желание проводить реформы и в спальнях своих приближенных...

— Что это значит?

— Говорят, их величество задумали придворных переженить. Самому жениться на фрейлине супруги, Лизаве-

те Воронцовой, прусского посланника Гольца женить н графине Строгановой — это при живом-то муже у гр фини и его живой жене! Ну, графиня Брюс, обе Нарыш кины сами себе новых мужьев подберут... И далее в та ком духе. Это что же такое будет? Свальный грех? Содом и Гоморра?..

— Да кто это говорит? — сказал Разумовский. — Вра ки небось.

— Может, враки, а может, и правда... Дыму без огня не бывает.

— Не ты ли этот дым и подпускаешь, Григорий Ни колаевич! С тебя станется.

— А мне зачем? Мне от того ни тепло, ни холодно. Люди говорят. А где слово, там и дело... Не зря в Свя щенном писании сказано: «В начале бе Слово...»

— Не кощунствуй, Григорий Николаевич! В Священ ном-то писании как сказано? «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Совсем не к ме сту ты это приплел.

— Очень даже к месту! Сказано ведь: глас народа — глас божий...

— Эка — вьюн! Из пальцев вывертывается... То — глас народа, а ты дворцовых сплетников повторяешь.

— Так они для нас народ и есть. Мы средь них, они средь нас. Неужто мне холопов или на Охту ехать чухон цев слушать?.. Сплетники они, конечно, сплетники, толь ко ведь через них мы новости узнаем, кои «Санкт-Петер бургские ведомости» не печатают... Есть и другой слу шок, только повторить не смею... Язык не поворачи вается...

— Как-нибудь повернется. Кабы не собирался гово рить, так и не заикнулся бы. Выкладывай, что у тебя там припасено.

— Только уж не серчайте, ваше сиятельство! За что купил, за то и продаю. Прошел такой слух, что соби рается наш государь император своего любимчика, гене ральс-адъютанта Гудовича, поставить... малороссийским гетманом...

— Ну-ну, братец, совсем заврался! — нахмурился Ра зумовский.

— Ах, ваше сиятельство! — горестно всплеснул рука ми Теплов. — Да я первый был бы счастлив увериться, что сказанное — вранье-с... Думаете, легко было выгово рить эту подлость, сказать, что моему благодетелю соби-

рается нанести такое оскорбление? Только из рабской преданности я счел долгом упредить вас...

— Ладно, хватит об этом, — оборвал Разумовский.

Пауза затягивалась, становилась все напряженнее.

— Неужели, — сказал Сен-Жермен, — неужели им ператор сам не понимает или ему не докладывают, что некоторые его поступки порождают недовольство?

— Отчего же-с? Тайной канцелярии нет, но языки и уши остались. Доносы, как на меня, пишут не всегда, но ведь можно и на ухо... Охотники до того всегда найдутся.

— Как же он решается покинуть столицу, в которой остаются недовольные, обиженные им люди? Судя по ва шим словам, их не так уж мало... Разве не опасно — оставлять у себя в тылу недовольных?

— Сам-то он, может, не догадался бы, за него Фрид рих догадался. Император вот их сиятельству хвастал письмом Фридриха, восхвалял его мудрость. Фридрих ему присоветовал всех недовольных и подозрительных взять с собой в поход — там они будут все время у него под глазами и ничем повредить не смогут.

— Вполне в духе Фридриха, — сказал Сен-Жермен. — Только, боюсь, не очень осуществимо. Можно взять с со бой десятки людей, но ведь, вы говорите, недовольство кишит во всей гвардии?..

— Кто-нибудь присоветует, он и гвардию за собой потащит...

— Кто ж ему это посоветует? — спросил Разумовский.

— А хотя бы вы, ваше сиятельство, — осторожно ска зал Теплов.

— Ох и хитер же ты, Григорий Николаевич! Нет уж, ищи других охотников голову подставлять, мне моя пока не надоела...

— Не вы, другой найдется... Только напрасно вы на счет своей головы. Император ее очень даже ценит. А уж коли получится завтрашнее представление, вы будете в прочном фаворе, а барон Корф пудовую свечу за ваше здравие поставит...

— Представление? Какое представление?

— А вы глашатаев не видели, не слыхали? По всему Петербургу сейчас с барабанным боем ходят, провозгла шают монаршее соизволение и разрешение господина полицеймейстера Корфа... Видите ли, еще покойная Ели завет Петровна все мечтала переехать в новый дворец Растреллиевой постройки на берегу Невы. Помните, мы провожали, издали изволили его осматривать?

— Помню, весьма импозантное здание.

— Елисавет Петровна самую малость не дождалась, померла. Постройку кончили, а поселиться во дворце нельзя — ни подойти, ни подъехать. Мы ведь тоже не смогли — вся площадь завалена. Корф мечется, кричит, командует, голос сорвал, все одно толку нет. А император в одну дуду — очистить дворцовую площадь, подготовить новую резиденцию. Совсем барон впал в отчаянность... Тогда их сиятельство и присоветовали барону: «Иди, Николай Андреич, к императору и скажи, коли всего того хлама не жалко, то не нужно никаких рабочих. Надо объявить по городу, что, мол, такого-то числа всем жителям города без различия пола, возраста и всех прав состояния, а также всем пришлым и приезжим разрешается без всякой мзды и пошлины брать и уносить в собственное пользование все строительные материалы в любом количестве, ломать и разбирать балаганы и мастерские. Увозить и уносить можно на себе, на подводах, на лодках, кому на чем придется...» Барон сомневался, колебался, потом все-таки императору доложил. Тот засмеялся и сказал... Не смею повторить, ваше сиятельство...

— Эка, оробел вдруг... — усмехнулся Разумовский. — Император сказал: «Сделай, как советует граф Разумовский. Он лучше нас с тобой знает, на что способен «русски мюжик»...» Это их величество пожелали мне напомнить, что все вокруг благородного происхождения, а я в графы — из мужиков... Я помню!

День выдался погожий, даже теплый для этой поры. Невский лед уже ушел в Финскую губу, до ладожского было еще далеко, и от реки не задувало, как обычно, пронизывающим, стылым ветром. Солнце проглядывало сквозь редеющие облака, поблескивало на шпилях Адмиралтейства и собора и даже по всегда угрюмой толще невских вод рассыпало сверкающих зайчиков. Где же в такую погоду усидеть дома иззябшему санктпетербуржцу, то от холода, то от сырости жмущемуся к печам? И повысыпали жители столичные на улицы — погреться на солнышке, с соседями перекинуться словом-другим, пройтись, подышать свежим воздухом, а заодно посмотреть, что деется в стольном граде. Ходили давеча приказные с барабанщиками, до хрипоты зазывали разбирать имущество, что на дворцовой площади. Мол, бесплатно и беспошлинно... Знаем мы энти подарки: потом не отплачешься и не расплатишься... Однако отчего не поглядеть, какая из той затеи произойдет конфузия? За вольными обывателями потянулись дворовые — кто попахальнее, заспешил вперед.

Все перспективы, будто спицы к ступице, вели в центр, к дворцовой площади. Необъятная — одним взглядом не окинешь,— она была безлюдна и тиха, как погост. Однако бывалый санктпетербуржец учен и переучен, он знает — не всякому слову верь, не на всякую тишину полагайся. Не успеешь руку протянуть, тут тебя за эту руку, за шиворот, и поминай как звали... Потому и толокся недоверчивый санктпетербуржец у закраин хламового завала, переглядывался: не затаились ли где солдатушки — бравы ребятушки, не попрятались ли караульные будочники с бляхами, корыстные блюстители порядка и бескорыстия. Однако никаких признаков присутствия власти и ее охранителей не было. Только за бурыми балаганами, горами строительного мусора виднелась громада нового дворца будто белый с прозеленью айсберг, вползший на берег, чтобы полтора столетия излучать леденящий душу холод и страх. Но пока это будущее вместилище верховной власти было пусто и немо, лишь поблескивали под солнцем бельма оконных стекол.

Первыми, как в зачине драки стенка на стенку, двинулись мальчишки. Их не удерживали. С мальцов, коли и поймают, какой спрос? Ну, дадут заушину, подзатыльник или, в крайности, ухи нарвут — всего и делов... Юркие, горластые разведчики, поддразнивая и подбадривая друг друга, побежали по узким — еле проехать телеге — проходам и сразу затерялись, только звонкие голоса их звучали все дальше и дальше. Скоро появились и первые добытчики — кто нес тупой ржавый топор без топорища или колесо от тачки, кто волок замысловато крученный кованый прут, а кто и покореженный кусок свинцового кровельного листа. И никогошеньки там нету. Только вовле дворца, где расчищено сколько-то места, протянут канат меж столбиками, а за ним цепочкой стоят солдаты. Но не лаются и никого не шугают. Просто стоят. Для порядка. Чтобы к дворцу не лезли. Ну, это понятно — власть, ей охрана требуется...

Стало-ть, ничего? Стало-ть, можно?.. И поначалу не торопясь, с оглядкой, пошли взрослые. И несли сначала какую-нито пустяковину, тот обаполок поднял, а тот горбылек, всем своим видом показывая, что пришли во-

все не для того, чтобы брать и присваивать, а так просто, без надобности — шел себе человек в проходочку и подобрал замест посошка... И снова никто ничего. Тут уж осмелели все, и в проходы хлынули толпы. Сначала выбирали, что попригляднее и в хозяйстве надобнее — да и много ли на себе унесешь? — доску или тесину. Возвращались ускоренным шагом, а уж обратно спешили кто с чем мог — с тачкой, тележкой, а более всего на телегах. И потекли, заклубились людские потоки по узким проходам необъятного хламовника. Сначала путались и перекрещивались потоки, случалось, телеги цеплялись осями, отчаянная ругань взрывалась до небес, однако до драки не доходило: они мешали другим. Сторонние растаскивали телеги, и тогда уже не из чего и некогда было ругаться — надо было гнать скорее домой, чтобы успеть воротиться еще и еще...

Одна за другой к берегу наперегонки шли лодки, спешно грузились и столь же спешно отплывали. По всем улицам и перспективам непрерывной чередой текли два потока. От дворца, мотаясь в оглоблях, лошади тянули перегруженные сверх всякой меры телеги, громоздкий, кое-как набросанный груз угрожающе раскачивался, а то и разваливался на потеху зрителям. Навстречу этому налегке бежал второй поток: пешие — спорым, деловым шагом, на лошадях — рысью, а то и вскачь. Стоя в телегах во весь рост, возницы нахлестывали лошадей, орали ротозеям, чтоб не подвертывались, и гнали, гнали...

Почти всегда строгий, хмурый и как бы пустынно распростертый Санкт-Петербург вдруг ожил, заклокотал всем своим скрытым многолюдством. Ему удивлялись и поражались зрители. Священнослужители, степенные негоцианты, люди в чинах, господа офицеры нет-нет да и выходили на улицу, припадали к окнам, дабы поглядеть на небывалое зрелище. Говорили, даже государь император выходил на высокое крыльцо деревянного Зимнего дворца, тыкал пальцем во что-то смешное ему, хохотал и звал приближенных тоже посмеяться. Среди них неугасимой улыбкой именинника сиял барон Корф. Несколько дней Николай Андреич пребывал в смятении и тревоге, отчаивался и обнадеживался, верил и сомневался. А ну как лукавый хохол посмеялся над ним, ничего из всей затеи не получится и бесславно прервется незаписанный до сих пор баронов карьер? Лишиться должности генерал-полицеймейстера куда как худо. Но ведь можно впасть и в немилость! А что может быть хуже монаршей

немилости?.. Но монарх был доволен и милостив, препарадно забавлялся и соизволил уже два раза одобрительно похлопать барона по плечу и один раз даже по животу. Барон Корф счастливо жмурился, благословлял графа Разумовского и прикидывал, что, коли так пойдет и дальше, дня через три-четыре, пожалуй, все растащут, остатки прибрать будет не трудно, их величество отпразднует новоселье, и не может того быть, чтобы усердие его преданных слуг осталось не вознагражденным... В чаянии уже почти заслуженной награды барон Корф улыбался все шире и радостнее.

Улыбался не только барон. Улыбались, смеялись, азартно скалились, хохотали прежде всего те, кто без устали тащил, вез, нес на себе строительные отбросы с дворцовой площади. В сущности, они выполняли тяжкую и просто непосильную в иную пору работу, но сейчас почему-то не ощущали ее тяжести и не только не уставали, а, напротив, чувствовали, что силы как бы все время возрастают и нету им ни меры, ни предела, словно была это не работа, а праздник. До настоящего праздника, Христова воскресенья, оставалось еще два дня, но праздничное настроение охватило всех, будто он уже наступил. Его не могли омрачить даже некоторые неприятные происшествия: одного придавило падающей стенкой барака, несколько человек в сутолоке упали в ямы с гашеной известью. Правда, происшествия обошлись без тяжелых последствий. Для рабочего люда хоромов не строили, кое-как сколоченная из горбылей стенка лишь помяла потерпевшего, серьезного увечья не нанесла. А в ямах известь была почти вся повыбрана, упавших тотчас вытащили, и более перепуганные, чем перепачканные, они вызывали не столько сочувствие, сколько насмешки.

Чему они радовались, что вело неустанно текущие через площадь бесконечные толпы людей? Корысть? Возможность поживиться задаром путь и бросовым, но чужим? Жадность? Да, конечно, и все это. Иначе бы не надрывались, залитые потом, не несли, не везли, не растаскивали бы все по своим дворам. Однако не только это. Да и тащили не все. Нашлось множество охотников, которые не принесли домой даже палки. Они лишь с остервенением ломали, рушили все эти склады, балаганы, мастерские и в яростном азарте подбадривали друг друга и тех, кто растаскивал: «Давай, робяты! Круши!..»

Никто об этом не говорил, даже не думал отчетливыми словами, но дело было не только в корысти, счаст-

ливом случае поживиться, бесплатно урвать что-то такое, чего не было в городе, — а в нем не было ничего, все нужно везти издалека, и за все приходилось платить. Еще вчера все это было казенное, царево. Никто и думать не смел о том, чтобы из имущества государя императора отломить и унести бросовую щепу — за то бы сразу в батоги, кнуты и — с рваными ноздрями — в Сибирь. А теперь здесь вдруг все стало можно. Всем и каждому. Самому захудалому холопу. Не по принуждению, а по своей воле каждый мог идти или не идти, ломать или не прикасаться, брать или не брать, а если уж брать, так не для кого-то, для себя. Вчера еще думать не моги, неизвестно, как оно будет потом, так уж хоть ноне попользоваться! Да, конечно, это было всего-навсего скопище хлама, но хотя бы здесь, хотя бы сегодня для замордованного простолюдина обнаружились день и место свободы, пригрезился призрак вольности... Он поманил и, как полагается призраку, тут же исчез, но дело свое сделал.

Григорий Орлов и Сен-Жермен стояли возле дома Кнутсена и с любопытством наблюдали, как по Большой Морской течет от площади поток груженых возков, телег, а навстречу ему спешит слитная толпа, возвращающаяся за новой добычей. С руганью прорываясь через этот поток, двое парней, сгибаясь под тяжелой лесиной, заворотили в ворота дома. Григорий узнал своих дворовых.

— А вы-то зачем? — крикнул Григорий. — Али своего мало?

Дворовые приостановились.

— А чо? — сказал передний. — Дармовое ить, барин, как же не взять? Да и Домна Игнатьевна наказывала — хорошо б, мол, дровишек запасти...

Григорий оглянулся на графа — тот смотрел в другую сторону — и махнул рукой. Лесина исчезла в глубине двора.

Неподалеку в лаптях, латаной гуне и ошметке, когда-то бывшем поярковой шапкой, стоял старик. Он обеими руками опирался на клюку, исподлобья смотрел на толпу и шевелил губами, что-то говоря про себя.

— Эй, дед, — окликнул его Григорий, — а ты что стоишь, для себя не стараешься?

Старик обернулся, и теперь уже нельзя было с уверенностью назвать его стариком. Худое лицо его под жидкой бороденкой и усами не было морщинисто, глубоко запавшие глаза лихорадочно блестели, как у чахоточного.

— А мне зачем? — глуховатым голосом, будто с натугой выталкивал слова, спросил человек в гуне. — Мне без надобности.

— Другим же надобно, коли тащут?

— Из жадности и по слепоте своей. Погрязли в суете стяжания. А было сказано: «Оставьте домы свои и следуйте за мною...»

— Ты из попов, что ли? Расстрига?

— Ни чинов, ни сана не имел. Я — странник.

— Бродяга, значит?

— Все мы бродяги в юдоли плачевной.

Орлов был добр и терпим, но что-то в этом человеке раздражало его. То ли то, что он, хотя и был явно самого подлого звания, держался без всякой робости и подобострастия, то ли то, что не опускал взгляда, а смотрел прямо в глаза своим пронизывающим, лихорадочным взором.

— Бродяги не все. Бродяги, которые беглые.

— Думаешь, я от господской неволи убег? — усмехнулся странник. — Надо мной господ нету. А от себя никуда не убежишь. При рождении нарекли меня Саввой, что по-древнему означает — «неволя». Стало-ть, мне в неволе ходить до конца дней...

— А ты делом-то каким занимаешься? — спросил Григорий. — Или только шатаешься меж двор?

— Хожу, смотрю. Людям правду говорю.

— Да какую ты правду можешь сказать, если сам бездельник, христовым именем побираешься?

— Правду про жизнь. Человек должен думать правду, говорить правду и творить правду. Человекам без правды нельзя. Они тогда и не человеки вовсе, а либо овцы, либо волчища.

— Простите, — сказал Сен-Жермен. — Вы много странствовали, были и в других державах?

— Нет, — сказал странник, — не довелось. Дале России не хаживал... А ты, я гляжу, барин, не нашего племени. Хоть и говоришь по-нашему, а не по-нашенски. И повадка у тебя не русская. Не мордоплюй, как наши баре. Немец, что ли?

— Нет, я не немец, — улыбнулся Сен-Жермен. — Это довольно долго и трудно объяснять. Ну, скажем, француз.

— Помесь, стало-ть. Это — ничего. Все мы — дети божьи.

— Люди — рабы божьи, а не дети! Сын божий — Христос, — сказал Григорий.

— Христос — бог. А мы — дети божьи. Бог сотворил человека, вдохнул в него душу. Стало-ть, всяк человек — сын божий.

— Позвольте, — сказал Сен-Жермен. — А преступники, убийцы, например, тоже дети божьи?

— А как же! У первого божьего сына Адама был не только Авель, а и Каин-братоубивец... Потому бог промашку сделал — не тот матерьял взял. Душу Адаму он вдохнул свою, а слепил-то его из глины. Вот она, глина, в человеках и отзывается...

— Да как ты, святотатец, смеешь такое про бога? — возмутился Орлов.

— Правду можно и про бога. Он не человек, правды не боится. Али ты думаешь, он все ладно устроил, лучше некуда?

— Нет, caro padre, что он говорит?! Это же еретик какой-то! Вместо «рабы божьи» — «дети божьи»...

— Рабы мы не божьи, барин, а ваши. Чтобы имущество вам наживать. А богу имущества не надо — и так все его, все богово. Стало-ть, ему и рабы не надобны.

— Сукин ты сын, а не божий! Да я тебя за эти речи...

Савва не испугался.

— Эх, барин, — беззлобно сказал он, все-таки же с натугой выталкивая слова, — с тобой по-человечески, а ты враз к морде... Хотя какой с тебя спрос? Правда, она горька, не всяк выдерживает... Что ж, сам бить будешь али стражников позовешь, чтобы имали и в колодную тащили? Ну, имай, имай...

Савва сделал два шага и влился в поток спешащих людей.

— Стой! Держи его! — крикнул Орлов.

И тотчас стих веселый гам толпы. Это был первый начальственный окрик, угроза, которых все время ждали, опасались с самого начала и который прозвучал вдруг теперь, в самый разгар азартного расхватывания бросовых остатков. Мгновенно спикли улыбки, к Орлову оборотились настороженные, угрюмые лица людей. Значит, не зря боялись подвоха, поверили, а их обманули, завлекли в ловушку...

— Оставьте, Грегуар! — окликнул Орлова Сен-Жермен.

Орлов поколебался и отступил назад. Гунька Саввы, поярковый ошметок на его голове мгновенно исчезли среди множества таких же гунек и шапок. Встревожившиеся люди прошли, за ними столь же поспешно двигались дру-

гие, они ничего не видели, не слышали, и над ними стоял тот же веселый гам.

— Зачем вы так, Грегуар? — укоризненно сказал Сен-Жермен. — Он же ничего дурного не сделал... Интересно, откуда такой, по-видимому, очень простой и необразованный человек мог заимствовать основной завет зороастрийцев: «Чистые мысли, чистые слова, чистые поступки»?

— Еще какая-то ересь?

— Нет, не ересь, религия огнепоклонников. Ее создал Зороастр в Персии задолго до появления Христа.

Ответить на вопрос Сен-Жермена было некому. Найти теперь Савву в толпе было не легче, чем поймать примеченную на мгновение, но ничем не отличающуюся от других льдинку в сплошной шуге, которая недавно прошла по Неве.

К вечеру потоки подвод и людей, целый день бушевавшие на улицах, начали редеть, пока не иссякли вовсе. Загроможденная, заваленная хламом площадь начисто оголилась, превратилась в гигантский пустырь. В наступающих сумерках лишь одиночные фигуры бродили по нему, пытаясь то лаптем, то палкой поддеть что-то втоптанное в землю. Казалось бы, хлам, растащенный, развезенный по всему городу, замусорит всю столицу, будет теперь горами торчать в каждом дворе, но чрево столицы оказалось уемисто — дровяники и сараи, клети и подклети бесследно поглотили все, словно ничего и не было, или было, да чудом истаяло, не оставив следов ни там, где было, ни там, куда было попрятано.

На следующий день, 6 апреля, ямы были завалены, площадь посыпана песком, и императорская фамилия въехала в новый Зимний дворец. Это было, несомненно, радостным событием, хотя распоряжения Петра Федоровича относительно размещения в новой резиденции вызвали немалое смущение и незатихающие толки. Императрице Екатерине Алексеевне были отведены покои в самом удаленном крыле дворца, мало того — как бы в виде еще одного барьера, между ее покоями и передней разместились великий князь со своим гофмейстером и воспитателем Никитой Паниным. В другом крыле поместился сам император, а рядом поселилась его возлюбленная Лизавета Воронцова.

Это было, конечно, неслыханное, вызывающее оскорбление для императрицы. Так это истолковали все и сама императрица тоже, хотя, по правде говоря, императрице такая удаленность пришлась как нельзя более кстати.

Не далее как через четыре дня, в четверг на святой неделе, Екатерина без огласки и всякого шума разрешилась от бремени. Младенца немедля увезли, а куда — о том ведали только верный Шкурин и столь же преданная камер-фрау Шарогородская. Лишь войдя в надлежащие лета, младенец тот обнаружил себя графом Алексеем Григорьевичем Бобринским и получил от самой императрицы письмо, в котором объяснялось, что мать его «быв угнетаема неприязьми и неприятельми, по тогдашним обстоятельствам, спасая себя и старшего своего сына, принуждена нашлась скрыть ваше рождение, воспоследовавшее 11-го апреля 1762 года». Что и говорить, в колокола звонить не приходилось...

8

Ах, Фике, Фике! Куда забросила, что наделала с тобой злая судьба?! Что станет с твоими мечтами, надеждами и что будет теперь с тобою самой?.. И почему так обманчива жизнь, зачем так создан человек, чтобы только в детстве чувствовать себя счастливым? Хорошо ему или плохо, хуже или лучше, чем другим, он того не замечает, не задумывается и счастлив просто тем, что он есть — живет и радуется всему, что вокруг. Но уже очень скоро он начинает различать, что лучше, а что хуже, что больше и что меньше, что сильнее, а что слабее, что приятнее, а что неприятнее... И в душе его зарождаются, растут желания, появляются мечты и надежды, вскипают страсти, и до конца дней человек будет пленником этих надежд, рабом желаний, игрушкой своих страстей. Иногда они приобретают форму убеждений, но от этого природа их не меняется и они не становятся ни лучше, ни хуже...

Куда бы как хорошо навсегда остаться маленькой Фикхен, как нежно называл ее отец, или просто Фике, как называли все! Но она растет и узнает, что Фике — это только уменьшительное от «София», и она не просто София, а София Фредерика Августа. Потому что она принцесса. Принцесса Ангальт-Цербстская. Может, лучше бы не знать этого никогда?.. Да, конечно, ее дорогой фатер — герцог Ангальт-Цербстский из Дорнбургской ветви, и этому владетельному роду более двухсот лет, а дорогая муттер из рода Голштейн-Готторпского, кажется, самого древнего владетельного рода, так, по крайней мере, с гордостью говорит муттер, но что из того,

ибели герцогство фатера с воробьиный нос, а приданое муттер состояло лишь в древности ее рода и дорогому фатеру приходилось служить. Он и служит с юных лет, но, не блистая никакими талантами, к рождению Фике становится всего-навсего командиром 8-го пехотного полка в Штеттине. Потом его назначат комендантом Штеттина, но он не станет ни богаче, ни влиятельнее, только и того, что они с тех пор живут в Штеттинском замке. Бывшая резиденция померанских герцогов похожа на огромный каменный сундук. Он холоден, мрачен и гол снаружи и внутри — заполнять его некем и нечем. Семья коменданта занимает в нем только левое крыло. Фике со своей гувернанткой госпожой Кардель и прислужницей живут в угловой части, к которой вплотную примыкает колокольня замковой церкви. Несколько раз в день по гулким пустым комнатам и переходам она бегает к матери в противоположную часть крыла. У Фике нет ни голоса, ни слуха, петь она не может совсем и просто выкрикивает слова какой-либо песни и громко топочет каблуками. Она боится крыс, а в замке их множество. Громадные, как поросята, черные портовые крысы разгуливают по замку даже днем, но они не любят шума и, заслышав ее крик и топот, неторопливо удаляются.

Мать, Иоганна Елизавета, принимает Фике наскоро и небрежно — ей недосуг. Она на двадцать один год моложе своего мужа, полна энергии, жаждет денег, власти, мечтает блистать в обществе и ради этого готова плести любые интриги — увы, интриговать ей негде и остается только сплетничать, а блистать приходится лишь среди обер-офицерских жен в Штеттине. Иоганна Елизавета пишет бесконечные письма, напрашивается на приглашения к влиятельным родственникам и ездит к ним гостить, чтобы не утратить связи. Фике она держит в строгости, заставляет почтительно целовать подолы своих посетительниц и за малейшее противоречие или провинность хлещет по щекам. Фике делает книксены, целует подолы, хотя это не слишком приятно — они изредка пахнут духами, чаще всего пóтом, но крайне редко — мылом, старается не нарываться на пощечины и в самом раннем детстве усваивает, что главное для этого — говорить то, чего от тебя ждут, а не то, что ты думаешь на самом деле. Проницательная госпожа Кардель видела ее насквозь и прозвала esprit gauche, что можно перевести — «себе на уме», а если попросту — «двуличная»...

К Фике ходят пастор, чтобы преподавать ей основы

лютеранского вероучения, учитель чистописания и учитель музыки Рэллиг. Первым двум чего-то достигнуть удалось, бедный Рэллиг не добился ничего: с большим успехом он мог бы обучать гармонии колуп — до конца дней музыка осталась для нее бессмысленным и неприятным шумом. Госпожа Кардель обучает Фике французскому языку и житейской мудрости, то есть всему тому, что может понадобиться будущей супруге одного из бесчисленных немецких князьков, подобных ее фатеру.

Однако очень скоро Фике узнает, что перспектива эта под большим вопросом. Подтверждая прозвище, которое дала ей госпожа Кардель, Фике очень рано привыкла незаметно подслушивать, особенно то, что касалось ее, ничем и никак потом себя не выдавая. Однажды она, по обыкновению громко протопав по всей анфиладе комнат левого крыла, к покоям матери подошла на цыпочках и притаилась за полуприкрытой дверью, Иоганна Елизавета разговаривала с баронессой фон Принцен. Говорили о ней.

— Конечно, — сказала баронесса, — ничего яркого, выдающегося в Фике нет, самая заурядная девочка. Но у нее, насколько я заметила, холодный, расчетливый ум, а это не так мало.

— Ах, кому нужен в девицах ум? — возразила мать. — Была бы попривлекательнее, легче было бы выдать замуж. А такую кто возьмет? Если бы не платье, вылитый мальчишка — лицо плоское, ноги короткие, тело без талии, как обрубок...

— Может, еще вытянется, выровняется...

— Ничего не поможет — наружностью она в отца пошла. Испортил породу Христиан Август...

Фике знала, что при этом мать повернулась к зеркалу и увидела в нем подтверждение своей правоты. Каждый раз, когда она говорила о муже, она оглядывала себя в зеркале и неизменно убеждалась, какую она, молодая и красивая, совершила непоправимую ошибку, какую принесла жертву и как погубила свое будущее, выйдя замуж за тупого, неотесанного полковника. О том, что замужество было в свое время даром судьбы, спасением от надвигающегося стародевичества, Иоганна Елизавета прочно забыла, а зеркало, естественно, об этом не напоминало.

Фике начала разглядывать себя в зеркале и сравнивать. Увы, дорогая муттер была права по всем статьям:

красоты не было и ничто не предвещало ее появления. Но права оказалась и баронесса — у маленькой Фике был действительно расчетливый, холодный ум и твердый характер. Она не впала в отчаяние и отнюдь не собиралась мириться с судьбой старой девы, предсказанной ей матерью. Произведя, так сказать, переучет своих ресурсов, она весьма трезво оценила их и, сообразно с наставлениями госпожи Кардель, принялась делать себя. Как истая француженка, госпожа Кардель старалась привить некрасивой и неуклюжей немочке хотя бы азы высокого искусства нравиться. Прежде Фике пускала ее поучения мимо ушей, теперь поглощала с жадностью и старательно выполняла.

У женщины, говорила госпожа Кардель, должны быть легкие движения, гибкий стан и грациозная походка. Фике перестала размахивать руками и начала семенить. От этого походка ее сделалась жеманной, но все-таки это было лучше, чем размашистое мальчишеское вышагивание. По мнению госпожи Кардель, мужчины мало интересуются тем, что думают и чувствуют женщины, и еще меньше понимают это, они ценят в женщине не собеседницу, а слушательницу, чтобы они сами могли распускать перед ней свои павлиньи хвосты... Фике научилась внимательно слушать, лишь изредка вставляя замечания, которые чаще всего были поддакиванием и выражением сочувствия. Очень скоро окружающие стали говорить Иоганне Елизавете, какая у нее не по возрасту умненькая дочь и как приятно с ней беседовать, а Фике впервые поняла, что окружающие не столь умны, как им самим кажется, если их так легко обманывать.

— Конечно, хорошо, — говорила госпожа Кардель, — когда женщина красива, но это не обязательно. Мы, французы, считаем, что некрасивых женщин нет, есть только женщины, которые себя не знают. Главное в женщине — шарм, обаяние... Она должна быть любезна, мила в обращении, знать, что ей к лицу, а что нет. Вот, например, вы, мадемуазель, имеете дурную привычку сжимать губы и смотреть исподлобья. Это делает ваше лицо неприязненным, даже отталкивающим. А когда вы улыбаетесь, у вас прорезываются такие милые ямочки на щеках и лицо сразу становится привлекательнее... Нет, нет, не следует открывать рот до ушей! Должна быть легкая, как бы скользящая улыбка...

Зеркало подтвердило правоту госпожи Кардель, и с тех пор Фике непрестанно улыбается. Даже когда мать

бранит ее. Иоганна Елизавета не понимает причины этого и, негодуя, восклицает:

— Посмотрите — она стала идиоткой! Ее бьют по щекам, а она скалит зубы...

Фике не стала идиоткой. Она раз навсегда решила быть привлекательной. Такой ее делала улыбка, и потому она не переставала улыбаться. Это бывало невпопад, да и улыбка у нее еще детская — всегда одна и та же.

Когда Фике подрастает, мать, уезжая к родственникам, берет дочь с собой — в Брауншвейг к герцогине Вольфенбюттельской, у которой воспитывалась, в Гамбург к своей матери, вдове епископа Любекского, в Эйтин к своему брату принцу, епископу Любекскому. Там впервые Фике видит жизнь настоящих герцогских дворов, сравнивает с прозябанием комендантской семьи в захолустном Штеттине, и раскаленная игла зависти впивается в ее сердце. С тех пор эта рана не заживает — игла не стынет, не тупеет, а, напротив, становится все острее и раскаленнее. Мать возила Фике даже в Берлин и взяла с собой на королевский прием. Своих гостей на больших приемах Фридрих II не кормил не только из скупости, но и из презрения к ним. Король считал, что подданные должны насытиться лицезрением монарха, а животы пусть потом набивают у себя дома. Но Фике и дома долго не могла проглотить ни кусочка, так потрясли и заворожили ее роскошь апартаментов и туалеты дам. Какими убогими показались ей теперь все герцогские дворы по сравнению с королевским...

В 1739 году принц Адольф Фридрих, епископ Любекский, созывает в Эйтин всех родственников, чтобы познакомить с наследником голштинского престола, опекуном которого он стал. Покойный герцог голштинский под конец жизни мечтал только о двух вещах: отвоевать у Дании захваченный ею Шлезвиг и напиться по-настоящему... Первая мечта не осуществилась, а второй — после длительной тренировки — он достиг и помер. Наследнику Карлу Петеру Ульриху всего одиннадцать лет, и, разумеется, за него все решает и делает дядя-опекун. Адольф Фридрих — родной брат Иоганны Елизаветы. Она, конечно, тоже едет в Эйтин и берет с собой Фике. Дядьев, теток и других родственников собирается множество, они занимаются своими делами, а троюродные брат и сестра между тем имеют возможность познакомиться поближе. Однако близкое знакомство не получается, хотя они много разговаривают, так как, в сущности, говорит один Петер

Ульрих, а Фике только слушает и поддакивает. Сначала она думает, что он рад вырваться из сковывающей обстановки официальных церемоний и отвести душу со сверстницей — Фике всего на год моложе его, — но, оказывается, он просто неостановимый болтун. В нем ничего не держится — что ни придет в голову, он тут же выпаливает. И конечно, хвастает и привирает.

Петер Ульрих не нравится Фике. Он большеротый, нескладный подросток и в своем военном мундире просто смешон. А может быть, Фике только так кажется, ей приятно думать о нем неприятное потому, что, совершенно того не замечая, Петер Ульрих своей болтовней очень больно ранит и без того уязвленную душу Фике?

Петер Ульрих рассказывает, как он любит все военное и особенно смотреть вахтпарады, что в девять лет он стал сержантом и нес настоящую службу — стоял, когда нужно на часах, в карауле, а недавно произведен в секунд-лейтенанты. Нравится ей мундир секунд-лейтенанта? Впрочем, девчонки в этом не разбираются... А еще он любит играть на скрипке. Если она хочет, он может ей поиграть... Не хочет? Странно! Его учитель итальянец Унери находит, что он играет уже недурно, вполне недурно. Вот когда он станет герцогом, он выпишет из Падуи великого Тастини, чтобы стать настоящим виртуозом... Вообще, если бы не военное дело, которое он любит больше всего, он стал бы просто музыкантом. Может, даже великим музыкантом, как сам Тастини... Но он будет военным, как все герцоги. И как только он вырастет и станет герцогом, так немедля отвоюет у Дании Шлезвиг. Эти проклятые датчане у него прямо под носом. Из окон его дворца в Киле видно датскую границу... Какой же государь может терпеть, чтобы враги заглядывали к нему в окна?.. А потом он станет королем. Шведским. Он ведь наследник не только голштинского престола, но и шведского. Сейчас он учит шведский язык... Вообще-то он наследник и русского императорского престола. Его мать была дочерью русского императора Петра, значит, он его внук и имеет все права на престол. Русский монах уже начал учить его своей вере, но потом императрицей стала племянница Петра, и она, конечно, не допустит к трону внука Петра, будет тянуть своих... Но это даже лучше. Он станет шведским королем и сделает то, чего не сумел Карл XII — разобьет эту дикую страну... А кем станет она, когда вырастет? Впрочем, что спрашивать? Она никем не станет. Выйдет замуж или

останется старой девой... Женщин в короли не берут. Королем должен быть военный, значит, мужчина...

Фике улыбается и поддакивает, но раскалённая игла впивается в ее сердце еще глубже. Конечно, нескладный губошлеп плетет глупости — была царица Клеопатра, в Англии королева Елизавета, в Швеции — королева Христина, в Австрии и сейчас императрица Мария-Терезия, а в России — Анна. Но он говорит и правду — она, Фике, не станет никем. Не будет ни императрицы, ни королевы Софии. Она не может стать даже герцогиней в жалком Цербсте — отец передал право владения своему брату, а если у того не будет детей, герцогство унаследует младший брат Фике.

Как ни ноет незаживающая рана честолюбия, все-таки Фике остается девочкой и занимается тем, чем должна заниматься: играет со сверстницами, старается не подвертываться под гневливую руку Иоганны Елизаветы, учит уроки и внимает наставлениям гувернантки. Госпожа Кардель — живая француженка, а не скучный немецкий педант и свои наставления умеет облекать в легкую, занимательную форму, рассказывает Фике всевозможные истории о выдающихся людях далекого прошлого и прошлого совсем недавнего. А так как, по распространенному тогда мнению, выдающимися людьми являются только всякого рода властители, вояки и их ближайшие сподвижники, то все это были истории о царях, королях, полководцах, а если о женщинах, то таких, чья жизнь была наполнена бурным кипением страстей.

Фике слушает эти истории затаив дыхание, боясь проронить слово, а потом размышляет о них, примеряет героев к себе и себя к героям. Очень скоро она выбирает для себя идеалы — мужской и женский. Мужским становится — на всю жизнь! — афинский стратег Алкивиад. Сначала он прославил своими победами себя и Афины, потом перебежал в Спарту и столь же доблестно проявил себя там, не поладил со спартанцами и ушел к персидскому сатрапу Тиссаферну, потом снова переметнулся на сторону Афин и воевал против Спарты... Госпожа Кардель, отдавая должное талантам Алкивиада, отзывается о нем неодобрительно, так как, по ее мнению, он был изменником своей родины и вообще вероломным человеком, на которого нельзя положиться.

Фике с этим не соглашается. Алкивиад был выдающимся человеком, а к человеку выдающемуся не применимы общие мерки — высокое положение человека ставит

его выше обычных норм. Пренебрегал всякими мерками и другой любимый герой Фике, Генрих IV. Он был гугенотом, то есть протестантом, но, чтобы овладеть Парижем, стать королем Франции, перешел в католичество, сказав при этом: «Париж стоит мессы». Госпожа Кардель осуждает его за вероотступничество и распущенность. В ней просто говорит гугенотская закваска и плебейская кровь. Подумаешь, месса... Месса — католическое богослужение. Богослужение может быть и таким и сяким, каким угодно, но Париж и Франция только одни, и, конечно, Генрих поступил мудро, когда приобрел их, заплатив в конце концов не такую уж высокую цену. Правда, Генрих IV всего-навсего переменил вероисповедание, он был и остался среди французов, в то время как Алкивиад переходил из одного государства в другое. Но измена родине, вероотступничество — эти понятия имеют значение для простонародья. Монархи стоят выше верований и узколобого патриотизма. Разве можно считать изменником ганноверского курфюрста, которому Англия предложила королевский трон? Правда, он не знал ни слова по-английски и не понимал, о чем говорили его подданные, но это не мешало ему быть английским королем под именем Георга I. И разве это хуже, чем оставаться маленьким курфюрстом в захолустном Ганновере? А если какая-нибудь принцесса становится женой короля другой страны, ее тоже нужно считать предательницей, изменницей прежней родины? Абсурд! Для царствующих и правящих есть только один закон — победителей не судят. Все остальные — для подданных.

В выборе женского идеала Фике некоторое время колеблется. Ей очень нравится Клеопатра, жгучие страсти египетской царицы, ее бесчисленные романы, борьба с грозным могуществом Рима. Но в конце концов Клеопатра капитулирует — как же можно иначе оценить ее самоубийство? Убить себя — значит отступить, признать свою слабость. То ли дело Христина Августа Шведская! Вот женщина, которая никогда и ни перед кем не отступала! И не в древности, где-то в непонятно далеком Египте, а в Европе и совсем недавно — в минувшем веке. Стало быть, не только знойный Юг, а и холодный Север может порождать бурные темпераменты и кипение страстей. Страсти клокотали в Христине, а ее темперамента не могли сдержать никакие условности, ни светские, ни религиозные. Христине всего шесть, когда гибнет ее отец Густав II Адольф и сословия Швеции присягают ей как

наследнице и будущей королеве. Она вступает на престол в блеске красоты, ума и образованности. Она знает восемь языков, не считая родного, шведского, покровительствует наукам и искусствам, но, обожая охоту, не уступает в выносливости и мужчинам. Суровая скудость шведского двора сменяется роскошью. Со всей Европы в Стокгольм стекается все, что может придать блеск и славу ее трону. Христину называют новой Минервой и Северной Палладой. Она недолго остается на престоле. Скаредные бюргеры, одичавшие по своим захолустьям бароны с ужасом смотрят на тающую казну и пытаются пригасить слишком яркий блеск королевского двора. Но Христина не из тех, кому можно диктовать условия и кого удается ограничить. Она отрекается от престола в пользу Карла Августа и навсегда покидает Швецию, внезапно принимает католичество и отправляется в Рим. Там ее принимают с распростертыми объятиями — не так часто случается, чтобы королевы стран, охваченных лютеранской ересью, возвращались в лоно апостольской церкви. Правда, Христина королева бывшая, но — пути господни неисповедимы! — кто знает, как сложится ее дальнейшая судьба, и, быть может, став верной дочерью католической церкви, она возвратит в нем и все заблудшее в лютеранстве стадо — шведский народ... Христина поселяется в роскошном палаццо Фарнезе. Папа Александр VII, который возлагает на Христину такие большие надежды, приказывает кардиналам окружить бывшую королеву заботой и вниманием, неустанно укреплять ее в благочестивом рвении во славу церкви. В те времена пурпурную мантию получали не только за выслугу лет, и среди кардиналов было немало людей, далеких от преклонного возраста. Именно они самоотверженно принимаются исполнять приказания святого отца. Христине в ту пору всего двадцать восемь лет, она в полном расцвете красоты, женственной прелести и вовсе не склонна испытывать почтение к молодым мужчинам только потому, что те носят красные балахоны. Очень скоро обнаруживается, что от всего благочестия новых наставников Христины только эти балахоны и остаются. Они никогда не покидают ее, сопровождают повсюду, участвуют во всех ее затеях и эскападах, и набожные жители апостольской столицы частенько, заслышав гром копыт, прижимались к стенам домов, чтобы освободить дорогу, и провожали изумленными взглядами невиданную кавалькаду — впереди скакала белокурая красавица, а за нею ее свита, ее рабы

и конвой в развевающихся пурпурных мантиях. Поговаривали, что некоторые из них, найдя укромное место и скинув предварительно мантии, при помощи шпаг решали вопрос, кому занимать больше места в любвеобильном сердце бывшей королевы. Оно вмещало многих, но не выносило изменников, и однажды в Париже, узнав об измене своего обер-шталмейстера маркиза Монольдески, она попросту убила его. Правда, после этого ей пришлось спешно покинуть Париж и возвратиться в Рим. Она и здесь не церемонилась со своими поклонниками. Поссорившись однажды с кардиналом Медичи, она пришла в такую ярость, что приказала доставить пушку к его дворцу, навела ее и сама выпалила. От ядра на стене осталась только выбоина, значительно больше пострадала репутация кардинала — весь Рим хохотал и восторгался воинственной любовницей. Что было делать святейшему отцу? Не сажать же бывшую королеву в замок святого Ангела?! И святейший отец ограничился внушением... кардиналу.

Вот так жила шведская королева Христина, подчиняясь только своим желаниям, прихотям и смерти, которая настигла ее в 1689 году.

Когда Фике по своему обыкновению прикидывать героев и героинь к себе, а себя к ним, думает о том, как бы ей хотелось прожить свою жизнь, она неизменно возвращается к мечте стать похожей на Христину Шведскую. Именно мечте. Никаких надежд на это у нее нет и быть не может. Несмотря на юный возраст, она очень трезво оценивает свои возможности. Голштинский дурачок, как про себя называет Фике троюродного брата, нечаянно сказал о ее будущем правду: или супружество с каким-нибудь захудалым князьком, а то и просто обер-офицером, или стародевичество, жизнь из милости, в приживалках, у своего брата или у другого родственника, побогаче.

А дуракам — счастье. Видно, не зря сложилась такая поговорка. Голштинский дурачок готовился стать шведским королем, но в России императрицей вдруг сделалась дочь Петра Елизавета, тут же вытребовала к себе голштинца, который доводится ей племянником, объявила его великим князем и наследником российского престола. Фике не имеет никакого понятия, что представляют собой Швеция и Россия, но дома так много говорят о внезапно свалившемся на голштинца счастье, так расписывают необъятность России, ее могущество, ее богатство...

И все это достанется нескладному, большеротому маль чишке...

Раскаленная игла зависти и жалости к себе еще глуб же впивается в бедное Фикино сердце. Дуракам счастье... А ей остается только мечтать. Ведь мечтают даже самые трезвые, холодные и расчетливые умы, а как ж не меч тать о лучшем будущем девочке-подростку, если действи тельность — хуже некуда, а будущее не сулит ничего лучшего? И в мечтаниях своих Фике видит себя Золуш кой... Ну конечно, не настоящей Золушкой из детской сказки. Та была дочерью лесника, грязной замарашкой, а Фике все-таки принцесса. Но если сравнивать с други ми принцессами, то она самая настоящая Золушка, по тому что нет, наверно, принцессы беднее и несчастнее Будущее не предвещает ей ничего хорошего, и как же тут не мечтать о том, что вдруг появится добрая волшеб ница и совершит чудо... Такие мечтания холодный ум Фике разрешает себе не часто. Из детского возраста она уже вышла, в чудеса не верит, так как знает, что их не бывает, как не бывает и добрых волшебниц...

Но жизнь, оказывается, больше похожа на сказку, чем думает Фике, потому что сказки рождаются жизнью. На Фике внезапно сваливается самое настоящее чудо. Впоследствии это чудо будут приписывать себе многие — и Брюммер, воспитатель великого князя, и прусский по сланник в России барон Мардефельд, и министр Фридри ха фон Подевильс, и, наконец, сам Фридрих II. Как же упустить возможность пристроиться к чужой удаче, если есть надежда извлечь из нее какую-то выгоду для себя? На самом деле все они никакого отношения к чуду не имели. Как и полагается в сказке, совершила его добрая волшебница, которая для этого случая обернулась рус ской императрицей Елисавет Петровной. Из всех канди датур — а их было множество — Елисавет Петровна вы брала самую жалкую и ничтожную. Во-первых, это соот ветствовало правилам игры (добрые волшебницы всегда покровительствуют самым ничтожным), а во-вторых, Елисавет Петровна, при всей ее ветрености, легкомыслии и абсолютном отсутствии какого-либо образования, была не лишена природного ума и даже имела некоторые принципы и убеждения. Елисавет Петровна была, так сказать, первым борцом против низкопоклонства перед Западом, а точнее говоря, с немецким засилием. Во вре мя парствования Анны Ивановны немцев в России, а особливо при дворе набралось преизбыточно, и Елисавет

Петровна не хотела умножать их число. Отпали канди датки из королевских семей — французской, английской, саксонской, прусской, а из бесчисленного множества не мецких княжон она выбрала принцессу самого захудало го Ангальт-Цербстского герцогства. Рассуждала Елиса вет Петровна при этом просто и достаточно резонно: с одной стороны, такой сверчок будет знать свой шесток, не посмеет заноситься, а с другой — не потянет за собой многочисленную свиту, родственников, свойственников и всяких проходимцев, охочих до российского пирога...

Еще немного, и чудо угадало бы — совсем по-сказоч ному — как раз под Новый год. Однако дороги того вре мени задерживали не только путешественников, но и чу деса, — эстафета из Берлина прибывает первого января нового, 1744 года. В письме на имя Иоганны Елизаветы Брюммер прежде всего пространно расписывает свои исключительные заслуги в устроении имеющего произой ти события, а затем сообщает пожелание императорского величества, дабы принцесса Иоганна Елизавета и ее дочь со всей возможной поспешностью прибыли в Россию к императорскому двору. Папеньку с собой не брать. Для расходов на путешествие, а также «чтобы сделать несколько платьев», прилагается чек на десять тысяч рублей. А ехать надлежит в секрете под именем графини Рейнбек.

О том, какое именно событие имеет произойти, Брюм мер не пишет, но и так цель поездки ясна всем. Дорогая муттер счастлива беспредельно. Наконец-то она окажет ся на сцене, достойной ее. Она будет блистать, повеле вать, направлять политику, вершить судьбы людей и на ций. Императорский двор — не чета королевскому, ко торый до сих пор не оценил ее по достоинству. Там... о, там она себя покажет! Дорогой фатер, напротив, чрезвы чайно удручен и встревожен. Не тем, что его приказали с собою не брать, а загробным будущим дочери: для за мужества с русским наследником могут потребовать пе рехода в греческую религию, а отказаться от лютеран ства означает погубить свою душу. И Христиан Август сочиняет Pro memoria — наставления для жены и доче ри, в котором предлагает по возможности уклониться от перехода в чужую веру, а далее настоятельно советует ни во что нос не совать, в интриги и политику не вмеши ваться, а только изо всех сил и во всем угождать импе ратрице и наследнику.

А что же Фике? Фике улыбается. Она взбудоражена,

прямо наэлектризована, из нее только что не летят ярко-
хотные искры, как из кошки, когда ее гладят. Нет рас-
каленной иглы в сердце, мгновенно затянулась незажи-
вавшая рана — мир прекрасен, потому что ее будущее —
сказка, которая не могла даже присниться. И только где-
то в глубине — все-таки Фике всего пятнадцать лет —
копошится мохнатый клубок страха: а вдруг все это дей-
ствительно только прекрасный сон и он внезапно обо-
рвется... Фике не дает этому клубку разматываться — и
улыбается. Но ведь предстоит супружество с «голштин-
ским дурачком», нескладным, большеротым мальчишкой?
Ах, боже мой, где гарантия, что другой жених был бы
лучше? И говорил же Генрих IV, что Париж стоит мессы.
Ради императорского престола выйдешь и за осьминога...

Путешествие графини Рейнбек с дочерью меньше все-
го напоминает сказку. Ни настоящей торговли, ни прочих
связей между Россией и Пруссией нет, поэтому нет и
путной дороги — от Берлина до Риги сплошные ухабы,
ямы и колдобины. Зима бесснежная, ехать приходится в
каретах, но на случай, если выпадет снег, за каретой по
голой земле волокутся сани, чему все встречные потеша-
ются, показывают пальцами. Снега нет, однако стоят
морозы, с Балтийского моря дует ледяной ветер. Отогре-
ваться и ночевать приходится на почтовых станциях, ко-
торые больше похожи на хлевы — рачительные хозяева,
спасая телят и поросят от холода, держат их в домах.
Но принцесса Иоганна Елизавета и ее дочь готовы стер-
петь и перенести что угодно.

Сказка начинается на левом берегу Западной Двины.
Нет, никто не примеряет Фике хрустальную туфельку.
Нет надобности в туфельке, не нужен уже и псевдоним,
можно покинуть нелепый каретно-санный поезд, путе-
шественниц ждут прекрасная карета, вице-губернатор, го-
родская знать и кирасиры почетного эскорта, а когда они
переезжают Двину по льду, залп крепостных орудий воз-
вещает вступление Фике в страну чудес и беззаконий.
Сказка развертывает всю свою фантасмагорию: трубы и
литавры, почетные караулы, дворцы, часовые у дверей,
реверансы и поклоны, столы, гнущиеся от серебра, осле-
пительные туалеты, драгоценности, ливреи, мундиры и
первый подарок императрицы — соболья шуба, крытая
парчой...

А потом ошеломляющая роскошь Санкт-Петербурга,
путешествие в императорском возке, обитом изнутри со-
болями, с остановками уже не в станциях-хлевах, а в

«путевых дворцах», бесчисленные купола церквей старой
столицы, город из восточной сказки — сплошь деревян-
ный, в деревянных же, ярко раскрашенных кружевах.
И наконец — встреча с растроганной императрицей, ве-
ликим князем Петром Федоровичем, пожалование матери
и дочери ордена Святой Екатерины, и дары, не снившие-
ся обнищалым немецким принцессам дары...

Императрица растрогана воспоминаниями: Иоганна
Елизавета так похожа на своего покойного брата, женив-
шегося Елисавет Петровны, не успевшего стать мужем. Неве-
ста? Не больно казиста, да ведь с лица не воду пить, бы-
ла бы тиха да послушна...

У Иоганны Елизаветы голова идет кругом от блеска,
роскоши и предвкушения ослепительного будущего, когда
она приберет к рукам простоватую императрицу, выжи-
вет вице-канцлера Бестужева и с помощью обаятельного
маркиза де ла Шетарди и барона Мардефельда будет
определять судьбы России...

Карл Петер Ульрих, а теперь Петр Федорович по-
взрослел, стал благообразнее и уже не кажется Фике не-
складным губошлепом, как когда-то. Он искренне ра-
дуется ее приезду, и Фике настраивается проникнуться
к нему чувствами, какие полагается испытывать к свое-
му суженому, но как только они остаются одни, оказы-
вается, что он, в сущности, остался таким же — в нем
по-прежнему ничего не держится. Он действительно, на
самом деле рад приезду кузины — они станут дружить,
он теперь будет иметь человека, с которым можно гово-
рить без всяких опасений, раз они родственники. Он
здесь влюбился в фрейлину Лопухину и хотел на ней же-
ниться, но ее мать за что-то сослали в Сибирь. Придется
теперь жениться на ней, на Фике, потому что этого хочет
тетка...

Он болтает и болтает, не замечая, как оскорблена и
унижена его признанием Фике.

С каким наслаждением она впилась бы ему ногтями
в лицо, но она улыбается. Это она перенесет. Она пере-
несет не только это... «Париж стоит мессы!» В конце кон-
цов ей наплевать — любит или не любит ее голштинский
губошлеп, важно, чтобы полюбила его тетка.

И Фике лезет из кожи вон, чтобы угодить, понравить-
ся, очаровать. Если бы этих кож у нее было десять, она
вылезла бы из всех десяти. Как дрозд, с голоса, Фике
заучивает молитвы с помощью Симона Тодорского, а с
Ададуровым карабкается по немыслимым хребтам вар-

варского языка. «Аз, буки, веди, глаголь...» Кто только придумал такой нелепый алфавит, непроизносимые слова и правила, состоящие из исключений?! Однако науки науками, главное — искусство нравиться. Осталась в Пруссии незабвенная госпожа Кардель, мать занята собой и делами, помочь Фике некому. И она сама изучает, создает, осваивает и применяет это искусство. Она попеременно приветлива, ласкова и доброжелательна, отзывчива и сердечна. В недолгие часы, когда удается остаться наедине с зеркалом, она старательно отрабатывает главное средство своей привлекательности — улыбку. Теперь уже не девочка-подросток, а девица на выданье, почти невеста, одной и той же детской улыбкой не обойтись. Девичество не слишком смягчило и скрасило почти мужские черты ее лица, приходилось самой восполнять недосмотры провидения... Вот тогда и разрабатывает Фике свою гамму улыбок — застенчивую и открытую, простодушную и радостную, ласковую и восхищенную, смущенную и поощрительную, печальную и снисходительную, добрую и понимающую, огорченную и ободрительную, а про запас, на потом — покровительственную и милостивую, ироническую и насмешливую, язвительную и надменную...

Усилия Фике действуют безотказно и только в двух случаях дают осечку — вице-канцлер граф Алексей Петрович Бестужев из-под лохматых бровей бесстрастно наблюдает ее ухищрения, но ни на йоту не поддается, а великий князь и ее будущий жених попросту их не замечает. Однако все идет хорошо. Вот только муттер... Относительно вероисповедания Фике, конечно, следует примеру Генриха IV, а не рекомендации отца, но остальные его наставления свято соблюдает: ни во что не вмешивается, ни с кем особенно не сближается, но никем и не пренебрегает. А муттер вовсе не считала, что Pro memoria может относиться и к ней. И что ей наставления недалекого мужа, если она получила инструкции от фон Подевильса и самого Фридриха II?! И со всем своим нерастраченным пылом, с кипучей и столь же бестолковой энергией Иоганна Елизавета бросается в большую политику...

Фике начисто не знает географии, ничего не понимает в политике, но очень наблюдательна. Правда, наблюдательность ее как бы вывихнута — она замечает все, что касается или может касаться ее, и не обращает внимания на все остальное. Такой вывих весьма распространен в

роде человеческом, и не следует ставить его в вину Фике. В конце концов, он определяется инстинктом самосохранения, а люди значительно чаще руководствуются инстинктом и чувствами, нежели разумом. Все, что говорит и делает муттер, может повлиять на положение, судьбу дочери, не удивительно, что Фике пристально наблюдает за дорогой родительницей. Разумеется, Фике не смеет сказать и слова, так как немедленно будет отхлестана по щекам, но всем своим поведением старается показать, что она в стороне, ни к чему не причастна и причастною быть не хочет.

Иоганне Елизавете тридцать два года, в политике она понимает немногим больше Фике, дипломатическая практика ее на уровне голштинско-штеттинских сплетен, в недостаток ума и знаний ей возмещает гигантское самоуважение. Там, за ее спиной, фон Подевильс и сам великий Фридрих, а здесь единомышленники — очаровательный маркиз де ла Шетарди, солидный Мардефельд, продажный, но ловкий и влиятельный Лесток. При их помощи она поссорит Россию с Австрией, оторвет от Англии и организует четверной союз России, Пруссии, Швеции и Франции. Сама императрица легкомысленна, ее нетрудно прибрать к рукам, главное препятствие — ненавистный Бестужев, первым делом нужно свалить его...

Бестужев — один из последних «птенцов гнезда Петрова», а из того гнезда вылетали не трясогузки — орлы. Ему было пятнадцать лет, когда Петр послал его за границу учиться. Двадцать лет он в дипломатической службе, посланник при многих дворах. Он образован, умен и невыблемо тверд в своих убеждениях, кои направлены на благо государства Российского, как понимал его Петр, а за ним и Алексей Бестужев. Он отнюдь не ангел, как истый сын своего века, любит деньги, но не торгует ни собой, ни державою. Фридрих в отместку ославил его «продажным», так как, несмотря на многочисленные и сверхщедрые посулы, подкупить Бестужева ему не удалось. Он сторонник проводившейся Петром дружбы с Англией и Голландией, Австрией и Саксонией и даже в невесты для наследника рекомендовал саксонскую принцессу. С появлением ангальт-цербстской Бестужев примирился, но мириться с происками Фридриха не собирается. Король прусский стал «больно захватчив», вот только что отхватил у Австрии Силезию, попусти — полезет и дальше. Потому и тщится Фридрих поссорить Россию с Австрией, чтобы она сквозь пальцы посмотрела

на этот захват. И подоплека четверного союза очевидна вице-канцлеру: постепенно оттеснить Россию от моря, снова спихнуть ее в азиатчину. Через несколько лет Бестужев пойдет на союз с Францией, но только потому, что тогда союз будет направлен против слишком «захватчивого» Фридриха...

Алексей Петрович невозмутимо наблюдает за суетой ангальт-цербстской герцогини. Она опасна не более, чем не в пору заквохтавшая курица, но с нею и за нею корпуны — Шетарди, Мардефельд, Лесток... И потому ведомый лишь непосредственному начальству чиновник комиссии иностранных дел Гольбах «неусыпно трудится», вскрывая и читая письма маркиза Шетарди. Тот снова прибыл в Россию в качестве посла Франции, но верительных грамот не вручает, ловчит, выжидает и живет как бы вроде частного лица. Поэтому, когда Бестужев представляет императрице пахучий букет писем маркиза, следует повеление — в 24 часа под конвоем выслать оного маркиза из Москвы и далее из пределов державы с запрещением заезжать в Санкт-Петербург. А Бестужев не только не «свален», но из вице-канцлера становится канцлером.

Из писем Шетарди очевидна и неблаговидная роль прусского агента, которую с таким одушевлением играла Иоганна Елизавета. Фике в ужасе — а ну как ее и дорогую маменьку с таким же позором выдворят из империи, куда зазвали в качестве невесты? Но тактика Фике вполне себя оправдала — гнев императрицы обрушивается только на муттер и не касается дочери. Не в пору расквохтавшуюся куру окунают в холодную воду опалы, и на некоторое время она затихает.

А дело идет своим чередом. Молитва заучена, и в конце июня в дворцовой церкви при полном стечении высоких чинов светских и духовных Фике «на чистейшем русском языке», как сообщает официальный отчет, старательно лепечет: «Оче наш ише еси на непеси...» Принцесса София Фредерика Августа перестает быть, появляется Екатерина Алексеевна. А на следующий день уже в Успенском соборе объявляется указ о помолвке Екатерины Алексеевны с великим князем и повелевается почитать ее великой княгиней с титулом ее императорского высочества. После этого большой прием и торжественный обед, во время которого она впервые садится на трон... Не на стул, не в креслах — на трон! Боже мой! Какими далекими и жалкими кажутся ей родитель-

ские домы в Штеттине и Цербсте по сравнению с этим дворцом, сверкающим золотом и зеркалами. На какую умопомрачительную высоту из безвестности вознесло тебя, Фике, мановение Фортуны. И вот он рядом — всего только одна ступенька отделяет тебя от другого трона, выше которого уже ничего нет и быть не может: с именным вензелем и императорской короной над ним... Не кружится ли у тебя голова, Фике, на такой высоте? Кружится. Ох, как кружится! От счастья...

9

Однако счастья-то и не оказывается. То есть обыкновенного счастья — домашнего, уютного, как говорится, семейного. Когда любящий супруг жить не может без супруги, а она без него, когда даже краткая разлука в тягость и в муку, а встречи потом — блаженство, когда от радости хотят обнять весь мир, но предпочитают делать это друг с другом... Такого у Фике нет. Ни до замужества, ни потом. Великий князь до свадьбы дружелюбен и равнодушен. С невиданной роскошью и блеском целых десять дней продолжается свадебный праздник. После праздника ничто не меняется к лучшему — великий князь и супруг так же дружелюбен, только равнодушен, пожалуй, еще больше. Он по-прежнему выбалтывает все о своих заботах, делах, затеях — и романах. Через две недели после свадьбы он рассказывает жене о своей любви к фрейлине Корф, потом к младшей Шафировой, потом снова и снова. Фике бледнеет от гнева и ненависти, но поддакивает, кивает и улыбается.

Браки заключаются на небесах. Это придумано для заурядных людей. Уютное домашнее счастье — для бюргеров. Браки правителей предрешаются в тиши кабинетов, недоступных простым смертным, и диктуются соображениями, непонятными им. Счастье в любви найти не трудно, его даже не нужно искать, оно само прибежит к тебе, когда ты на троне или возле него. Трудно найти незанятый трон, который бы терпеливо поджидал именно тебя...

Трон предназначен не ей, но она рядом и не хочет затеряться в его тени. И Фике — Екатерина — теперь она все больше привыкает к своему новому имени — еще старательнее продолжает делать себя, тем более что никаких помех и препятствий этому уже нет. Дорогая муттер быстро оправилась после взбучки, которую ей за-

дала императрица в Троице-Сергиевой лавре, и снова принялась интриговать. Поэтому после свадьбы ее вежливо, но непреклонно выпроваживают из Санкт-Петербурга домой, а вдогонку посылают поручение сообщить Фридриху требование отозвать ее конфидента барона Мардефельда. Великий князь занят охотой, изучением фортификаций, прочих военных искусств и своими любовницами, ему не до жены. Екатерина ездит верхом, тоже увлекается охотой, но охотится одна, только в сопровождении старого егеря. Она непременно бывает на всех приемах и, конечно как все тогда, играет в карты, но досуга остается много, и она не тратит его напрасно.

Труднее всего с внешностью. Хорошо императрице, если она удалась в родителя и с высоты своего гренадерского роста может при нужде величественно и надменно смотреть на приближенных сверху вниз. А Фике коротышка — ниже среднего роста. Туловище у нее длинное, а ноги коротковаты. Ну, укоротить талию и скрыть ноги помогают платья, они же скрывают высокие каблуки, благо платья до пола, у туфель видны лишь носки. Потом прямо ото лба взбитая высокая прическа. Что еще? Никогда не гнуться, не сутулиться, не опускать голову. Она приучает себя к такой распрямленности и вытянутости, что только перед императрицей спохватывается и сгибается в поклоне. От всего этого Фике становится как бы выше ростом, но величавости не приобретает. Натурально! Если бы дело было в росте, любой дровосек годился бы в императоры... Величие не в лишних вершках, а в ощущении собственной значительности, в уверенности в том, что ты, независимо от роста, действительно выше других. Фике долго ищет в зеркале и наконец находит: она вырабатывает у себя привычку никогда не поднимать глаз на собеседника, какого бы роста он ни был, смотреть прямо перед собой из-под полуопущенных век, прямо и как бы за собеседника, будто она видит не только его, но и то, что в нем скрыто, и то, что находится за ним. И это дает прекрасные результаты: кроме императрицы и ее мужа, все собеседники несравненно ниже ее рангом, для того чтобы уловить взгляд Екатерины, им приходится склоняться перед ней, и, не отдавая себе отчета в причине этого, они изумляются врожденному величию, с каким держится ее императорское высочество, великая княгиня...

Красавице ум и образованность могут заменить ее красота и женственная прелесть. Фике себя не обманывает — у нее нет ни того, ни другого. Только огромными усилиями она сделала себя слегка привлекательнее и научилась держаться, как подобает ее высочеству. Но что проку, если ее высочество будет величаво молчать, как пень, и заученно улыбаться, как кукла? Ум Фике замечен еще баронессой Принцен. С тех пор она не поглупела, однако алмаз становится бриллиантом только после шлифовки. И Фике принимается шлифовать свой алмаз. Досуга достаточно, а книги по ее поручению ей привозят, присылают из-за границы. Виршей Фике не читает — она улавливает в них лишь обнаженные мысли, а их там не так уж много, художественные красоты для нее равнозначны перемежающемуся дождю, не любит она и романов — ей не интересны выдуманные истории о жизни каких-то никому не известных и не нужных людей. Другое дело жизнеописания людей великих, выдающихся... Позже она примется за сочинения прославленных французских философов. Образование Фике не пошло дальше уроков госпожи Кардель, сочинения ученых мужей она понимает с пятого на десятое, и, в конце концов, в голове ее образуется совершенная каша. Однако это не влечет за собой дурных последствий. В жизни и делах она неизменно руководствуется только своим трезвым, холодным и расчетливым умом, а сочинения блистательных французов ей нужны совсем для другого. У нее отнюдь не перегруженная, можно сказать, девственная и очень цепкая память. Фике запоминает множество изречений, острот, легких, изящных оборотов и по мере надобности пускает их в ход, далеко не всегда ссылаясь на авторов. Как же после этого иностранным дипломатам и гостям не изумляться эрудиции, остроте и блеску ума великой княгини?

Что же касается придворных, то — некуда правду деть — большинство их, если и читает, так только Брюсов календарь, который содержит предсказания погоды на тысячу лет вперед, а также точные рекомендации, в какие дни следует «баталию творить», «власы стричь», «брак иметь» и прочее и прочее, вплоть до того, в какой день «мыслити начинать»... Не удивительно, что ее императорское высочество поражает придворных своими познаниями.

Все остальное выполняет и довершает титул.

Странным образом наука, называемая социальной психологией, до сих пор не исследовала вопрос о том, как влияли титулы на самих носителей этих титулов, а

также на то, как титулы сказывались на окружающих, определяли отношение людей, стоящих ниже на социальной лестнице, к тем, кто, благодаря титулу, стоит ступенькой выше или даже находится на самой вершине пресловутой лестницы. Титул не просто высокопарные слова, писанные с больших букв, а слова или словосочетания, которые в силу узаконения, а затем и традиции становились как бы магической формулой, отделяющей ее носителя от остальных людей, показывающей его непохожесть, отличие и превосходство над другими. Магия эта действовала не вдруг, а исподволь, незаметно, помимо воли и сознания людей. Быстрее всего подпадали под ее воздействие сами носители титулов. Ближайшее окружение, которое зависело от их воли и щедрости, угодничало и раболепствовало для того, чтобы щедрость эту закрепить и увеличить, восхваляло и превозносило их действительные и мнимые достоинства. Рано или поздно от этого непрестанного славословия голова у титулоносителя шла кругом, сомнения, неуверенность, которые еще копошились, быть может, в его душе, гасли, он искренне начинал верить — его все так в этом уверяют! — он просто убеждался в том, что он на самом деле мудр, велик, даже красив, и привыкал держаться соответственно своему титулу и новому самоощущению, а тогда хвалебный хор звучал еще стройнее и звонче.

У громадного большинства людей, которые не знали, не видели своими глазами такого титулоносителя, представление о нем складывалось понаслышке. Наслышка шла от тех, кто стоял между народом и носителем высокого титула, они же говорили о нем только в превосходной степени, расписывали его мудрость, красоту, доброту и справедливость. В повседневной жизни доброту и справедливость люди находят не часто и потому постоянно взыскуют их. Если носитель титула добр и справедлив, он, естественно, мудр и велик, но человек такой духовной красоты не может быть безобразным уродом, он непременно должен быть и внешне, физически красивым. Магический круг замыкался — титул из признака социального различия превращался в непременное условие и даже представлялся причиной всех самых лучших человеческих качеств и совершенств. И когда люди сталкивались с носителем титула, они воспринимали его не только непосредственно, при помощи зрения и слуха, но и опосредствованно — на их восприятии бессознательно сказывалось представление о нем как о человеке, испол-

нением совершенств, прекрасном во всех отношениях. Причем в данном случае влияло на человека не только его собственное представление, но и, так сказать, соборное, а давление соборных чувств и представлений на отдельных людей нет нужды доказывать. Иными словами, люди начинали воспринимать носителя титула не таким, каков он на самом деле, а каким они его себе представляли, каким он должен быть по их мнению. Эта аберрация восприятия на протяжении человеческой истории породила множество легенд. Некоторые из них впоследствии развенчивались, большинство оставалось жить.

Чем реже и выше титул, тем сильнее такая аберрация, тем шире и глубже ее влияние.

Кем был бы царь Федор Иоаннович, не носи он царские бармы? В деревне — дурачком Федей, пастухом. В городе — блаженным, юродивым, то есть тем же дурачком, которому добросердечные купчихи давали бы копеечку, а мальчишки бы дразнили и швыряли в него камнями. Титул не только охранил Федора от такой судьбы, но и поставил над людьми умными, многоопытными и знающими. Таких примеров можно привести множество.

Немалую роль в распространении титулатурной аберрации играли литература и искусство. Если говорить о внешнем облике титулованных особ, то более всего в распространении ее повинны скульпторы и живописцы. И следует сказать правду: иногда бессознательно, а большей частью вполне сознательно художники, изображая титулованных особ, прилагали все усилия, чтобы облагородить, приблизить к идеалу их портреты. Речь идет не только о каком-то мелком, незначительном приукрашивании. Иногда придворные живописцы творили на своих полотнах подлинные чудеса: уроды становились красавцами, карлики прибавляли в росте, плешивые обретали пышные кудри, колченогие — безупречную стать, и даже горбатые выпрямлялись задолго до пресловутой могилы, которая будто бы одна может их выправить... Кривой князь Потемкин-Таврический на портретах обрел и второй глаз, с лица Алексея Орлова чудесным образом исчез уродовавший его шрам, а безобразный император Павел стал вполне благообразным. Легче всего задним числом винать художников, обвинять их в приукрашивании, даже раболепии, только не мешает при этом помнить, что прежде всего художник выполнял заказ, и если бы заказанный портрет, вместо того чтобы украсить

портретируемого, принижал его, подчеркивал его дурные или неприглядные черты, то художнику в лучшем случае не заплатили бы и даже прогнали его, то есть лишили бы куска хлеба, а в худшем — тут у титулованных особ всегда было множество способов отбить охоту писать на них пасквили... Кроме того, художники, как и все люди, тоже бывают подвержены аберрации, вызываемой титулом.

Портретов Фике пока не пишут. Отношение к ней окружающих первоначально определялось вовсе не ее действительными качествами, а намерением императрицы женить на ней наследника. Но легенда зарождается уже тогда, а когда Фике становится великой княгиней и ее императорским высочеством, ничего больше не остается, как эту легенду продолжать и развивать. Так и происходит. В глазах окружающих Фике не только все больше и ярче обнаруживает свои достоинства, но и неостановимо хорошеет. Изредка случается, что у человека со стороны, никак с императорским двором не связанного, складывается другое впечатление. Когда парижский бонвиван, некий месье Фавье, впервые видит тридцатилетнюю Екатерину, он находит, что она маленького роста, не грациозна, а жеманна, у нее вдавленный рот, длинный нос и еще длиннее подбородок, на лице следы оспы и что увлечься ею нельзя. Но ему, конечно, и в голову не приходит высказывать при дворе свой взгляд на великую княгиню. Да и может ли иметь значение мнение какого-то безвестного Фавье, если без малого весь двор и дипломатический корпус находят, что великая княгиня умна, обаятельна и во всех отношениях прелестна.

Всего этого Фике добивается не враз, а в долгие годы ожидания. Однако уже в первый год замужества раздается предостерегающий удар колокола — удар, который мог предвещать похороны ее надежд. Прошло девять месяцев после свадьбы, а все хлопоты, интриги, труды и затраты не принесли нетерпеливо ожидаемого результата — наследник не появился. Императрица огорчена и раздражена — для чего тогда весь огород городили? И она, не обинуясь, высказывает Фике свою досаду. Чтобы достигнуть желанной цели, к великой княгине приставляется обер-гофмейстериной двоюродная сестра императрицы и ее любимица Марья Гендрикова, выданная замуж за камергера Чоглокова. Обер-гофмейстерина должна влиять на великую княгиню своим примером и, согласно инструкции, составленной Бестужевым, внушать

ей, что она «возвышена в императорское высочество» ни по каким другим причинам, кроме одной — «дабы империи пожеланный наследник» был произведен на свет... Увы — ни от каких внушений дети не рождаются, а инструкция тоже не заменяет мужа.

Между тем и к Фике приходит любовь. Для начала — с лакеем... Что поделаешь, если ей семнадцать, муж — не муж, а мужнин камер-лакей Андрей Чернышев так статен и пригож? Нужно отдать ей должное: Фике всегда расплачивается с аккуратностью немецкой лавочницы. Потом она будет платить избранникам баснословные наградные, а однажды, боясь его, предложит бывшему возлюбленному миллион рублей отступного. Начало очень скромное — Андрею Чернышеву она дарит часы и шпагу за доставленное счастье. Оно длится недолго: возникают подозрения, Чернышева и двух его двоюродных братьев, тоже лакеев, сажают под арест, а после двухлетнего следствия все трое высылаются на Оренбургскую линию. На смену Чернышеву-лакею приходит другой Чернышев, Захар, уже граф и камер-юнкер. Потом наступает черед тоже графа, но уже камергера...

Проходит семь лет, а горячее желание императрицы и главный пункт инструкции Бестужева остаются невыполненными — наследника нет как нет. После очередного нагоняя от императрицы обер-гофмейстерина Чоглокова затевает с великой княгиней очередной разговор «по душам». Она долго плетет о добродетели, супружеском долге и вдруг делает несколько странный вывод: иногда, мол, соображения высшего порядка допускают исключения из правила. Фике слишком умна и осторожна, чтобы отрицать или соглашаться. Тогда Чоглокова от высоких материй переходит к практике: не может быть, чтобы ей, великой княгине, никто не нравился. Кто же — Нарышкин или Салтыков? И уж совсем напрямик добавляет — от нее, Чоглоковой, затруднений великой княгине в этом деле не будет...

Что ж, юный камергер Сергей Салтыков, по мнению Фике, «прекрасен, как день», и хотя он всего два года назад женился по любви, это не мешает ему пылать страстью и к великой княгине. 20 сентября 1754 года у Фике рождается сын, духовник нарекает его Павлом, повитуха пеленает младенца и уносит. «Весь народ» тут же принимается ликовать и праздновать рождение наследника русского престола и предается ликованию вплоть до великого поста. А Сергея Салтыкова через

семнадцать дней после рождения наследника посылают с этой радостной вестью к шведскому двору, потом его отправят представителем России в Гамбург...

Только через сорок дней видит Фике ребенка во второй раз. Нерасторжимая на всю жизнь, кровная связь между матерью и ребенком образуется в первые часы и дни из жестоких мук, счастья, панических тревог и нежных забот. Вот он уже живет не в ней, отдельно, сам по себе, но еще не только глазами и ушами она видит и слышит его, а чувствует, ощущает всем телом, каков он, что с ним, и в любом хоре орущих грудников безошибочно отличает голос своего. Родившиеся у детской колыбели страх и нежность мать пронесет до могилы. У Фике, едва затлев, они гаснут навсегда. Извиваясь в свивальнике, как червяк, краснолицый младенец надсадно кувакает, а она не испытывает к нему никаких чувств. Она даже не может с уверенностью сказать, не знает — он ли это? ее ли сын? Но боже упаси, чтобы это заметили окружающие! И Фике вполне натурально изображает растроганность и «материнскую любовь». Это дается тем более легко, что продолжается недолго, а в будущем встреч с сыном не будет по нескольку месяцев.

Итак, единственная цель, ради которой Фике из захолустной безвестности «возвышена в императорское высочество», достигнута. Императрица успокаивается — преемственность престолонаследия Петровой линии утверждена, теперь соперничество провозглашенного в младенчестве императором Иоанна, сына Анны Брауншвейгской, не опасно. О воспитании Павла она позаботится сама, чтобы и признака не было немецкого духа, которым так безнадежно заразили племянника.

Племянник о младенце высказывается в узком кругу друзей кратко и столь определенно, что приводит в смущение и этих вояк, не склонных к тонкости чувств и деликатности выражений. Правда, получив подарок в виде ста тысяч рублей за отеческие, так сказать, труды, Петр Федорович приходит в прекрасное расположение, однако с Екатериной теперь встречается только на людях, а младенца не навещает вовсе. Ему некогда. Он занят строительством крепости в подаренном императрицей Ораниенбауме, муштрой своей роты голштинцев и любовью к Лизавете Воронцовой. Старшая дочь сенатора Романа Воронцова одиннадцатилетней девочкой принимается к великокняжескому двору, становится фрейлиной вели-

кой княгини и, войдя в возраст, прочно покоряет сердце Петра Федоровича.

А Фике? Пожалуй, ей становится даже лучше. Во всяком случае надзор за ней становится не столь строгим, она больше располагает собой, своим временем и не скучает. У нее есть свой круг собеседников, друзей, теперь иногда она даже незаметно исчезает из дворца, переодевшись в мужское платье... И сердце ее недолго остается незанятым. В Санкт-Петербург прибывает новый английский посол, вручает верительные грамоты, потом представляется и Малому великокняжескому двору. Чарлз Вильямс дипломат дальновидный и проницательный. Прежде всего он выясняет who is who, как говорят англичане, то есть кто есть кто, взаимоотношения героев сцены, на которую он вступает, и подоплеку этих отношений. Конечно, он не мог не заметить некую обособленность, даже отчужденность великой княгини, а также ее любезность, свободу суждений и деловой ум. Дружелюбный взаимный интерес переходит со временем просто в дружбу, и что же удивительного или странного, если каждому она по-своему оказывается полезной: господин посол в легкой, светской беседе узнает вещи, знать которые английскому правительству весьма любопытно, его же союзнику Фридриху II даже крайне полезно, а великую княгиню в порядке чисто дружеской услуги он ссужает деньгами, в которых она постоянно нуждается. Однако деньги — не главное. В составе английского посольства находится польский граф Станислав Понятовский. По любимому выражению Екатерины, он прекрасен, как день, и нисколько в том не уступает Сергею Салтыкову. И он европеец с головы до пят: рыцарствен, как поляк, галантен, как француз, и, конечно, истый джентльмен, как англичанин. Ему, правда, только двадцать два года, но ведь и Екатерине всего двадцать шесть... Заметив обоюдную сердечную склонность молодых людей, Вильямс деликатно способствует ее упрочению, он знает об охлаждении великого князя к своей супруге и чисто по-отечески ей сострадает. Поведение сэра Чарлза следует объяснять именно отеческим сочувствием, трактовать его как вульгарное сводничество и циничный ход прожженного дипломата могут только вконец испорченные люди...

Но так уж, видно, написано Фике на роду: не бывает света без тени, радости без огорчений и счастья без беды. Настоящее, если не считать равнодушия мужа, лучезарно — она любит и по-рыцарски любима, — но она не

может не думать о будущем, а в будущем все отчетливее проступают контуры надвигающейся беды. С возрастом великий князь и наследник становится все упрямее и самонадеяннее и даже осмеливается перечить самой императрице. Правда, тетки он боится, и строптивости его хватает ненадолго — сцепив зубы, он покоряется ее воле. Однако императрица больна, и что произойдет после ее смерти? Елисавет Петровна недовольна племянником — у него все откровеннее проявляются страсть ко всему прусскому и преклонение перед Фридрихом, которого он считает самым великим человеком и полководцем. Как бы он снова не заполонил всю Россию немцами, не отдал ее на поток и разграбление... Фике интересует не судьба России, а собственная. Петр Федорович, уже почти не таясь, говорит, что надо избавиться от Екатерины. Пока он осмеливается только болтать, но ведь скоро получит возможность делать... А ей сидеть сложа руки и ждать, пока это произойдет? А что она может одна? Ее друзья? Они заверяют ее в своей преданности и негодуют на поведение великого князя, но что они могут, придворные забавники? Да и сколько там их? Нужны союзники умные, сильные и не болтуны, а люди дела. Такой союзник находится, он сам идет навстречу ее желаниям и надеждам.

Великого канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина теснят враги. Это вице-канцлер Михайла Воронцов, который спит и видит самого себя великим канцлером, это могущественные братья последнего фаворита Шувалова, это, наконец, сам наследник, его императорское высочество Петр Федорович. Бестужеву идет седьмой десяток, но он полон сил и энергии, его не коснулась старческая апатия или вялость ума, он не собирается уступать или отступать. Из-под мохнатых своих бровей он зорко следит за всеми происками, выпадами врагов и с прежней ловкостью парирует их. Он тоже думает о будущем, однако не только своем, но и державы Российской. К великому князю и наследнику он относится с плохо скрытым презрением, считает его недостойным императорского престола и отчетливо предвидит, как держава Российская будет не только заполонена немецкими проходимцами, жаждущими богатства и власти, но окажется в фактическом подчинении у прусского короля-хапуги, утратит свою мощь и величие... Ему ли, питомцу гнезда Петрова, мириться с этим?

И мало-помалу складывается заговор. Условия и про-

грамму его диктует Бестужев: в случае смерти императрицы, Петр Федорович от наследования престола отстраняется, императором провозглашается его сын Павел Петрович, за малолетством его правление державой вершат его мать, Екатерина Алексеевна, и Бестужев, который, для вящего порядка и пользы отечества, оставаясь великим канцлером, становится подполковником, то есть фактическим командиром всех четырех гвардейских полков, а также возглавляет коллегии военную, иностранных дел и Адмиралтейство. Екатерина согласна на все. Лучше быть матерью императора, чем, став на короткое время женой императора, превратиться вскоре в узницу какого-либо монастыря, а то и крепости. Участвует в заговоре и фельдмаршал Апраксин, главнокомандующий русской армией. Войска под его командованием только что разгромили немецкие в Восточной Пруссии, и тут разражается катастрофа: Елисавет Петровна, выйдя из Царскосельской церкви, падает без сознания и более двух часов не приходит в себя. Весть о тяжкой болезни, а может быть, и смерти императрицы летит к войскам, и Апраксин, фактически занявший Восточную Пруссию, совершает внезапную ретираду, почти бегство к исходным рубежам — российской границе. Однако императрица не умирает, а паническое отступление армии вызывает всеобщее негодование. Апраксина отстраняют от командования и призывают к ответу. Его даже не довозят до Санкт-Петербурга, а под Нарвой, в урочище со зловещим названием Четыре Руки, чиновники Тайной канцелярии начинают допросы. Апраксин объясняет отступление тем, что плохо укомплектованная и снабженная армия стала небоеспособной, солдаты попросту голодали, а лошади падали от бескормицы. Это — правда. Но была и другая правда — болезнь и возможная смерть Елисавет Петровны открывала Петру дорогу к престолу, и, чтобы преградить ему эту дорогу, в русской армии могла оказаться бóльшая нужда в самой России, чем за ее пределами.

Ничего не открыв и никого не выдав, Апраксин умирает во время очередного допроса. Но машина Тайной канцелярии запущена, и она не скоро остановится. У Апраксина находят три письма Екатерины. Первые два совершенно невинные поздравления, а в третьем она призывает Апраксина выполнить волю императрицы — прекратить ретираду и продолжать наступление. Благородно? Еще бы! Да дело в том, что великой княгине за-

прещена приватная переписка, официальные же письма должны идти только через Коллегию иностранных дел. Один за другим исчезают близкие к Екатерине люди, арестован сам Бестужев. Он исхитряется секретной записочкой известить Екатерину, что успел «все бросить в огонь». Улик нет, но подозрения остаются. У начальника Тайной канцелярии Александра Ивановича Шувалова, насмотревшегося в своей должности на всякое, давно появился нервный тик. От любого волнения, вызванного негодованием или даже радостью, у него начинает подергиваться веко, а затем и вся правая сторона лица. Каждый раз при встрече с Екатериной он пристально смотрит на нее и у него начинается этот ужасный тик, от которого у Екатерины внутри все обрывается и холодеет. Ее не арестуют, но страх и неизвестность делают жизнь Екатерины невыносимой, и она идет ва-банк: добивается аудиенции у императрицы, обливаясь слезами, говорит о том, что, если она утратила доверие и милость Елисавет Петровны, ей свет не мил, незачем здесь оставаться и пусть ее отпустят совсем из России...

— Куда тебе деваться-то? — спрашивает императрица.

Деваться ей действительно некуда — давно умер отец, умерла в Париже мать, под пустяковым предлогом ангальтцербстское княжество проглотил Фридрих, а кому нужна соломенная вдова, опозоренная изгнанница, у которой к тому же ни гроша за душой?

Елисавет Петровна расспрашивает и выспрашивает, колеблется и сомневается. В конце концов, вина Екатерины ничем не доказана, а изгнать из страны супругу наследника и мать наследника будущего — какой скандал, какие толки вызовет это во всех европейских столицах...

Екатерину больше не трогают, но следствие продолжается, и, хотя заговор не раскрыт, в апреле 1759 года граф Бестужев, лишенный всех чинов и званий, ссылается в свое подмосковное имение Горетово, сердечный друг Станислав Понятовский и Штамбке высылаются за границу, брильянтщик Бернарди — в Казань, Елагин — в Казанскую губернию, Ададуров еще дальше — в Оренбург. Екатерина снова остается одна. Ненадолго.

Она не может ждать. Ее подгоняют страсти, страх и неумолимое время, стремительно бегущее к последнему пределу жизни Елисавет Петровны и, стало быть, к решающему рубежу жизни самой Екатерины. Той же весной пятьдесят девятого года при дворе появляется плененный адъютант Фридриха фон Шверин и сопровождавший его Григорий Орлов. Уже первая встреча с ним производит на Екатерину впечатление неизгладимое. Сергей Салтыков и Станислав Понятовский были красавцами, их красота была так нежна и совершенна, что иногда даже казалось женственной. Орлов — воплощение красоты мужественной, на всем его облике лежит отпечаток силы и бесшабашной отваги, а рассказываемое о нем подтверждает, что впечатление это не обманчиво, таков он и есть, истинно русский богатырь. Ах, если бы таких людей было больше, если бы удалось привлечь их на свою сторону!..

Екатерина в пренебрежительном забвении у мужа, не вполне рассеялись и подозрения императрицы, но она по-прежнему великая княгиня, и как же отказать ее императорскому высочеству, если полушутливая просьба ее, высказанная в легкой светской беседе, касается вовсе не политики, а сущих пустяков? Милостивое покровительство безвестному, но отменно храброму офицеру только похвально, свидетельствует о патриотических чувствах великой княгини. И армейского поручика Орлова не возвращают в армию, а оставляют в столице, делают адъютантом генерал-фельдцехмейстера, а потом капитаном и цальмейстером. Оказывается, у Григория есть еще четыре брата, и все такие же богатыри. А что гуляки и кутилы, кто за это взыщет? Когда и веселиться, как не в молодости? Зато и друзей у них не перечесть во всех гвардейских полках. Такие же повесы, тоже не отступят ни перед лишним штофом, ни перед козырными картами банкомета и так же не задумаются, когда нужно будет поставить на карту жизнь...

Хвала молодости и отваге! Они могут сыграть решающую роль, но... только в том случае, если роль эта обдумана и подготовлена зрелыми, опытными умами. Находятся и умы. Когда Павлу Петровичу исполняется шесть лет, императрица назначает его обер-гофмейстером, попросту воспитателем, генерал-поручика и камергера Никиту Ивановича Панина. Генерал-поручик он только по званию, на самом деле бывалый дипломат. Европейски образованный, много путешествовавший, он умен, дальновиден и в 29 лет уже посланник в Дании, потом долгое время пребывает в Швеции. Он выученик и твердый последователь Бестужева, не хочет поддерживать политику, которую ведет новый канцлер Воронцов, не ждет

ничего хорошего и от предстоящего воцарения Петра Федоровича. Не удивительно, что новый воспитатель и мать воспитанника быстро находят общий язык. Правда, общий он только до известного предела: оба за отстранение Петра Федоровича, но Панин непоколебимо тверд в желании императором провозгласить ее сына, малолетнего Павла. Екатерина улыбается и поддакивает. Спорить не приходится — лишь бы скорее... Но Панин человек крайне осмотрительный и осторожный — излишняя горячность может погубить все и вся, как погубила Бестужева чрезмерная поспешность Апраксина. Надо ждать, пока обстоятельства сложатся самым благоприятным образом. А они, эти обстоятельства, складываются все хуже и хуже...

Шпион-дурак ложной информацией причиняет своей стране немало вреда. Глупый дипломат может нанести ей ущерб непоправимый. Увы, мнение маркизы Помпадур о французском посланнике в России бароне Бретэле было совершенно справедливым. Посол в чужой стране каждым своим поступком, каждым словом должен служить своей державе, преследовать ее интересы. Не обязательно грубым нажимом, ультимативными требованиями, хотя бывает нужда и в этом. Он должен быть дальновидным политиком и психологом, как можно лучше знать не только людей, занимающих высокое положение в стране, их устремления и желания, отношения друг с другом, но и то, что обычно скрывается — подоплеку этих отношений, иногда даже сплетни, так как они — тоже отражение отношений. Исходя из всего этого, посол должен отдавать себе отчет в том, как любое его действие, сказанное им слово отразятся на хитросплетениях дворцовых интриг и в конечном счете принесут его стране вред или пользу. Если же посол не умеет этого предвидеть, он плохой дипломат и попросту глупец.

Только глупостью и полным непониманием возможных последствий можно объяснить беседу барона Бретэля, которую он провел в начале февраля 1761 года с великим канцлером графом Михайлой Воронцовым. Посол сказал, что столица переполнена слухами, будто императрица недовольна великим князем Петром Федоровичем, намерена отстранить его от наследования и назначить наследником престола малолетнего Павла Петровича. Кроме того, по его сведениям, великая княгиня Екатерина Алексеевна неоднократно говорила датскому послу барону Остену, что она предпочитает быть не супругой, а матерью императора, в этом случае ее власть и влияние на дела державы были бы несравненно большими.

В сущности, барон Бретэль делает попросту донос на Екатерину. Нет, конечно, он не ставил своей целью донести на великую княгиню, он хотел «прозондировать» вопрос, чтобы затем информировать свое правительство, которое панически боялось воцарения Петра Федоровича, заведомого друга и союзника Фридриха II, и, может быть, даже повлиять, поддержать императрицу Елисавету в намерении отстранить Петра. Результат беседы — прямо противоположный. Больная Елисавета уже не в состоянии ничего переменить, да и мнение Бретэля для нее ровно ничего не значит. Но Михайла Воронцов рассказывает о беседе если и не самому Петру, то, во всяком случае, своему брату Роману, а тот не может не сообщить об этом старшей дочери Лизавете, фаворитке будущего императора. В результате Петр Федорович, и без того ненавидивший французов и Францию, врага Фридриха II, только укрепляется в этой ненависти и теперь уже открыто начинает говорить, что прежде всего нужно «раздавить змею» — Екатерину. Петр простодушен и добросердечен. Придет время, и он вернет из ссылки всех сосланных Елисавет Петровной. Всех, кроме одного человека — графа Бестужева, который еще тогда был с Екатериной заодно, искал не допустить Петра к трону...

В четыре часа пополудни 25 декабря великий Хронос переворачивает свои незримые часы — высыпаются последние скорбные минуты-песчинки жизни императрицы, текут первые счастливые нового императора и роковые — Екатерины. Настало время «раздавить змею». Уже на следующий день в манифесте о своем восшествии на императорский престол Петр, который теперь уже не просто Петр Федорович, а Петр III, даже не упоминает, как принято, ни имени супруги своей, императрицы, ни наследника. Мало того — в клятвенном обещании, которое давали все, присягая новому императору, они клялись быть верными подданными ему и «по высочайшей его воле избираемым и определяемым наследникам». Таким образом, снова не право наследования от отца к сыну, а только воля самого императора должна была в будущем определять наследника престола. Так в первый же день царствования Петр уничтожает надежды Екатерины «стать матерью императора» и получить власть и влияние в Российской державе.

За первым ударом следуют другие. Сначала это мелкие обиды, нарушения принятого этикета. Екатерина исключена из круга его доверенных лиц, она не участвует в веселых пирушках императора, ее мнения он не спрашивает, высказанное не слышит, к ней не обращается и просто ее не замечает, как если бы она уже перестала существовать. Екатерина с внешней кротостью сносит все. Она не снимает траура по императрице, выстаивает все заупокойные службы, появляется только на официальных приемах и обедах, где присутствия ее требует этикет. Супруг-император не думает ни об этикете, ни об элементарных приличиях.

Мир с Пруссией подписан и ратифицирован. По этому случаю учиняется пышное празднество. В воскресенье, 9 июня, после молебна и развода войск на Дворцовой площади в парадном зале Зимнего имеет место торжественный обед на четыреста кувертов. Присутствуют дипломаты и чины первых трех классов. Петр Федорович провозглашает тост за императорскую фамилию. Все встают и под гром пушек Адмиралтейской крепости пьют. Екатерина тоже выпивает свой бокал, но не встает. Петр посылает к ней адъютанта Гудовича спросить, почему она не встала, когда пила здоровье императорской фамилии. Екатерина отвечает, что императорская фамилия состоит из императора, его сына и ее самой, поэтому ей и не нужно было вставать. Обозленный этим ответом, Петр снова посылает Гудовича передать Екатерине, что она дура, должна знать, что к императорской фамилии принадлежат также голштинские принцы, его дядья. Он следит за Гудовичем, ему кажется, что тот идет слишком медленно, нерешительно и обдумывает, как бы смягчить его выражение. Тогда его императорское величество впадает в полный «азарт» и через весь стол кричит ее императорскому величеству:

— Дура!

На несколько мгновений стол замирает. На глаза Екатерины навертываются слезы. Но прилично ли, чтобы весь двор, послы всей Европы глазели на сморкающуюся, заплаканную императрицу?! — и через минуту она снова улыбается.

«Азарт» Петра достигает предела, в тот же вечер он приказывает арестовать «змею», чтобы раз навсегда с ней покончить, и только дяде Людвигу удается уговорить его отменить приказ. Надолго ли?

Вот и кончилась твоя сказка, цербстская Золушка,

часы судьбы начали отбивать двенадцать, и с последним их ударом исчезнет роскошный дворец, золоченая карета сделается треснувшей тыквой, кучер в галунах превратится в крысу, а белые кони с пышными плюмажами окажутся просто серыми мышами. Так ли уж была добра твоя добрая волшебница? Может, была она вовсе не добрая, а злая, нарочно вырвала тебя из безвестности, чтобы потом среди блеска и роскоши императорского двора опозорить на весь мир и даже не вернуть Фике к убогому очагу детства, а до конца дней похоронить в монастырской келье или крепостном каземате?

Но Фике, мечтавшей о судьбе Золушки, давно уже нет. Есть супруга Российского императора Екатерина Алексеевна. Ей тридцать три года, она в расцвете сил, ее страсти не угасли, а только разгорелись, ее холодный, расчетливый ум стал изворотливее и острее. Семнадцать лет зависимости, непрестанных унижений ее не раздавили, а закалили, неудавшийся заговор многому научил. Не для того она так старательно «делала себя», чтобы бесславно исчезнуть. Ей некуда отступать, и отступать она не собирается. Только одному человеку, сэру Чарлзу, она открыла свою душу: «Я умру или буду царствовать...»

Но что она может сделать? Как Христина, бывшая королева Шведская, подкатить пушку и выпалить по дворцу? Когда-то Фике восхищалась этой выходкой, у Екатерины она вызывает презрительную усмешку. Христину тогда не посадили в папскую тюрьму — замок святого Ангела. Здесь не задумаются. Вон она, за свинцовой хмурью Невы каменной жабой распласталась Санкт-Петербургская крепость и черными провалами амбразур неотступно следит за императорским дворцом... Привести, как Елисавета, триста отчаянных гвардейцев, снять дворцовые караулы и арестовать императора? Елисавет Петровна была цесаревной, дочерью императора. Да вовсе и не она в ту морозную ночь вела гвардейцев — они сами несли ее на руках, умирающую от страха. Их вела тень Петрова, все совершенное им, неотвратимый ход истории, которая работала на них и которую приблудные временщики пытались остановить. Екатерина Елисавете неровня. Кто она? Притворяющаяся набожной крещеная немка, с грехом пополам говорящая по-русски, из милости введенная в императорскую семью, чужая в чужой стране? Ее связь с императорской фамилией не пошла дальше спальной, но и из той ее давно изгнали. Она не имеет

никаких прав и сама по себе ничего не значит для русских, она не может, подобно Елисавете или собственному мужу, законно «восприять», не может ничего, могут только другие...

Поход в Данию решен бесповоротно. Все распоряжения отданы, продовольствие и фураж по пути следования войск заготовлены, создан совет для управления державою в отсутствие императора, а сам император после пышного, с фейерверками, и изрядно пьяного празднования вечного мира с Пруссией отправляется в любимый Ораниенбаум, чтобы отдохнуть перед выступлением. За ним, конечно, тянутся приближенные. Нет только никаких распоряжений, решений или указаний касаемо Екатерины Алексеевны. Ее не зовут в Ораниенбаум, ей не предписывают готовиться к походу (приготовилась уже Лизавета Воронцова), ехать куда-нибудь или оставаться. Она попросту брошена, как ненужная ветошь.

Екатерина еще пять дней остается в Санкт-Петербурге, живет в Летнем дворце, где находится также сын, великий князь Павел, и почти никого не принимает. Изредка ее навещает гетман Малороссийский и академии президент Кирила Разумовский, она беседует с воспитателем великого князя Никитой Паниным. Встретиться с Григорием Орловым она не может — тот на подозрении, за ним чуть не по пятам ходит соглядатай, специально для этого оставленный в столице. Но к Алексею Орлову шпиона не приставили, и очень скрытно Екатерина встречается с ним. Он не менее смел и надежен, чем старший брат, только еще отчаяннее и бесшабашней. Орловы и их друзья негодуют и настаивают на немедленных действиях, осторожный Панин предостерегает от опасной поспешности — «созревшие плоды падают сами»... — и развивает проекты будущего государственного устройства, когда малолетний Павел станет императором, Екатерина регентшей, но не единовластной правительницей, а — по шведскому образцу — направляемой и поправляемой государственными мужами... Екатерина выслушивает того и другого — и улыбается.

Для «дела» нужны деньги, их, как всегда, у Екатерины нет. Французский посланник, еще раз проявляя свою глупость и недальновидность, в деньгах отказывает. К его английскому коллеге Кейту нечего и обращаться — он горячий сторонник императора. Как тут не пожалеть о незабвенном сэре Чарлзе! Английский негоциант Фельтен оказывается умнее и дальновиднее обоих дипломатов и ссужает сто тысяч рублей.

Екатерина ничего не может и не смеет делать сама. И она впервые поступает так, как потом в решающие моменты будет поступать всю жизнь, — она удаляется, предоставляет действовать другим. В понедельник, 17 июня, она уезжает в Петергоф, но поселяется не в главном дворце, а в самом отдаленном павильоне «Монплезир». Здесь она никого не принимает, да ее никто и не посещает — кому хочется навлечь на себя гнев императора, посещая его опальную супругу? Должно быть, от слишком усердного чтения у нее почти каждый вечер начинает болеть голова, и она перед сном совершает уединенные прогулки по Нижнему саду, отклоняя все попытки камер-фрау или камердинера сопровождать ее. А Алексей Орлов на караковом жеребце, который теперь уже принадлежит ему, то через одну, то через другую заставу довольно часто отправляется на охоту. Товарищи удивляются — какая в июне ввечеру может быть охота? — однако неизменно напутствуют его обычным пожеланием — «ни пуха ни пера». Пожелания не помогают — утром Орлов возвращается с пустыми руками, а взмыленный жеребец способен только на тяжелую трусцу — после многоверстной пробежки под грузным всадником ему уже не до былых состязаний в ловкости со своим хозяином.

— С богатым полеваньицем! — посмеиваются однополчане.

— Может, еще повезет, уполюю чего-нибудь, — отвечает Алексей Орлов и осклабляется в своей сдвоенной — простодушной и ужасающей — улыбке.

часть третья

Все люди хотят жить счастливо, брат мой Галлион, но они смутно представляют себе, в чем заключается счастливая жизнь.

СЕНЕКА

1

У каждого маленького старого городка своя, неповторимая топография, своя физиономия и свой характер, но в одном все они схожи, как близнецы, и если кому-нибудь пришла бы в голову фантазия придумывать для них гербы, то, пожалуй, для всех подошел бы один и тот же. Деревянные эти города, кирпичные или глинобитные, на севере или на юге, на востоке или на западе — все их объединяет, делает схожими одно и то же нехитрое сооружение, которое, если смотреть в корень, есть не только сооружение, но и общественная институция, которую и следовало бы изобразить на гербах. Это — лавочки. Их называют по-разному: лавы, лавки, скамейки, но чаще всего ласковым словом — лавочки. Древний Рим прославился своим Форумом, на котором сначала вели торг, а потом вершили судьбы республики и империи. Афины славились Агорой. Лавочки нигде и никак не прославились, но в жизни маленьких городков они играют роль не меньшую, чем Форум Романум играл в Риме или Агора в Афинах. Со спинкой, а чаще без нее самая немудрящая доска, прибитая к двум чурбакам, вкопанным в землю возле забора, лавочка — опора и символ, невралгический центр, путеводитель по жизни, средоточие ее начал и концов.

Не ищите таких лавочек в больших городах, тем более в столицах. Там их нет. Нет их и на новостройках, где отчужденно отдаляются друг от друга поставленные на попа многоэтажные жилые ящики. В особо отведенных местах — в скверах и на бульварах — ставят так называемые садовые скамейки с выгнутыми спинками и сиденьями, на железных, иногда на литых чугунных ногах. Быть может, они и удобнее, такие скамейки, но это совсем-совсем не то. Ничьи, они всегда заняты, переполнены, а если вдруг оказывается свободное место, сидеть там как-то неуютно и даже неприятно — все вокруг чужие, никого ты не знаешь, никто не знает тебя, да и знать не хочет, никому нет до тебя никакого дела, и тебя все более начинает угнетать самое страшное из одиночеств — одиночество в толпе.

То ли дело лавочка в маленьком городке. К ней не нужно идти — она тут же, рядом с калиткой, и она твоя — спина опирается о твой забор, а за ним стоит твой дом. Никто ее не займет и тебя не сгонит — возле каждой калитки стоит своя. В сущности, здесь, между строем этих лавочек, и протекает человеческая жизнь. С утра их занимают самые маленькие. Ну, этим не сидится, они бегают, играют около, а сидят на лавочках самые старшие в родах и семьях. Отогревая на солнышке стынущую кровь, они приглядывают за ребятней, опираясь на костыли, помаргивая выцветшими глазками, слушают и наблюдают идущую жизнь. Когда-то они тоже так вот шумели и торопились, бежали в общем потоке жизни, а теперь он течет мимо, и им остается только вспоминать, смотреть и ждать, когда этот поток незаметно поднесет их к окончательному берегу тишины.

Потом наступает пора служилых и работяг. После работы и обеда они не спят — у рабочего человека нет такой привычки, — а выходят посидеть в холодке, на свежем воздухе. И как покойно лежат их натруженные руки на коленях, как гудят набегавшиеся, настоявшиеся ноги и какой приятной истомой уплывает из тела целодневная усталость.

Здесь с неслыханной на собраниях откровенностью и бесстрашием обсуждают служебные, производственные дела, вскрывается подноготная слов и поступков и, хотя бы на словах, торжествует справедливость. Здесь рождается и вырабатывается общественное мнение, проверяются авторитеты, создаются и навсегда гибнут репутации. Здесь соседки судачат друг о друге, жалуются на

мужьев и детей, вспоминают времена, когда, как им кажется, все было так дешево и хорошо, что уже и не верится, что когда-то так было на самом деле.

Потом взрослые уходят на покой, гаснут багровые пожарища закатов, а на щеках юных загораются первые румянцы нежных чувств. Здесь назначаются или непроизвольно, сами собой, происходят первые свидания, здесь томительно и сладко молчат, боясь неловким словом погасить первые проблески любви, ловят ухом еле слышное дыхание друга и доносимые мягкими волнами ветра томные рулады духового оркестра в городском саду, здесь сбываются или рушатся надежды, млеют в блаженстве или разбиваются сердца...

Чугуново в десяти километрах от железной дороги, и громовая чадная поступь индустриализации пока обошла его стороной. Здесь нет никаких исторических памятников, никому не приходит в голову обзывать окрестности иностранными именами, вроде «подольской Швейцарии» или «волынской Ривьеры», а потому табуны зевак, которых теперь благозвучно называют туристами, своим галдящим многолюдьем и суетой не нарушают спокойного хода жизни.

Здесь не только жизнь движется спокойно, но и сами жители передвигаются не спеша и не толкаясь: ни трамвая, ни автобуса да и вообще никакого городского транспорта в Чугунове нет, все ходят пешком, на своих двоих много не наспешишь, а толкаться и вовсе нет надобности — улицы достаточно просторны, чтобы беспрепятственно разминуться. Поэтому в чугуновцах нет того неиссякающего запаса раздражительности, который так знаком жителям больших городов, они не склонны, чуть что, обзывать других прохожих всякими словами, при встречах снимают шапки и даже желают друг другу доброго здоровья, хотя бы знакомы и не были.

Хорошо это или плохо, но никаких полезных ископаемых под Чугуновом и поблизости не обнаружили, а энергетических ресурсов Сокола могло хватить на крупорушку или маслобойку, от силы на небольшую мельницу. Поэтому природу там никто не покорял, не преобразовывал, и она осталась такой, какой была при дедах и прадедах. То там, то там возле домов, а на главной улице, где когда-то пролегал тракт, а еще ранее чумацкий «шлях», по обе стороны мостовой уходят в небо оливковые стволы пирамидальных тополей. Дома в центре, отделенные друг от друга воротами и заборами, еще выходят фронтом, боковыми стенами на улицу, но чуть подальше они уже отступают за палисадники, заборы, показывая только отдаленную крышу, а за заборами бушует, выплескивается на улицу зелень сирени и вишняков. Улицы в свое время никто не проектировал, не прокладывал, тем более впоследствии никто не пытался выровнять, и они прихотливо следовали фантазии хозяев, межевым пределам и рельефу почвы, то причудливо изгибаясь, то вновь выпрямляясь, то взбираясь на возвышения, то западая в низины. Почти круглый год, во всяком случае весной, осенью и большую часть лета, в этих низинах стоят громадные непросыхающие лужи.

Здесь властвуют гуси. С легкой руки неведомого зачинателя-гусевода в Чугунове распространились белоснежные холмогорские гиганты со свисающими до земли жировыми мешками и яркими оранжевыми шишками, которые, подобно коронам, венчают основания клювов. Синими, красными, зелеными чернилами хозяйки окрашивают им шеи, чтобы отличить своих от чужих, но на этом хозяйская власть над гусями заканчивается. Правда, гуси прекрасно знают время кормежки и в назначенные часы расходятся по дворам к своим кормушкам, но потом снова сбиваются в огромные стаи, ведут жизнь привольную и независимую, и хозяйки не боятся, что их украдут. Необычайно воинственные и горластые, они поднимают оглушительный гвалт, как только кто-нибудь появляется поблизости, и, подобно своим римским предкам, готовы спасти родной город от врагов, но им просто не подвертывается подходящий случай. На заросших травой улицах не редкость увидеть и других представительниц чугуновской фауны — коз, но эти, в силу известной их шкодливости, не пасутся на свободе, а всегда привязаны к колышку и лишь издали с вожделением поглядывают на свисающие через заборы ветви кустов и деревьев. Да что там козы и гуси! В воскресные дни на базарной площади, кроме автомашин, появляются даже живые лошади, и школьники могут увидеть их не только на картинках в учебнике, но и живьем, на свободе, если можно считать свободной жизнь в оглоблях.

Наверно, кто-нибудь решит, что Чугуново — не самый передовой и современный из городов, ставший райцентром. Это будет ошибкой: здесь существуют и действуют все положенные райцентру учреждения. Есть средняя школа и Дом культуры, кино и ресторан, духовой оркестр пожарной команды и музей, радиоузел и

чайная. Над городом еще не стоят металлические скелеты строительных кранов, крупноблочное и многоэтажное строительство еще не превратило его в безликое скопище жилых ящиков. Дома здесь сплошь одноэтажные, но самые разномастные, так что нет надобности разрисовывать их узорами и яркими цветными пятнами, чтобы малыши не заблуживались и узнавали свой дом. Жители знают не только дома, но и друг друга, поэтому витрины фотоателье напоминают семейные альбомы — всюду сплошь знакомые, примелькавшиеся лица. Здесь по утрам, не говоря уже о гусаках, даже петухи кричат громче, чем громкоговорители. Здесь еще не перевелись чудаки, они известны всем и составляют некоторым образом предмет гордости горожан, а среди них, по-видимому, самый известный — Аверьян Гаврилович.

Аверьян Гаврилович о себе этого не думал, да и вообще никогда не думал о себе самом. Ему это было попросту неинтересно. Вся его жизнь, все помыслы были поглощены музеем, его экспонатами и тем, что, по его мнению, должно в экспонаты превратиться. Стараясь отыскать, заполучить или просто купить какую-нибудь вещь для музея, он проявлял бездну изворотливости, даже хитрости и лукавства, на какие в быту был совершенно не способен, и в конце концов достигал цели. Однако приобретенное с такими невероятными усилиями далеко не всегда удавалось включить в экспозицию, то есть выставить, и вещь оставалась лежать в запаснике, как торжественно именовал Аверьян Гаврилович битком набитую кладовку. Тут коса находила на камень. Косой неизменно был Аверьян Гаврилович, а камнем районное начальство. Оно начисто не интересовалось прошлым, требовало, чтобы музей показывал не старье, а выдающиеся достижения настоящего.

При каждой смене начальства экспозицию приходилось менять — прошлые достижения, как и полагалось, уходили в прошлое, и нужно было показывать достижения нынешние, успехи, достигнутые под новым руководством. И как ни огорчался, как ни сокрушался Аверьян Гаврилович, все больше старинных экспонатов оказывалось в кладовке, а их место занимали фотографии, плакаты и лозунги.

Вот почему Аверьян Гаврилович был так смущен и даже пристыжен, когда два молодых человека, приехавшие на светло-серой «Волге», иронически, почти с откровенной насмешкой начали говорить об экспозиции музея.

Конечно, апломб и заносчивость, с которыми они рассуждали, были неприятны, неловко было и оттого, что оба такие холеные, в белоснежных рубашках — нейлоновых, что ли? — а сам Аверьян Гаврилович в застиранной косоворотке, обтерханные рукава которой он тщетно пытался втянуть в рукава своего хлопчатобумажного пиджака. Но, в общем-то, они правы — музей не красный уголок и не стенгазета. Жизнь началась не вчера, не зная прошлого, нельзя правильно понимать и оценивать настоящее, народ не должен жить Иваном, не помнящим родства. Это при его-то богатом прошлом!.. И ведь если бы не было материалов, экспонатов! Есть, да еще и какие! Вон ведь как у этих молодых людей глаза разгорелись, когда он, чтобы оправдаться, повел их в кладовку, то есть в хранилище... Георгия Победоносца из Семигорского монастыря прямо из рук не хотели выпускать. Даже уговаривали отослать в большой музей, все равно, мол, здесь выставить нельзя... И действительно, Чугуново — не Москва, а краеведческий музей — не Третьяковка... Но кто знает, как будет потом, со временем?.. А пока надо пересмотреть все фонды, экспозицию разработать новую, создать общественное мнение, добиваться... И хотя молодые люди вели себя не слишком скромно, Аверьян Гаврилович, будучи человеком справедливым, начал думать о них с определенной симпатией. Что ни говори, столичная закваска большое дело — смелость, размах. Он вот погряз в мелочах, отстал, утратил перспективу, а они — сразу в корень... Нет, надо с этим кончать! Создать актив, привлечь молодых учителей-историков, может, даже старшеклассников побойчее, поразумнее и действовать, действовать... Интерес у молодежи к истории есть. Вот же приходил к нему этот вежливый юноша... Ну что, так сказать, ему Гекуба — Ганыки, их герб? А пришел, расспрашивал. Значит, интересуется. И разве он — один такой? Их много, нужно только найти, помочь, подтолкнуть...

Коря себя за воображаемую пассивность и бездеятельность, строя планы грядущей перестройки музея и разворота его работы, Аверьян Гаврилович так разволновался, что не мог уснуть. Давно уже затихло, погасило огни и уснуло Чугуново, десятый сон видела в своей комнатушке за стеной сестра Дуся, Аверьян же Гаврилович ложился и вставал, зажигал свет и снова его гасил, но сон не приходил. Отчаявшись, Аверьян Гаврилович решил не тратить времени попусту, зажег свет и сел за стол, что-

бы набросать на бумаге контуры грандиозных планов, которые начисто лишили его сна.

При всех прелестях жизни в маленьком городке в ней есть и отдельные неудобства, например, отсутствие канализации, что заставляет жителей, по мере необходимости и независимо от погоды и времени суток, выходить во двор, что особенно неприятно зимой. Но сейчас стояло лето, ночь была теплой, и Аверьян Гаврилович вышел в чем был — в пижамных брюках, старенькой штопаной сетке и тапочках на босу ногу. Как уже сказано, скудный закупочный фонд музея Аверьян Гаврилович пополнял за счет своей зарплаты, а ущербный, благодаря этому, семейный бюджет сестра Дуся поддерживала при помощи огорода. Огород занимал всю площадь двора, потому никаких деревьев, ни плодовых, ни декоративных, во дворе не произрастало, они не ограничивали кругозора, и из любой точки двора было видно здание музея, которое находилось на противоположной стороне улицы, только немного наискосок. Занимаясь своим делом, Аверьян Гаврилович поднял голову, рассеянно посмотрел в сторону музея, и в нем все оборвалось — в двух центральных окнах вспыхнул свет... Кто?.. Зачем?.. Как?..

Еще не успев додумать эти вопросы, Аверьян Гаврилович напрямик, круша грядки и зелень, гигантскими скачками ринулся к воротам, к музею... Он рванул дверь — заперта. На месте и висячий замок, контролька не тронута. Аверьян Гаврилович бросился во двор через всегда распахнутые ворота. Полудикое стадо соседских гусей расположилось в пустом дворе на ночевку, и как только Аверьян Гаврилович вбежал во двор, оно встретило его таким оглушительным стегающим криком, а стоявшие по краю самые крупные сторожевые гусаки, вытянув змеиные шеи, так свирепо пошли в атаку, что Аверьян Гаврилович растерянно пробормотал «с ума сойти!», попятился и отступил за ворота. Однако в ярком лунном свете он успел заметить, что окна закрыты и все стекла в них целы... Да и кто бы мог пробраться незамеченным мимо этих клятых гусей? Они не преследовали Букреева, но драли свои глотки ничуть не меньше и не собирались умолкать. Аверьян Гаврилович зачем-то снова дернул ручку двери, она, конечно, осталась запертой. В окнах, выходящих на улицу, все рамы были закрыты, стекла целы. Директору надлежало бы затаиться, подстеречь и схватить вора, так сказать, на месте преступления, но вместо этого Аверьян Гаврилович поступил самым не-

ожиданным и даже нелепым образом: подбежал к освещенному окну, попытался рассмотреть что-нибудь, но ничего через плотную занавеску не увидел, тогда он забарабанил в стекло и закричал:

— Кто там?

Как и следовало ожидать, ему никто не ответил, но свет тут же погас.

Аверьян Гаврилович обругал себя «дурацкой башкой» и с досады даже хватил кулаком по этой самой башке: только теперь он понял, как это было глупо, самому спугнуть вора...

Вора?.. А если воров?.. От этой догадки его обдало жаром. Один против молодых, здоровых парней... Они же небось знают всякие там джиу-джитсу, и вообще...

Аверьян Гаврилович бросился домой, стащил с кровати помертвевшую от испуга Дусю, прокричал ей, чтобы она вышла и наблюдала за музеем, а он бежит в милицию.

Милиция находилась всего в двух кварталах за углом. Аверьян Гаврилович был подвижен и бодр, но последний раз он бегал лет тридцать назад, годы взяли свое, и едва он миновал ярко освещенное луной бетонное кольцо колодца на противоположной стороне улицы и свернул за угол, как в легких захрипело и засвистело, сердце тяжко забухало в ушах, а ноги стали ватными, машистые скачки непроизвольно превратились в жалкую трюпцу. Над входной дверью отделения милиции горела лампочка, она должна бы приближаться, свет становиться ярче, но Аверьяну Гавриловичу казалось, что квартал вдруг начал вытягиваться, как резиновый, а стеклянный шарик лампочки умаляться и пригасать, превращаясь в мерцающее подобие далекой звезды.

2

Васе Кологойде в отделении делать было нечего, и зашел он туда просто отвести душу, так как был зол на весь мир. Если говорить точнее, то не на весь мир целиком и полностью, а на некоторых его представителей. Начать список следовало с Ксаночки, но на нее Вася сердиться не мог, поэтому остались луна, капитан Егорченко и он сам, Вася Кологойда. В сущности, и они не были виноваты, но так уж получалось, что больше винить было некого. Согласно небесному расписанию, луна появилась над Чугуновом в положенное время и приня-

лась за свою извечную работу — бередить душу собакам, лунатикам и влюбленным. Из всех небесных тел влюбленные более всего ценят луну, но только в тех случаях, когда своим призрачным серебром она заливает все, кроме самих влюбленных, иначе это уже никакое не серебро, а бедствие. В зону такого бедствия и попали Кологойда и Ксаночка, когда подошли к ее дому. Дом, скамейка у калитки да и весь четкий порядок домов были озарены таким ярким светом, что хоть читай районную газету. Противоположная сторона тонула в густой, по контрасту, почти чернильной тени и была плотно заселена — оттуда доносились перешептывание, смешки, тягучее подвывание гитарному бряканью. Но эта сторона была безлюдна и мертва, как поверхность Луны, с которой космические полеты сорвали ореол тайны.

— Посидим? — неосторожно сказал Вася и тут же пожалел об этом.

— На выставке, да? — взорвалась Ксаночка. — Соседям на потеху, да? Может, еще пойдем целоваться перед Домом Советов?

Вася опустил голову. Он, конечно, недоучел...

Нельзя сказать, чтобы нравственность в Чугунове была строже или стояла выше, чем в иных местах, но требования к соблюдению приличий здесь, несомненно, более суровы, чем в больших городах. Там не в диковинку увидеть, как среди бела дня идут или сидят парочки, судорожно вцепившись друг в друга, как вызывающе целуются напоказ. Они думают, что таким способом показывают необыкновенную силу любви своей и одновременно демонстрируют презрение к старомодным условностям и «мещанскому» общественному мнению. Бедняжки не понимают, что на самом деле они демонстрируют не силу, а слабость своей любви и ее скоротечность. Если в самом начале любовь нуждается в подтверждении свидетелей, то что от нее останется, когда свидетели уйдут и она окажется перед зеркалом? А что до общественного мнения, то оно равнодушно к этой любви «на вынос». Изредка какая-нибудь старушка покосится и плюнет с досады, остальные прохожие поглощены своими заботами, нет им никакого дело до этих парочек и их поведения.

В Чугунове все по-другому. Там если и не все знакомы друг с другом, то, во всяком случае, знают наглядно или понаслышке. И не приведи бог подставиться — нарушить какие-либо общепринятые нормы приличия, сделать что-либо нелепое или смешное, — репутация чело-

века гибнет мгновенно и бесповоротно. До конца дней своих человек этот будет носить кличку или прозвище, в котором лапидарно изложена суть происшествия, например: «тот, что на свадьбе глечик сметаны съел», или «тот, что от цуцика в бочке прятался», или «та, что под фонарем целовалась»...

Кологойду будто кипятком обдало, когда он подумал, что останется от его авторитета участкового уполномоченного, если от лавочки к лавочке провентилируют его по всему городу. Тогда выход только один — увольняйся со службы и беги куда глаза глядят.

— И вообще, — сказала Ксаночка, — хватит! Сколько можно стоять в подворотнях, сидеть на лавочках? Все мои подруги давно уже... — но вместо объяснения того, что сделали ее подруги, Ксаночка заплакала.

Вася опасливо оглянулся и зашептал:

— Ну вот... Ну, Кса, ну не над!.. Ну, что ты в сам деле?.. Разве я не хочу? Я же сколько рапортов написал... и я ж ищу! Ну, погоди еще немножко...

Он было взял ее за руку, но Ксаночка руку вырвала, брякнула щеколдой калитки, а за калиткой ее удаляющиеся каблучки простучали так сердито, что надеяться на ее возвращение и примирение — во всяком случае сегодня — не приходилось. Вася Кологойда раздосадованно дернул козырек фуражки, стягивая его на нос, и зашагал в отделение. Застать бы сейчас капитана Егорченко, уж он бы сказал ему пару слов!..

Достоинства Чугунова многочисленны и очевидны, недостатков мало, и они не бросаются в глаза, но от этого не становятся менее докучливыми. Самый главный из них — нехватка жилой площади. Почти все дома и домишки на правах наследования и самосильной застройки принадлежат частникам, частники же, как ни взывай к их сознательности, блюдут прежде всего свои выгоды и удобства: они довольно охотно сдают комнаты холостякам и вообще одиночкам, но наотрез отказывают молодоженам или супружеским парам, если у них еще можно ожидать прибавления семейства. Вот эта эгоистическая расчетливость домовладельцев и оказалась непреодолимой преградой на Васином пути к счастью, то есть женитьбе на Ксаночке. Ни собственные поиски, ни рапорты начальнику не дали никаких результатов, а капитан Егорченко, получая очередное заявление, даже рассердился:

— Ну что ты все пишешь и пишешь? Тоже мне писа-

тель нашелся... Что ж, по-твоему: ордера на комнаты у меня в кармане лежат, а я, как та собака на сене, — ни сам не гам и другому не дам?.. Да я бы с дорогой душой — на́ тебе ордер, и беги скорей в загс, только чтоб на свадьбу позвали... Обещает мне горсовет, и я тебе обещаю. На очереди ты первый. Вот и жди!..

Ему рассуждать легко. Попробуй порассуждать, когда тебе всего двадцать пять и ты любишь Ксаночку, как еще никто на земле никого не любил... Во всяком случае, такова была уверенность самого Васи, и в этом он убеждал Ксаночку.

Капитана Егорченко в отделении, разумеется, не было, там сидел только дежурный — рыхлотелый лейтенант Щербатюк. Стол у него был завален книгами и конспектами. Щербатюк учился на заочном отделении республиканской школы и теперь готовился к сессии. Слушая Кологойду, он машинально кивал, поддакивал, а про себя думал, с какой бы радостью он поменялся местами с Кологойдой. А ведь тоже бегал, требовал, добивался... Добился. Ну и тут же, конечно, пацаненок... Пацан что надо, только черт его знает, что из него будет: днем ест, спит, а ночью орет. Жинка уже еле ноги таскает, он сам забыл, когда последний раз выспался, одну сессию провалил и начал напрашиваться на дежурства, чтобы позаниматься. Дежурство, конечно, есть дежурство, но все-таки какие ночные происшествия могут быть в Чугунове? Ну, дружки перепились и подрались, ну, парни завелись из-за девок и опять же подрались. До утра посидят в КПЗ и уходят шелковыми...

— Слышь, Вася, — сказал Щербатюк, — а ну, погоняй меня немножко в части оружия...

Кологойда оборвал свой негодующий монолог и с полминуты растерянно смотрел на Щербатюка, не понимая, зачем он говорил ему все то, что тот и так знал по собственному опыту, потом снял фуражку, расстегнул ворот голубой форменки и потянулся за «Справочником следователя».

— Ну, давай — ручное огнестрельное.

— Револьвер Наган, калибр 7,62 — раз, — сказал Щербатюк, зажимая палец. — Пистолет ТТ, калибр 7,62, пистолет системы Браунинг, револьвер системы Веблей-Скотта, пистолет системы Макарова, калибр 9 миллиметров, пистолет системы Стечнина...

— А какое есть холодное оружие?

— Финский нож, кинжал, карманный нож...

— Стоп, стоп! Карманный нож считается уже не оружие, а инструмент. Из каких частей он состоит?

— Ну, колодочка и это... как его? Полотно, да?

— Нет там никакой колодочки, а есть ручка. Полотно бывает у пилы, а здесь клинок. Что в клинке различают?.. Основание, лезвие, обух, острие. Давай зубри, Грицко, а то плаваешь!

— И на кой черт это учить? Только мозги засорять.

— Не скажи! А если тебе доведется следствие вести, писать протокол. И вот, например, нож — главная улика. Что ты будешь писать? «Эта штука, которая в карманном ноже режет, была изогнута» — так, что ли?

Щербатюк пренебрежительно хмыкнул, но ответить не успел. Входная дверь распахнулась, и в комнату ввалился Аверьян Гаврилович. Он хватал воздух широко открытым ртом и натужно прохрипел:

— Воры!.. Скорей!.. Помогите!..

— Застегнитесь, гражданин, — неприязненно сказал Щербатюк и показал пальцем.

— Извиняюсь! — вспыхнул Аверьян Гаврилович и трясущимися пальцами устранил небрежность в туалете.

Странным образом это столь прозаическое действие повлияло успокоительно, и Аверьян Гаврилович снова начал обретать дар речи.

— Прошу вас! Надо немедленно. Что ж вы сидите? Пойдемте или пошлите кого-нибудь со мной!.. Ведь они же там...

— Где там, товарищ директор? — спросил Кологойда.

— Как это где? В музее, конечно! Раз вы меня знаете...

— Кто ж вас не знает?.. Один лейтенант Щербатюк, так он иногородний, а теперь и он узнает... Вот тебе и практика для твоих лекций, — повернулся он к Щербатюку.

— Вася! — Щербатюк положил руку на свою рыхлую грудь. — Будь человеком! Ты ж видишь, — кивнул он на груду конспектов и учебников, и бесформенное лицо его сложилось в гримасу отчаяния.

Кологойда, колеблясь, посмотрел на него, на Букреева и взял фуражку.

— Только имей в виду! Мне будет нужно — заставлю дежурить, хоть ты там рожай, хоть экзамены сдавай...

— Ладно, ладно, — сказал Щербатюк и склонился над конспектом.

Мягкостью характера Аверьян Гаврилович не отли-

чался. Вся его взбудораженность на короткое время сменилась удивлением тому, как равнодушно встретили в милиции ужасную весть о ворах в музее, но тут же перешла в гнев.

— Я не понимаю, товарищи! Вам сообщают о воровстве государственного имущества, а вы, вместо того чтобы действовать, принимать меры, ведете какие-то странные разговоры, переговоры...

— Спокойно, товарищ директор! — сказал Кологойда. Он надел фуражку, проверил по носу положение козырька и вышел из отделения. — Вот мы уже идем и сейчас начнем принимать меры... Главное — не пороть горячку. Так что это за воры и где вы их видели?

Аверьян Гаврилович рассказал о загоревшемся вдруг в музее свете.

— Так, может, он сам загорелся? Вон у моей хозяйки лампочка была плохо завинчена, как грузовик мимо идет, дом трясется, она и блымает — то загорится, то гаснет.

— Не было там никакого грузовика! И потом — когда я постучал, свет сейчас же погас.

— Постучал? — Кологойда даже приостановился. — Зачем?

Аверьян Гаврилович смятенно развел руками.

— Черт те... Ужасно глупо, конечно... Как-то так получилось... Импульсивно. Понимаете?

— Нет, — сказал Кологойда. — Кабы вы стояли на шухере, тогда понятно, а так...

— Что значит на шухере?

— Ну, на стреме, на страже, по-блатному. Один ворует, а второй сторожит, и в случае какая опасность — дает сигнал...

— Так что же, по-вашему, я, выходит, соучастник? Я помогаю обкрадывать свой музей?..

— Я того не говорил, а как будет дальше — посмотрим. Вы мне лучше скажите, какие ценности у вас на хранении?

— Как какие? Все!

— Да нет, конкретно — разные там вещи из золота, серебра...

— Ах, такие ценности?.. Нет, таких ценностей у нас нет.

— Вот я и думаю — что в вашем музее можно украсть? Я как-то был, смотрел, а ничего такого не видел...

— Как это вы не видели? У нас чрезвычайно интерес-

ные экспонаты! И они имеют большую научную ценность. Правда, они не имеют рыночной цены, в том смысле, что их нельзя продать-купить... Нет, не думаю, просто не представляю. Ну кто, например, купит окаменевший зуб мамонта?.. Но духовная, воспитательная ценность их...

— Так вот я и говорю — сколько в милиции работаю, а не слыхал, чтобы кто-то украл какую воспитательную ценность... Вор крадет, чтобы сожрать или продать... Стой! — закричал вдруг Кологойда и бросился вперед.

До угла оставалось метров сто, когда из теневой полосы под лунный свет вышла закутанная женская фигура, но увидела идущих и, всплеснув руками, метнулась обратно в спасительную тень. Аверьян Гаврилович побежал следом за Кологойдой и почти наткнулся на лейтенанта. Кологойда стоял за углом, всматривался в калитки, заборы и чертыхался.

— Начинаются чудеса в решете: появилась какая-то тетка и нет тетки... На помеле она не улетела и сквозь землю не провалилась, выходит, где-то она тут, за забором. И выходит — тетка эта обязательно местная.

— Почему вы так думаете?

— А потому, что ни одна собака не гавкнула. Попробуй чужой сунуться, они такой тарарам поднимут... Тогда спрашивается: зачем местной тетке бегать по ночам? И спрятаться? А?

— Да что вам далась эта тетка? Надо скорей в музей, а не каких-то баб ловить!..

— Это никогда не известно, — споро шагая, ответил Кологойда. Пристально глядя перед собой и все ускоряя шаг, он начал плести какую-то совершенную, по мнению, Букреева, околесицу. — Тетка, или, как вы говорите, товарищ директор, баба, тоже может оказаться вещь... Смотря с какой точки... Она может быть просто факт, может быть фактор, соучастница или свидетельница. Или даже улика... Ага! Вот ты где, голубушка...

Гигантскими скачками Кологойда помчался вперед, но пробежал мимо музея и свернул к двору Букреева, оттуда донесся панический визг и тотчас оборвался. Когда Аверьян Гаврилович подбежал, Кологойда грозным истребом возвышался над Евдокией Гавриловной.

Все, что в смысле дородности недобрал поджарый, как борзая, брат, Евдокия Гавриловна перебрала с лихвой, но росточком не вышла и была этакой кубышечкой, как говорили соседи, «поперек себя шире». Сейчас от страха все ее округлые формы превратились в подтаяв-

шее трясущееся желе. Споткнувшись о грядку, она села в ею же самой выращенную чащу моркови, но не могла уже ни подняться, ни пошевелиться и в немом ужасе смотрела на нависшего над нею Кологойду.

— Что вы, товарищ лейтенант?! Это же Дуся, сестра!

— Какая сестра? Про сестру разговора не было.

— Моя сестра! Я ее разбудил, поставил следить за музеем, а сам побежал в милицию.

— А зачем она за угол бегала?

— Господи! Да зачем ей туда бегать? Ты разве бегала к углу?

Онемевшая от страха Евдокия Гавриловна не смогла произнести ни слова, но бурными всплесками желе начисто отвергла это предположение.

— Что тут и спрашивать?! — сказал Аверьян Гаврилович. — Она небось с места боялась сойти, а не то что куда-то бежать...

Аверьян Гаврилович помог сестре подняться, и, присмотревшись к ней, Кологойда сконфуженно сказал:

— Извините, гражданка, за ошибку... Так уж получилось. Идемте, товарищ директор, в музей, а то у меня от этих женщин уже в глазах двоится...

Контролька в висячем замке была цела, но Кологойда не позволил открывать. Он прошел вдоль фронта дома, осмотрел, проверил каждое окно — все были заперты.

— Во двор окна есть?

— Там гуси, — сказал Аверьян Гаврилович.

— Какие гуси?

— Ну, разные, хозяйские.

— Тю... Так что? Съедят, что ли? Наблюдайте здесь, я там тоже проверю.

Кологойда решительно направился во двор, но как только он появился из-за угла, воздух прорезал стегающий, пронзительный крик.

Кологойда сделал еще шаг, и тотчас по краю гусиного стада, как зенитные стволы, взвились вверх гусиные шеи и повернулись ему навстречу, испуская стегающие вопли. Кологойда силюнул и отступил.

— Вот чертово племя, — смущенно сказал он Букрееву, — Там и мышь не проскочит, не то что вор. Почище вохры. Теперь так, товарищ директор: вы открываете и в сторонку. И поперек батька в пекло не лезть! Я извиняюсь, конечно, вообще-то вы старше, но только первым в пекло лезть — такая уж наша милицейская работа... Ничего не трогать и не разговаривать. Если заметите какой непорядок, покажите мне, но молча. Понятно? Ну, давайте посмотрим, какие такие воры залезли в историю и что им там понадобилось...

Когда-то здание музея было обыкновенным жилым домом, только большим по чугуновским масштабам. В сущности, это были два дома, состроенные друг с другом в торец — в каждом по три комнаты и кухне. Русские печи на кухонь повыбрасывали, в общей торцовой стене прорезали дверь, кое-где убрали перегородки, и получилась целая анфилада не больно казистых и просторных, но при начальной бедности терпимых комнат-залов. Давние хозяева жили с удобствами — в каждой половине были кладовки, чуланы, лестницы на чердак. Чтобы место под лестницами не пустовало, Аверьян Гаврилович обшил их по бокам досками, навесил дверцы, и получились еще две кладовушки для всякого малоценного имущества. Настоящие кладовые превратились в «запасники», то есть хранилища всего, что не удалось или нельзя было выставить, а в самой просторной кладовой Аверьян Гаврилович прорезал большое окно и превратил ее в мастерскую — реставрационную, ремонтную, на все и всякие случаи, происходящие в жизни.

Букреев и Кологойда миновали сени, в бывшей прихожей Аверьян Гаврилович щелкнул выключателем и тут же показал Кологойде — дверка подлестничной кладовушки была распахнута. Кологойда заглянул в кладовку, там, кроме продавленного стула, ивовой корзины и еще какого-то хлама, ничего не было. Увидев, что дверца запирается не замком, а щеколдой, он показал на нее Букрееву и пренебрежительно махнул рукой.

Стараясь ступать осторожно, чтобы поменьше скрипели половицы, они шли из комнаты в комнату — впереди Кологойда, сзади Букреев, зажигали свет, и Аверьян Гаврилович лихорадочным взглядом обегал все, потом снова, уже последовательно и тщательно, проверял экспозицию, которую знал наизусть. Все было в порядке и на своем месте. Кологойда обращал к нему вопросительный взгляд, в ответ Букреев отрицательно поводил головой, лейтенант меланхолически, даже с некоторой ухмылкой кивал, так как ничего другого не ожидал, и они шли дальше.

В комнате с левой стороны, где окна выходили во двор, можно было даже не поворачивать выключатель, таким пронзительным светом заливала все луна, и Вася Кологойда чертыхнулся про себя, вспомнив лавочку, озаренную этим ярким светом...

В большой комнате справа Аверьян Гаврилович потянулся к уху Кологойды и прошептал:

— Вот здесь, в этой комнате горел свет, потом погас...

Кологойда пощелкал выключателем — тот работал прекрасно, лампочка не «блымала». Аверьян Гаврилович обошел комнату, чуть ли не обнюхивая каждый экспонат. Кологойда дождался очередного смущенного знака, что все в порядке, и, почти не скрывая усмешки, сказал:

— Может, он приснился, тот свет, товарищ директор? Вместе с ворами? А? Дело таковское, с кем не бывает...

Аверьян Гаврилович так оскорбленно вскинулся, что Вася примирительно замахал рукой:

— Ладно, ладно... Что еще осталось?

— Коридор, а там запасники, то есть кладовые. И мастерская. Все заперто.

Кологойда открыл дверь в коридор, и с него враз соскочила снисходительная усмешливость, меланхолическая вялость — он снова был на работе, которая ежесекундно могла обернуться смертельной опасностью.

В дальнем конце коридора из полуоткрытой слева двери падала полоса лунного света. Кологойда знаком остановил Аверьяна Гавриловича, расстегнул кобуру пистолета и, осторожно ступая, подошел к приоткрытой двери. Вытянув шею, он прислушивался и заглядывал в комнату, стараясь не попасть под лунный свет. Аверьян Гаврилович преодолел внезапную дрожь в коленях, на цыпочках подошел к Кологойде, из-за его могучего торса заглянул в щель.

За дверью в полосе лунного света лежали ноги в стоптанных, порыжелых башмаках. Одна штанина затрепанных бумажных брюк задралась, обнажая худую мертвенно-бледную ногу.

3

Он сделал, как условились, и теперь нужно было только ждать, а ждать всегда трудно. Чтобы помочь течению времени, он снова и снова уходил в мечтания, радужные, как сторублевая бумажка, с помощью которой эти мечтания только и можно осуществить. Сторублевок в доме не бывало, Семен никогда их не видел и даже не сразу поверил, что настоящая она вот такая и есть. На всякий случай он сказал, что одной бумажкой ему не годится, лучше мелкими. А мелкими — это же целая куча денег... Время от времени пронзал страх, а что, если?.. Думать

об этом было жутко, и он гнал жуткие мысли, старался думать о приятном — как и на что истратит такую кучу денег. Он производил расчет до конца, проверял, пересчитывал, потом придумывал новый список трат и покупок...

Он еще днем приметил, что двор у музея общий с двумя жилыми домами, собак во дворе нет, а вереи распахнутых ворот вросли в землю — значит, никогда не закрываются. Выйти из ворот — совсем другое дело, чем вылезать на улицу из окна. Семен отодвинул занавеску, не поверил своим глазам и прильнул к стеклу — двор был завален слепящим снегом...

— Чтоб вы повыздыхали! — в бессильной злости прошептал он.

Это был не снег. Белокипенной волной гусиное стадо захлестнуло все подступы к стене музея. Сунув головы под крылья, птицы безмятежно спали. Спали, однако, не все. Несколько гусаков голов не прятали — изогнув полебединому шеи и положив клювы на зоб, они чутко дремали. Семен тронул верхний шпингалет окна, ригель соскочил с запорной планки и стукнул об упор. Как ни легок был этот щелчок, ближайший гусак услышал, поднял голову и предостерегающе гаркнул.

Семен опустил занавеску. Сюда нечего и соваться. Уж он-то знал, какой крик поднимут чертовы гусаки, если вдруг прыгнуть в середину их стаи. Заранее открывать окно на улицу не годилось — случайно кто-нибудь пройдет мимо — и хана... Он подошел к витрине, попытался поднять крышку, она не поддалась. Проклиная себя за то, что не рассмотрел днем, как запирается витрина, он на тыльной стороне ящика нащупал петли, потом спереди личинку для ключа. Значит, замок врезной. В простенке между окнами было темно, ни фонаря, ни спичек у Семена не было, и он не мог определить, какого размера личинка и есть ли в замке направляющий штифт. И дурак — даже гвоздя не взял... Чем теперь открывать? Клинок его карманного ножика был сточен и тонок, Семен попытался на ощупь всунуть его в личинку, но клинок не лез. Проще всего трахнуть башмаком по стеклу, и дело с концом, но Семен еще раньше решил ничего не ломать. Разбитое стекло сразу увидят. Кинутся проверять, искать, а так все будет шито-крыто, может, даже и не заметят, что пропала какая-то фиговинка...

Семен измаялся, ковыряя замок вслепую. Он оставил витрину и вытер испарину. Так можно ковыряться до

утра. Выхода нет, надо хоть на минутку увидеть, а чтобы увидеть, зажечь свет. Никто не заметит, если на минутку, — глухая ночь, все спят, как куры.

Семен подошел к выключателю и, не раздумывая, повернул его. Ну конечно, в замке торчал глубоко утопленный штифт для ключа, он и не позволял всунуть клинок ножа. Замочек вообще хлипкий, крышка прилегает неплотно, и если чем-нибудь поддеть...

Он просунул лезвие в щель, осторожно подвел клинок вплотную к замку и едва не упал — с улицы резко и властно постучали в окно.

Это был не стук, а гром, грохот, взрыв... Семен выдернул ножик, метнулся к дверной притолоке и щелкнул выключателем.

Поступок был, конечно, не самый разумный, так как показывал стучавшему, что свет загорелся не случайно сам по себе, а что его кто-то зажег и теперь погасил. Во всяком случае, это был последний поступок Семена Версты, совершенный при участии разума. После этого разум исчез, остался один страх.

Страх был все время и с самого начала. Но его удалось уговорить, заслонить, заглушить доводами, которые воображение всегда подсовывает тем усерднее, чем значительнее и привлекательнее цель. У Семена она была настолько крупной, что он не только никогда не держал ее в руках, но не мог о ней и мечтать. И страх отступил, затаился под натиском таких веских, убедительных резонов: за это не повесят, даже если поймают, а если все делать с головой, то и не поймают.

И вот уже поймали. Еще не схватили, но сейчас, через пять — десять минут схватят... И тут мгновенно исчезли все доводы и рассуждения, остался один страх. Страхом была налита каждая частица, каждая клетка, все нескладное, долговязое тело Семена Версты тряслось от страха и панического стремления бежать, спрятаться, исчезнуть. Он метнулся к окнам налево, но тут же отпрянул — клятые гуси взбулгачат весь город... А за окнами направо кто-то уже ждал, подстерегал... Семен бросился к выходу, хотя ключей у него не было и дверь ему открывать нечем, и тут же повернул обратно — ведь именно в эту единственную дверь войдут они...

И как все охваченные паническим страхом перед преследователями, Семен повернулся к ним спиной и побежал в противоположную сторону, чтобы отдалиться хоть

немного, и тогда вдруг произойдет чудо — найдется выход, удастся затаиться, проскользнуть, истаять...

Увы! В жилых домах маленьких городов не бывает тайников, скрытых переходов, вертящихся зеркал и гигантских каминов, через которые можно пробраться на крышу, проникнуть в мрачное подземелье или подземный ход, выводящий в лесную чащу. А с тех пор как этот дом превратили в музей, все в нем нарочито устроили так, чтобы не только ничего не скрывать, а наоборот — как можно больше показывать, а потому укрыться было совершенно негде.

Семен пронесся через залы, вбежал в тупиковый коридор, дергал, толкал все двери. Они гремели замками и не открывались. Последняя слева дверь поддалась, и Семен ворвался в комнату.

Здесь на окне почему-то не было занавески и прожекторно-белый лунный свет с пронзительной яспостью озарял стоящую в глубине комнаты Смерть. Нижняя челюсть черепа отвисла, согнутые в локтях руки расслабленным жестом повернуты вправо, словно радостно осклабившийся скелет любезно приглашал: «Входите, пожалуйста...»

Когда человек хочет убежать, то самое худшее, что он может при этом сделать — зажмуриться. Однако даже если бы Семену дали такой совет, он вряд ли бы его услышал и все равно поступил бы вопреки совету — он изо всех сил зажмурился и попятился. Семен тут же почувствовал, что к спине и рукам его что-то прикасается, обхватывает их. Из самых глубин Семенова нутра вырвался сдавленный вопль животного ужаса:

— Ы-ы-ы!..

Семен попытался отмахнуться, но руки его вдруг оказались спутанными, он отчаянно метнулся, вырываясь, и тогда сверху кто-то прыгнул на него, тяжко ударил твердым по голове и грузно обвис на плечах. Семен Верста не знал, как падают в обморок, никогда не терял сознания, поэтому он сделал единственное, о чем был наслышан, — он умер: перестал думать, чувствовать и рухнул на пол.

— Умер? — ужаснулся Аверьян Гаврилович.

— Сейчас посмотрим, — сказал Кологойда, стаскивая хомут и опутавшую Семена шлею. — Когда такая научная ценность ахнет по башке — недолго и перекинуться... — Он посмотрел наверх. — Кто ж хомуты на гвоз-

дик вешает, товарищ директор?! На крюк их вешают. И вообще — не тут, а в конюшне...

Семен Верста лежал в неловкой, неестественной позе, лицо было совершенно бескровным.

— Воды бы... — сказал Кологойда.

Аверьян Гаврилович схватил с рабочего стола графин, гремя им о чашку, налил воду и протянул Кологойде. Тот выразительно посмотрел на него, молча отобрал графин и вылил всю воду на лицо Семена. Семен не то вздохнул, не то застонал, тело его расслабилось, неестественно вывернутая кисть распрямилась, стукнула о пол.

— Ага! — сказал Кологойда. — Ну, теперь нехай трошки полежит...

— Пульс... Надо пульс проверить! — сказал Аверьян Гаврилович.

— А чего проверять? Если он есть, так никуда не денется.

Кологойда поднялся с колен, подошел к скелету.

— А это паскудство тут зачем? Тоже воспитательная ценность?

Он подтолкнул нижнюю челюсть на место, зубы черепа клацнули, но как только он отнял руку, челюсть снова отвалилась и, будто дразнясь, в ужасающем хохоте закачалась на проволочных крючках.

— Тьфу! — сплюнул Кологойда и отошел.

— Скелет, пожалуй, действительно, того... — смущенно сказал Аверьян Гаврилович. — Он даже и не музейный, не экспонат, это из второй школы меня попросили починить — ребятишки поломали, у них же все в руках горит. Хотя, с другой стороны, в мастерской, кроме меня, никто не бывает... А насчет хомута вы напрасно! Это превосходная кустарная работа! Вы посмотрите...

Кологойда жестом остановил его. Лицо Семена оставалось таким же бледным, но в нем началось как бы некое движение, потом ресницы задрожали, веки открылись, и Семен уставился на яркую лампочку под потолком. Бессмысленный взгляд его постепенно оживал, он повернул голову и увидел Кологойду. Глаза Семена округлились от ужаса, и он отчаянно зажмурился.

— Не, хлопче, — сказа Кологойда, — я тебе не приснился, я на самом деле. Так что давай открывай глаза и вставай.

Даже опытный вор не пойдет воровать, если предполагает, что его поймают. Наоборот, он уверен в том, что его не поймают, он ускользнет безнаказанным. Поэтому

никто заранее не обдумывает, как держаться, что говорить в случае провала, и потому не бывает к нему готов. А что уж говорить о незадачливом Семене Версте. Жмурясь изо всех сил, он лихорадочно спрашивал себя — что говорить? что делать? Его привычной мудростью было врать. Ничего не знаю, ничего не делал! Хотел? Пускай докажут, чего он хотел!..

Семен приподнялся, почувствовал в голове ноющую боль и нащупал огромную шишку.

— Добряча гуля? — спросил Вася Кологойда. — Скажи спасибо, хомут низко висел, мог и дух вышибить...

Семен покосился на лежащий рядом хомут, и его пронзила щемящая жалость к самому себе. Каким же надо быть невезучим, чтобы попасться из-за какого-то хомута, будь он проклят!.. А Смерть? Вон она... Теперь, при электрическом свете, пожелтелый скособоченный скелет был совсем не страшен.

— Погоди, погоди! — сказал Кологойда, присматриваясь к поднявшемуся Семену. — Что ты не чугуновский — это факт, только я тебя все равно знаю. А откуда?.. А оттуда, что ты с моего участка... из Ганышей. Правильно? Коров там пасешь. И фамилия твоя — Бабиченко...

Семен сонно смотрел в сторону и молчал.

— Видали, товарищ директор, до чего кадра сознательная? — сказал лейтенант. — Чтобы уполномоченному не было лишней мороки, он паскудить сюда приехал, можно сказать, с доставкой на дом... — Он сел за рабочий стол директора. — Ну, раз ты такой сознательный, иди сюда и выкладывай.

— Шо выкладывать? — самым сонным голосом, на какой только был способен, спросил Семен.

— Все, что у тебя в карманах.

— А шо? Шо такое? — Семен хорошо знал, что в карманах у него ничего нет, и потому мог хорохориться. — Я шо, украл, да?

— Это мы увидим. Так что ты не «шокай», а выкладывай. Все равно уже не спрячешь.

— А шо мне прятать? Нате, смотрите! — с некоторой даже долей нахальства в голосе сказал Семен, предвкушая свое торжество, сунул руки в карманы и разложил перед Кологойдой их содержимое: погашенный автобусный билет, билет с дневного киносеанса и входной музейный, карманный ножик и три затертых рублевки.

Все сказанное до сих пор о Чугунове может привести к мысли, что это какой-то необыкновенный, идеальный город. К сожалению, а может быть, к счастью, вовсе нет. Идеальных городов, как и людей, не бывает, и Чугуново, наряду с неоспоримыми достоинствами и достижениями, имеет свои недостатки. Истина, как известно, познается в сравнении, а для того, чтобы проводить сравнения и сопоставления, наука и техника вооружили нас самым могучим средством современной связи — телевидением. Некоторые даже считают, что только теперь культура и может стать массовой и что телевидение является подлинным рассадником массовой культуры. И в самом деле: наверно, нет в нашей гигантской стране уголка, где бы над жилыми домами не торчали самодельные или заводского образца антенны, а жители этих домов не садились бы каждовечерне перед ящиком со стеклянной передней стенкой.

И тут, перед этим ящиком, — все равны. Никаких привилегий, никакого там разнобоя в зрелищах и мнениях. Конечно, кто-то болеет за «Спартак», а кто-то за «Динамо», но футбол есть футбол, а хоккей есть хоккей... И от Чопа до Уэллена, от Таймыра до Кушки все смотрят, как непрерывно растущее поголовье добрых молодцев во всяких ансамблях работают ногами на всю катушку, а если симпатичный попугай Петруша сипловатым, как бы слегка пропитым баском говорит: «Здравствуйте, товарищи!», то в ответ ему от Балтики до Тихого океана раздается дружное, можно сказать, всесоюзное «га-га» зрителей...

Естественно, что самое массовое средство связи успешно продвигает самое массовое искусство — кино. По телевидению показывают кинофильмы и телефильмы, черно-белые и цветные, односерийные и многосерийные... И так как кинофильмы с неба не падают, с кондачка не делаются, они, стало быть, отображают нашу жизнь. Раньше большая часть фильмов отводилась изображению того, как необразованных и отсталых директоров, начальников и председателей сменяют передовые и образованные. Такие картины мало-помалу перевелись, зато все больше фильмов о шпионах, разведчиках, уголовниках и о том, как надлежащие органы ведут с ними успешную борьбу. Поскольку искусство является отражением жизни, а таких произведений появляется все больше, то можно подумать, будто борьба с преступлениями выдвигается чуть ли не на первое место. Она становится изощренней и оснащенней — что верно, то верно. Вот тут уж есть на что по-

смотреть. Ах, как там дерутся! Долго, смачно и как разнообразно. Можно подумать, что актеры и режиссеры закончили какую-то высшую школу хулиганских наук и теперь с блеском демонстрируют полученное образование, передают свое мастерство самым широким массам, и массы — в порядке самообразования — мастерство это осваивают. А мудрые и тонкие капитаны и майоры, которые ведут следствие и наперебой рассказывают преступнику, как он совершил преступление! А чего стоят эксперты — всезнающие очкарики, обольстительные криминалистки!.. По волосу с головы преступника они могут определить, что образование у него неоконченное высшее, по совместительству он шофер, а по специальности шпион. По пыли, выбитой из пиджака преступника, в точности скажут, какая погода была месяц назад в Казахстане, когда преступник в то время отирался в Крыму, в Камыш-Буруне, и что тетя его была скупой, в детстве кормила его овсянкой... А погони? На бешеной скорости вылетают одна машина, другая... десятая, завывая сиренами, заносясь на поворотах, они мчатся вдогонку, бросаются наперерез, обходят, обкладывают бегущего, как зверя, а моложавый, но уже обязательно посасывающий нитроглицерин генерал, не выходя из кабинета, дает указания, которые и доводят дело до победного конца — преступник посрамляется, берут его, голубчика, тепленьким... Дух захватывает!

А в Чугунове ничего этого нет. Никак нельзя сказать, чтобы преступность стала основным занятием жителей, а милиция — самым главным учреждением города, не знает ни сна, ни отдыха и безошибочно вылавливает всех преступников до единого. В основном чугуновцы работают, занимаются хозяйством, любят своих детей и, как умеют, воспитывают их, по вечерам ходят в кино, а у кого есть — включают телевизоры. То же самое в неслужебное время делают и милиционеры, если только они, подобно Щербатюку, не учатся заочно. Дерутся здесь по старинке и очень примитивно: ну, дадут друг другу в ухо, обменяются зуботычинами, поставят пару фонарей, и дело с концом. Моложавых генералов и даже полковников нету — отделением руководит капитан Егорченко, в его распоряжении на все про все единственный «козел», да и тот без радиопередатчика. И это к счастью, потому что будь у участковых рации, их пришлось бы таскать на собственном горбу, что, в общем, удовольствие маленькое, но раций нет, как нет и автомобилей — оперативные

работники передвигаются на попутных или на своих двоих. Правда, и у преступников не бывает «бенцов», «ягуаров» и «поршей». И уж конечно, нет никаких лабораторий, обольстительных экспертов, и участковым приходится распутывать всякого рода дела по старинке, опираясь на знание обстоятельств местной жизни и собственную смекалку.

Вот почему Вася Кологойда, поймав злоумышленника «на горячем», хотя пока и не было известно, в чем, собственно, это «горячее» заключалось, решил ковать, не откладывая, не ожидая, пока все остынет.

— Это все? — спросил Кологойда.

— Не верите, да? Нате, обыскивайте!

Семен вывернул карманы и растопырил руки, изображая готовность подвергнуться обыску, а значит, и полную свою невиновность в чем бы то ни было.

— Надо будет — обыщем. А теперь рассказывай.

— Шо рассказывать?

— Зачем в музей залез?

— А я залезал? Я посмотреть пришел... Не имею права, да? Вон билет, я за него деньги платил...

— Ты дурочку не строй. Что ты байки рассказываешь? Когда закрывается музей, товарищ директор?

— В шесть вечера. То есть в восемнадцать часов.

— А теперь второй час. Значит, ты до часу ночи ждал, а потом пошел на экскурсию?

Семен молчал.

— Ну, что ты тут делал?

— Спал, — глядя в сторону, сказал Семен.

— Ты хоть думай, когда врешь! Ну кто тебе поверит, что ты пришел в музей спать? И вообще — что тебе приспичило спать среди бела дня?

— Автобуса долго ждать было, а я втомывся.

— Ах, ты утомился?.. И решил в музее отдохнуть, другого места не нашлось? Городской сад тебе не подходит, автобусная остановка тоже?

— Там люди, еще гроши вытянут... А тут тихо. И холодок. Я думал трошки посплю, отдохну. И проспал...

— Ну да! Ты тут разлегся как дома, и никто тебя не тронул, не разбудил? Может такое быть, товарищ директор?

— Абсолютно исключается! — сказал Аверьян Гаврилович. — Я лично всегда обхожу музей, проверяю все и сам запираю. Не увидеть его я не мог.

— Что ты теперь сбрешешь? — спросил Кологойда.

— Я сховався, — сказал Семен. — Шоб чего не подумали и не прогнали...

— Где? В кладовке под лестницей? — подхватил Аверьян Гаврилович. — Тогда у него должен быть соучастник, — повернулся он к Кологойде. — Я отлично помню — щеколда была закрыта.

— Так дело не пойдет, товарищ директор! — недовольно сказал Кологойда. — Мы с вами говорили насчет пекла, насчет батьки...

— Виноват, виноват... Молчу!

— И к вашему сведению: все замки — для честных людей. На самый хитрый замок всегда найдется вор еще хитрее. Так где ты прятался, Бабиченко?

Семен свято верил, что спасти его может только вранье. Главное — ни с чем не соглашаться и говорить не то, что было на самом деле.

— На лестнице, — глядя в пол, сказал Семен.

Кологойда вопросительно посмотрел на директора, тот пожал плечами.

— Не представляю.

— Ладно. А что ты своим ножом тут делал?

— Ничего.

— А где его поломал?

— Шо? — спросил Семен. Он растерялся — когда же он сломался, клятый ножик?

— Оглох? — сказал Кологойда. — Где нож сломал?

— То давно. Недели две. А может, больше.

— А зачем поломанный с собой таскаешь?

— Думал в мастерскую дать. Чтобы починили.

— В какую мастерскую?

— Там, на базаре... Не захотели.

— И правильно — чего эту паршивую железку чинить? Дешевле купить новый.

Семен искоса посмотрел на Кологойду и промолчал.

— У вас лупа есть?

— Ну как же! Вот выбирайте. — Аверьян Гаврилович поставил перед Кологойдой коробку.

Облицовка рукоятки давно была потеряна. Остались только две железные пластинки, между которыми был заклепан клинок. Он обломился у самого основания, но и так было видно, насколько он источен и тонок. Кологойда рассматривал нож, Аверьян Гаврилович смотрел на Семена Версту. Он испытывал все большую неловкость и даже раскаяние. Какой-то удивительно тупой парень, прямо дебил. В школе, наверно, плохо учился, вот и по-

шел в пастухи. А что делать, если никаких способностей ней? Такой и украсть-то не сумеет. Особенно здесь, в музее. Смотрит на все, как баран на аптеку. И похоже на правду, что он действительно мог сесть где-то в уголок и заснуть. Есть такие люди, способные засыпать мгновенно и в любой обстановке. Ничего он не украл — это очевидно! Так зачем его мытарить? Просто жалко беднягу — ему и так досталось... Отпустить его, и дело с концом!..

Угадав неостановимое желание директора высказаться, Кологойда указал ему глазами на коридор и усмешливо выслушал там горячий шепот Аверьяна Гавриловича.

— Ох, уж эта мне интеллигенция! Чуть что — бедненький, жалко... А такой встретит вас на узкой дорожке, он вас так пожалеет — костей не соберете... В общем, так, товарищ директор, не мы до вас, а вы в милицию прибежали, так вы уж теперь не мешайте. Я в протоколе не могу написать «мне кажется, что он невиновный», я это должен доказать. Понятно?

Разговаривая с директором, Кологойда не спускал глаз с Семена. Тот, нахохлившись, сидел на табурете, оплетя его длинными своими ногами, и, казалось, спал.

— Эй ты, спящая красавица! Иди показывай, где прятался.

Семен выпутал из табурета ноги и поплелся в прихожую.

4

Неимоверно скрипучая лестница на чердак была крута и для Кологойды тесновата. Укрыться от невнимательного глаза наверху за дощатыми балясинами было, пожалуй, можно. Лейтенант посветил фонариком, провел пальцем по верхней ступеньке. Потом он заглянул в подлестничную кладовку, присвечивая фонариком, внимательно осмотрел тыльную сторону щеколды. Они вернулись в большой зал, и Кологойда принялся рассматривать экспонаты. По плакатам, фотографиям, всяким схемам и диаграммам взгляд его скользил без задержки, как, впрочем, и у всех посетителей музея, но экспонаты вещные, особенно ценные, укрытые в застекленные витрины, он осматривал неторопливо и тщательно. Аверьян Гаврилович, желая облегчить и ускорить осмотр, сказал, что все вещи на месте — он знает наперечет выставленные

свитки, плахты, очипки, намиста — и, стало быть, все в порядке, но Кологойда отмахнулся от него. Аверьян Гаврилович обиделся и демонстративно отошел в сторонку. Семен Верста, свесив длинные руки вдоль туловища и полузакрыв глаза, казалось, снова спал.

Маленькая витрина на столике между окнами заинтересовала Кологойду больше других. За стеклом на подложке из жатого плюща в три ряда лежали маленькие, округлые, овальные вещицы.

— Что тут за пуговицы?

— Пуговицы?! — ужаснулся Аверьян Гаврилович. — Это же геммы, образчики глиптики!

— А шо оно такое, та глиптика?

— Миниатюрная скульптура, вообще резьба на драгоценных и полудрагоценных камнях.

— Ага! — сказал Кологойда. — Выходит, драгоценности все-таки есть? Кто ж их так хранит? Каждый дурак может подойти, раздавить стекло и — пламенный привет...

— Вы неправильно поняли. К сожалению, у нас нет гемм даже на полудрагоценных камнях. Это все геммы на стекле или на камнях, не имеющие никакой цены, например, вот эти — на литографском. Они интересны, так сказать, не материалом, а работой. Ну и, как видите, несколько вещей из металла.

— Вижу, вижу, — отозвался Кологойда, хотя смотрел он не на экспонаты, а на личинку замка. — Ключ есть?

Аверьян Гаврилович вставил в личинку маленький ключик, повернул на четверть оборота, другой рукой поднял застекленную крышку. Кологойда подставил руку, и на ладонь ему упала узкая металлическая полоска.

— Ну вот, порядок, — сказал он. — Больше смотреть нечего, можно идти обратно. Только прихватите с собой эти клеммы или как их там...

— Геммы, товарищ лейтенант! Гем-мы!

— Нехай будут ге-мы-мы. Все спишь? — сказал он Семену. — Ничего, сейчас ты у меня проснешься...

— Значит, так, — сказал Кологойда, садясь за стол, — ты пришел в музей, захотел спать, забрался на лестницу и проспал там до ночи. Красть ты не собирался и ничего не трогал. Нож свой сломал давно, может, месяц назад, не помнишь где. Все правильно?

— Ага, — сказал Семен. — Все.

— Так вот, брат, все это брехня. Брехня первая, на лестницу ты не лазил и там не спал. Благодаря того, что

уборщица не подметала лестницу недели две, там пыли на палец, по пыли картины рисовать можно...

— Безобразие! — сконфузился Аверьян Гаврилович. — Я ей сделаю выговор...

— Наоборот! Я бы благодарность по приказу... Кроме моих следов, там никаких других нет. Понятно? — Семен смотрел в пол и молчал. — Сидел ты не на лестнице, а в кладовке, вот там всю пыль и собрал на себя. Брехня вторая. Ты не просто там сидел, а прятался — закрыл за собой дверь и даже щеколду повернул. Сзади на щеколде свежие царапины. А вот и инструмент, которым ты щеколду поворачивал. — Кологойда поднял и показал рукоятку карманного ножа. — На нем остались следы краски. И брехня третья, хотя она самая первая и важная, — ты не спать сюда пришел, ты красть пришел.

— А шо я украл? Шо?

— Ты просто не успел. Вон товарищ директор тебя спугнул. И я спрашиваю, пока не поздно, что ты хотел украсть?

— Ничего я не крал и ничего не знаю! — сказал Семен и отвернулся.

— А это знаешь? — Кологойда поднял и показал металлическую полоску. — Не узнаешь? Это же клиночек твоего ножика, что ты месяц назад сломал... — Кологойда приложил клинок к основанию и показал. — Значит, ты месяц назад специально приходил сюда, чтобы здесь его сломать?.. Ну, хватит дурочку валять! Имей в виду: признание облегчает наказание, а будешь запираться — тебе же хуже будет... — Он подождал, но ответа не дождался. — Признание нужно для твоей пользы. А что мне нужно узнать, я и так узнаю.

Семен снова ничего не ответил.

— Ну давайте, товарищ директор, рассказывайте, что у вас тут за цацки и на что они могут сдаться...

— Геммы! — коротко поправил Аверьян Гаврилович. — Геммы и печати. Вы напрасно так иронически... Между прочим, в моей коллекции, то есть в нашей, музейной, я хотел сказать, есть две геммы работы Луиджи Пихлера. И это вещи, которых не постыдился бы даже Эрмитаж... Шутка сказать — Пихлер! Прославленная семья мастеров восемнадцатого века, которые возродили античную глиптику и даже превзошли. Родоначальник этой плеяды знаменитых резчиков Антон Пихлер родом из Тироля, но жил в Неаполе, потом в Риме. Джованни, его сын, намного превзошел отца, достиг такого совершенства, что его копии античных гемм вводили в заблуждение самого Винкельмана. Луиджи — младший брат и ученик Джованни, лишь немногим уступал учителю, его работы чрезвычайно высоко ценились в то время, а уж теперь...

— Ну, почем, например?

— Я затрудняюсь сказать, сколько это в рублях... Современных каталогов у меня нет, ехать специально в Москву или Ленинград накладно, а посылать боюсь — мало ли что... К сожалению, геммы Луиджи Пихлера я вынужден был убрать из экспозиции. По указанию Степана Степановича. Он, когда посетил музей, увидел их. «Это что?» — говорит. Ну, я объяснил, что, по моим предположениям, одна — изображение древнеримской богини Флоры, а вторая — библейской Сусанны работы знаменитого Луиджи Пихлера. Вот по ободку идет его подпись. Надо вам сказать, что геммы бывают двух родов: выпуклое изображение — это камея, а врезанное, углубленное, — интальо. Так вот, эти геммы Пихлера — обе интальи. Для наглядности я сделал пластилиновые оттиски и поместил тут же рядом. Степан Степанович посмотрел и говорит: «Что вы мне тем Пыхлером голову морочите, когда тут голые бабы?» Я говорю, обнаженные фигуры всегда изображались в искусстве, а об этих даже нельзя сказать, чтобы они совсем были голые. У Флоры в руках цветы, Сусанна прикрывается простыней... «Да что, говорит, она прикрывает? Она же горло прикрывает, а все хозяйство наружу!» Что тут было спорить? — Аверьян Гаврилович махнул рукой и замолчал.

— Ну? — сказал Кологойда.

— Пришлось убрать.

— Так их тут нема?

— Давно нет, лежат в запаснике.

— Ну так же нельзя, товарищ директор! — Кологойда старался скрыть раздражение, но оно все-таки явственно прозвучало в его голосе. — На кой ляд вы мне про тех Пахлеров рассказываете, если их тут нет? Чересчур вы много знаете, товарищ директор, вот и лезет из вас, как тесто из квашни... Вы гляньте — уже светает. Что ж мы тут, сутки будем сидеть?..

— Как угодно, — сказал Аверьян Гаврилович. — Я могу вообще...

— Да вы не обижайтесь... Только давайте коротко и по существу.

— Пожалуйста. Вот две крупные геммы, вырезанные на литографском камне. Так сказать, миниатюрные го-

рельефы, изображающие мужчину и женщину. Сделаны не раньше половины девятнадцатого века. Исторической и художественной ценности не имеют. Овальный медальон вырезан на прекрасном перламутре, явно пасторальный жанр. — Кологойда поднял на него взгляд. — То есть изображены пастух и пастушка. Вдали средневековый замок. Полагаю, что это работа неизвестного мастера восемнадцатого века. Вот своеобразная гемма-клятва: видите, вырезана змея, которая как бы пытается ухватить себя за хвост, а текст вокруг не очень грамотен: «Соединусь или умру я с тобой». Вот другая: мужчина схватился за голову, текст вокруг фигуры: «О боже мой как я растроился». Тоже, как видите, с грамотой не шибко... Ладанка, висячая иконка, тиснение на роге: на одной стороне изображено благовещенье, на другой рождение Христа... Все это дешевка, девятнадцатый век. А вот дальше значительно интереснее — резные печати. Тут просто гербы, главным образом польские — в свое время на Украине жило немало польских дворян, гербы с монограммами. О печатях существует ведь особая наука — сфрагистика. Это чрезвычайно интересный предмет, который оказал немало услуг истории и археологии. Вот, например, аккадский царь Саргон долгое время считался фигурой вымышленной, легендарной. Шумерские летописцы утверждали, что он царствовал за 2300 лет до нашей эры. Однако никаких, так-скать, материальных доказательств его существования не было. Но во время раскопок города Ура были найдены две печати слуг дочери Саргона. Одна принадлежала парикмахеру царской дочери, вторая ее, так-скать, дворецкому. Эта находка доказала, что Саргон действительно существовал, а кроме того...

— И они тут, те печати? — спросил Кологойда.

— Что вы! — ужаснулся Аверьян Гаврилович. — Такая драгоценность! Раскопки вел англичанин Вулли, думаю, они не иначе как в Британском музее...

— Так на кой ляд тот Саргон сдался? Мне того Саргона допрашивать или вот этого лоботряса? Вы мне по существу говорите, а не про ископаемых парикмахеров.

— Хорошо, хорошо, не буду... Я коротко, конспективно. Вот трехсторонняя печать металлическая, даже датированная. Видите: «1847». На одной стороне латинская монограмма, на второй — герб, на третьей — арабская надпись. Вот печатка с портретом и подписью: «Geo III». Вещь, несомненно, старинная — видите, у человека — парик с косицей, и сам металл печати пострадал от времени.

Не утверждать точно, кому принадлежала эта печатка, не берусь. В истории известен Георг Третий, современник Екатерины Второй. Я разыскал его портрет. Вы знаете, есть даже некоторое сходство. Но как королевская печатка — если она королевская! — могла попасть сюда, в Чугуново? И потом, надпись вырезана не зеркальная, а прямая, стало быть, на отпечатке получается навыворот. Вряд ли не только король, но даже мелкий князек стал бы с этим мириться. Не правда ли?.. Впрочем, вам это...

— До лампочки! — подтвердил Кологойда.

— Да, да, я понимаю. Ну, и вот последнее: кольцо-печатка. На первый взгляд вещь совершенно невзрачная: увидишь такое под ногами — не поднимешь... Однако вещь весьма любопытная. Видите: печатка не герб и не монограмма, а изображение колеса Фортуны...

— Что еще за колесо такое?

— Фортуна — римская богиня счастья, удачи. Ее изображали молодой женщиной с рогом изобилия в руках. Одной ногой она опиралась на катящееся колесо. Но колесо не совсем обычное — обод с четырьмя спицами, которые расширялись к ободу. Колесо Фортуны было особым условным знаком у астрологов. Так называли в древности гадальщиков, которые по расположению звезд предсказывали человеческие судьбы. Впрочем, не только в древности. Астрологов много и сейчас. Не у нас, конечно, а за рубежом. Возможно, кольцо это принадлежало какому-либо астрологу или человеку, верящему в судьбу. Печатка на кольце как печатка. Но с кольцом этим связано одно загадочное обстоятельство, и боюсь, что выяснить его уже не удастся... Как по-вашему, из чего оно сделано?

Кологойда внимательно рассмотрел кольцо, прикинул на вес и пожал плечами.

— Серебро? Что черное — ничего не значит, серебро, если не чистить, чернеет.

— Какое там серебро! Что металл не драгоценный, видно с первого взгляда. Но, понимаете, лежит год, второй, третий — никакой коррозии. Железо, сталь, чугун — ржавеют, медь, бронза — окисляются. Да, в общем, все металлы, кроме золота, больше или меньше окисляются. А этому кольцу хоть бы что. Я его даже нарочно смачивал, слегка нагревал — никакого впечатления. Я решил, что это какой-то неизвестный, не поддающийся коррозии сплав. И как-то случилась оказия — поехал в Киев, там ассистентом на химфаке Политехнического работал мой

приятель. Он тоже не смог определить без анализа. Ну, договорились, я уехал. Бац — телеграмма! Требует немедленного приезда. Я позвонил по междугородному. Он меня прямо обкричал. Где я взял? Откуда? Когда? Как? Оказывается, кольцо сделано не из какого-нибудь там молибдена или тантала, а из химически чистого железа. Потому оно и не окисляется. Он — химик, но никогда такого количества химически чистого железа не видел... Ни один способ выработки железа такой чистоты не дает. И опять — где взял, когда да как... А что я мог ответить? Купил. Поехать сразу не удалось — музея тогда не было, я в школе преподавал, тут как раз экзамены. Договорились, что приеду через неделю. А через неделю было двадцать второе июня сорок первого...

— И все накрылось? — сказал Кологойда.

— Сами понимаете, до того ли было...

— Та-ак, ладно, попробуем от другой печки. — Кологойда повернулся к Семену: — Так зачем тебе понадобилось это кольцо, Бабиченко?

Семен Верста сидел совершенно безучастно, свесив голову, и только что не спал на самом деле. Это была самая лучшая, многократно испытананая оборонительная позиция. И он изо всех сил старался показать, насколько все эти вещи чужды ему, непонятны и, стало быть, не нужны. А если не нужны, то зачем бы он их крал?.. Однако внутреннее напряжение становилось все сильнее, все труднее было с ним справляться и одновременно сохранять вид сонной тетери. И когда дело подошло к концу, оставалось только это клятое кольцо, Семен не выдержал — он испустил негромкое, но совершенно явственное сопение человека на самом деле засыпающего. Однако сидел он, опустив голову и полузакрыв глаза, и потому не видел Коголойду, а тот не спускал с него взгляда. Коголойда услышал сонное сопение и даже улыбнулся. Детские штучки! Еще не родился человек, который бы заснул на первом допросе... Перестарался парень. Когда директор заговорил о кольце, ресницы Семена непроизвольно дрогнули, тело повело от напряжения, а косточки правой руки, которой он держался за табурет, побелели — с такой силой он вцепился в его сиденье. Стало быть, к кольцу он и подбирался...

Рассуждения Васи не блистали глубиной, но в логичности им нельзя было отказать. Если парень забрался в музей, значит, у него была определенная цель. Если прежде всего он пытался взломать витрину, значит, цель

эта находилась там. И то, что там, по мнению Кологойды, выставлен был один хлам, не имело значения. И то, что незадачливый воришка ни бельмеса в нем не смыслит, тоже не имело значения. Он мог быть только исполнителем, так сказать, руками. Руки они схватили на горячем. Теперь нужно было по рукам отыскать голову. Но какой голове и зачем могла понадобиться никчемная железка?

Рассказ директора о химически чистом железе не произвел на Васю никакого впечатления. Железо есть железо, и важно, не какое оно, а кому оно нужно...

— Ты что, оглох? Зачем тебе это кольцо?

— Оно мне нужно? Я его трогал?

— Тебе помешали, а то бы тронул. Зачем? Я понимаю — золотое, продать можно. А тут за версту видно — рядом с золотом и не лежало. Серебряное? Сколько б там того серебра было? На три копейки? А оно и не серебряное — железное. Так на кой оно тебе сдалось?

— А я шо говорю — оно мне нужное? Хай оно горит!..

— Правильно! Тебе — не нужное, а все-таки ты за ним полез. Для кого? Кому оно нужное?

Семен сидел сгорбившись, зажав кисти рук между коленями, и молчал.

— Кто тебя за ним послал?

Семен молчал.

— Слушай, Бабиченко! Все равно тебе придется быть честным человеком. Не получается из тебя вор! Ну суди сам: обокрал машину — тебя тут же заштопали...

Семен взглянул на него исподлобья.

— Откуда вы знаете?

— Должность у меня такая, чтобы все знать про вашего брата... Теперь сюда забрался, здесь прихватили. Ну, а дальше что — в тюрьму? Думаешь, у воров сладкая жизнь? Паршивая жизнь! Ну, сколько-то раз повезет, потом обязательно поймают и посадят. Вор больше сидит, чем на свободе бывает. Хочешь иметь такую жизнь?

— А я шо, вор?

— Вот я и хочу, чтоб ты не стал вором. Нет же никакого расчету! Но учти — это зависит от тебя. Или ты нам сейчас все выкладываешь, и поскольку государство ущерба не потерпело, а ты чистосердечно раскаялся, мы тебя, может, и отпустим. Ты ведь сейчас даже не арестованный, а просто задержанный. Все будет шито-крыто, никто тебя, кроме товарища директора и меня, не видел, и хотя будешь ты на замечании, но официально ничем не замаранный. А будешь запираться, пойдешь в КПЗ, днем получим

санкцию прокурора на арест. И тогда уже крышка. Рассказать ты все равно расскажешь. Только тогда уже все будут знать, что ты арестован при попытке обокрасть государственное учреждение. А знаешь, как народ рассуждает: украл не украл, а украсть пытался, значит, вор... И на тебе пятно уже на всю жизнь. Ты вроде в ремесленное хотел? Когда документы подавать, через месяц? А ты в это время будешь под следствием, у подследственного документов не примут. И пойдет вся твоя жизнь кувырком... Вот думай давай и решай, чего тебе больше хочется — домой или в тюрьму.

Аверьяна Гавриловича пронзала жалость к этому несчастному парню. Какой он ни тупой, но ведь человек, зачем же коверкать, уродовать ему всю жизнь?

Он даже хотел вступиться, хотя бы несколько слов сказать в его защиту, но Кологойда категорическим жестом предотвратил его попытку.

Семен обмяк и обвис, словно из него вынули все кости, и только чудом держался на табурете. Он был раздавлен, уничтожен и меньше всего мог сейчас думать. И о чем думать? Жалеть о прошлом и настоящем, оплакивать будущее? Уже не было ни настоящего, ни будущего. Смятение, отчаяние и горькая жалость к самому себе сдавили ему горло, сжимали все туже, ему уже нечем было дышать, он открыл рот, но зажатое тисками горло не позволяло вздохнуть, и он, как полузадушенный, прерывисто, со стоном втягивал воздух в легкие, а по носу стекали жгучие капли слез и пота и шлепались на пыльный пол. Кологойда протянул ему чашку с остатком воды.

— На, герой, выпей.

Семен поднес чашку ко рту, сделал мучительный глоток, хотел еще, но больше не мог, держал чашку у рта, и слезы по носу стекали теперь в чашку.

— Ну, совсем расквасился, — сказал Кологойда. — Что мы тебе, враги? Мы тебе, дурню, добра хотим. Подговорили тебя?

— А-ага.

— Просто так, за «спасибо» ты не полезешь. Значит, за деньги?

— З-за день-ги.

— И сколько тебе обещали?

— Сто, — сказал Семен, постепенно приходя в себя. — Сто рублей обещали.

— За эту хреновину сто рублей? Брешешь!

— А чего мне брехать? Сто. Целой бумажкой.

— Сто новыми! — сказал Кологойда. — На старые — тыща рублей... Значит, здорово кому-то припекло колечко. А кому? Кто тебя послал?

— Бабка.

— Ага! — Кологойда, торжествуя, посмотрел на Аверьяна Гавриловича. — Выходит, была все-таки бабка!.. Какая бабка? — повернулся он снова к Семену.

— Лукьяниха... Ну, из нашего села которая, я ей колечки на базар привозил...

— Трухлявая старушенция такая, вроде побирушки? Богомолка?

— Ага.

— Позвольте, позвольте! — взволновался вдруг Аверьян Гаврилович. — Но ведь эта самая старуха... То есть тогда она еще не была старухой...

5

Лукьяниха ошибалась, думая, что ее прошлое бесследно стерлось в памяти людей. Может отказать, подвести память одного человека, можно уничтожить память отдельного человека вместе с ним самим — к этому средству охотно прибегали и прибегают власть имущие, пытаясь затереть воспоминания об их глупости, вероломстве и преступлениях. Но такие попытки тщетны: в соборной памяти людей ничто не пропадает и не исчезает. От одного к другому, по цепочке поколений, то вслух и въявь, то шепотком во мраке перелетают вести, затаиваются до поры, но рано или поздно наступает время, когда они оживают, выходят из-под спуда и становятся общим достоянием. «Нет тайного, что не стало бы явным», — сказал евангелист Матфей. Лукьяниха не знала этого, она не читала Евангелия да и вообще ничего не читала, так как была неграмотна, и ей казалось, что, вытравливая в себе воспоминания о прошлом, она уничтожает последнюю память о нем, но другие помнили. Мало, но кое-что знал и помнил дед Харлампий, который осел в Ганышах в двадцатом году, когда еще свежа была память об обитателях сгоревшего дома. И конечно, знал учитель Букреев, без устали колесивший по округе и собиравший не только поливные горшки и вышивки, но и все, что можно было узнать о прошлом Чугуновского уезда, его обитателях. Знания эти не имели применения, их оттирали, заслоняли непрестанно меняющиеся злобы дней бегущих, но вот они понадобились и всплыли в его памяти отчетливо и ясно.

— Стоп, товарищ директор! — Кологойда предостерегающе поднял руку. — А ну, выдь в коридор, — сказал он Семену.

Семен выпутал из табурета ноги, вышел и привалился к стене напротив двери.

— Так в чем дело с той самой старухой? Только тихо!

— А дело в том, — горячо зашептал Аверьян Гаврилович, — что кольцо-то я ведь купил у нее!

— Ха! Интересная получается карусель... Когда это было?

— Давно... Я ж говорю, она еще не была старухой, а просто пожилой женщиной. Можно проверить по инвентарной книге, но я помню и так... Да, точно: в тридцать втором. Тогда ведь, помните, голод был...

— Я, извиняюсь, не помню. Меня на свете не было.

— А? Ну да, конечно, конечно... Время, знаете, было тяжелое, за кусок хлеба готовы были все отдать. И чего только тогда не продавали!.. Вот среди всякой дребедени я и увидел это колечко. Заплатил за него какие-то пустяки. Старуха и тому была счастлива, потому что, посудите сами, — кто бы его, кроме меня, купил? Как украшение не годится — черное, невзрачное, без всякого камешка, и перстни вышли у нас из моды. Как обручальное тем более не годилось, да в ту пору обручальные кольца и носить перестали... Я пытался расспросить, что за кольцо, откуда, — Лукьяниха не имела никакого понятия. Очевидно, она подобрала его с другим хламом в помещичьем доме, а как, что и откуда — действительно не знала.

— В помещичьем доме?

— Ну да, в ганыкинском... В начале революции Ганыка бежал в чем стоял. Оставшееся имущество растащили, дом сожгли. Чем-то, надо думать, попользовалась и Лукьяниха. Она ведь в доме не то ключницей, не то экономкой была.

— Вон оно что! — сказал Кологойда. — Бабка-то, оказывается, из бывших.

— Что вы, какая там бывшая! Прислуга — вот и все... От того, что помещичий дом разорили, никто не разбогател. Ганыка был из последышей, проживал остатки. Если какие-то ценности были, должно быть, увез с собой, а дребедень — на ней не разбогатеешь... И Лукьяниха не разбогатела. Всю жизнь по чужим людям — не то прислуга, не то нахлебница, почти нищенка...

— Знаем мы тех нищих! Побираются, побираются, а помрет — тюфяк деньгами набит...

— Ну, товарищ Кологойда, вам такие басни повторять не к лицу. Эти сказки придумывали скупердяи себе в оправдание — чтобы голодному куска хлеба не дать... Бывали такие редчайшие случаи, но только до революции и во время нэпа, когда существовали профессиональные нищие. А кто сейчас живет подаянием христа ради?

— Тунеядцы, положим, имеются, — сказал Кологойда, — только теперь они не побираются: они воруют. Ну, то особ статья... А вот на кой пес бабке это кольцо? Что она шептуха, малость знахарствует — известно. Но чтоб насчет будущего, этой самой фортуны ворожила — что-то не слыхал.

— Колесо Фортуны, — сказал Аверьян Гаврилович, — вовсе не употребляется при ворожбе. Астрологи составляют гороскопы, так сказать, расписание человеческих жизней по звездам...

— Насчет звезд Лукьяниха вряд ли петрит... Тут что-то другое. И откуда у нее такие деньги? Да еще целой бумажкой. Сторублевку никто не подаст и не подарит... Где твоя бабка, Бабиченко?

— Сказала, будет ждать около колодца.

— Навряд, чтобы она там до сих пор сидела. Однако пойдем, посмотрим. Запирай свои капиталы, а ножик твой поломанный я возьму — на всякий случай... Что ж, товарищ директор, запирайте хозяйство и идите до дому, поскольку кража не состоялась. Только на будущее лучше проверяйте, чтобы еще кто-нибудь не забрался в музей ожидать автобуса...

— Теперь будьте покойны!

На дворе уже стоял белый день. Горькие дымки струились из труб и летних кухонь, надсадно кудахтали спозаранку опроставшиеся куры, величаво переваливаясь и гортанно перекликаясь, гусиная ватага потянулась из музейного двора к остаткам лужи в конце улицы.

Возле колодца Лукьянихи не было.

— Ну, где твоя соучастница?

Семен не знал, что ответить, и заглянул в колодец.

— Нет, старушки со сторублевками в колодцы не ситают.

— Может, у Сидорчучки?

— Какой Сидорчучки?

— Вон в том доме старуха живет. Лукьяниха у нее всегда ночует, а утром уезжает...

Семен испуганно приоткрыл рот и уставился за спину Кологойды. Кологойда оглянулся — к ним спешил так и не переодевшийся Аверьян Гаврилович.

— Ладно, — сказал Кологойда, — иди до той хозяйки. Только смотри — про меня и вообще — ни слова! Понятно? Бабке скажешь: кольцо взять не удалось — спугнули. Ты через окно драпанул, а сюда идти боялся, чтобы не выследили, спал в сквере на скамейке. Только не при хозяйке! Лучше всего вызови старуху во двор... Давай топай... Что еще случилось, товарищ директор? — спросил он, следя взглядом за Семеном Верстой.

Семен подошел к калитке в высоком заборе, за которым прятался соседний дом, толкнул, калитка была заперта. Он растерянно оглянулся, Кологойда выразительно махнул ему рукой, и это Семен понял влет — ухватился за верхний край досок, упираясь ногами, подтянулся и перемахнул через забор. Кологойда повернулся к Букрееву.

— Понимаете, — с некоторым смущением сказал Аверьян Гаврилович, — я тогда не досказал: кольцо-то ведь потеряно. Оно осталось тогда у моего приятеля, а он пропал без вести. Это я узнал уже после войны. Но у меня сохранился оттиск, запись размеров — я всегда сразу же описываю приобретенные экспонаты. Мне показалось полезным сохранить это загадочное кольцо в экспозиции, и я сам в свободное время сделал копию. Разумеется, уже из обыкновенного железа, а не химически чистого... В этикетке экспозиции я указал: «Кольцо-печатка», в скобках Д, то есть дубликат. До сих пор никого это кольцо не заинтересовало и ни одна живая душа про подделку не знает. Вам я говорю первому.

— То нехай, товарищ директор, все прочие души и не знают. Иначе может узнать и та самая душа, которая хотела украсть, а тогда поймать ее будет труднее.

— Да, да, вы правы, конечно... — согласился Аверьян Гаврилович. — Я, знаете, все время возвращаюсь к вашей фразе — «Какие воры залезли в историю и что им там понадобилось?». Вообще-то в переносном смысле это бывает довольно часто — то одни, то другие лезут в историю, что-то утаивают от людей, перекраивают... Здесь воры, так-скать, в прямом смысле. Недоросля подослала старуха. И вот этого я не могу понять — зачем деревенской богомольной старухе понадобился астрологический знак «колесо Фортуны»? Она просто не имеет о нем никакого понятия, ей эта вещь абсолютно не нужна.

— Тогда кому?

— В том-то и дело!.. Я не коренной чугуновец, но, можно сказать, старожил. Чуть ли не половина жителей — в прошлом мои ученики. Сейчас они уже, конечно, отцы семейств, седые, лысые... Я к тому, что, в общем, так-скать, круг интересов чугуновцев мне известен... ну и уровень заработков тоже. Так вот, я решительно не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из местных жителей ради какого-то железного кольца пошел на преступление, да еще и готов был выбросить за него сто рублей. Про сельских жителей я уж и не говорю...

— Что-то вы, товарищ директор, крутите вокруг да около, разводите всякие подходы... Вы что, знаете, кто это сделал?

— Боюсь, что да...

— Чего ж тут бояться? Очень хорошо!

— Как сказать... Доказательств никаких нет, одни догадки и предположения. Да и те основаны лишь на том, что эти люди — единственные здесь, кто может знать о таких вещах и интересоваться ими. Однако согласитесь, дико подозревать людей только потому, что они интеллигенты и знают то, чего не знают другие... Это просто чудовищно!.. А вместе с тем...

— Короче, товарищ директор, кто?

— Были у меня двое приезжих. Из Киева. Один — архитектор по охране памятников из Госстроя. Второй — кинорежиссер. Такой, знаете, представительный: в темных очках, ужасно бородатый и зачем-то с палкой, хотя очень молод и вполне здоров.

— Так, — сказал Кологойда, — приехали на серой «Волге», остановились в Доме колхозника, питаются в чайной. Водки не пьют, пьют коньяк и пьют здорово, но пьют безо всякого безобразия.

— Что ж вы хотите — столичные жители!

— Там всякие бывают... Так что они?

— Архитектор приехал проверить состояние коробки ганькинского дома на предмет возможного использования. А кинорежиссер привез его на своей «Волге». Это, так-скать, услуга приятелю и надежда, как он выразился, наткнуться на сюжет... Кроме того, он коллекционер — собирает всякого рода старинные предметы, особенно иконы. Это, знаете, очень модно сейчас. Ну, в Чугунове какая старина? Церковь да то, что в музее. Они побывали и там и там. Раскритиковали мою экспозицию — бедна, мол, примитивно-дидактична... Ради, мол, плакатов и фотографий не стоило открывать музей... Я тогда им свои

запасники показал, чтобы видели — бедны не от бедности, бедны от глупости... Ахнули. Особенно этот режиссер. Он как увидел Георгия Победоносца из Семигорского монастыря, из рук не хотел выпускать. Даже пытался уговорить продать ему — все равно-де здесь выставить не позволят...

— И за сколько сторговались? — прищурился Кологойда.

— Вы что, смеетесь? — вспыхнул Аверьян Гаврилович.

— Вот уже и пошутить нельзя... А до этого барахла... я извиняюсь — до гемымы... Он тоже приценивался?

— Нет. Посмотрел, но не очень внимательно. В общем, никакого интереса не проявил.

— И это все?

— Почти. Он еще расспрашивал, не знаю ли я каких-нибудь стариков, у которых могут оказаться древние иконы и вообще старинные предметы... Тут я взял грех на душу — сказал, не знаю таких. С какой стати я буду содействовать тому, чтобы ценности, которые, так-скать, являются достоянием района, попали в руки какого-то частного коллекционера, а не в музей?

Кологойда отмахнулся. Его не интересовали предположения об экспонатах, которых еще не было.

— Если он искал всяких стариков, может, и нашу бабку надыбал?

— Вот об этом я как раз и подумал. Он мог увидеть ее в церкви, на базаре, да мало ли где...

— Ладно, сейчас и про то спросим у бабки... — сказал Кологойда, увидев вышедшего из калитки Семена Версту. — Ну, где твоя Лукьяниха?

— Нема, — сказал Семен.

— Как нема? Куда она девалась?

— А что случилось, гражданин начальник?

Следом за Семеном из калитки колобочком выкатилась старушка с лицом тихой злыдни. В обхождении такие старушки неизменно кротки, всегда сладенько улыбаются, но тонкогубые рты их остаются при этом закрытыми, а глубоко запавшие глазки цепкими и настороженно внимательными. Всю жизнь их точит зависть. Они завидуют всем, считают себя обойденными, а всех остальных счастливчиками, не по заслугам оделенными судьбой и богом. Неизбывная зависть эта тщательно скрыта и лишь изредка прорывается в двух-трех ехидных словечках, произнесенных со сладкой улыбочкой, и тут же прячется снова.

Они жадно слушают пересуды о других, но помалкивают о себе, так как никому не доверяют и убеждены, что чем меньше другие о тебе знают, тем лучше — не смогут навредить.

Сидорчук сразу заподозрила неладное, когда вдруг появился долговязый недотепа, как про себя называла она Семена. После базара тот приносил пустые корзины, пошатавшись по городу часа два, забирал их снова и уезжал домой, никогда не оставаясь на ночь в Чугунове. Вчера он за корзинами не пришел и вот, оказалось, домой не поехал, а теперь ни свет ни заря явился за Лукьянихой. А та как раз, против обыкновения, ночевать не осталась. Что-то с ней вечером стряслось... Сидорчук попыталась выспросить Семена, но тот, глядя в сторону, тупо повторял то, что ему сказал Кологойда: проспал автобус, спал в сквере на скамейке, а сейчас вместе со старухой хотел ехать домой. Подозрения ее возросли еще больше, когда Семен пошел со двора, но корзин опять не взял. Сидорчук пошла следом, выглянула в приоткрытую калитку, и сердце у нее упало: Семена Версту поджидал милиционер.

— То и есть хозяйка? — спросил Кологойда у Семена.

— Ага.

— Здрасьте! — козырнул Кологойда. — Так куда вы девали свою подружку?

— Кака така подружка? Поночевщица, и все, — поджимая губы, сказала Сидорчук. — А что она такое исделала, что ее милиция разыскивает?

— Ничего не сделала, и милиции ее искать незачем — она при своем месте. Родственники у нее обнаружились, вот они и разыскивают. Племяши или что-то вроде Володи... Как говорится, нашему забору двоюродный плетень...

Кологойда врал без зазрения совести, так как с первого взгляда определил про себя Сидорчук как «стерву», которую совершенно незачем информировать.

— Ага, ага, — согласно покивала Сидорчук. — Это хорошо! Вот уж как хорошо... — Она не поверила ни одному слову уполномоченного, зная, что Лукьяниха одинока как перст, все ее родственные связи оборвал отъезд в Петербург. А если и осталась какая-то родня в непонятно далекой бывшей Олонецкой губернии, кто и зачем стал бы морочить себе голову, разыскивая почти девяностолетнюю старуху? И почему здесь, кроме милиционера, находится полуодетый директор музея?

— Может, на наследство надеются — вдруг она богатая, Лукьяниха? — пошутил Кологойда.

— Уж куда богаче! — поддержала шутку Сидорчук.

— Пускай сами разбираются. Наше дело — известить. Я вот увидал этого парня из Ганышей, решил бюрократизма не разводить, передать через него, а он говорит, Лукьяниха здесь, у вас ночует...

— А не ночевала! Не ночевала, — подхватила Сидорчук. — Еще ввечеру ушла.

— Куда? Домой, что ли? — небрежно спросил Кологойда и тут же чертыхнулся про себя, поняв, что спрашивать не следовало.

Сидорчук только этого вопроса и не хватало. Он подтвердил, что разговор о родственниках Лукьянихи — чистое вранье, случилось что-то с ней самой, но что бы ни случилось, следовало накрепко отгородиться и от происшедшего, и от Лукьянихи. Для этого была надежная позиция: ничего не видала, ничего не слыхала, ничего не говорила...

— А я не знаю, гражданин начальник, — умильно улыбнулась она. — Должно, домой. Куда ей иначе ехать? Только мне она не докладывала, а я не спрашивала. Мое дело какое? Приехала — хорошо, уехала — того лучше... А что, куда да зачем — не знаю и знать не хочу. Я в чужие дела не впутываюсь.

— Вот и правильно. Бывайте здоровы, — сказал Кологойда, поворачиваясь к ней спиной, и нарочито громко, чтобы она услышала, добавил: — Пойдем, хлопче, в отделение, я напишу старухе извещение — пускай сама отвечает своим родственникам, чтобы мне из-за этого в Ганыши не мотать.

На углу Кологойда остановился.

— Вот чертова баба! — сказал Кологойда, перейдя на другую сторону улицы. Он досадливо сдвинул фуражку с затылка на нос и сплюнул.

Досада относилась не столько к Сидорчук, сколько к самому себе. Не потому, что врал. Иногда не грех и соврать. Только врать надо так, чтобы было похоже на правду. А у него не получилось, и стерва эта враз смикитила. Ну, какой уважающий себя уполномоченный побежит ни свет ни заря разыскивать никчемную старуху? Он или извещение пошлет, или к себе вызовет. А тут еще этот директор в тапочках. Он-то тут при чем?

— Вы говорите о Сидорчук? — спросил Аверьян Гаврилович. — Нормальная женщина, по-моему.

— Да не оглядывайтесь вы, за ради бога, товарищ директор! Она же за нами подглядывает. Теперь ее целый день от дырки в заборе не оторвешь... Нормальная... То вы людей только с лица видите, а нам приходится и в изнанку заглядывать. И вообще, — с некоторой даже досадой сказал Кологойда, — шли бы вы домой, товарищ директор. Или хотя бы оделись, что ли...

— Да, да, конечно... — Аверьян Гаврилович переконфузился. — Белый день настал, а я в таком виде... Убегаю, только, если не секрет, что вы намерены предпринять?

— Не секрет, товарищ директор: спать пойду.

— То есть как?

— А вот так. Ночь-то мы с вами прокукали из-за этого сопливого взломщика. Не знаю, как у вас, у меня башка — во... А за дурною, говорят, головою и ногам нема покою. Так что давайте пожалеем наши ноги... Бывайте здоровы!

Несмотря на твердое обещание идти домой спать, Кологойда свернул за угол и зашагал в отделение. Через некоторое время он услышал за спиной странные звуки и оглянулся. Волоча ноги, дергая носом и всхлипывая, за ним, как на казнь, плелся Семен Верста.

— Ты чего?

— Вы ж меня в милицию ведете, — прогугнявил Семен.

— Тю! Да на черта ты там сдался? Езжай до своих коров. Только смотри: бабке скажешь, как я сказал. И больше никому чтобы слова не пискнул. Понятно?

Семен всхлипнул еще горестнее.

— Ну?

— Батько бить будут, шо до стада опоздал...

— Ну, брат, я свою задницу вместо твоей не подставлю... Ничего, она у тебя тренированная — выдержит. А ты лучше запомнишь, что воровать — дело невыгодное.

Возле отделения милиции стоял мотоцикл инспектора ГАИ. Старший лейтенант Онищенко доставал из стола какие-то бумаги, просматривал и засовывал их в планшетку. Развесив толстые губы и громко сопя, Щербатюк спал над своими конспектами.

— Дорожному богу — привет! — сказал Кологойда. — Чего так рано?

— В область еду, майор вызывает, — не поднимая головы, ответил Онищенко.

— Эх, не повезло! Я думал, ты мне поможешь одно дельце провернуть...

Онищенко оторвался от бумаг и посмотрел на Кологойду.

— Да тут приехали двое из Киева. На частной «Волге». Остановились в Доме колхозника.

— Ну?

— У меня к ним ничего конкретного. Просто надо бы кое-что выяснить. Не в лоб, а так, с подходом... А они вроде собираются уезжать. Я задержать их не могу, нет оснований. Так я подумал, может, ты задержишь денька на два. Им промфинплан не выполнять, день туда, день сюда роли не играет. А у вашего брата всегда найдется законное основание.

— Уже, — сказал Онищенко. — Еще вчера.

— Ну да? — восхитился Кологойда. — Вот здорово! За что ж ты их?

— Пускай не будет такой умный! Бараночник...

Онищенко вложил в это слово все презрение, которое испытывал к автолюбителям, если они не смыслили в машине, сами ничего исправить или починить не могли, а умели только «жать на железку» да «крутить баранку».

— Я, понимаешь, проезжаю мимо, вижу незнакомая машина, остановился. Кто, что, сколько прошла. По-человечески. Смотрю — машина новенькая, можно сказать, еще теплая, а газует, как старый трактор. «У вас, говорю, карбюратор переливает или зажигание позднее. Отрегулировать надо». А бородатый так это, через губу, понимаешь: «У вас советов не спрашивают, машину в столице признали исправной, как-нибудь она и в районе пройдет»... Ах, ты так? Ваши права! Мы в столицах не живем. Может, там все машины газуют, а у нас не положено. Номера я у вас снимаю. Будьте любезны исправить и предъявить в исправленном виде. Тогда и получите свои номера. Ну, он тут, понимаешь, в крик, бородой размахивает, книжечку тычет...

— Навряд! — сказал Кологойда и с деланным простодушием пояснил: — Мабуть, наоборот, поскольку бородой размахивать трудно...

Онищенко был мужчина серьезный, шуток не понимал и замечание Кологойды пустил мимо ушей.

— Подумаешь — он там какой-то член! Сейчас все — члены. Плевал я на его книжечку и на его бороду...

— Не надо! — серьезно сказал Кологойда. — Вот на бороду не надо. Некультурно. И кроме того — оскорбление личности. Статья такая-то УК УССР.

Онищенко игнорировал и это замечание.

— Я хотел по-хорошему, в конце концов, сам бы помог, исправил, — сказал он, застегивая планшет. — Не хочешь, загорай теперь. Вот они лежат, — показал он на две номерные жестянки на столе, — и будут лежать, пока не исправят, как положено.

— Благодарю вам-вас, — сказал Кологойда. Он очень любил Аркадия Райкина и часто повторял словечки его персонажей. — Теперь я попробую прийти на помощь людям, терпящим бедствие, и скрозь это завоевать среди них авторитет.

— Ты только, смотри, мой авторитет не подрывай! А то я тебя, трепло, знаю...

— Миша! — с чувством сказал Кологойда и, растопырив пальцы, прижал руку к груди. — Да нехай меня святая мольния убьет!

Онищенко недоверчиво хмыкнул и ушел.

6

Перед тем как идти в Дом колхозника, Кологойда снова заглянул в отделение. Оказалось, бородатый режиссер приходил к Егорченке жаловаться на самодурство автоинспектора, но сочувствия не нашел.

— Вы словами не кидайтесь, гражданин. То не самодурство, а порядок. Дымит у вас машина? Дымит. Значит, правильно старший лейтенант указал на дефект.

— Да, но...

Режиссер начал доказывать, что он должен срочно возвращаться, его ждет съемочная группа. Там каждый день простоя несет убытки в десятки тысяч рублей, а он здесь теряет время...

— А вы не теряйте, — сказал Егорченко. — Исправьте дефект и езжайте. Не можете сами — остановите любого шофера, он вам сделает.

Светло-серая «Волга» стояла в кружевной тени белой акации, разинув пасть капота. Казалось, какой-то невиданный альбинос на округлых коротких лапах исходит немотным криком, взывая о помощи. Никто не обращал внимания на этот немой призыв. Окрашенные грязно-зеленой краской, пропыленные колхозные «ЗИЛы» и трехтонки были как бы совсем другой породы. Им не было

дела до шикарных альбиносов, гремя и побрякивая, они проносились мимо. Заслышав гром и бряк, режиссер выбегал на дорогу, махал руками, даже пританцовывал от нетерпения. Идущие порожняком изредка останавливались, но, выслушав бородача, водители с сомнением поглядывали на «Волгу», отрицательно качали головой и трогали с места.

Откинувшись на спинку скамейки, под той же акацией сидел архитектор и вприщурку наблюдал за беготней своего товарища. Подходя, Кологойда явственно услышал, как тот сказал: «Вот еще один на вашу голову. Смотрите, Олег, не лезьте снова в бутылку, хуже будет». Режиссер бросил на Кологойду ненавидящий взгляд и побежал к дороге, по которой дребезжал очередной грузовик.

Кологойда сделал вид, будто ничего не слышал, не заметил и, подойдя, козырнул архитектору.

— Здравия желаю! В какую сторону собираетесь?

— Чинить собираемся.

— Такая новенькая и уже чинить?

Грузовик проехал мимо, бородач вернулся. Ноздри его раздувались от бешенства.

— Проверять пришли? — с ненавистью выпалил он Кологойде.

— А зачем вас проверять? Я думал, если по пути, может, меня прихватите?

— Никуда я вас не повезу! Скажите спасибо автоинспектору — он снял номера. Из-за дурацкой придирки...

— Олег, — сказал архитектор, — помните о бутылке!

— Да, да, Игорь Васильевич! Из-за дурацкой придирки мы должны торчать в этой проклятой дыре... И ни одна сволочь, — он с ненавистью посмотрел на проехавший грузовик, — ни одна сволочь не хочет помочь...

— Да чего там не хочет... — миролюбиво сказал Кологойда, хотя, по правде сказать, ему очень хотелось дать подзатыльник этому типу. — Кто откажется от поллитра? Не умеют они. Грузовиком кое-как управляют, а на «Волге» не ездили. Вот и сомневаются. А вы сразу сволочить... А в чем, собственно, дело? Ну-ка, заведите...

— А вы... разбираетесь? — с недоверием и надеждой спросил режиссер.

— Трошки. В армии довелось мараковать.

Стартер зарычал раз, второй, наконец заработал и мотор. Громко урча, глушитель поплевывал струйкой черного дыма, время от времени резкий хлопок выталкивал целый клуб.

— Угу, — сказал Кологойда, — факт налицо — газует, как трактор на солярке. Где ваши причиндалы? Ну, инструменты, — пояснил он, встретив недоумевающий взгляд режиссера.

— Должно быть, там. — Режиссер повел рукой в сторону багажника.

«Да ты, оказывается, вовсе тютя», — подумал Кологойда и полез в багажник. Пропыленность сумки и девственная чистота инструментов подтвердили его заключение.

Он снял воздухоочиститель, крышку карбюратора, сетка отогнул опорный язычок поплавка и поставил крышку на место.

— Заводите снова!

— Вы же забыли эту штуку! — с ужасом и торжеством сказал режиссер, показывая на воздухоочиститель. Он как завороженный провожал взглядом каждое движение Кологойды, не слишком поверив в умение и знания какого-то милиционера, и хотя сам не знал ничего, был уверен, что, если тот начнет портачить, он обязательно заметит и не допустит. И вот опасения его сразу же подтвердились.

— На стоянке эта штука может полежать. Галка в карбюратор не полезет, мух нема, и песок с неба не падает.

Режиссер пожал толстыми плечиками и полез за баранку. Хлопков больше не было, глушитель урчал тише, струйка черного дыма осталась, но стала немного жиже.

Кологойда отпустил стопор трамблера, повернул его вправо, влево, нашел положение, при котором мотор работал устойчивей и тише, поставил воздухоочиститель на место. Дыма больше не было, глушитель, пришепетывая, еле слышно что-то бормотал.

— Вот и всего делов, — сказал Кологойда. — Окончательно отрегулировать надо трамблером на ходу. Тряпка у вас есть?

— Тряпки? — удивился режиссер. — Ах, руки... Я вам пасту дам. У меня есть замечательная паста. Заграничная... Вот. — Он выдавил из тюбика на ладонь Кологойды колбаску прозрачного желе.

— Вроде духами пахнет, — сказал Кологойда.

— Да, да! — радостно подтвердил режиссер. — Вы трите, трите! Как будто моете руки. Понимаете? Без воды, без мыла... Удивительная паста!.. Вот видите? Видите?.. — в полном восторге восклицал он, наблюдая, как прозрачное желе превращается на руках Кологойды

в черные окатыши грязи, а руки становятся чистыми. — Может, еще дать? Вы не стесняйтесь, у меня много... Я вам целый тюбик подарю...

Кологойда сгонял черные окатыши и наблюдал за режиссером. Это же пацан! Бородатый пацан...

Их немало развелось, таких великовозрастных пацанов. Привыкнут в детсадике ходить гуськом, держась за подол переднего, так потом и идут всю жизнь, держась за ручку слишком заботливых пап и мам, родственников и знакомых... Их оберегают от забот, за них исправляют, за ними прибирают. Кончают они учение, начинают жизнь взрослых, но остаются детьми — держатся за незримый, но непременный подол...

Им с детства долдонят, что для каждого открыты все пути — выбирай любой. Они часто выбирают какую-либо отрасль творчества: им кажется, что это кратчайший и легчайший путь к славе и деньгам, то есть, по их мнению, к удовольствиям, а в своем праве на удовольствия они не сомневаются. Они слышали и даже сами повторяют, что творчество — это талант и труд, но, не имея никакого таланта, не понимают, что это такое, и убеждены, что творчеству можно научить и научиться — для этого достаточно закончить соответствующий вуз. Заканчивают. В каких-то простейших правилах и навыках их натаскивают, дают дипломы, и они начинают будто бы творить — писать будто научные труды, будто стихи и романы, будто картины... Все это получается более или менее наукообразным, литературообразным, картинообразным...

Они слышали о том, что у художника должно быть свое лицо, но их творческие лица неразличимы, как пятки. Создать что-то оригинальное они не могут, так как воображения у них нет — они обходятся хорошей памятью на чужое и из обрывков чужого комбинируют как бы свое. «Как бы» потому, что похоже-то оно на чужое похоже, но сказать с уверенностью, что украдено, — нельзя.

Убеждения им с успехом заменяют трескучие фразы, а все чувства подчинены необъятному самомнению. Ни думать, ни чувствовать они не научились, поэтому управляют ими не разум и страсть, а импульсы — от любого пустяка, если он близко их касается, они приходят в ярость или отчаяние и столь же легко впадают в восторг.

Нечто вроде восторга испытывал сейчас и режиссер, но ему мало было своей радости, непременно нужно было, чтобы эту радость разделили и другие.

— Видите, видите, какие руки? Почти стерильные. Замечательная паста!.. — и тут же его занесло в другую сторону. — Выходит, я прав: неисправность ерундовская, и это была дурацкая придирка! Просто автоинспектору захотелось показать себя большим начальником...

— Нет, — сказал Кологойда. — Онищенко ничего не показывал, он про вас думал.

— Как же, — хмыкнул режиссер. — Может, ему еще спасибо сказать?

— Обязательно! Что получается, когда зажигание позднее да еще карбюратор переливает? Ну, на больших оборотах мотор тянет, но заводится плохо, а на малых оборотах, чуть что — глохнет. Бывало такое?

— Бывало, — после паузы подтвердил архитектор. Бородач молчал.

— Значит, в сложной ситуации, скажем, на перекрестке, переезде — в самый неподходящий момент — он может заглохнуть. Вы заводить, а он не заводится... а тут поезд или машина наперерез. Ну и что из вас будет? Блин!

— Веселая перспектива, — сказал архитектор.

— Вот так, товарищ водитель, — сказал Кологойда и закрыл капот.

— В общем, по Маяковскому — «Моя милиция меня бережет», — сказал архитектор.

— Угу. Вас. И других от вас.

— Не знаю, не знаю, может, вы и правы, — смущенно пробормотал режиссер, — во всяком случае — большое вам спасибо! И пожалуйста... вот!..

— Олег! — предостерегающе окликнул архитектор.

Но Кологойда уже увидел, что режиссер протягивает ему зеленую бумажку, зажатую между указательным и средним пальцами. С каким бы наслаждением он треснул сейчас этого бородатого шкета, чтобы он раз навсегда запомнил... К сожалению, треснуть было нельзя.

— Шо то такое?

— За работу. Вы же сами назначили цену.

— То — шоферская цена, милиция стоит дороже, — мрачно пошутил Кологойда.

— Так, пожалуйста, скажите... Я с удовольствием...

— Грошей у вас не хватит, чтобы милицию покупать! Уши режиссера пылали, как факелы.

— Но я вовсе не думал, не хотел... Труд есть труд, — лопотал он. — Вы же не обязаны...

— Вот именно. К вам по-хорошему, а вы трешку

суете. Вы все в рубли переводите? Или милиционера не считаете человеком? Может, еще стопку поднесете — на, мол, подавись, и иди к чертовой матери?..

Кологойда притворялся ужасно оскорбленным и гвоздил словами залившегося краской бородача, чтобы он стал «помягче», податливее... Режиссер взмок и порывался что-то сказать.

— Вы не обижайтесь, товарищ лейтенант, — поспешил на выручку архитектор. — Ну, ляпнул, не подумавши...

— В таком возрасте пора думать! — жестко подвел черту Кологойда и уже примирительно сказал: — Ладно. Я плату с вас натурой возьму.

— По-пожалуйста!.. — прерывисто вздохнув, будто всхлипнув, сказал режиссер.

— Вообще-то я мог бы просто мобилизовать вашу машину, временно, конечно, поскольку правилами это допускается в целях преследования преступника...

— Как? Ради бога! Что ж вы сразу не сказали?..

Бородач был счастлив, что щепетильный разговор оборвался, неприятности остались позади и открылась даже возможность как-то их загладить. Но тут же его осенила необычайно оригинальная, по его мнению, мысль, и энтузиазм вспузырился в нем, как шумная пена в стакане газированной воды.

— Серьезное преступление?.. Так это ж здорово!.. То есть, я хотел сказать, хорошо, что я тут оказался... Скажите, никак нельзя отложить на день? А? Он не уйдет? Не скроется? Я бы сейчас связался с Киевом, договорился о высылке съемочной группы. Ну, лихтваген вряд ли дадут, а группа завтра будет тут. И мы с ходу сделаем документальный фильм о поимке преступника... Нет, не беспокойтесь, мы вам не помешаем, мы скрытой камерой будем работать... Мы с вами такую конфетку сделаем! Представляете? «Грозовая ночь» или «Гроза после полуночи»... А?

Перед его мысленным взором стремительно неслась сечка кинокадров: машина мчится по шоссе, бешено вращающееся колесо, фары полосуют мрак, наклонившиеся вперед силуэты сидящих в машине людей, а над ними рвущий душу вой сирены, впереди где-то в лесу мельтешит на поворотах преследуемый «Москвичок», нет, «Запорожец», останавливается на краю оврага, кувыркаясь, все быстрее летит в овраг, взрывается бензобак, машину охватывает пламя, черная тень бросается в чащу леса,

овчарки рвутся с поводков, и тут слепящий удар молнии, обвальный грохот грома, ураганный ветер...

Режиссер с надеждой взглянул на небо, но оно было совершенно ясно, безоблачно и не предвещало никаких атмосферных катаклизмов. Ничего, грозу можно доснять в студии — там и ветродуй, и всякое такое... Он отступил на несколько шагов и, сделав из ладоней рамку, прикинул, как этот лейтенант вписывается в кадр. Лейтенант вписывался прекрасно. Ну конечно, фуражку придется поправить, чтобы сидела как положено, а не сдвинутая козырьком на нос.

Кологойда вприщурку наблюдал за его манипуляциями и простодушно спросил:

— А зачем ночью? Ночью спать полагается.

— Но это же эффектнее! В смысле освещения и вообще... Фары, огни, молния. Как вы не понимаете?.. Ну, согласны? Вы сами должны быть заинтересованы — это же популяризация работы милиции!..

Кологойда представил лицо Егорченки и что тот скажет, когда узнает о намерении снимать Кологойду для кино... Он засмеялся и махнул рукой.

— Какое там кино! У нас преступники не те. Гангстеров нема, банк никто не грабит — и кто бы это позволил? Какие у нас преступления: сел пьяный за баранку, перепились дружки, надавали друг другу по мордам, ну, продавщицу поймали — недовешивала, обсчитывала...

Лицо режиссера вытянулось, насколько позволяла его округлость.

— Вы же сказали — кого-то надо преследовать.

— Да я в шутку. Мне просто надо проехать на свой участок, побеседовать с одной бабкой...

— Самогонщица? Сектантка? — с остатками надежды спросил режиссер.

— Шо вам обязательно нарушения мерещатся? Нормальная старушка. Богомолка. Лепит глиняные мисочки. К нам запрос поступил — разыскивают люди родственницу. Вот и надо проверить, может, это она и есть.

Последние пузырьки энтузиазма и надежд лопнули, на лице режиссера отпечаталось полное равнодушие.

— Вообще-то мы собирались домой.

— Вот по дороге и подбросьте меня в Ганыши.

И теперь лицо режиссера не дрогнуло.

— А номера? Как же без номеров ехать?

— Подъедем к отделению, может, утрясем как-нибудь.

Егорченко выслушал, покрутил головой, но «под лич-

ную ответственность» Кологойды разрешил взять номера. Преодолев изрытый, раздолбанный выезд, «Волга» распласталась в шуршащем полете над асфальтом.

— Что ж вы мало у нас гостевали? — спросил Кологойда, усаживаясь так, чтобы видеть в зеркальце лицо режиссера. — Или Чугуново не понравилось?

— А что в нем хорошего? — сказал режиссер. — Захолустная дыра!

— Нормальный райцентр, по-моему, — сухо и внушительно сказал архитектор и повернулся к Кологойде: — Я, собственно, свои дела закончил — побывал у вашего начальства, Степана Степановича... Насчет обгорелой коробки в Ганышах.

— Помещичьего дома? А что с той коробкой?

— Утилизировать надо бы. Художественной ценности она не имеет, поэтому Госстрой не может взять ее под охрану. А я проверил — фундамент прекрасный, стены нигде не осели, не растрескались. Пока еще вполне можно восстановить и устроить колхозный дом отдыха, например. Место здоровое, красивое — река, лес...

— Место хорошее... И что Степан Степанович?

— Сказал «подумаем, посоветуемся»... В общем, ничего не сказал. А жаль. Добротная коробка — это ведь наполовину готовый дом. И зря пропадает.

— Да... — покивал головой Кологойда и повернулся к режиссеру: — А вы ничего интересного не нашли в нашем Чугунове?

— Что в нем может быть интересного? — Лицо режиссера выражало одно презрение. — Базар, козы?

— Ну козы как козы... А в музее вы были? Не в каждом райцентре есть музей.

Лицо режиссера не дрогнуло.

— Музей! Это же красный уголок, а не музей. Плакаты, фотографии...

— Да, — повернулся к Кологойде архитектор. — Экспозиция, то есть выставленные экспонаты, действительно не представляют интереса, хотя в запаснике кое-что любопытное есть. Ну, это общая беда многих музеев... А знаете, какой самый привлекательный там экспонат? Директор.

— Что в нем особенного? — сказал режиссер. — Обыкновенный фанат.

— Вы не правы, Олег! — сказал архитектор. — Это очень знающий, интересный человек.

— Точно, — подтвердил Кологойда, откидываясь на спинку сиденья, — голова — что надо!

Нет, или они сверхловко притворяются, или никак в эту историю не замешаны. Директор, конечно, голова, но тут он маху дал — видно, киевлянам то кольцо — до лампочки...

— Вообще-то я, — небрежно сказал режиссер, — надеялся натолкнуться на какой-нибудь любопытный сюжет, поэтому и набился в извозчики Игорю Васильевичу. Чтобы заснять хотя бы одночастевку. Ну, какое-нибудь происшествие или рассказ о выдающемся человеке.

— И что, нема? — Режиссер только хмыкнул в ответ. — Я там не знаю, может, особо выдающихся и нет... А все-таки живут же люди.

— Я вас прошу... Какие там люди?..

Вася Кологойда не страдал уездным патриотизмом и про себя не так уж высоко ценил Чугуново, понимал, что есть города и получше, но критику его считал прерогативой жителей и не любил, когда всякие заезжие свистуны, ничего и никого не зная, пренебрежительно через губу говорят о нем.

— Всякие люди, — сказал Кологойда. — Взять хотя бы того же директора музея.

— Что это был бы за фильм? Директор с одним экспонатом, директор с другим экспонатом? Это же статика! А кинематограф — весь движение, развитие действия...

— А какие картины вы снимали? Может, и я видал...

— Разные, — ответил режиссер, но не назвал ни одной. Снял он всего несколько одночастевок, и пока хвалили их только коллеги, которые снимали такие же фильмы и ждали от него ответной хвалы. — Последнее время я снимал для телевидения. Главным образом концерты. Песни, танцы, в общем, эстраду...

— Ага! Ну раз вы специалист по этому делу, вы мне и объясните... Телевизора у меня нема, бо и хаты еще нема. Да и смотреть особенно некогда: служба, то-се... Ну, у хозяйки есть, смотрит она все подряд, пока программа не кончится. Иной раз и я глаз кину... Так я хочу вас спросить, что это за мода такая пошла? Раньше как-то оно было не так: артист или там артистка стоят, смотрят на тебя и поют. Получается вроде они для тебя поют. Ну, одни просто поют, другие еще и переживают. Но, в общем, все видно и все понятно. А теперь ну никак не могут они на одном месте устоять! Только

запел — и пошел... Туда, сюда, между деревьев там, столбами или еще чем-нибудь.

— Как вы не понимаете, — снисходительно сказал режиссер. — Тем самым создается настроение, особая атмосфера лиризма, проникновение в исполняемое произведение...

— Так я ж и говорю, что не понимаю... — Архитектор, еле заметно усмехаясь, оглянулся на Кологойду. — Когда танцоры бегают, прыгают — тут все понятно: у них специальность такая — ногами работать. А певице зачем? Тем более иной раз имеется угрожаемость членовредительства. Вот я видел, как выступала одна, заслуженная или даже народная. Глотка у нее — будь здоров. Ну, она там ходила в разные стороны и пела, а потом показывают горбатый мостик из березовых жердей и как она на тот мостик взбирается, а потом с него спускается. И поет. Когда настоящий мостик через речку, я понимаю: над речкой, особенно вечером, здорово голос разносится. А тут никакой речки нет, стоит мостик прямо на полу, и артистка зачем-то на него дряпается. А дамочка она солидной комплекции и в возрасте... Дряпается она, бедолага, на тот мостик и поет, только видно, что думает она не про то, что поет, а про то, как бы не загреметь и не переломать себе руки и ноги...

Архитектор, посмеиваясь, искоса наблюдал за наливающимся краской режиссером.

— Вы не понимаете специфики кино, — раздраженно сказал режиссер. — Это вчерашний день искусства, когда артисты стояли, как столбы, на одном месте.

— А если они слоняются как неприкаянные или мечутся как угорелые, — то уже, значит, день сегодняшний?

— Зритель консервативен, — поучительно сказал режиссер, — он привык к чему-то и хочет, чтобы ему постоянно давали то, к чему он привык. А искусство не может стоять на месте, оно развивается. У каждого художника своя точка зрения, он по-своему видит и изображает мир...

— Так я не против, — сказал Кологойда. — Только вот видел я, как-то певца показали. Ну, он запел, а на экране лестница, сквозная такая — через нее все видать. И вот по этой лестнице, только с той стороны, видно, спускаются туфли, потом брюки и все прочее — словом, человек спиной до зрителя. Спустился и пошел дальше, и все задом до зрителя. Ну, может, у режиссера такая

точка, пускай он сам смотрит, я не против — а зачем мне, я извиняюсь, смотреть тому певцу в зад? Что он, поет этим местом или как?

Архитектор засмеялся, режиссер стал малиновым: в одночастевке у него тоже был похожий проход, только там была артистка, и она, спустившись по лестнице спиной к зрителю, потом поворачивалась в профиль и пела свою песню, бродя между деревьями, то появляясь, то исчезая...

— Сдавайтесь, Олег, вас положили на обе лопатки! — сказал архитектор.

Режиссер собирался ответить что-то резкое, но не нашелся и пристыженно улыбнулся.

— А ну вас обоих...

— Вы не обижайтесь, товарищ режиссер, если я что не так, — сказал Кологойда, — мы люди темные, в искусстве не разбираемся.

«Волга» перемахнула через мост над Соколом, свернула вправо и, взвизгнув тормозами, остановилась против сельмага.

— Большое спасибо! — сказал Кологойда, вылезая из машины.

— Это вам спасибо! — ответил режиссер. — А почему вы здесь выходите? Где та старуха живет? Давайте я вас подкину...

Он снял очки, взгляд его был открыт и простодушен.

— В самом деле, товарищ лейтенант! — поддержал его архитектор. — Минутное дело.

«Нет, они непричастны, — окончательно утвердился Кологойда. — Никакого дела со старухой не имели, иначе бы не шли так спокойно на встречу с ней».

— Да что вы, — засмеялся Кологойда. — Если я туда примчусь на «Волге», все село сбежится смотреть, что милиция будет делать с Лукъянихой: арестует ее или сразу начнет стрелять?.. В нашем деле тоже подход нужен, вроде дипломатии. Придется мне пешком дряпаться на эту гору... как вашим артистам, — подмигнул он.

Они дружески распрощались, «Волга» взревела мотором, набирая скорость, и шмыгнула за бугор, на котором стоял сельмаг. Задерживать киевлян смысла не было — они явно ни при чем. А в случае чего — номер записан, найти их легче легкого.

7

Прикрывая глаза от слепящего солнца, Кологойда сдвинул козырек к носу и начал «дряпаться» в гору.

Дипломатия состояла прежде всего в том, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Главное — «не пороть горячку», чтобы ни у кого не возникло подозрений, будто что-то случилось. И Кологойда лениво, чуть ли не нога за ногу, шел по улице, здороваясь со встречными, приостанавливался, чтобы перекинуться несколькими словами, из которых явствовало, что у той и другой стороны все в полном порядке, вот только жарко, но пар костей не ломит, а для хлебов это хорошо. И всем было очевидно, что ничего не произошло, никаких особых дел, которые гнали бы его по солнцепеку, у лейтенанта нет, и идти ему вовсе не хочется, но что поделаешь — служба...

Наперерез ему потянулось небольшое стадо коров, следом, волоча ноги, плелся Семен Верста. Кологойда подождал, пока тот поравнялся с ним.

— Ну, вздул тебя батько?

Семен исподлобья зыркнул на него.

— Не... Только в ухо дали. И ушли на дежурство.

— Вот и ладно, тем дело и кончится.

Семен ничего не ответил и поплелся дальше. Он-то знал, что батько долгов за собой не оставлял, рано или поздно выдавал все, что положено.

Кологойде не нужно было притворяться, он в самом деле захотел пить и, поравнявшись с усадьбой Байдашного, окликнул хозяйку и спросил, нельзя ли напиться.

— А пейте на здоровье. Только что из колодца вытянула свеженькой.

Байдашная сидела под навесом и в большом чугунном казане замешивала корм для поросенка, который требовательно повизгивал в низеньком хлеву. Рядом на табурете стояли запотевшее ведро и медная кружка. От холодной воды заныли зубы.

— Хорошо тут у вас, в холодке.

— А сидайте, прохолоньте трошки.

Кологойда охотно присел на колоду, снял фуражку.

— Вкусная вода. И кружка вкусная.

— Та господь с вами! — засмеялась Байдашная. — Кружка и кружка. Как это может быть — кружка и вкусная?

— Очень обыкновенно. Большая разница — из чего

пить. Взять, к примеру, алюминиевую кружку — ни то ни се. Или бумажные стаканчики... Оно, конечно, удобно: мыть не надо, попил, выбросил, но вкуса — никакого. А это вещь старинная, основательная. Теперь таких не делают, — говорил Кологойда, разглядывая тускло поблескивающую красную медь и потемневшую местами, облезлую полуду тяжелой кружки.

— То мой тато еще с германской войны принесли. И дуже ее любили. И муж любит.

— Значит, тоже вкус понимает. Для бывшего солдата настоящая кружка — первое дело. Она, в крайности, и котелок, и чайник, и рюмка... А хозяин, мабуть, в кузне, до уборки готовится?

— Где ж ему еще быть. У вас дело до него или как?

— Да нет, какие там дела? Просто так, все ли живы-здоровы.

— Все, слава богу. Все.

— И бабка эта ваша приблудная? Что-то я ее давно не видел... Как ее там?

— Лукьяновна? Жива, жива... Только, видно, года свое берут. Днями расхворалась, совсем было помирать собралась. Потом ничего, отлежалась. Повезла свои глечики в Чугуново. Да вот что-то нет ее и нет, а давно должна вернуться. Я уж думаю, не захворала ли опять?

— Так уж обязательно захворала... Распродала свой товар, вдарила с подружками по чарке, вот и все...

— Та господь с вами! Грех над старухой смеяться... И подружек у нее никаких нет — перемерли все. Одна Сидорчучка и осталась, а у той не засидишься...

— Никуда ваша бабка не денется. В крайности, не явится — объявим всесоюзный розыск, — пошутил Кологойда. — Я вот все хочу спросить — что это у вас за цветы такие?

— А правда хорошие? — польщенно заулыбалась Байдашная. — Мальвы называются.

Сельские жители не заводят цветников и клумб: не в обычае да и каждая пядь земли дорога для огорода. Но как бы ни был скуден участок, почти перед каждой хатой обязательно посажены цветы. Пунцовые, белые, горящие золотом, они величаво покачиваются в уровень с окнами, и первое, что на заре видит хозяйка из своего окна, или вечером, уходя ко сну, — яркие факелы цветов. И у Байдашной перед окнами пламенели соцветия на высоких будыльях.

— Теперь буду знать: мальвы... Ну, спасибо вам, бывайте здоровы.

Что мальвы называются мальвами, он знал и сам. Это тоже было подпущено для дипломатии, попросту для отвода глаз.

Председателя сельсовета на месте не оказалось. Секретарша, только в этом году окончившая школу девчушка и еще не успевшая ни зазнаться, ни разлениться, старательно что-то переписывала. Она сообщила, что Иван Опанасович куда-то уехал с Голованем, председателем колхоза. Куда — не сказал. И когда воротится — тоже не сказал. Взгляд ее выражал полную готовность отвечать на дальнейшие вопросы и вообще быть полезной. Кологойда хотел было поручить ей, но вовремя спохватился — с такой же готовностью девчушка эта раззвонит всем и каждому о поручении, которое ей дал участковый уполномоченный. Он полистал подворную книгу, сказал, что позвонит председателю, и ушел.

В отдалении Семен Верста, такой же понурый, гнал свое стадо в лес. Поручить ему? Нет, при его неискоренимой привычке брехать положиться на него нельзя. Самыми подходящими для этого дела были Сашко и его компания. После того как лейтенант арестовал Митьку Казенного, с ребятами у него установились вполне приятельские отношения. Они видели в нем своего защитника, стали называть дядей Васей и готовы были расшибиться в лепешку, чтобы ему помочь. Конечно, лучше их никто не уследит, когда старуха появится в Ганышах... А ну как она вовсе не появится?.. Что, если эта злыдня... попросту пришила ее? А что? Очень даже просто... Увидела у старухи сотенную, понадеялась на другие... Могла и за сотенную — за меньшие деньги убивают... Взяла да и тюкнула старуху утюгом по голове, когда та спала. А той много не надо, враз перекинулась... Деньги спрятала, труп зарыла. Ночь глухая, забор высокий. Все шито-крыто, иди докажи...

Кологойда приостановился, снял фуражку и вытер вспотевший лоб.

«Ну, хлопче, — сказал он сам себе, — мабуть, ты слишком долго по солнцу ходил. И «рóманов» начитался. Не зря тебя Егорченко гоняет за это дело...»

Нельзя сказать, чтобы Кологойда любил детективные романы. В общем, конечно, сплошная труха, но некоторые здорово заверчены, и Кологойда читал их не без удовольствия. Интрига его не интересовала, забавно было

прослеживать, как автор морочил читателя и делал из него дурачка. Капитан Егорченко увидел однажды такую книгу у Кологойды, повертел в руках и отшвырнул прочь. «Рóманы читаем? — зловеще сказал он. — Ну, читай, читай...» Больше распространяться на эту тему он не стал, но с тех пор при каждом удобном случае пинал Кологойду «рóманами». Сам он никаких «рóманов» не читал, чтобы не отвлекаться от основной задачи, основную же задачу видел в профилактике. Конечно, преступников надо задерживать и изолировать, но главное дело милиции — предотвращать преступления, опираясь на общественность и массы трудящихся. Этого он требовал от своих подчиненных, и они, в меру сил и умения, требование это выполняли. Но вот Кологойду, который был вовсе не из последних, вдруг занесло... Не иначе, как в самом деле жара... и «рóманы». Нужно срочно поостыть.

Кологойда пересек шоссе, зарастающую кустарником луговину, разделся и плюхнулся в воду. Долго нежиться не пришлось — на мосту показался чугуновский автобус, а ехать в автобусе все-таки приятнее, чем трястись на попутном грузовике. Кологойда кое-как согнал с себя воду ладонями, оделся и, застегиваясь на ходу, побежал к остановке.

Так Вася Кологойда убежал от информации, которую мог получить, разыщи он Сашка и его компанию. Информация эта была ему совершенно необходима, на многое открыла бы глаза, но что поделаешь — он не был идеальным, лейтенант Чугуновского отделения милиции, и сам признавал, что у него есть отдельные недостатки, а иногда он даже делает ошибки...

В этот день Кологойда совершил и вторую ошибку. Освеженный купанием и ветерком, задувавшим в открытое окно автобуса, он заново обдумал все происшедшее. Конечно, предположение, что Сидорчук кокнула Лукьяниху — рябой кобылы сон. Но то, что она знает больше, чем говорит, — безусловный факт. От нее Лукьяниха уходила, она ее видела последней. Чтобы две старые бабы расстались и не сказали друг другу ни одного слова — такого просто не может быть. Всегда ночевала, а тут вдруг сорвалась. Что такое да почему? Да куда ты ночью пойдешь? И автобусы уже не ходят... Ну и всякое такое прочее... Та могла не объяснять, ничего не рассказывать, но, во всяком случае, Сидорчук знала, как Лукьяниха держалась и когда ушла. А это важно... Конечно, можно бы старую злыдню прижать. Беглый

спрос на улице — одно, а настоящий допрос — совсем другое. Если начать протокол да припугнуть ответственностью за дачу ложных показаний, старуха бы пустила сок, раскололась. Но тут был риск.

Риск подставиться, попасть под руку капитану Егорченке. Начав следствие по всей форме, Кологойда обязан был доложить начальнику, а начальник мог отнестись к нему и так и сяк. Нет, Егорченко не зажимал инициативу подчиненных, даже приветствовал и поддерживал, если речь шла о деле серьезном и вполне конкретном.

Но если, по его мнению, у подчиненных разыгрывалась фантазия, они начинали раздувать какую-нибудь ерундовину, он приходил в холодную ярость и нещадно «снимал стружку» за попытки, как он выражался, «варить воду».

Что мог Вася Кологойда доложить капитану Егорченке? В музее спрятался сельский пастух, почти придурок. Для чего спрятался? Чтобы украсть кольцо. Конечно, он не украл — его спугнули и тут же задержали. Кольцо он будто бы должен был украсть по наущению дряхлой старухи, которая посулила за то сто рублей... Во всей этой истории достоверно только одно — придурок спрятался в музее. Это есть безусловный факт, поскольку директор музея и он, Вася Кологойда, застукали Семена Бабиченко ночью в закрытом музее. Все остальное надо еще доказать. А что, если Бабиченко с перепугу наплел на себя да еще припутал и старуху, которая, может, про это кольцо не имеет понятия? И вообще — кому нужна какая-то железка, за которую и в базарный день полкопейки не дадут? А тут — сто рублей! Смехота... Старуха не осталась ночевать у Сидорчук? А может, они просто поссорились — разве бабы поругаться не могут? Не вернулась домой? Так она что, на службу опоздала, прогул сделала? Кому до этого какое дело? И наконец, откуда известно, что она не вернулась? А может, когда Кологойда ехал из Ганышей в Чугуново, она ехала из Чугунова в Ганыши и сейчас обыкновенным порядком рубает свой борщ или отсыпается...

Кологойда представил, как все сильнее прищуривается капитан Егорченко, как все отчетливее проступают у него желваки, и — махнул рукой. Лучше не нарываться...

Что ж, несмотря на все свои положительные качества, Вася Кологойда звезд с неба не хватал и не был похож на Мегрэ или какого-либо другого литературного героя. К тому же, он не был комиссаром, как Мегрэ, а участковому уполномоченному пренебрегать отношением начальства не приходится. Поэтому он отказался от первоначального намерения допросить Сидорчук по всей форме и даже не посмотрел в сторону ее двора, когда проходил мимо, а так как он был человеком решительно и вполне здоровым, не имел понятия об успехах современной парапсихологии, то ни в малейшей степени не почувствовал взгляда, которым Сидорчук сверлила его спину.

Как и предсказал Вася, почти весь день она не покидала своего наблюдательного поста, отрывалась на короткое время и снова возвращалась к дырке в высоком заборе. Трудно объяснить, зачем она это делала. Ждала Лукьяниху? Той незачем было возвращаться. Опасалась прихода милиционера? Ей нечего было бояться, так как она не знала за собой никакого преступления или правонарушения. Но она все стояла и стояла, провожая взглядом каждую появлявшуюся фигуру. Скорее всего, это было неосознанное стремление не оказаться застигнутой врасплох. Увидев за забором что-то такое, что могло касаться ее, она имела бы несколько минут, чтобы сообразить, прикинуть, как лучше и правильнее себя держать и что говорить. А это было необходимо, так как, хотя перед законом она была чиста, на душе у нее было неспокойно. Из-за Лукьянихи. Что-то ночью с ней стряслось...

Сон у Сидорчук чуткий, и она слышала, когда Лукьяниха вышла во двор. Ничего особенного в том не было, Сидорчук заснула снова и очнулась от странного шума — кто-то в темноте шарашился, натыкался на мебель и невнятно бормотал.

— Это ты, Лукьянна? — спросила Сидорчук, но ответа не получила.

Сидорчук поднялась и щелкнула выключателем. Это действительно была Лукьяниха, только чем-то смертельно перепуганная. Трясущимися руками она замахала на Сидорчук и закричала свистящим шепотом:

— Что ты?! Зачем? Гаси... Погаси скорей!..

— Тю на тебя! — сказала Сидорчук. — С чегой-то ты света начала бояться?

Лукьяниха боялась не света — трясущейся рукой она непрерывно, как заведенная, крестилась и переводила затравленный взгляд с окна на дверь и с двери на окно. Окна были закрыты ставнями — Сидорчук сама закрыла их вечером, — и все прогоны были на месте,

дверь заперта на массивный засов и большой крюк, сделанный из железного прута в палец толщиной. Но Лукьяниха не успокаивалась, все так же крестилась, затравленно озиралась и что-то шептала дрожащими губами.

— Да ты что? — спросила Сидорчук. — Что стряслось? Напугал тебя кто или примстилось?..

— Ох, не спрашивай, не спрашивай... — все тем же свистящим шепотом ответила Лукьяниха, просеменила к красному углу и пала на колени перед иконой. — Осподи, спаси и помилуй мя, грешную!..

Как ни допытывалась Сидорчук, Лукьяниха только отмахивалась и продолжала молиться. Сидорчук накинула платок, открыла дверь, в сенях отодвинула два засова на наружной двери и вышла во двор. Пустым-пусто было и во дворе, и на улице. В эту предрассветную пору спали не только все солидные чугуновцы, но и молодые, полночи открывавшие друг другу свои чувства и прятавшие их от луны и соглядатаев. Спали даже спущенные с цепей собаки, успевшие набегаться, настращать воров и друг друга свирепым лаем, а в петухах еще не щелкнула закодированная в генах безотказная пружина, которая перед рассветом выбьет их из сна и заставит заорать во всю глотку. Только одна луна стояла над Чугуновом и бесшумно рисовала свои извечные и никогда не повторяющиеся узоры из призрачного света и черных теней.

Сидорчук вернулась в дом. Дверь из сеней в комнаты была заперта.

— Ты что, спятила? — закричала Сидорчук. — Открой сейчас же! Это я!.. Совсем ополоумела! — в сердцах сказала она, когда Лукьяниха открыла дверь. — Скажи, наконец, что стряслось? Кто тебя напугал? На улице души живой нету.

Но Лукьяниха ничего не ответила и была так растерянна и испугана, что Сидорчук больше не стала допытываться.

— Ладно, хватит тебе, завтра домолишься. Давай ложиться спать, может, утром страх-то поменеет...

Лукьяниха послушно легла. Сидорчук погасила свет, легла тоже, но уже не заснула. Через некоторое время она услышала, что Лукьяниха снова поднялась и что-то делает, стараясь не шуметь. Сидорчук зажгла свет и увидела, что Лукьяниха собралась уходить.

— Куда это ты наладилась?

— Пойду я, — кротко, но твердо сказала Лукьяниха.

— Куда? Автобусы не ходют, никаких попутных тоже нету. Погляди, времени-то сколько!..

Когда-то ярко раскрашенные и уже давно облезлые ходики отслужили все положенные и возможные сроки, но когда они останавливались в очередной раз, Сидорчук подвешивала к гирьке новый груз. Так постепенно, кроме гирьки, на цепочке оказались сапожный молоток без рукоятки, чугунная конфорка от плиты и висячий замок, ключ от которого был потерян. После этого ходикам ничего не оставалось, как продолжать идти, и они шли, ужасно громко и торопливо тикая, но показывали время, которое не имело никакого отношения к действительному. При случае Сидорчук узнавала истинное время у прохожих или соседей и переводила стрелки, но за сутки они ухитрялись пробежать не два круга, а четыре или пять и снова показывали ни с чем не сообразное, фантастическое время. Вот и сейчас они почему-то показывали половину девятого.

Лукьяниха на ходики не посмотрела и ничего не ответила. Туго подвязав темный платок, она взяла приготовленный свой узелок, перекрестилась на икону и поклонилась хозяйке.

— Прощай, милая! Не обессудь, ежели что не так. Не поминай лихом...

Губы ее задрожали, она замолчала и уголком платка вытерла проступившие слезы.

— Да что ты в сам деле? Не пущу я тебя! Где это видано — по ночам шастать? Добро бы нужда какая, а то блажь — да и все! Рассветет, тогда и иди с богом...

— Нет уж, — сказала Лукьяниха. — Теперь что уж... Теперь все едино — такая моя судьба...

Она еще раз поклонилась и, прижав узелок к иссохшей впалой груди, открыла дверь. Сидорчук пыталась ее уговорить, даже придержать за локоть, но старуха только качала головой и, даже не слушая, пошла со двора. Сидорчук остановилась у калитки, глядя ей вслед. Что-то в облике Лукьянихи было необычно, шла она как-то странно, и Сидорчук даже не сразу сообразила.

— Лукьянна! А Лукьянна! — крикнула она. — Ты палку-то свою забыла!

Старуха не услышала или пренебрегла — она даже не оглянулась. И тут у Сидорчук перехватило дыхание — Лукьяниха шла не туда. По всем делам от дома Сидорчук нужно было идти по улице влево — эта дорога вела в центр — на базар, к магазинам, к церкви, на централь-

ную площадь, где была стоянка автобусов. Лукьяниха повернула вправо, а вправо улица вела никак не в сторону площади и шляха, идущего в Ганыши, а в сторону противоположную — на вылет из города. Город вскоре и кончался окраинными домишками, огороды переходили в пустыри и сорные перелески, а улица превращалась в когда-то мощенную, но теперь запущенную, давно не чиненную дорогу на север.

Сидорчук только притворялась жалостливой, на самом деле была суровой, жесткой старухой, тугой и на слезу, и на сочувствие. Однако теперь даже у нее сжалось сердце: что случилось с этой несчастной, жалкой бездомовницей? Какой страх погнал ее из привычного угла в глухую ночь? Это было похоже на бегство. От кого и от чего она бежала? И почему бежала она не как все люди — домой, а в противоположную от дома сторону? Заболела, что ли? Может, не дай бог, умом тронулась?.. А может, она хотела кого-то обмануть, отвести от следа, для того и пошла в другую сторону, чтобы не показываться в центре, обойти город по окраинам и только тогда выйти на дорогу к дому?

Сейчас, глядя в спину удаляющемуся лейтенанту, Сидорчук решалась и не могла решиться. Десятки лет они с Лукьянихой знали друг друга, и если б это не было смешно по отношению к старым бабам, их и в самом деле можно было назвать подружками. Ей было жалко Лукьяниху, даже боязно за нее, беспомощную, сирую старуху. Но еще больше ей было боязно за себя. Видно, неспроста сошлось все к одному — и перепуг Лукьянихи, внезапное ночное бегство ее и то, что ни свет ни заря разыскивал ее этот милицейский... Нет уж, наше дело сторона, лучше от греха подальше!..

Если бы Сидорчук даже только теперь окликнула Кологойду, рассказала ему все, он бы мог еще догнать, мог успеть... Но Сидорчук промолчала, и лейтенант Кологойда свернул за угол.

О возможной болезни Лукьянихи Кологойда тоже подумал и на всякий случай зашел по дороге в райбольницу и поликлинику. Ни там, ни там заболевшие старушки не значились. Шинкаренко из Ганышей не позвонил. Кологойда подумал-подумал, потом решительно встал, проверил заправочку и пошел к капитану.

Егорченко слушал его, глядя в стол и постукивая о столешницу переплетенными пальцами. Только раз, когда Кологойда объяснял насчет железного кольца и колеса Фортуны, он приподнял голову, исподлобья посмотрел на лейтенанта и снова опустил глаза.

— Все? — спросил он, когда Кологойда сообщил о необъяснимом исчезновении старухи.

— Все, — сказал Вася.

— Так вот, — сказал Егорченко, — если я про ту старуху и тому подобную чепуху услышу еще раз — пеняйте на себя, лейтенант Кологойда. Принимайте участок Щербатюка, поскольку ему завтра надлежит следовать на зачетную сессию.

— Товарищ капитан, может, какой рядом участок? А то ведь разные концы — Ганыши и Поповка. Тут и суток не хватит.

— Зато некогда будет рóманы выдумывать. Можете быть свободны!

Кологойда откозырял и пошел к выходу. Он явственно услышал, как Егорченко презрительно проговорил ему вслед: «Шерлоки Хольмсы, мат-тери вашей черт!..» Замечание было явно не служебным, и Кологойда сделал вид, будто ничего не слышал.

часть четвертая

Для камня, брошенного вверх, нет ничего дурного в том, чтобы упасть вниз, и ничего хорошего, чтобы нестись вверх.

МАРК АВРЕЛИЙ

1

Есть в санкт-петербургских белых ночах что-то прельстительное и неодолимое, какая-то неизъяснимая, таинственная власть, которой подлежат, покоряются все от мала до велика, от самых сановных мужей до людишек, прозябающих в ничтожестве худородства. В иных местах россиянину часами служило солнце, здесь оно — гость не частый и малонадежный, дорогостоящие брегеты наперечет — у больших вельмож да иностранцев побогаче. Все прочие столичные жители счет времени вели вприкидку — от пушки, которая раз в сутки выпаливала с бастиона крепости, возвещая полдень холостым выстрелом. При таком счете сроки не бог весть как точны, а с наступлением белых ночей становились еще приблизительней и неопределеннее. Сдвигались границы дня и как бы даже вовсе затирались, а вслед за ними растягивалась, простиралась далее положенных астрономических пределов и самое весна, пора упований и надежд. Должно быть, по контрасту с угрюмым зимним лихопогодьем, нигде, кроме Санкт-Петербурга, не имеют над человеком такой власти надежды и мечтания в неведомо откуда льющемся свете белых ночей. В этом призрачном, зыбком свете цели кажутся ближе и доступ-

нее, пути легче, а препятствия незначительнее и преодолимей.

Григорий Орлов не отличался излишней чувствительностью, ни тем более сентиментальностью. Негде правду деть — учение в корпусе, хотя он и назывался шляхетским, то есть благородным, а потом служба в линейном полку менее всего располагали к особой чувствительности. Тем более трудно было ожидать ее от человека, которому десятки раз смерть заглядывала в глаза и из медвежьей берлоги, и в пьяных потасовках, а под Цорндорфом в обнимку с ним командовала деташементом. Однако теперь даже Григорий Орлов поддался колдовскому наваждению белых ночей, впал в некую мечтательную расслабленность. Сказалась, конечно, и усталость последних недель, когда то и дело случалось недосыпать, зато пить нужно было почти без останову.

Подкупить русского солдата нельзя — на протяжении всей истории это еще никому не удалось. И чтобы душу свою он тебе открыл, с ним, по пословице, нужно съесть пуд соли. Важна тут, конечно, не соль, а протяженность времени, за какое пуд этот можно съесть, то есть прожить с ним бок о бок, деля все радости и невзгоды. Такого времени у Григория и его друзей не было. Однако, кроме пресловутой соли, был и другой ключ к русской душе, действовавший быстро и безотказно. По английскому образцу, Петр I ввел на флоте каждодневную чарку — от скорбута и всех болезней, начиная с поноса из-за гнилой солонины да порченых сухарей и кончая неизбывной морицкой тоской по берегу и близким. Сам Петр не брезговал осушить чарку с матросами или солдатами, а уж с гвардейцами пил даже предпочтительнее, чем со спесивыми вельможами и манерными дипломатами. Так же поступала и матушка Екатерина, супруга Петрова, а про блаженной памяти Елисавет Петровну что и говорить!.. Чарка была свидетельством царской близости и знаком царской милости. Супруга императора Екатерина Алексеевна пить с гвардейцами не могла, чему причиной были траур и опальное положение, — любое ее сближение с кем бы то ни было тотчас было бы истолковано как злоумышление и даже заговор — за нее это делали другие. Это вовсе не были заурядные попойки в обычном кругу приятелей. Для успеха задуманного следовало привлечь как можно больше людей, найти единомышленников, а тех, кто ими не был, в единомышленников превратить. Вздумай Орлов и его друзья

в открытую вести возмутительные противу императора речи, их бы тут же пересажали — Тайная канцелярия была упразднена, но охотников делать доносы не истребить ни рескриптами, ни манифестами.

Поэтому никаких возмутительных и поносных речей они не вели, просто разговаривали по душам... А какой может быть у россиянина разговор «по душам» всухую? Штоф развязывал и самые тугие языки. Где-то после второй или третьей чарки возникал извечный и неизменно животрепещущий вопрос: «Как она, жизнь-то?» И по мере того как штоф пустел, а душа переполнялась чувствами, она исполнялась доверия и открывалась глубже...

...Жизнь-то она, конечно, идет ничего, грех жаловаться, вот только как дальше будет? При ближайшем рассмотрении оказывалось, что не только будущее темно и тревожно, но и настоящее далеко не так хорошо, как кажется по-первах... Мундиры эти немецкие, будь они прокляты, мало, что расход, так и несподручны больно. А каждодневные разводы? Надо не надо — вышагивай. Оно, конечно, служба — не дружба, только ведь гвардии перед серой пехтурой предпочтение полагается, вот как раньше, к примеру, было, при покойной матушке-императрице... А почему? Все на немецкий копыл тянут, на радость Фридриху. Воевали-воевали, и все коту под хвост — Фридриху подарили... А ее императорское величество совсем напротив — она гвардию очень даже уважает, всегда к ней с лаской и милостью... Опять же насчет веры. Объявлена, значит, свобода — во што хошь, в то и верь, хоть в пень, хоть в божий день. Зачем это, когда мы — православные? В немецкую веру нас переворачивать? Вера — не портки: одни скинул, другие напялил. Она нам праотцами дадена... А матушка Екатерина Алексеевна насчет церкви в аккурате — ни одной службы не пропускает. До сих пор траур носит по покойнице императрице. И немцев вокруг нее не видать — они все к Аренбову[1] липнут... Опять же война эта. Из-за какой-то хреновины топай на край света... А там, глядь, с краю света и на тот свет угодишь... Ну, это дело солдатское... Вот то-то и оно, что солдатское! А гвардия там зачем? Только для того, чтобы ее тут не было?.. А вот матушка Екатерина Алексеевна так располагает, что гвардия есть опора престола и должна завсегда состоять при императорском дворе... Так как же теперь?..

[1] Ораниенбаум — любимая резиденция Петра III.

А теперь выпьем за здоровье матушки нашей, Екатерины Алексеевны. Ее бы воля, она бы гвардию в обиду не дала... Дай ей бог здоровья!..

Не было тайных сходок, пламенных речей, призывов и соблазнительных посулов, никто не давал клятв и торжественных обещаний. Посидеть за чаркой вина — дело вполне обыкновенное что офицеру, что солдату. Только его ведь молча не сосут, вино, кроме закуски, разговора требует. А о чем могут говорить приятель с приятелем, земляк с земляком, однокашник с однокашником? Разговор один — о жизни. Оказалось, она куда как не проста, складывалась точь-в-точь по слышанной в детстве сказке: поедешь направо — худо, налево — еще хуже, а прямо — и того горше... И впадали собеседники в задумчивость о себе и своей судьбе, как служить и за что голову ложить, а от задумчивости той еле заметные спервоначалу царапины сомнения и недовольства становились желобком, желобок превращался в канавку, ров, овраг, и — разверзалась пропасть, которая становилась все шире и глубже. Царапину можно замазать, ров, овраг засыпать, пропасть не скрыть и ничем не перекрыть. Вопрос был только в том, кто свалится в ее зияющий провал...

Должно быть, на Орлова успокоительно подействовал ход событий — они складывались как нельзя хуже, а это был именно тот случай, когда чем хуже, тем лучше. Григорий начал даже подумывать, что, быть может, Панин и прав, его расчетливое выжидание лучше и вернее ведет к цели? Братья Орловы стояли за безотлагательный, внезапный удар, но — они были руками, решали другие головы.

Судя по всему, головы эти решали правильно, и Григорий вознамерился дать себе роздых — хотя бы несколько часов перед вечером поспать, а ночью, если удастся, незаметно скрыться, съездить в Петергоф, куда он рвался целую неделю и вырваться не мог.

Едва Григорий скинул мундир и сапоги, в комнату вбежал Федор.

— Беда, братушка! — приглушив голос и плотно притворив дверь, сказал он. — Пассека арестовали!

— Как? За что?

— Неведомо. Мне младший Рославлев сказал — беги, мол, предупреди Григорья... Пассека под караул посадили. Часовые у окон и у двери. Идти к преображенцам и поопасся. Нарвешься на начальство — начнут спраши-

вать да расспрашивать: зачем да отчего здесь семеновец оказался...

— Алешка знает? Где он?

— Кажись, еще не вернулся... Кабы знал, неуж не прибег бы?

— Сиди здесь, жди. Я к Панину. Посмотрим, что теперь умные головы скажут?.. Только гляди: ежели Перфильев навернется — на глаза ему не попадайся...

Панина в Летнем дворце не оказалось. Камер-лакей сказал, что их высочество великий князь уже почивают и потому их сиятельство граф изволили отбыть к княгине Дашковой, а коли будет в нем нужда, чтобы спосылать к ней... Обнаруживать чувства перед лакеем не приходилось, но, выйдя из дворца, Григорий даже сплюнул с досады.

С княгиней Дашковой Орлов знаком не был — слишком различны и несовместимы были круги, к которым они принадлежали. Сам Григорий при случае, не задумываясь, выходил за пределы своего круга, о Дашковой сказать этого было нельзя. Еще бы — княгиня по мужу, урожденная графиня, все родственники — сплошь графья да князья... Но и не зная Дашковой, он терпеть не мог «егозливую барыньку». И опасался ее. Для этого были все основания. Дочь сенатора, племянница великого канцлера, крестница самого императора Петра, младшая сестра его фаворитки Лизаветы. С ней всяко может быть. Дойдет до горячего — небось родственная кровь заговорит. Даже если и не выдаст нарочно или со страху, так проболтается по дурости. Девятнадцать годов! Девчонка, балаболка, а туда же, лезет в заговор... Какой от нее толк, что эта пигалица может? Только егозливостью своей на след навести? Явилась же она ночью к Екатерине, когда императрица была при смерти — «ах, мол, над вашей головой собираются тучи, я не могу этого допустить, надо действовать, принимать меры к вашему спасению. Какой у вас план действий? Есть ли у вас сообщники? Располагайте мной, я готова для вас на все...» Ну, Екатерина умненько от всего открестилась — никакого, мол, плана нет и никаких сообщников, никак она действовать не собирается, все будет, как бог даст... На какое-то время бойкая барынька притихла, а после смерти Елисаветы снова принялась егозить и суетиться — надо действовать, надо действовать... Такая надействует — не обрадуешься.

Идти к Дашковой и тем показывать, что он чем-то

связан с Паниным и какие-то дела заставляют его разыскивать графа даже в чужих домах, Орлову смерть как не хотелось, но выхода не было. Он решил под каким-нибудь предлогом вызвать Панина и сообщить ему тревожную весть с глазу на глаз.

Лакей ушел доложить, а возвратившись, сказал:

— Пожалте в залу.

— Почто? — сказал Орлов. — Я не с визитом. Мне нужно графа видеть, по делу, понимаешь?

— Не могу знать-с. Приказано просить в залу-с.

Орлов выругался про себя и пошел следом за лакеем.

— Капитан Орлов, вашсъясь, — доложил лакей и, пропустив в гостиную Орлова, закрыл за собой дверь.

Худенькая женщина, что-то энергично доказывавшая сидящему в кресле Панину, порывисто обернулась.

— Так вот вы какой, Орлов? Что же вы стоите у двери? Идите, идите к нам поближе, — светским жестом повела она рукой. — Дядя мне только что говорил, как вы храбро сражались под Куперсдорфом.

— Под Цорндорфом, ваше сиятельство.

— Да, да, под Цорндорфом... Можете не титуловать меня, называйте просто княгиней.

Она была востроглаза, порывиста и по молодости миловиднее своей старшей сестры. Если бы не пышная прическа и платье, ее можно было принять за подростка.

— Так что вас привело ко мне, Орлов?

— Простите, княгиня, зачем бы я стал вас беспокоить? Это ваш человек не понял — я просил вот их сиятельство уделить мне несколько минут.

— Что-нибудь случилось? Я по вашим глазам вижу — что-то случилось!.. Что же?

Панин, удобно откинувшись в кресле, постукивал кончиками расставленных пальцев одной руки о кончики пальцев другой. Он перевел взгляд с племянницы на Орлова и еле заметно улыбнулся — ни по глазам, ни по лицу Орлова решительно ничего прочитать было нельзя.

— Ничего не случилось, — сказал Орлов. — Просто я хотел спросить совета графа. Дело чисто мужское, вам неинтересное.

— Нет, нет, Орлов, я вижу, вы что-то скрываете. Меня нельзя обмануть. Что касается н а ш е г о д е л а? — с нажимом спросила Дашкова. — Говорите смело, ничего не бойтесь.

Орлов взглянул на Панина, тот покивал.

— Говорите, говорите, Орлов, наша милая княгинюшка достаточно осведомлена.

— Да я только хотел спросить, как теперь быть? Мне сказали — Пассек арестован...

— Кто этот Пассек? — спросил Панин.

— Капитан-поручик Преображенского полка.

— Он из наших? — снова с нажимом спросила Дашкова.

— Он... ну, он из моих друзей, — ответил Орлов.

— Вы прекрасно делаете, Орлов, что говорите иносказательно. Осторожность в нашем деле необходима. Слишком многое поставлено на карту! — горячо сказала Дашкова. — Вот видите, дядюшка, я была права — мы слишком медлим. Надо действовать! Мы только собираемся, а там уже действуют. Вот уже начались аресты...

— Погоди, Катенька. Пока не аресты, а только один арест. Кстати, известно, за что он арестован?

— Нет, покуда неизвестно.

— А где его содержат — в крепость увезли или?...

— В караульной на полковом дворе.

При известии об аресте Панин выпрямился и перестал покачивать кистями, теперь он снова откинулся на спинку кресла и задумался. Дашкова теребила платок, переводила взгляд с Панина на Орлова, с Орлова на Панина и наконец не выдержала:

— Почему вы молчите, дядюшка?! О чем вы думаете?

— А думаю я, милая племянница, о том, какие, в сущности, основания для тревоги? И, признаться, не вижу их.

— Как вы можете так говорить?! Арестуют нашего человека, а вы спокойны?

— Но ведь неизвестно, за что его арестовали! Может, сделал что-то противу дисциплины или за какое-то упущение по службе. Может такое быть? — спросил Панин.

Орлов пожал плечами.

— Может.

— Ну вот! А мы из каких-то пустяков должны поднимать шум и тем прежде времени себя обнаружить?

— А как не пустяки?

— Если б не пустяки, думаю, капитан-поручика этого не держали бы в караульной. У нас государственных преступников в крепости содержат.

— Так, может, просто не успели!.. Нет, как хотите, дядюшка, я решительно не согласна. Надо действовать, действовать немедля!

— Как действовать? Поднять гвардию по тревоге и вести на штурм караульни, чтобы освобождать этого... как его?.. Пассека? Или из-за его ареста сразу идти в Ораниенбаум воевать государя императора? А пойдет ли гвардия воевать из-за капитан-поручика? Даже из-за десяти капитан-поручиков? Нет, милая моя, так серьезные дела не делают, не поглядев в святцы, в колокол не ухают.

— Вам, господин граф, — сказал Григорий, — драться доводилось?

— То есть как? — изумился Панин.

— Обыкновенно — на кулачки или чем ни попадя...

— Опомнитесь, Орлов! — холодно сказал Панин. — С какой стати я бы это делал? Дерутся только пьяные мужики!

— Там кто б ни дрался, в драке главное — кто первый треснет как следует. Иной раз одним ударом и вся драка кончается. Я к тому — как бы мы не подставились. Будем сидеть да ждать, покуда нас шарахнут так, что потом костей не соберешь...

— Ну, знаете, сия аллегория совсем некстати. Речь не о пьяной драке, о политике!

— Да ведь политика всегда к драке сводится. Это мы, солдаты, на собственной шкуре испытали.

— Вы можете трактовать политику, как вам заблагорассудится. Только предполагаемое нами действо ничем с пьяной дракой не сходно. Для действа подобного нужны не только причины основательные, но и повод серьезный. Приказ о выступлении в поход, чтобы отвоевывать Шлезвиг, — дело другое. Ни войска, ни гвардия тем более воевать не хотят, и это достаточно серьезный повод. Арест же какого-то Пассека... Смешно!

Арест Пассека вовсе не казался Орлову смешным, но он молчал.

Черт его знает, может, этот лощеный барин и прав? В самом деле, доподлинно ничего не известно, а вслепую шарахаться негоже... Дашкова теребила платок и, морща брови, раздумывала.

— А что, если все-таки арестовали его по подозрению или доносу? Станут допрашивать, он может всех выдать!

— Навряд, чтобы Пассек выдал, — сказал Орлов. — Из него много не выжмешь — его не зря Петром зовут.

Дашкова недоуменно вскинула на него взгляд, посмотрела на Панина, тот улыбнулся и пояснил:

— Петр по-гречески означает «камень»... Прекрасно,

если он таков. Значит, в обыкновенном допросе никого не выдаст, а Тайная канцелярия, благодарение богу, упразднена. Стало быть, и с этой стороны нет основания для особой тревоги.

— Ну что ж, Орлов, — сказала Дашкова, — очень хорошо, что вы пришли сообщить. Может быть, дядя прав и причин тревожиться в самом деле нет. Однако я прошу вас, если узнаете что-то важное, немедля дайте знать, и мы тут решим, как действовать дальше...

Орлов рад был возможности скрыть свой взгляд в поклоне.

Дома по столовой яростно вышагивал Алексей. Он только что побывал в полку и узнал всю подноготную. Еще вчера, 26 июня, какой-то капрал спросил у поручика Измайлова, когда уже свергнут императора. Измайлов возмутился и капрала прогнал, но счел своим долгом доложить об этом ротному командиру, майору Воейкову, а тот в свою очередь доложил полковнику Ушакову. Сегодня утром капрала того допрашивали. Оказалось, тот же вопрос он еще раньше задавал капитан-поручику Пассеку, и тот его тоже прогнал, но никому о том разговоре не сообщил, как сделал это Измайлов. А не сообщил он, видно, неспроста — в канцелярии уже лежал донос на Пассека, что он-де, мол, об императоре ведет поносные речи. В Ораниенбаум поскакал нарочный, к вечеру вернулся с приказом императора — Пассека арестовать. И тут же его, раба божьего, под караул.

— Ну вот, — заключил Алексей, — ниточку ухватили, теперь начнут весь клубок разматывать.

— Пассек не выдаст, — сказал Григорий.

— Он не выдаст, другие выдадут. Лиха беда начало...

— Вот те и святцы!..

— Какие святцы?

— Да Панин этот. Не поглядев, говорит, в святцы, нечего в колокол бухать. А в колокол, выходит, и без нас бухнули...

Григорий передал свой разговор с Паниным и Дашковой. Алексей слушал, багровел от злости, и на потемневшем лице шрам его казался еще более страшным.

— Ну и что теперь делать сбираешься, — саркастически осклабился он, — побежишь докладывать мокрохвостой полководице?

— Ты не собачься, Алешка! Мне самому она, как комар в ухе...

— Нет, братушка, не комар! Комара прихлопнут,

и нет его, а ее не прихлопнут. Падет в ножки крестному отцу, ну и ночная кукушка его за сестрицу слезу прольет, прощенье вымолит. По молодости лет, мол, по неразумию... И франту тому шведскому, что ему станется? В крайности от двора прогонят, в имение сошлют, как Бестужева... А нас какое имение ждет, за Уралом? Ноздри вон, под кнут и в Сибирь — вот и вся недолга! И еще если государева милость будет, а то и вовсе — рожка...

— Видно, съезжу я к графу, посоветуюсь.

— К Сен-Жерменю своему? Я тебе давно хотел сказать, братушка... Оно, конечно, земной ему поклон, что он не дал тому шулеру меня обчистить, да уж больно чуден, вроде как даже не в себе... Да нет, человек он, конечно, умнеющий, только все время заговаривается. Всюду-то он был, все видал... Ну, я не спорю, воробей он, видать, стреляный. А как же с тем римским императором — как там его звали? — будто он с ним разговоры разговаривал, вот как мы с тобой? Как это надо понимать? Бессмертный он, что ли, или нас за дураков считает?.. Ну, это — ладно! Я хочу сказать — человек он сторонний, чуть что — сел в карету и ускакал, а мы — расхлебывай... А уж коли нам хлебать, так самим и варить надо. Ну, поедешь к нему, он начнет свою умственность разводить, а под нами земля горит...

— Ну, Панину-то, чай, сказать надо? Он — не сторонний.

— А почто? Он тебя снова станет урезонивать, ходить отрясая ножкой... Хватит, братушка, чужим умом жить, пора своим! Он там велик ли, мал, а свой, про себя думает. Меня от всей ихней политики с души воротит — они-де головы, а мы — руки. Мы что, ради них огород городить начали, чтоб они нашими руками жар загребали, а мы снова сбоку припека?

— Так что, по-твоему, надо?

— Что собрались, то и делать!

— Вот так — с бухты-барахты?

— Неуж лучше капитель тянуть, пока за нами придут и под караулом свезут на Заячий остров? Там казематы давно по нас плачут... Я так располагаю, нам нынче каждый потерянный час — лишний шаг на плаху... По-моему, надо немедля ехать в Петергоф, привезти сюда Катерину Алексевну, провозгласить, а там — как бог даст, либо пан, либо пропал...

Опершись скулами о кулаки, Григорий задумался,

Алексей и сидящий в углу Федор не сводили с него глаз.

— Ну что ж ты? Решай, братушка! — не выдержал Алексей. — Ты, слава богу, не робок, неуж теперь заробел?

— Я не про себя думаю... Случись незадача, сколько голов подставим?

— Сложивши руки, мы их хуже подставим!

— Что ж, как говорится, перст судьбы — я и так сегодня ладился туда ехать, — сказал Григорий. — Думаю, к утру обернусь. Только надо всех упредить.

— Упредим. Я прямиком в Конногвардейский, потом к себе в полк, а Федька упредит своих, ну и измайловцев, благо они рядом.

— Измайловцев в первую голову — они ж у самой заставы, — сказал Григорий. — Графу Разумовскому все рассказать надобно.

— Кириле Григорьичу? — спросил Федор.

— Знамо, не Алексею. Вот только где карету взять? Моя маловата...

— У Бибикова Василья, — сказал Алексей. — У него уемистая и новехонькая, только что от каретника. Однако гляди, шестерней ехать надо, а то в два конца лошади притомятся, не дотянут.

— Шестерня по классу не полагается, остановить могут, — сказал Федор.

— Кто там углядит? — сказал Алексей, подходя к окну. — Вон еще светло, а на Першпективе души живой нету.

— Тогда, кажется, все, — сказал Григорий.

— Нет, не все! — зловеще сказал Алексей и кивнул в сторону окна. — А его на запятки поставишь или как? Прилип он к тебе, как банный лист к заднице.

Григорий бросился к окну и изругался. Ленивой развалочкой пустынную Перспективу пересекал Перфильев, явно направляясь к дому Кнутсена.

— Ах, что тебя... — снова изругался Григорий. — Что ж теперь делать?

— Пристукнуть его, да и дело с концом! — озлясь, сказал Алексей.

Глаза Федора округлились.

— Ты что, умом тронулся? — сказал Григорий.

— А что же, из-за этого банного листа всем пропадать? — почти закричал Алексей.

— Ты глотку-то придержи, — не повышая голоса, но

тоже накаляясь, сказал Григорий. — Я людей убивал на войне, у себя дома убивать не стану и другим не дам!

— Ладно, братушка, — переборол себя Алексей. — Тары-бары разводить некогда, он через минуту заявится. Стало быть, ты ехать не можешь, сиди тут, управляйся с ним как знаешь. Поеду я.

Григорий поколебался и кивнул.

— Езжай. На всякий случай прихвати Василья с собой. Мало ли что, на заставе могут начать спрос, куда да зачем...

— Ну, со мной-ить много не наговоришь — я им и халабуду их разнесу...

— Вот-вот! Затей драку, чтобы за тобой вдогонку драгуны поскакали... Для того Василья и прихвати — он твой норов придержит, а в случае чего — капитан-поручик инженерного корпуса Бибиков следует в Ораниенбаум по именному повелению. Понял, нет? Чтоб никаких драк, никакого шума!.. Потом я, может, налегке еще и догоню вас.

У входной двери застучал молоток.

— Гляди, как бы он тебя самого не догнал... Пошли, Федор!

— Через черный ход, — поспешно сказал Григорий. — И перед окнами не проходите.

— Неуж перед его курпеткой дефиладу учинять станем? — огрызнулся на прощание Алексей.

Степан Васильевич Перфильев был одногодком Григория Орлова, и этим сходство исчерпывалось. Он не был ни богатырем, ни красавцем, в битвах тоже не прославился, но обладал двумя качествами, благодаря которым император заметил его и приблизил к себе. Он был старательным служакой. Разводы со всем их нелепым церемониалом и шагистикой, которые так раздражали многих офицеров, ему очень нравились. Это было красиво, когда сотни человек как заводные разом делали одно движение. Во время экзерциций приятно было ощущать свое молодое, сильное тело, его ловкость и выносливость, слышать свой зычный голос, когда он, раскатываясь на букве «р», чеканил команду.

Перфильев сам усердно выделывал все артикулы, и солдаты командира своего не подводили. Достиг он этого не угрозами и наказаниями, а краткой и совсем не уставной речью, произнесенной перед строем:

— Слушай мою команду! Кто из вас любит, когда ему морду бьют, шаг вперед — ать, два!.. Выходит, никто

не любит? Тогда вот что я вам скажу. Мне тыкать вас в зубы тоже радости нету. Только служба есть служба: ты артикул плохо исполнил — мне нагоняй от начальства, значит, я должон тебя в зубы... Так давайте сделаем промеж себя уговор. Вы уж поднатужьтесь, братцы, чтобы все было у вас по полной форме. Тогда и зубы будут при вас, а при случае и чарка вина в награду. Понятно? Р-разойдись!

Солдаты вняли призыву. Перфильев был замечен, удостоен высочайшей похвалы, а потом и вознесен в собственные его величества адъютанты. Однако он не возмечтал о себе и не зазнался — этого не допустило второе его качество — редкостное простодушие. Некоторые злоречивцы называли это просто дуростью, но император так не думал — он сам был прямолинеен и простодушен, любил за это Перфильева и даже прощал ему плохое знание немецкого языка. Внешность Перфильева вполне соответствовала его характеру: у него были голубые, немного по-детски открытые глаза, округлое лицо и сверхъестественно курносый нос. Над этой необычайной его курносостью приятели посмеивались, говорили, что Перфильеву скрозь его сопелки можно прямо в душу заглядывать. Перфильев не обижался и первый смеялся незамысловатым шуткам.

Прежде только шапочно знакомый с Григорием Орловым, Перфильев зачастил к нему с половины июня. Поручение приглядывать за Орловым было ему неприятно, но — служба есть служба. Ему сказали, что капитан Орлов ведет себя подозрительно — слишком много к нему ходит народу, сам он тоже стал бывать у людей, с коими прежде не якшался. Вот Перфильев и должен понаблюдать, не кроется ли за этими встречами что-либо недозволенное, не ведутся ли какие предосудительно умственные речи, направленные на цели, начальством не предуказанные и потому могущие пойти во вред державе и ее дальнейшим видам. У Григория Орлова встретили Перфильева радушно, и он стал завсегдатаем. Рапорты его по начальству были кратки, но исчерпывающи: «Вчерась был у Орлова. Пили вино, играли в карты. Ничего умственного не замечено».

Таким образом соглядатайство Перфильева никакого вреда Григорию Орлову и его товарищам не приносило, разве что было иногда досадной помехой, но Перфильев догадывался, что все прекрасно понимают, какую роль он исполняет при Орлове, и очень этого стеснялся.

Вот и теперь он вошел, сконфуженно и неловко улыбаясь.

— Шел мимо, дай, думаю, загляну на огонек... Правда, в эту пору и огонь вздувать нужды нет — без огня светло. Какая может тому быть причина, что в Санкт-Петербурге кажное лето такая история — ночь наступает, а светлым-светло? А?

Ответа он не дождался.

— У нас в Рязани такого нету. И в других местах не слыхать, чтобы было. В Москве, к примеру, или в Туле. Не иначе, как игра натуры.

Этим глубокомысленным замечанием Перфильев исчерпал свои ресурсы светского разговора и замолчал. Молчал и Орлов.

— Что, хозяин, не весел? Может, гость некстати? Так я тогда пойду, — сказал Перфильев, но с места не тронулся.

— Да нет, отчего, — отозвался наконец Орлов. Он прикинул, что если Перфильева выставить из дому, тот останется трезвым и далеко не уйдет, а затаившись где-нибудь, станет наблюдать за домом, и тогда ему, Григорию, о поездке нечего и думать — Перфильев потащится следом. Нет уж, лучше удержать своего шпиона перед главами. — Неможется что-то, — пояснил он свою мрачность.

— Брюхо болит?

Из всех существующих недугов Перфильеву был пока известен только этот.

— Вроде голова что-то.

— Так, может, опохмелиться? — оживился Перфильев. — Для нашего брата опохмел — первое дело!

— И то верно! — сказал Орлов и брякнул колокольцем.

Пожелали друг другу здоровья, потом пожелали друг другу успехов, но беседа все равно не вязалась, и Перфильев ухватился за последний якорь спасения:

— А не перекинуться ли нам в картишки?

Они слегка отодвинули штоф в сторонку и стали играть в карты.

Граф Кирила Григорьич Разумовский был уже в халате, когда ему доложили, что поручик Семеновского полка Орлов добивается аудиенции у его сиятельства по делу наиважнейшему и безотлагательному и никаких

резонов, что-де, мол, ночь, пускай приходит завтра, слушать не хочет.

— Ну-ну, пусти его, ежели он такой прыткий.

Склонив голову, он оглядел вошедшего Федора с головы до пят и спросил:

— Как зовут?

— Орлов. Федор Орлов, ваше сиятельство.

— Который же ты по счету?

— То есть... по какому счету?

— Ну, сколько вас всего, Орловых?

— Пятеро. Я — четвертый.

— То-то, я гляжу, ты помельче старших. Так что тебе приспичило на ночь глядя?

Федор рассказал об аресте Пассека, о встрече Григория с Паниным, о том, что Григорий остался с Перфильевым, Алексей же едет в Петергоф и утром привезет ее императорское величество, а так как измайловские слободы у самой заставы, измайловцам и начинать...

Откинувшись на спинку диванчика, граф слушал с полузакрытыми глазами и, только когда Федор замолчал, поднял на него взгляд.

— Все сказал?

— Все.

— Тогда бывай здоров, хлопче!

— То есть как? — изумился Федор. — И это все?

— А чего же тебе еще? Ты рассказал, я выслушал. А теперь иди по своим делам.

Удивленный и раздосадованный, Федор ушел. Разумовский позвонил.

— Что, Тауберт еще дожидается?

— Дожидается, вашсъясь.

— Хорошо. Пошли ко мне дежурного офицера, а когда он уйдет, позовешь Тауберта. Второй офицер пускай будет у кабинета, занадобится — позвоню...

— Скачи, голубчик, в полк, — сказал граф дежурному офицеру, — скажешь Ласунскому, Похвисневу и Рославлеву, пускай немедля ко мне...

— Извините, господин адъюнкт, — широко развел руки граф, встречая входящего содержателя типографии Тауберта, — заставил вас ждать, но что поделаешь? Докука за докукой... Вас хотя бы накормили, не на голодное брюхо ждали?

— Благодарствуйте, ваше сиятельство, я сыт.

— С чем пожаловали?

— С жалобой, господин президент! Если я содержатель типографии академии, то без меня никто не должен в оной типографии распоряжаться. А сегодня я прихожу, там находятся два солдата и содержат наборщика и печатника под арестом. То есть они ничего дурного им не делают, но никуда их не выпускают, играют с ними в это... как это называется?.. Орлянка, кажется?

— Вот лайдаки! — сказал Разумовский.

— Я спрашиваю — по какому праву солдаты в Академии де сьянс? Они говорят, не по праву, а по приказу начальства. Какого начальства? «Сказывать не велено». И я теперь даже не знаю, на кого жаловаться!

— На меня и надо жаловаться, — улыбнулся Разумовский. — Мне же... Это я приказал, чтобы работников ваших кормить и содержать без всякой обиды, но из подвала никуда не отпускать. Мало ли что — вдруг случится какая срочная надобность, а их нету? Тот до кумы, тот до шинка — попробуй сыщи... А она вот и случилась — срочная надобность...

Разумовский вынул из ящика стола шкатулку, отпер ее ключиком, достал сложенный в одну шестнадцатую лист плотной бумаги и протянул Тауберту.

— Отправляйтесь сейчас в типографию, пускай набирают по всей форме и печатают. А вы будете держать корректуру и иметь общее наблюдение, дабы к утру было готово.

Тауберт надел очки, развернул лист и начал проборматывать текст:

— «Божиею милостью мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская, и пр., и пр.». Боже мой! — сказал Тауберт и сорвал очки. — От чего же скончался император? Так внезапно...

— С чего вы взяли? — сказал граф. — Государь император жив и здоров. Сего вечера в Ораниенбауме консерт, и там их величество выделывают солу на скрипке.

— Но как же так? Я тогда не понимаю...

— Вы читайте, читайте дальше.

Тауберт снова надел очки.

— «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству начиналась самым делом. А имянно, закон наш православной греческой перво всего возчувствовал свое потрясение и истребление своих преданей церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древняго в России православия и принятием иновернаго закона.

Второе, слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие заключением новаго мира с самым ея злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение; а между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего отечества, совсем испровержены. Того ради убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностию, принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных ясное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийской самодержавной, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили.

Екатерина».

Лицо Тауберта стало землистым.

— Ва... Ваше сиятельство, — запинаясь, произнес он. — Я не... Я боюсь это понимать...

— А вам и не надо понимать. Ваше дело — напечатать.

Ноги Тауберта подломились, он упал на колени и трясущимися руками протянул манифест Разумовскому.

— Ваше сиятельство, не погубите! Освободите, ваше сиятельство! У меня жена, дети малые, старуха мать слепая... Помилуйте, ваше сиятельство!

— Нет, голубчик, не помилую, — сказал Разумовский... — И рад бы, да теперь не могу, — развел он руками, — вы уже слишком много знаете. Так что вставайте и — за дело.

Разумовский позвонил, в кабинет вошел дежурный офицер.

— Отвези, дружок, господина адъюнкта на Васильевский, в академию. И смотри как следует... ну, чтобы с ним ничего не приключилось. Вот эту бумагу отдашь ему, когда будете на месте... Нет, такие бумаги за обшлаг не прячут, ты ее в загашник куда-нибудь. Ну, хотя бы так... Ежели терять, так уж лучше сразу голову, чем эту бумагу... Там два наших измайловца, примешь над ними команду. Подвал запереть, никого не впускать и не выпускать, кроме как по моему приказу. Все понятно? Тогда ступайте с богом!

Плашкоутный мост через Неву был разведен, чтобы пропускать суда и барки. Тауберт сидел в лодке, сгорбившись и держась руками за оба борта, похожий на большую нескладную птицу, растопырившую подшибленные крылья. А в это время запряженная шестерней карета миновала Калинкин мост и неспешно покатила по петергофской дороге.

Вино, как известно, по-разному действует на людей: одни впадают в озорство и буйство, другие становятся неудержимо болтливы, третьи погружаются в меланхолию и мрачность... Да мало ли как еще! Степан Перфильев, и без того очень добрый человек, выпивши, становился еще добрее, сердце его не открывалось, а прямо распахивалось навстречу людям. Все люди казались ему тогда необыкновенно хорошими, а собеседник в эту минуту — человеком настолько прекрасным, что лучше быть уже не могло, и душа Перфильева истекала к нему любовью и нежностью. Такую любовь и нежность испытывал он сейчас и к Григорию Орлову. К этому добавлялось и сознание собственной вины. При всем простодушии своем Перфильев понимал, что соглядатайство — подлость, а подлость оттого, что совершается по приказу начальства, подлостью быть не перестает. Борясь с пьяной одурью, он мучительно искал, что сказать или сделать такое, что показало бы, как он, Перфильев, хорошо относится к Орлову, не желает ему никакого зла и сам его не делает. Наконец его осенило:

— Может, выпьем на брудершафт?

— Можно и на брудершафт, — согласился Орлов.

Он готов был пить за что угодно, лишь бы Перфильев поскорее упился и убрался. Один штоф давно опустел, во втором оставалось на донышке, Перфильев изрядно опьянел, запихивая выигрыш в карманы, рассыпал монеты, стал внезапно запутываться в самых обыкновенных, привычных словах, но уходить не собирался.

— Вот, значит, так, — удовлетворенно сказал Перфильев, когда они выпили и облобызались, — теперь, значит, будем мы на «ты»... — объяснил он. — Ты мне теперь Гриша, а я тебе Степан... Тоись, наоборот: я тебе — Гриша, а ты мне — Степан...

Он вдруг замолк и выпучил глаза, силясь решить вопрос, кто же теперь кому приходится Гришей, а кто Степаном, решить его не смог и махнул рукой.

— Словом, как говорится, по обычаю... Ву ферштейн?

— Понимаю, — сказал Григорий. — Только ты, Степушка, чеши лучше по-русски, а то начинается у тебя вавилонское смешение языков.

— А я и по-русски... Что я тебе, Гудович какой-нибудь? Я те не Гудович!

В любвеобильном сердце Перфильева только для императорского генеральс-адъютанта было отведено самое скромное и наименее уютное место.

— Знамо, не Гудович, — подтвердил Григорий. — Ты деньги-то не рассыпай, а то мне подбирать надоело.

— Не подбирай! — великодушно сказал Перфильев. — Велика важность — деньги! Рази я ради денег прихожу? Я ради человека прихожу! Мне начхать на деньги! Правильно я говорю?

— Правильно. Благородно говоришь.

— Вот! — возликовал Перфильев. — А почему? Я человек простой, но благородный. А что такое бла... — Он оторопело заморгал, силясь произнести слово, которое только что легко слетело с языка, но теперь никак не давалось, и, отчаявшись, начал заново: — Я говорю, кто такое бла... блаародный человек? Который в других блаародство видит!.. Вот ты думаешь, я тебе враг, да? Думаешь, я тебе зла желаю?

— Нет, отчего же? Я не думаю.

— Нет, думаешь... Все думают, Перфильев — простофиля. Меня даже в корпусе дразнили — «Перфиля-простофиля»... А я, брат, ого! Я, брат, как гляну на человека, так прямо наскрозь его вижу, навылет... Вот и тебя вижу. Наскрозь!

— Ну, и чего ты во мне углядел?

— Что ты — блаародный человек. Мне говорят, Гришка Орлов... — это они так говорят, — Гришка, говорят, Орлов — такой и сякой. А я кажен раз говорю — неправда ваша! Вино пьет? Пьет. В карты играет? Играет. А ничего умственного за ним нет! Другой бы на моем месте, знаешь, чего наплел?

— За что я тебя люблю, Перфиша, — душа у тебя открытая...

— Пра-аильно! — обрадовался Перфильев. — Я всегда правду-матку. Мне говорят, Орлов — подозрительный человек... А я говорю — не может этого быть! Он есть дворянин и честный офицер — он кровь проливал за царя и оче... оте... за очечество! И я его за это уважаю. Вот хочешь, я тебе докажу, что я тебя уважаю? А что? Возьму и докажу... Хочешь, я про тебя тайну открою? Только это — т-с-с!

— Ну, открывай.

— Мне говорят: приглядывай за Гришкой Орловым —

он человек ненадежный. А то, говорят, был уже один такой, Гришка Отрепьев... Так я говорю, то ж Отрепьев, а это Орлов... То, говорят, не суть важно. Важно, что на одну бу... на одну буковь... Тот Гришка О... и этот Гришка О... Может, это, говорят, перст указующий?

— Отрепьев в цари лез, — сказал Григорий. — Что же, по-ихнему, я тоже на трон нацеливаюсь?

— Трон? — Перфильев озадаченно открыл глаза, долго над этим раздумывал, потом решительно затряс головой. — Нет, про трон никакого разговору не было. Разговор был в рассуждении всяких таких видов... — Он растопырил пальцы правой руки и замысловато покрутил возле головы.

— Какие у меня могут быть виды? Служу, как полагается дворянину, как мой дед и отец служили, вот и все.

— Так вот и я им говорю — поелику он есть дворянин, то всякое такое... — Язык все хуже повиновался Перфильеву, но он никак не мог остановиться. Все, что он принужден был затаивать и скрывать, теперь выливалось, рвалось из него. — А хочешь, я тебе государственную тайну открою?

— Государственные тайны открывать не полагается.

— Так это ж тебе! Ты ж блаародный человек... Только это совсем-совсем т-с-с-с!.. Государь император жилаит...

Чего желает государь император, осталось неизвестно, так как Перфильев вдруг положил голову в миску с остатками квашеной капусты, повозил щекой по капусте, устраиваясь поудобнее, и затих.

— Степан! — окликнул Григорий. — Перфиш, ты что?

Перфильев ответил ему только нежным посвистом своих открытых небу «сопелок». Григорий потряс его за плечо, он остался нем и недвижим.

— Эй, кто там! — крикнул Григорий.

В столовую вошла Домна Игнатьевна.

— Неуж еще мало? — сердито спросила она.

— Нет, слава богу, окосел наконец. Растолкай, мамушка, Трофима, пускай сей же миг запрягает в коляску Гнедого, а пристяжной Дочку...

— Да куда тебе такому ехать? Ты же сам пьянехонек, как дьячок на пасху.

— В сам деле? Это не годится. Этого мне никак нельзя... Трофима растолкай, а мне давай лохань да ведро воды. И сорочку чистую...

Облившись не одним, а тремя ведрами, освеженный

и переодетый, Григорий вернулся вместе с Домной в столовую. Мертвецки пьяный Перфильев безмятежно спал.

— Теперь он, должно, не скоро очухается. Только ежели очухается, из дому его не выпускай.

— Так разве я, старуха, с ним совладаю? Не вязать же его...

— Можно и связать — не велика цаца. Впротчем...

Орлов прикинул — в случае удачи здесь ему вряд ли жить дальше, при незадаче — не жить тем более: дадут казенную квартиру, с решеткой... Стало быть, и Кнутсенов секрет ему больше не занадобится.

Он повернул панельные розетки, открыл потайную дверь.

— Возьми свечу, мамушка.

— Григорей! — ужаснулась Домна Игнатьевна. — Ты что затеял? Не бери греха на душу, не душегубствуй!

— Да что ты, мамушка, и в мыслях того не имею. Присвети-ка мне.

Григорий, как куль, взвалил Перфильева на плечо и отнес его в кнутсенов тайник.

— Поставь ему тут питье какое, воды или лучше квасу...

Задвинув кованый наружный засов на железной двери, он вернулся с Домной в столовую и закрыл потайной ход.

— Ежели зачнет кричать или стучать — открывать не моги. Помни, мамушка: выпустишь его — это ты смерть мою выпустишь!

Домна Игнатьевна исподлобья глянула на него и ничего не ответила.

Коляска прогремела по булыге у деревянного Зимнего дворца, свернула на набережную и по Синему мосту выехала на Вознесенскую першпективу. Истомленные бессонной ночью караульные у слобод Измайловского полка, зевая, проводили взглядами коляску. Миновав слободы, кучер хлестнул лошадей и пустил их вскачь.

2

Григорий подоспел вовремя. Верстах в четырех за Таракановкой возвращавшаяся из Петергофа карета увязла в песке. Песчаная полоса дороги и всего-то была длиной в несколько сажен, но лошади без отдыха пробежали за ночь почти шестьдесят верст и выбились из

сил. Алексей Орлов спрыгнул с козел, стоявшие на запятках Бибиков и Шкурин спрыгнули тоже, кучер нещадно хлестал кнутом взмыленных лошадей, те не в лад дергались в постромках, но сдвинуть карету с места не могли.

Григорий выскочил из коляски, распахнул дверцу кареты.

— Ваше величество, видно, лучше вам пересесть. Коляска моя не больно презентабельна, зато лошади посвежее, эти вовсе ухайдокались, им теперь не дотянуть...

Екатерина пересела в коляску, Григорий вскочил на подножку, ткнул кулаком в спину Трофима:

— Гони что есть мочи!

Лошади поскакали. Екатерина была бледна и — не улыбалась. Григорий впервые увидел ее такой сжавшейся — она боялась. Он склонился к ней:

— Не извольте тревожиться, ваше величество! Все будет хорошо, помянете мое слово!

Екатерина вскинула на него взгляд и попыталась улыбнуться в ответ, но губы ее только дрогнули в жалкой, растерянной гримасе.

От галопа лошади быстро пристали, перешли на рысь, а не доезжая до измайловских слобод и вовсе поплелись шагом. Колесница славы, мчавшая ее к триумфу, снова превратилась в дрянную коляску. Еще немного, и торжественный спектакль мог провалиться. Григорий соскочил с подножки, крикнул кучеру, чтобы ехал за ним на полковой плац, и побежал вперед.

В полку уже увидели приближающуюся коляску, бегущего Орлова. Часовой опустил подъемный мост, из канцелярии вышли офицеры, барабаны рассыпали дробь тревоги, начали сбегаться солдаты.

Орлов увидел, что впереди все свои — Ласунский, братья Рославлевы, князь Голицын, Похвиснев...

— Измайловцы! — закричал Орлов. — К вам едет наша самодержица Екатерина Алексеевна. Ура матушке-государыне!

— Ура! — закричали солдаты и беспорядочной толпой бросились навстречу коляске, преградили ей путь.

Екатерина испуганно поднялась, лицо ее побелело, потом сделалось в красных пятнах. Но тут же она увидела, что приближаются к ней не угрожающие, а радостные лица, и мгновенно преобразилась — величаво выпрямилась, на лице ее воссияла растроганная и милостивая улыбка. Она вышла из коляски и, посылая направо и на-

лево улыбки в ответ на восторженные клики, направилась к центру плаца. Навстречу ей уже шел в полном облачении и с крестом в руке полковой священник отец Алексей. Не успел он благословить «благоверную императрицу и самодержицу», как подоспел командир полка гетман малороссийский и фельдмаршал российский граф Разумовский. Спешившись, граф Кирила преклонил колено и облобызал ручку государыни.

Таким образом, уже с первых шагов стало очевидным трогательное единение новой монархини, духовенства, генералитета и рядовых гвардейцев, каковое единение было тут же закреплено присягой, принятой под открытым небом, не сходя с места. Далее надлежало идти за Фонтанку к слободам Семеновского полка, но семеновцы, прослышав о происшедшем, уже сами бежали к измайловцам. Екатерина снова села в коляску, ее окружили Разумовский, Григорий Орлов, подоспевшие Алексей Орлов и Бибиков, офицеры-измайловцы. Процессия, которую возглавлял отец Алексей с крестом в руках, а завершали шеренги измайловцев и семеновцев, по Большой Садовой направилась к Невской першпективе. Привлеченные шумом, высыпали из домов санкт-петербургские обыватели, глазели на необычайное зрелище, дивились происходящему.

Еще по пути к першпективе начали доспевать преображенцы. По удаленности расположения своего они позже узнали о происшедшем, а из-за сопротивления некоторых командиров и того более подзадержались. Штабс-капитан Нилов старался их увещевать и удержать, а секунд-майор Воейков пытался даже остановить на Литейной гренадерскую роту, не встретив послушания, принялся шпагой рубить солдат по шапкам и ружьям и поносить непечатными словами ослушников и их родителей.

К такой словесности солдаты приобыкли издавна, но воейковские экзерциции шпагой им не понравились. Осердясь, они взяли ружья наперевес и пошли на него в атаку. Конь, храпя, попятился перед сверкающими штыками, пока не допятился до Фонтанки и не забрел в нее по брюхо, где уже штыком его было не достать.

— Вот посиди там, вашбродь! Прохолонь! — хохоча, кричали ему гренадеры.

Спорым шагом они пошли дальше, майор же Воейков почувствовал, что в ботфорты его затекают холодные струйки и что карьер его бесповоротно погиб.

Едва процессия вытянулась с Садовой на Невскую першпективу, как впереди показался идущий на рысях конногвардейский полк во главе со своим подполковником князем Волконским. Конногвардейцы опоздали более всех, зато кричали они восторженнее и громче всех.

Процессия достигла Казанской церкви, где «самодержице Екатерине Второй» провозгласили многая лета, двинулась дальше и часам к десяти достигла нового Зимнего. Никита Иванович Панин поспешил привезти сюда полуодетого наследника, Екатерина тотчас вышла с ним на балкон и показала войскам, те, как и следовало, принялись кричать «ура», но не столько наследнику, сколько «матушке-самодержице». Под такой аккомпанемент не приходилось заводить речи о том, что «матушке» предназначалась роль не самодержицы, а регентши, и Никита Панин — смолчал — долгая дипломатическая служба научила его с достоинством переносить поражения. Промолчала и заспанная княгиня Дашкова. Она была несколько обескуражена тем, что все сделалось без ее участия и даже ведома, но энтузиазма пока не утратила и с прежним пылом призывала действовать.

Далее все шло как по писаному. Архиепископ санкт-петербургский Вениамин обходил войска, выстроенные у дворца, и приводил их к присяге. В Зимний съезжались все знатные обитатели столицы, чтобы принести присягу матушке-государыне, засвидетельствовать свою «рабскую преданность», излить, как полагается, «слезы умиления и радости». Словом, всего полгода назад отрепетованный спектакль во всей полноте развертывался заново — вопли восторга, слезы умиления, коленопреклонение, реверансы и т. д. и т. п.

Сочинителей исторических романов хлебом не корми, только дай возможность описать, как, что и из чего едали и пивали в старину, во что одевались, в каких палацах или на каких полатях жили. Они истово, прямо благоговейно переписывают подходящие случаю страницы исторических трудов, с наслаждением во всех подробностях объясняют, какие ритуалы совершались, какие проделывались церемонии. Пускай их наслаждаются, а мы обратимся к тому, что проделывали люди с собой и друг с другом.

Только часов в двенадцать Григорий Орлов вспомнил об узнике кнутсеновского тайника, улучил подходящую минуту и перебежал площадь к Большой Морской. Открыла ему Домна. Еще в прихожей Григорий услышал ме-

таллический звон, будто невдалеке колотили в огромное било [1].

— Шумит? — спросил Григорий.

— Спозаранку так-то вот гремит и гремит. Как только народ не сбегся?..

Едва лязгнул засов, стук прекратился. Григорий распахнул дверь. Встрепанный, взлохмаченный от усталости и отчаяния Перфильев держал обеими руками дубовую скамейку. Увидев Григория, он ярросто ощерился.

— Ах ты подлец!.. Ты нарочно все подстроил? Ну, погоди!

Он поднял скамейку над головой и ринулся на Орлова. Тот вырвал у него скамейку, отбросил в сторону, обхватил его так, что руки Перфильева оказались прижатыми к туловищу, и поднял над полом. Перфильев пытался высвободить руки, лягался, пинал Григория коленями, но тот сжал его еще крепче, и Перфильев обмяк.

— Пусти, медведь проклятый... Больно...

Григорий отпустил его.

— Сволочь ты, Гришка, — потерянно сказал Перфильев. — Погубил ты меня. Как есть погубил!

Он внезапно всхлипнул, вытер под носом и обессиленно сел на топчан.

— Я тебя, дурака, спас, а не погубил.

— Спас? — снова накаляясь, закричал Перфильев. — Что я теперь скажу его императорскому величеству?

— Его величество уже никакое не величество. Было, да все вышло.

— Тоись как это?

— А вот так. Ополосни свой портрет и пойдем, я тебя представлю государыне.

— Какой такой государыне? Нет у нас никакой государыни, есть государь император Петр Федорович!

— Был, Перфиша, был! А теперь нету. Теперь у нас императрица и самодержица Екатерина Алексевна.

— Так это что, бунт? Выходит, правду про тебя говорили?.. Я в бунт не пойду, я присягу давал...

— Ну и — дура! Велика важность твоя присяга! Дал одну, дашь и другую.

— Никогда! — гордо сказал Перфильев. — Я — честный офицер!

— Ну, вот что, дорогуша: мне с твоей честностью возжакаться недосуг. Я тебя от опалы спасаю, а ты кобенишься. Думаешь, адъютанта бывшего императора по головке гладить будут? Из столицы тебя не выпустят, заставы закрыты. Зачнешь пылить, сволокут в крепость... Да ты выдь, погляди, что делается!.. На вот, тяпни чарку для куражу, и пойдем.

Перфильев послушался. При виде пикетов, запруженной войсками площади и без того по-детски открытые глаза его открылись от изумления до крайних своих пределов. Григория Орлова все знали, знали, какую роль он играл в заговоре, и перед ним расступались, освобождая дорогу.

— Ты только молчи, — сказал он Перфильеву. — Наъявляй глазами рабскую преданность и молчи. Что надобно, я сам скажу.

В этом предупреждении нужды не было. Изумление и растерянность Перфильева достигли такой степени, которую следовало бы назвать полным обалдением, отчего он, и прежде не самый выдающийся краснобай, дар речи утратил окончательно. Они миновали караулы, комнаты, забитые офицерами и высшими цивильными чинами, прошли в залу, где находилась Екатерина. Улучив удобный момент, Орлов подвел к ней Перфильева.

— Вот, матушка-государыня, адъютант бывшего императора Перфильев. Его враги ваши приставили ко мне, дабы соглядатайствовал и доносил. Однако он не только не учинил ничего худого, а загодя открылся мне, потому как душой и телом был предан вашему величеству.

Екатерина перевела взгляд на Перфильева, ожидая, что он скажет, но тот лишь тянулся в струну и обалдело таращился на нее. Этот вытаращенный взгляд можно было истолковать как крайнюю степень восторга, что Орлов тут же и сделал.

— Видите, матушка-государыня, он от радости даже онемел, слова сказать не может.

Екатерина снисходительно улыбнулась.

— Нитчего, вашны есть не слофа, вашны есть дела. Если он пудет карашо слушиль, он пудет не оставлялся монарший милость.

Так верный слуга Петра III, его адъютант и доверенное лицо, который не только не участвовал в заговоре, но был против него и в меру ума своего и сил старался заговор раскрыть, обнаружил, что мера эта у него на удивление короткая, и оказался первым перебежчиком в лагерь противников своего императора.

[1] Доска, заменявшая в старину сигнальный колокол.

Жаждая монаршей милости, весь «свет» Санкт-Петербурга теснился во дворце, непрерывным потоком омывая залу, где находилась императрица, волна энтузиазма и восторга вздымалась снова и снова. Они, эти волны, выплеснулись за пределы дворца, пошли по столице, как круги по воде от брошенного камня, и по мере удаления от дворца даже делались выше, а изъявления восторга — горячее. Догадливые кабацкие откупщики распахнули двери своих трактиров и лавок, выкатили бочки на улицу, и желающие, в коих не было недостатка, угощались, ничего не платя, бадейками и ушатами уносили вино про запас. У недогадливых жаждущие восторга обыватели сами выламывали двери заведений, но чинно и аккуратно, без всякого грабежа. Отпечатанные попечителем адъюнкта Тауберта манифесты были раздаваемы и вывешены во множестве, немногочисленные в ту пору грамотеи читали их для желающих вслух. Остерегаясь не только обсуждать услышанное, но даже чесать в затылках, слушатели тут же отправлялись выпить здоровье новоявленной матушки-государыни, собирались другие слушатели, процедура повторялась снова и снова, и потому ликование происходило не в каких-то определенных местах, а повсеместно во всей столице.

Однако если на окраинах празднование пенилось неомраченно, то по мере приближения к центру все явственнее ощущалась некая озабоченность и даже более того — опаска. Нет, солдаты не испытывали ни опасений, ни озабоченности. Озабоченность была уделом господ офицеров, а явственнее всего нависала над Зимним дворцом. Главное действующее лицо — впрочем, вряд ли можно называть Екатерину главным действующим лицом, так как действовали ее именем другие, она была лишь главным лицом действа... Теперь это главное лицо действа, императрица и самодержица Екатерина Вторая, расточало лучезарные милостивые улыбки, изливало «материнюю любовь» на только что обретенных верноподданных, но внутри у нее что-то мелко и неостановимо дрожало, а переполненное радостью и торжеством сердце нет-нет да и сжимала мохнатая лапа... Источник «всенародной радости», матушка-государыня была в незримой осаде — осаде страха.

И потому принимались все новые и новые меры предосторожности. Уже принесли присягу не только гвардейцы, но и все полки санкт-петербургского гарнизона, даже расположенные на Васильевском острове ингерманландский и астраханский, предварительно арестовав своих командиров, в том числе генерала Мельгунова, сторонника Петра. Внутренние караулы дворца заняли конногвардейцы и преображенцы, измайловцы и семеновцы окружали дворец снаружи. Остальная часть гвардии, линейные ямбургский, петербургский и невский полки заняли все близлежащие улицы, у вылетов их артиллерия ощерилась пушками. Астраханский и ингерманландский полки расположились на дальних подступах. К заставам и всем выходам из города посланы конные пикеты, дабы из города никого не выпускать, а всех прибывающих задерживать. На острова послан полковник Мартынов, чтобы привести в боевую готовность артиллерийские батареи и закрыть для всех судов, барок и лодок выходы в море, а главное, преградить доступ с моря к столице. Жалкие пушчонки, разбросанные в устьях Невы и протоков, были не в состоянии преградить путь многопушечным линейным кораблям, они, конечно, смогли бы прорваться в Неву, и тогда Зимний дворец оказался бы прямо под жерлами их пушек. Надежно прикрыть доступ в столицу мог только Кронштадт. Поэтому в Кронштадт спешно отправили адмирала Талызина, дабы привести гарнизон и экипажи кораблей к присяге государыне и далее поступать по обстоятельствам, для чего Екатерина дала Талызину собственноручную записку-приказ: «Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадт, и что он прикажет, то исполнять. Екатерина». Однако на всякий случай Екатерина и ее пособники решили сменить резиденцию, перебрались в деревянный Зимний на Мойке — с Невы его прикрывала Адмиралтейская крепость, а сухопутные войска могли охватить сплошным кольцом.

Курьеры поскакали в действующую армию к Чернышову и Румянцеву, дабы те привели к присяге императрице вверенные им войска. Одновременно к губернатору Лифляндии Броуну курьер повез, кроме официального манифеста, еще и собственноручную записку Екатерины, в которой она приказывала задержать «бывшего императора», если он появится в Лифляндии, и, живого или мертвого, доставить в Санкт-Петербург. Надлежало озаботиться о его дальнейшем местопребывании, поэтому генерал-майор Савин спешно отправился в Шлиссельбургскую крепость, которая была признана самым подходящим местом для российских императоров: один — Иоанн Антонович — пребывал там уже не первый десяток лет...

Где же сам император, что он предпринял и что наме-

ревается предпринять против мятежа? Появились первые лазутчики из вражеского стана — великий канцлер Михайла Воронцов, князь Трубецкой, граф Шувалов. Они изъявили Петру готовность пожертвовать собой и с его позволения направились в Санкт-Петербург, дабы призвать Екатерину и гвардию к повиновению и благоразумию. К благоразумию они никого не призывали, а проявили его сами и присягнули Екатерине. Увы, они прибыли из Петергофа еще днем, поэтому о дальнейшем местонахождении Петра и его планах ничего не знали.

Первый акт санкт-петербургского действа можно считать оконченным. Он прошел без всяких заминок и накладок, роли были разыграны отменно. Особенно хорошо исполнила свою Екатерина. Роль народной избранницы. Опальная супруга государя, она жила в петергофском уединении, как в скиту, ни во что не вмешивалась, ничего не домогалась и не требовала для себя. Однако настал великий час, когда подспудное недовольство тираном, посягнувшим на священные для русского человека устои, злодеем, влекущим державу в пропасть войны, прорвалось и народ восстал. На кого же восставший народ мог обратить взор упования и надежды, кому вверить судьбу свою и будущее державы? В те поры само собой разумелось, что обратить взоры он мог только на персону, стоящую над ним. Вполне естественно он обратился на Екатерину, ибо молва упорно свидетельствовала, что она противница всех Петровых нововведений, недовольна позорным миром с Пруссией и не желает войны с Данией из-за какого-то немецкого курятника, который называется Шлезвиг. Более того — она непрестанно пыталась усовещевать своего не в меру «азартного» супруга, представительствовала перед ним в интересах возлюбленного ею русского народа, за что была отчуждена и всячески угнетаема... Итак, взор был обращен, и тут же последовало верноподданическое «припадание к стопам». Могла ли Екатерина устоять перед слезным молением возлюбленного ею народа, уклониться от тяжкого бремени власти и тем самым обмануть народные чаяния? Она не уклонилась, не обманула и потому превознесена и провозглашена императрицей и самодержицей. Таким образом, всему миру должно было стать очевидным, что она не захватчица, а народная избранница. И даже более того, ибо известно, что глас народа — глас божий, стало быть, одним чохом на Екатерину снизошла и божественная благодать...

Как ни гладко был сыгран первый акт, спектакль не мог им закончиться: добраться до трона — мало, чтобы на нем удержаться, необходимо второе действие — военное, дабы спихнуть с трона своего предшественника.

Для военного акта следовало сменить костюмы и... роли. Роль скромной и бескорыстной народной избранницы Екатерина сыграла, теперь предстояло сыграть роль полководца. Она и здесь оказалась на высоте задачи. Первым шагом ее был указ сенату, по-военному краткий и деловитый:

«Господа сенаторы!

Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полной довереностию, под стражу: отечество, народ и сына моего.

Екатерина».

Далее необходимо было переменить костюмы. Без всякого приказа или понуждения гвардейцы сами сбрасывали ненавистные мундиры прусского образца и надевали старую петровскую форму. Екатерина тоже переоделась, благо мужской костюм был ей не в диковину. Поручик Талызин оказался примерно одного роста с Екатериной, у него нашелся запасной мундир, и Екатерина превратилась в коренастого семеновца. Вот только треуголка не держалась на высоко взбитой прическе. Екатерина распустила волосы и стала ни дать ни взять Walküre — Валькирией, воинственной девой божественного происхождения, приносящей, по древнегерманским сказаниям, победы в битвах. Правда, у него мерина, которого ей подвели, не бил из ноздрей огонь, что полагалось коню Валькирии, зато спина у него была покойная и широкая, как тарантас. Впоследствии придворный художник на своей картине исправит сделанную в суматохе промашку, и смирный пегий мерин превратится в белоснежного красавца со сверкающими глазами.

И Екатерина Дашкова, так жаждавшая деятельности, наконец-то дорвалась до нее: она надела мундир преображенского поручика и тоже распустила волосы. Только княгиня видела себя не мифологической Валькирией, а Орлеанской девой. Для полноты сходства надо бы надеть белые сверкающие латы, но они, к сожалению, вышли из моды до появления Санкт-Петербурга и в столице их было не сыскать. Она почти въявь видела, как ведомые ею войска разбивают врага, и подобно тому, как Жанна

д'Арк добилась коронации Карла VII в Реймсе, она добивается коронации Екатерины в Москве... Княгиня Дашкова даже несколько раз обнажала шпагу и тем самым показывала полную готовность действовать.

Первыми предусмотрительно посланы налегке гусарские и казачьи части под командованием преображенского сержанта Алексея Орлова. Спустя некоторое время князь Мещерский повел артиллерию и часть полевых войск. К десяти часам вечера готовы, наконец, главные участники спектакля. Время позднее, но в разгар белых ночей светло, как днем, ничто не препятствовало выступлению в поход. И он начался. Окруженные высшими чинами, конногвардейским эскортом гарцевали доморощенные Валькирия и Орлеанская дева, за ними бесконечной змеей потянулись колонны гвардейских и линейных полков. Двенадцатитысячная армия вышла в поход против своего императора, которого окружали сейчас полсотни дам и придворных шаркунов и шестьсот голштинцев, которые великолепно выделывали экзерциции на разводах, но никогда не воевали и воевать не умели. Кувалда взвилась над мухой...

Ослепленные блеском придворной рампы, историки прошлого, да и большинство мемуаристов, умели видеть лишь ярко освещенные фигуры на просцениуме, были уверены, что только эти фигуры, их воля, устремления и страсти определяют ход исторических событий, все остальные и все остальное сливалось в расплывчатое понятие «народ» и потому терялось в тени, служило единственно фоном. История доказывает, что нельзя пренебрегать ролью личности — среди этих личностей бывают великаны, способные менять самый уклад жизни, ее устои, если великаны эти служат главным нуждам своего времени. Однако великаны редки. Заурядные преемники, заполучив власть, считают это мгновение как нельзя более прекрасным, стремятся продлить его сколько возможно и потому прилагают все усилия, чтобы никаких перемен не происходило. Вопреки воле и желаниям таких властителей перемены все-таки происходят. Их даже производят сами властители — под давлением народа или из страха перед ним. Вот почему считать только фигуры на авансцене причиной всех исторических событий — все равно, что говорить, будто взметенный вихрем сор есть причина шквала, будто этот сор его вызвал и увлекает за собой.

Когда четырнадцатилетнего Карла Петера Ульриха

привезли в Россию, у него был только один враг, да и тот приехал с ним: его гофмаршал и воспитатель грубый солдафон Брюммер. Войдя в совершеннолетие и став герцогом голштинским, Петр Федорович отослал его обратно в Голштинию. Двадцать лет, прожитых в России в ожидании престола, Петр не имел никакой власти, поэтому не мог причинять другим вреда, а вследствие этого приобрел не много врагов. Но среди них был один, который стоил многих, очень многих... Это была его супруга Екатерина Алексеевна. Он пренебрег ею как женой и женщиной. Большего оскорбления ей нельзя было нанести, а в отличие от Петра она ничего не забывала и не прощала. Первые шаги императора Петра III вызвали неподдельный восторг. Через шесть месяцев искренних и верных друзей Петра можно было пересчитать по пальцам. Все остальные оказались его врагами. Самым сильным и опасным врагом стала гвардия.

Унаследовав престол деда, Петр Федорович тоже хотел во всем и как можно скорее уподобить Россию европейским государствам. Он действовал смело и решительно, но действия внука были совсем не похожи на действия деда. Петр I потому и был великим, что он решительно, хотя и жестоко, направил жизнь державы в провиденное и проломленное им русло и в деле том не чурался ни кайла, ни лопаты. Петр III оказался маленьким, ибо полагал достаточным монаршего мановения и только подписывал указы, рескрипты и манифесты, но поток жизни нельзя остановить или изменить при помощи бумаг, как бы торжественно они ни назывались.

Прекращение кровопролитной войны с Пруссией обрадовало всех. Уничтожение Тайной канцелярии вызвало восторг. Манифест о вольности дворянской породил ликование дворян служилых. Ликовало и разбросанное по градам и весям дремучее племя дворян не служилых, которые отличались от «подлого сословия» только тем, что сидели на шее у крепостных и мордовали их как хотели. Отобрать имения и крепостных у монастырей, которые были самыми настоящими помещиками, намеревался еще Петр I. Петр III объявил об этом, навлекая на себя тайные анафемы и открытое негодование духовенства. Провозглашение веротерпимости, равноправности вероисповеданий вызвало негодование всеобщее.

Русское воинство, и в первую очередь гвардейцы, особым религиозным рвением не отличалось. По недосугу и естественным склонностям из духовной пищи они пред-

почитали карты, зелено вино и прочие мужские радости. Однако было бы глупой неправдой приписывать тогдашним военным какое-то вольномыслие, а тем более атеизм. Они были детьми своего времени — если и не слишком набожными, то, во всяком случае, искренне верующими, соблюдали все посты и праздники, истово говели и исповедовались. Последнее, правда, проходило зачастую в ускоренном темпе, так как полковым священникам приходилось отпускать кряду слишком большое количество грехов. День в полковых слободах начинался тогда не физзарядкой, а утренней молитвой и столь же обязательно заканчивался молитвой вечерней. На шее у каждого висел на гайтане никогда не снимаемый крестик: залог спасения души, символ и свидетельство православного вероисповедания. Быть иноверцем означало неизмеримо худшее, чем быть инородцем. Вплоть до революции 1917 года указание вероисповедания в паспорте было непременным. Оно определяло шансы получить образование, продвижение по службе, даже самую возможность служить, права экономические, политические и даже местожительство.

Православие представлялось верующему единственной возможностью спасения души — все иноверцы, басурмане осуждены на геенну огненную, то есть ад. Сколько раз слышал с амвона каждый верующий: «Не бойся убивающих тело, души ж не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне»?.. Естественно, что полковые священники особенно усердно напирали на этот стих Матфеева евангелия, дабы внушить солдатам, что они должны бояться не смерти, а погубления души, ибо священный долг воина, не щадя живота своего, защищать веру, царя и отечество.

И вдруг провозглашается, что любая чужая вера равноправна, нисколько не хуже родного православия. Как же тогда спасти душу! Какую веру защищать православному воину, если все вероисповедания равны? Попы говорят, что за такое отступление от основ веры не будет прощения ныне, присно и во веки веков. И кто возглашает такое отступление? Сам царь, который должен быть столпом, опорой и первым защитником православия... И коли солдат должен быть первым делом за веру, то как он может быть за царя, коли тот веру зачал умалять, посты отменяет, говорят, даже иконы хочет запретить, попов обрить и обрядить по-немецки, а там, глядишь, и всех в лютеранскую ересь погонит?

По всей России Шлезвиг нужен был только одному человеку — Петру III, воевать из-за него с Данией не хотел никто, но как бы ни было велико недовольство, солдат есть солдат, присяга есть присяга, и воронежский полк уже топал по рижской дороге, готовились к выступлению линейные полки, расположенные вокруг Петербурга, подтягивались казачьи отряды. А третьего июня высочайшим повелением предписано было ни в какие дальние отлучки людей из гвардейских полков не отпускать, дабы полки находились в полной готовности выступить в поход. Отлучек не было, но оттого, что котел был полон и наглухо закрыт, он только сильнее забурлил. И дело состояло вовсе не в том, что гвардия не хотела воевать — воинская присяга для всех одинакова, и гвардейцы подчинились бы приказу, как подчинились ему все остальные части. Для того чтобы понять истинные причины недовольства гвардейцев, надлежит вникнуть, что представляла собою тогда гвардия...

Петр I создал гвардию для охраны царской власти и самого государя. Когда-то первые гвардейцы, преображенцы и семеновцы, сражались под водительством самого Петра. Потом появились новые полки, измайловский и конногвардейский, но после русско-турецкой войны 1739 года гвардия больше не воевала. Она превратилась как бы в многотысячную театральную труппу, полки статистов, которые несли военную службу без войны, службу чисто декоративную, смысл которой состоял в том, чтобы участвовать в парадах, торжественных дефиладах, стоять караулы у императорского дворца и в самом дворце. Офицеры жили не при слободах, а на частных квартирах и в собственных домах, обзавелись семьями и хозяйством и даже на службу приезжали в каретах, причем количество запрягаемых лошадей определялось классом согласно табели о рангах. В свободное время офицеры являлись в свете, даже считались украшением его, и, уж конечно, не пренебрегали пирушками и всеми доступными тогда развлечениями. Кто же по доброй воле захотел бы сменить такую вольготную службу на тяготы, пот, кровь и возможную смерть, которые несла война?! Однако сменили бы и пошли проливать кровь и умирать, если бы дело было только в этих внешних обстоятельствах жизни. Важнейшим и решающим было другое.

Армия была войском, набранным из крепостных и прочих людей «подлого звания». Гвардейцы были войском, набранным из дворян. Многие из них за действительные

или мнимые заслуги стали дворянами совсем недавно, но тем решительнее отгораживались от простолюдинов. О том, что они представляют собой класс феодалов, дворяне не имели никакого понятия, они осознавали и называли себя дворянским сословием. Это была невообразимо пестрая, разномастная масса, от неграмотного мелкопоместного дворянина, сидевшего где-то в беспросветной глуши на хлебах у своих крестьян, коих иной раз не было и десятка, до европейски образованных, придворных, вельмож, которые имениями и богатством могли поспорить не с одним европейским владетельным герцогом или даже королем.

У дворян была только одна общность — общность прав и привилегий, установленных законом и традициями. Они очень хорошо знали, что такое карточная партия в «фараон», о партии же в политическом смысле слова не имели представления, но такая партия у них была, и ею являлась гвардия. Сама эта партия не осознавала себя как партию, однако гвардия была подлинной дворянской партией. Она представляла собой самую передовую и образованную часть дворянства, его единственно объединенную организованную часть, нешуточную военную силу и силу политическую.

Естественно, что состоявшие при особе государя гвардейцы были на отличку противу всех прочих. Они получали больше жалованья, лучшее обмундирование, служба была легче, а жизнь приятнее. Попавший в гвардию дворянин мог считать свой карьер обеспеченным. Тогдашняя Россия имела Академию наук, но светских учебных заведений было — раз-два и обчелся. Семинарии и духовные академии готовили церковнослужителей, а питомником государственных и военных кадров была гвардия. Из нее выходили в придворные и военачальники, она поставляла администрацию — не чиновников, обязанных учиться и выслуживать чин за чином, а начальников, которым вовсе не обязательно было учиться и что-то знать, достаточно было получить чин и быть назначенным. В те поры даже сложилась поговорка: «Была бы милость, всяково на все станет»... Гвардейский чин шел за два прочих: переходя в армию или в цивильную службу, гвардеец автоматически перескакивал через чин в следующий — скажем, поручик, минуя капитанство, сразу становился майором, и даже рядовой гвардеец выходил из службы не иначе, как унтер-офицером. Не удивительно, что гвардия, созданная, дабы никто не посягнул на власть, ее права и привилегии, стала чрезвычайно чувствительна к любым посягательствам на ее собственные права и привилегии. И вдруг не посягательство к умалению, а смертельная угроза нависла над всей гвардией.

О том, что император не любит гвардейцев, знали все. Он называл их янычарами и не раз повторял, что «от них нет никакой пользы, они только блокируют резиденцию»... За словами последовали и дела: после смерти императрицы Петр III распустил лейб-кампанию. Никаких особых доблестей за лейб-кампанцами не числилось, единственно только двадцать один год назад они арестовали Брауншвейгскую фамилию и первыми присягнули Елисавет Петровне, но с течением времени подвиг этот в их собственных глазах рос в размерах и значении. А он их унизил и раскассировал...

Уже только от этого гвардию охватил преизрядный амбраж[1]. Лейб-кампанцы-то ведь тоже были гвардейцами, даже самыми приближенными... Когда без всяких рескриптов стало известно о предстоящей войне с Данией, пронел слушок, будто воевать Данию пошлют и гвардейцев. Слушок вскорости подтвердился. А затем пошел упорный слух, будто император принял такую резолюцию: когда тот клятый Шлезвиг будет отвоеван, то все войска возвернуть на прежние расположения, гвардейские же полки в столицу не возвращать, а, разъединив, отослать их как подалее. Для чего? А для того, чтобы потом лишить гвардейцев прав и привилеев, а гвардию, подобно лейб-кампании, упразднить вовсе. Да как же можно? Гвардия всему войску голова, опора и защита престола! Видно, так располагают, что голова эта стала больно горда, заносчива и непокорна, а потому лучшее заблаговременно отрубить... А насчет опоры престола, так войска в России хватает — караульные службу при дворе станут нести в очередь гарнизонные. Это полки не дворянские, из холопей, они посмирнее будут, попослушнее... Да нет, невозможно! Где это слыхано, чтобы такое учинить?! Очень даже возможно! И однова так-то учинили — со стрельцами. Назад тому шестьдесят годов с небольшим московских стрельцов — приближенное царское войско — послали турка в Азове воевать, а обратно в Москву — вась! Направили в Великие Луки. Стрельцы мыкались-мыкались-мыкались, взбунтовались, а за бунт — кому головы долой, кого в кнуты и в Сибирь, а все стрелецкое

[1] Недоверие, подозрение, сомнение.

войско раз навсегда изничтожили. Теперь, видно, пришел наш черед... Так что надо, братцы, думать, как нам жить и как далее быть...

Гвардейцы задумались. Нет, они не думали и тем более не говорили вслух о судьбе сословия дворян, о том, что гвардия — цвет этого сословия, единственно организованная его часть и сила, могущая отстаивать интересы всего дворянства. Каждый думал о себе, о том, что он утратит и в какое ничтожество впадет, когда рядовой гвардеец, потомственный дворянин, станет одно и то же, что крепостной холоп, которого барин сдал в рекруты... Это угрожало каждому, а стало быть, всем, и потому столь разные по положению и состоянию гвардейцы ощутили себя уже не просто как воинскую часть, а как лагерь единомышленников, противостоящий императору. И по всему выходило, что могли остаться либо он, либо они.

Так недовольство, почва для мятежа образовались не благодаря замыслам и проискам снизу, изнутри, а под угрозой сверху. Этим и воспользовались заговорщики. Гвардейцы готовы были поверить и верили любой правде и неправде об императоре, самым вздорным и нелепым россказням, жадно подхватывали все, что умаляло, очерняло императора, оправдывало или казалось оправданием их недовольства. Под этот шквал негодования и озлобления мог подставить свой парус любой человек — была бы хоть какая-то видимость его «законных прав» занять престол.

Екатерина не была ни причиной, ни знаменем мятежа, как изображали впоследствии она сама и придворные блюдолизы от истории. У нее лишь достало ума и ловкости, чтобы вовремя подставить парус своей судьбы под шквал, который разразился с единственной целью — смести ставшего ненавистным Петра III. Парусом Екатерине послужил ее собственный подол, но о том знали очень немногие.

Итак, вслед за окруженными свитой Валькирией и Орлеанской девой, обрядившимися в офицерские мундиры, гвардейцы шагали по петергофской дороге. Для них это выступление было вовсе не спектаклем с переодеванием, а походом на жизнь или смерть. Что там ни говори, они нарушили присягу, сделались мятежниками, восстали против законного императора. О том, что императора сейчас окружали всего шестьсот голштинцев, они не знали и считали, что на его стороне не только закон, но и все остальные русские войска, а там, кто знает, может, даже

и войска его друга и союзника Фридриха. Они бросили жребий, а солдатский жребий, чет ли нечет, всегда мог обернуться сражением, пролитой кровью и гибелью, и они были готовы к этому, так как шли защищать настоящее и будущее свое и своих детей. Вослед шагали солдаты линейных полков. У них не было никаких привилегий, им нечего было терять, кроме жизни, но они не хотели ее терять в непонятной и ненужной войне, запуганные разъяренными попами, страшились ниспровержением православной веры погубить свои души.

По сравнению с нынешней армией, с ее всевозможными машинами и транспортерами армия тогдашняя была, конечно, ужасно примитивной. Конница, как явствует из самого названия, ехала на конях, обозные повозки тоже тянули лошади, но главная сила армии испокон веков передвигалась на своих двоих, почему и получила наименование пехоты. Двигатель этот, как известно, безотказный, не требующий ни запчастей, ни специалистов по наладке, но у него были свои недостатки — тихоходен, время от времени требовал отдыха и горячего горючего, то есть каши.

Солдаты более двенадцати часов толклись на ногах в Санкт-Петербурге, а когда отшагали десять верст до Красного Кабачка на петергофской дороге, привал стал решительно необходим. Походный бивак растянулся на версту, над ним поплыли горький дымок костров, аромат доспевающей каши и свирепый портяночный дух.

Обе воительницы расположились в самом трактире, густо населенном резвыми клопами и меланхолическими черными тараканами, но ни есть, ни сомкнуть глаз не могли. Тому мешало не черно-коричневое население, которое было им не в диковину, а собственная взвинченность. Воспаленное воображение Екатерины-маленькой рисовало ей живописные подробности предстоящей баталии, про себя она примеряла картинные позы и воодушевляющие возгласы, кои предстояло издавать. Дашкова не прочь была поболтать, но Екатерина-большая не откликнулась на эти попытки. Она замкнулась и перестала улыбаться. Шумная пена петербургских восторгов опала. Перед нею разверзалась зияющая неизвестность, и мохнатая лапа страха снова сжимала сердце.

Лапа эта разжалась только в Сергиевой пустыни. В монастыре войска снова остановились на роздых. Сюда прискакал из Ораниенбаума вице-канцлер князь Голицын, и Екатерина узнала наконец, где находится Петр. Он был

в Петергофе, безуспешно попытался высадиться в Кронштадте и вернулся в Ораниенбаум. Ранним утром в Петергоф ворвались гусары Алексея Орлова — там не было никого, кроме голштинских рекрутов, которые деревянными мушкетами выделывали на плаце экзерциции. Слегка поколачивая, гусары заперли их в конюшнях и сараях, затем поскакали в Ораниенбаум, заняли выходы и окружили пикетами всю резиденцию императора. Итак, ненавистный муж и смертельно опасный враг, как зверь, загнан в берлогу и обложен со всех сторон.

К Екатерине вернулись присутствие духа и величавая осанка. Голицын привез не только известия, но и собственноручное письмо Петра, в котором тот признавал себя неправым и предлагал примирение. Нет, не это нужно было Екатерине, и, не удостоив его ответом, она во главе гвардии отправилась в Петергоф, уже занятый частями князя Мещерского. Сюда явился последний перебежчик — генерал-поручик Михайла Измайлов. Заядлый враг Екатерины, он ухитрился утром 28 июня вырваться из Петербурга и привез Петру в Петергоф весть о мятеже и провозглашении Екатерины. В награду Петр тотчас назначил его командиром голштинского отряда. Сейчас Измайлов привез второе письмо императора, в котором тот отказывался от прав на российский престол и просил отпустить его в Голштинию вместе с Гудовичем и Лизаветой Воронцовой. Как бы не так! Отпустить смертельного врага, чтобы он, зализав раны и собравшись с силами, попытался вернуть себе престол?

Увидев несомненное торжество Екатерины и превосходство ее сил, Измайлов, этот ярый враг ее и преданный слуга Петра, тут же предал его и присягнул Екатерине. Однако слишком запоздалое прозрение свое следовало загладить, и он вызвался склонить императора к отречению по всей форме и без всяких усилий. Теплов тут же набросал черновик. Сопровождаемый Григорием Орловым и князем Голицыным, Измайлов отправился в Ораниенбаум. Он разговаривал с императором с глазу на глаз и через некоторое время вручил Орлову собственноручно переписанный Петром акт отречения. Конвоируемая гусарами карета, в которой находились Петр, Гудович, Измайлов и Воронцова, в час дня прибыла в Петергоф. Гудович и Воронцова тут же были арестованы, у Петра отобрали шпагу, сорвали с него андреевскую ленту и отвели в отведенную ему комнату. Он остался один и потерял сознание...

Через четыре часа из Петергофа выехала карета с опущенными шторками. На подножках ее, на козлах и на запятках стояли гренадеры. Окруженная конвоем под командой Алексея Орлова, карета направилась в Ропшу — «резиденция» для императора в Шлиссельбургской крепости еще не была готова. Кроме того, там уже находился один бывший император, давно свергнутый Иоанн Антонович. Собирать под одной крышей даже в крепости двух бывших императоров было опасно, поэтому еще 29 июня из Петергофа Екатерина предписала особым указом генерал-майору Савину: «Вскоре по получении сего имеете ежели можно того же дня, а по крайней мере на другой день безъимянного колодника содержащегося в Шлиссельбургской крепости под вашим смотрением извлекати сами из оной в Кексгольм». На исполнение этого приказа требовалось время, поэтому карета с только что свергнутым императором направилась в Ропшу, охотничью мызу в 36 верстах от столицы по нарвской дороге.

Спектакль окончен — дворцовый переворот, который на Западе почему-то называли революцией, произошел. К необычайной гордости Екатерины он был совершенно бескровным, так как нельзя же считать кровопролитием несколько капель крови, которые спустя неделю Алексей Орлов отсосал из укушенного пальца и сплюнул... Но прежде чем опуститься занавесу, бросил взгляд за кулисы, на человека, для которого этот спектакль с переодеванием обернулся трагедией.

Что же сам Петр III, законный император и самодержец? Как мог он допустить происшедшее, почему не подавил мятеж в самом зародыше, почему не оказал сопротивления потом, не боролся, а бесславно капитулировал, сдался на милость победительницы, хотя и не ждал от нее ни пощады, ни сожаления? Недостало мужества, смелости? Но он был смел и решителен в своих монарших начинаниях. Не хватило ума? Екатерина из кожи вон лезла, чтобы изобразить его дурачком, однако он им не был, его государственные решения были настолько важны и необходимы, что все свое царствование Екатерина, приписывая, разумеется, инициативу и заслугу себе, осуществляла то, что прокламировал или намечал Петр III. За одним исключением: Петр III упразднил Тайную канцелярию, Екатерина тотчас по воцарении восстановила ее под названием Тайной экспедиции...

Так почему же Петр не удержался, не устоял? Он был

преисполнен самых лучших намерений. Он хотел славы для себя, пользы державе и своим подданным. Беда была в том, что полурусский по рождению и немец с головы до пят по воспитанию, он не знал ни русских, ни России и о своих подданных знал только одно: они должны, обязаны безусловно и безоговорочно во всем подчиняться монарху, исполнять его волю. Петр, конечно, верил в бога, но — не слишком набожный — считал, что непосредственно бог в земные дела не вмешивается, оставляя за собой окончательный расчет в день Страшного суда, который предстоял где-то в отдаленном и не очень определенном будущем. А до тех пор суд и расправу вершит не небесный, а земной владыка, каковым является монарх. От него исходят все установления, правопорядок, а субординация и дисциплина есть основа основ всей жизни. Петр знал, что у него есть враги, а самый ярый среди них — его жена, но не боялся их и даже презирал — он был уверен, что они не посмеют, так как это было бы нарушением дисциплины и всех основ жизни.

А они посмели. Окруженный придворными, Петр приехал в Петергоф, чтобы отпраздновать именины. Екатерины там уже не было, и через какое-то время стало известно, что в столице мятеж против государя. Это был первый удар, от которого мир Петра III зашатался. Но сам Петр устоял. Он писал указы, рескрипты, рассылал курьеров в Петербург, воинские части, в Кронштадт. Преданные царедворцы рвались в Петербург, чтобы призвать к покорности мятежников, Екатерину усовестить, а в крайности убить ее. Курьеры не возвращались, а преданные — предавали. Это был второй удар. Оставалось последнее прибежище и надежда — армия и флот. Но воронежский полк и другие части, уже направившиеся на войну по нарвской дороге, не вняли призывам императора, а спешно возвращались в Петербург. Разместив придворных на галере и парусной яхте, Петр направился в Кронштадт, чтобы послать военные корабли бомбардировать мятежную столицу и, высадив десант, овладеть ею. Но Кронштадтская гавань преграждена боном, а на требование императора открыть бон мичман Кожухов прокричал в рупор, что императора больше нет, а есть императрица Екатерина и чтобы яхта и галера уходили, иначе крепостные орудия откроют по ним огонь. Армия отказала в повиновении монарху, флот угрожал ему бомбардировкой. Это был третий и сокрушающий удар. Мир, которым и в котором жил Петр III, мир субординации и дисциплины рухнул, Петр был сломлен нравственно и физически.

Кто мог ему помочь? Изящные придворные дамы превратились в стадо истерически рыдающих, визжащих баб. Приближенные давали советы. Советов было много. Отправиться в Петербург и призвать войска к повиновению... Это равнозначно добровольной сдаче в руки беспощадного врага. Скакать через Нарву в Пруссию к русским экспедиционным войскам, чтобы их обрушить на мятежников... Скакать не на чем — все ямы и заготовленные лошади захвачены мятежниками. Идти на галере в Ревель к главным силам флота российского... Пока галера на веслах дойдет до Ревеля, флот уже присягнет Екатерине — курьеры по сухопутью доскачут быстрее. Занять в Ораниенбауме оборону и дать мятежникам бой... Ораниенбаумские пушчонки годились для салютов, но не имели боевых ядер, а рота голштинцев могла противостоять наступающейся армии не больше, чем клок соломы урагану. Петр запретил всякое сопротивление как бессмысленное и бесполезное кровопролитие и уже почти безучастно наблюдал, как бегут от него вчера еще «рабски преданные» придворные.

Неужели Петра предали все, не нашлось людей, которые до конца остались верны присяге? Их не насчитать и десятка. Иван Голицын и Андрей Гудович, генерал-адъютанты Петра, не стали служить Екатерине и 34 года прожили в своих деревнях, в отставке; генерал-поручик Петр Измайлов, управлявший двором императора, генерал Измайлов, шеф кирасирского полка, не позволявший подчиненным стать на сторону Екатерины, — оба немедленно уволены от службы. Предчувствия Воейкова, сосланного гренадерами в Фонтанку, не обманули его. Майор Воейков и майор Шепелев от службы уволены, дальнейшая судьба их неизвестна. Капитан Лев Пушкин, дед поэта, пытавшийся удержать подчиненных ему солдат от присяги Екатерине, уволен со службы и посажен в крепость...

А народ? Ну, кто же тогда интересовался тем, что думает и чего хочет народ?!

3

Итак, злодей и супостат низринут и заточен под неусыпное смотрение вернейших из верных, которых отобрала сама императрица. Торжествующая Екатерина ликует

внутренне, но многолетняя школа выдержки и лицемерия пройдена недаром, ликование ее проявляется только в милостивых улыбках, коими она неустанно одаривает сподвижников. Сподвижникам скрывать свои чувства незачем, и они радуются открыто, шумно и бурно, не без надежды, что ликование это будет замечено и вознаграждено. Обескуражена и раздосадована только воинственная княгинюшка Дашкова. Не только оттого, что никакой баталии не произошло и ей не довелось сыграть роль русской Жанны д'Арк, но и потому, что она приготовилась к роли наперсницы и наставницы императрицы, однако сразу же после победы обнаружилось, что императрица предпочитает не наперсниц, а наперсников, такой наперсник давно есть, и не кто иной, как худородный Григорий Орлов, наставницы же не нужны ей вовсе.

Огорчение юной княгини, разумеется, не могло омрачить общей атмосферы. Возвращение Екатерины из Петергофа в Санкт-Петербург было ни дать ни взять триумфом, наподобие тех, какие устраивали древние римляне своим прославленным полководцам после сокрушительной победы над врагом, и, пожалуй, даже торжественнее, так как сопровождалось колокольным звоном, которого римляне не знали. Здесь, правда, победа пришла без сражений, потому что нельзя же считать сражением стычку в Петергофе, где гусары надавали безоружным рекрутам тумаков и затрещин, не шли вереницы пленных, не везли награбленных сокровищ, но в том и не было нужды — державная казна поджидала в столице. Несмотря на отсутствие этих внешних признаков триумфа, он был полным и всеобщим: войска предотвратили нежеланную войну, гвардия отстояла свои привилегии и воочию показала, сколь опасно покушаться на них, духовные пастыри счастливы ниспровержением попыток подорвать основы православия, Екатерина же не только уничтожила угрозу, нависшую над нею, но и получила вымечтанную власть, стала не регентшей, не соправительницей, а самодержавной императрицей.

В столице всеобщий восторг достиг еще большего накала благодаря догадливости кабатчиков, снова распахнувших настежь двери своих заведений, и расторопности жаждущих ликования толп, кои порастрясли заведения недогадливых. Степень этого накала была исчислена даже в рублях: с 28 июня по 1 июля у кабацких откупщиков было выпито на 77 133 рубля 60 копеек с

двумя полушками, вольные же кабатчики потеряли 28 375 рублей и 53 копейки.

Откупщики были богаче и потому более рисковы и догадливы — они добровольно открывали двери трактиров и лавок, таким способом показывая свою приверженность матушке-государыне. Им уплатили. Вольные торговцы жались и выжидали, потому их кабаки и были главным образом разграблены. И хотя сумма их потерь была почти в три раза меньшей, они еще долго обивали пороги канцелярий, вымаливая возмещение убытков, пока императрица не положила этому конец, написав на прошении одного из торговцев: «Как казна не приказала грабить, то и справедливости не вижу, что казна платила».

Чтобы окончательно осчастливить и покорить сердца подданных, Екатерина снизила цену пуда соли на 10 копеек, туманно пообещала дальнейшие «материне милосердия» и занялась делом более важным и безотлагательным — обживанием захваченного трона. Нужно было устраивать приемы для иностранных дипломатов и столичной знати, на которых, стараясь всех обаять и очаровать, она не жалела любезностей и милостивых улыбок, и одновременно предпринимать осторожные, но достаточно решительные меры, дабы всенародное ликование ввести в рамки желаемого и дозволенного, из коих оно начало выходить слишком далеко. Вся гвардия была горда победой, пуще же всех возгордились измайловцы, так как они первые «провозгласили», видели себя новыми лейб-кампанцами и потому решили, что им все позволено. В первую же ночь по возвращении, перепившись до изумления, измайловцы в три часа ночи возжелали вдруг и без промедления увидеть дело своих рук — императрицу и потребовали, чтобы им показали матушку-государыню. Ни Разумовскому, ни Орловым утихомирить их не удалось. Екатерине пришлось ехать в Измайловский полк и самой урезонивать не в меру восторженных почитателей. Несколько разграбленных кабаков — беда небольшая, но шатающиеся по улицам толпы пьяных бездельников после кабаков могли приняться и за что-либо другое, а этого допускать уже никак не приходилось. Того ради на площадях и важных перекрестках были расставлены войсковые пикеты. Хмурый вид гренадер, заряженных пушек и канониров с горящими фитилями наготове очень быстро охладили чрезмерный пыл, шумство прекратилось, и улицы опустели. Кабатчики принялись подсчитывать,

во что обошлось ликование, а петербургский обыватель вновь стал молчалив и осторожен.

И в самую пору. Краткого манифеста о «восприятии престола» показалось недостаточно, и Екатерина издала манифест, в котором уже без обиняков называла Петра Великого своим дедом, а Елисавет Петровну теткой, во всех подробностях рассказывала, как бывший император Петр III, еще будучи наследником, желал тетке скорейшей смерти, а потом радовался этой смерти и пренебрегал долгом христианина и племянника, сколь был он «мал духом», негоден в императоры и недостоин престола российского, как, став императором, замыслил искоренить «древнее православие», ее, Екатерину, и наследника Павла истребить и даже живота лишить, законы все пренебрег, гвардию возненавидел, армию раздробил, а отечество вел к скорой и неминуемой погибели. Вследствие всего этого Екатерина вняла народным мольбам, решила принести себя в жертву любезному отечеству и выступила в поход против императора. Далее рассказывалось, как император сначала просил отпустить его «в Голстинию» и короны российской «отрицался», и наконец, приводилось «своеручное» письмо Петра, в котором тот отрекался от престола и клялся никогда его не домогаться. Вот поэтому Екатерине и пришлось «воцариться», хотя она к тому «ни намерения, ни склонности никогда не имела».

Не успел столичный обыватель вслушаться в этот длинный манифест и сообразить, что к чему, как его настиг новый:

«В седьмой день после принятия Нашего престола Всероссийского получили Мы известие, что бывший император Петр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прежестокую колику. Чего ради не презирая долгу Нашего христианского и заповеди святой, которою Мы одолжены и к соблюдению жизни ближняго своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предусмотрению следств, из того приключения опасных в здравии его, и скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему Нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашняго вечера получили Мы другое, что он волею Всевышняго Бога скончался. Чего ради Мы повелели тело его привести в монастырь Невский, для погребения в том же монастыре; а между тем всех верноподданных возбуждаем и увещеваем Нашим Императорским и Ма-

герим словом, дабы без злопамятствия всего прошедшаго, с телом Его последнее учинили прощание и о спасении души его усердныя к Богу приносили молитвы; что же бы нечаянное в смерти его Божие определение, принимали за Промысел Его божественный, который Он судьбами своими неисповедимыми Нам, Престолу Нашему и всему Отечеству строит путем, Его только святой воле известным.

Дан в Санктпетербурге месяца июля 1762.

Екатерина».

И без того сбитый с толку недавними «действами», крестился, дивился и недоумевал петербуржец, пораженный теперь внезапной смертью императора, о недугах коего прежде ничего не слыхивал. И валом повалил на последнее прощание, хотя было это не легко.

С юга город, в сущности, кончался на правом берегу Фонтанки. За Аничковым мостом были слободы, потом простирались пустоши, охотничьи угодья, а далее дичь и глушь, которые прорезала единственная дорога на Новгород. От нее отходила просека к месту, где Черная речка впадала в Неву. За пятьсот лет перед тем, когда раздробленную на удельные княжества Русь заливало кровавое половодье монгольского нашествия, северные соседи решили урвать и свою долю. По преданию, именно здесь, возле устья Черной речки, объединенные войска шведов, датчан и литовцев в 1241 году были разгромлены русскими под командой тогдашнего князя новгородского Александра, который за победу сию и получил прозвание Невского. Велением Петра I среди болот и редкого ивняка на месте битвы во славу святой Троицы и преславного князя Александра была заложена Невская обитель, ставшая впоследствии Александро-Невской лаврой. Монастырь рос быстро, был богат и благолепен, одна беда — далековат. От Дворцовой площади верст шесть, от Калинкиной заставы, Екатерингофа и все десять. Знатным господам в каретах да колясках — прогулка, простолюдинам пешим ходом — попробуй доберись. Однако добирались, шли и шли непрерывной вереницей, толпились на монастырском дворе, поджидая черед, когда удастся проскользнуть в узенькую струйку, текущую мимо часовых у входа в покой, где лежало тело бывшего императора. Однако и пройдя через тот покой, петербуржец не избавлялся от недоумения, а впадал в еще большее, не умея

сказать себе, что же он видел и что могло означать увиденное.

Гроб стоял на катафалке в глубине покоя, в нем, ногами к проходящим, лежал человек в голубом мундире голштинских гусар, а не в преображенском мундире, который всегда носил император. Сложенные на груди руки были зачем-то в шведских перчатках с высокими крагами, шея закутана шарфом. Покойники всегда светлы ликом, а у этого лицо было черным-черно. Пламя редких свечей колебалось на сквозняке, по багрово-черному лицу скользили блики и тени, и казалось, будто оно непрестанно и ужасающе гримасничает. Нависшие над головой своды, черное сукно, которым были обтянуты стены, поглощали скудный свет, и в этом полумраке, как в склепе, скорым шагом продвигалась вереница людей. Скорым оттого, что гвардейские офицеры, коих было на удивление много, стояли цепочкой между текущей толпой и катафалком и то и дело вполголоса подгоняли: «Проходи, проходи, не задерживайся!..» Тут не только вглядеться как следует, а толком лба не перекрестить и не поклониться покойному...

Выходил человек, осенял себя крестным знамением, и на лице его были растерянность и недоумение. Зачем предуказано захоронение бывшего императора здесь, в Невском монастыре, а не в усыпальнице императоров — Петропавловском соборе Санкт-Петербургской крепости? Почему не идут заупокойные службы во всех церквах столицы, как было всего полгода назад после кончины Елисавет Петровны, а только здесь, в Благовещенском соборе? И почему над телом покойного идут не евангельские чтения, а усталый иеромонах, зевая, бубнит Псалтырь, как над каким-нибудь коллежским секретарем? И отчего это у императора... Да мало ли какие еще вопросы теснились в смятенном уме петербуржца, но задавать их было некому, и не приходило ему в голову задавать эти вопросы на людях — он слишком хорошо знал, куда ведет чрезмерная любознательность...

А через день состоялись отпевание и погребение. При оных присутствие имели только особы первых пяти классов, то есть не ниже генерал-майора и статского советника. Императрица с наследником на похороны прибыть не изволила, люди простого звания допущены не были. Они, эти люди, молчаливыми толпами толклись на монастырском дворе, за оградой, на прилегающем кладбище. Отгудел последний скорбный удар колокола, кареты и коляски умчали знать в столицу, а толпы все стояли и стояли.

На что они надеялись, чего ждали? Бог весть! Дождались не только того, что гвардейцы, увещевая уже не императрицыным «матерним словом», но гвардейским матерным, а кое-где и поколачивая палашами в ножнах по загривкам, разогнали ожидающих. Иноки заперли ворота ограды и стали прибирать истоптанный, замусоренный двор.

Вот теперь спектакль «санкт-петербургских действ» на самом деле окончен. Занавесом послужила крышка гроба — сама по себе вещь, конечно, прискорбная, но, что ни говори, — самый прочный заслон от прошлого. С прошлым покончено раз и навсегда, освобожденное от этого тягостного груза настоящее следовало использовать для приготовления будущего. И Екатерина не теряла времени даром. Очарованные любезностью императрицы и вполне удовлетворенные ее заверениями в том, что Россия под ее державством желает только мира и доброго согласия со всеми прочими коронами, дипломаты слали о том депеши и рапорты своим правительствам. Никита Панин усердно сочинял, исправлял и уточнял то, что мнилось ему как бы конституцией, которая установит в России не единоличное державство, а коллегиальное управление делами по шведскому образцу. Екатерина поощрительно улыбалась и желала все новых поправок. И этот умный человек и опытный дипломат с большим опозданием поймет, что она попросту водила его за нос и умалять своего «державства» вовсе не собиралась. Остальным придворным не было нужды ни в какой конституции, они занимались совсем другим — приготовлением к предстоящим торжествам. Петр III не успел короноваться — законный император по праву наследования и завещания, он был убежден, что процедура эта чисто формальная и с нею можно погодить до окончания военных дел. Екатерине, ставшей императрицей вопреки праву и закону, коронация была нужна безотлагательно, дабы священною церемонией этой окончательно утвердиться на престоле. И уже через четыре дня после переворота она приказала спешно к ней готовиться, назначила коронацию на сентябрь, а отъезд в Москву на август. Прочие жители Петербурга ни участвовать в коронации, ни даже увидеть ее не могли и потому вернулись к своим обычным делам: грузили и разгружали суда, строили дома и от зари до зари надрывались в мануфактурах и всяких мастерских. И потому иностранные посланники сообщали своим правительствам, что жизнь в столице российской

вернулась в нормальное русло, положение императрицы все более упрочивается, она же всячески проявляет свое стремление сохранить приязнь со всеми державами.

Белые ночи кончились, и Домна Игнатьевна встретила Сен-Жермена уже с двусвечником в руке.

— Дома ли хозяин, Домна Игнатьевна? — спросил граф, поздоровавшись.

— Нет, нету, батюшка.

— А скоро будет?

— Кто ж его, шалопута, знает? Он мне не сказывает.

— Вы извините, что я так поздно. Мне хотелось повидать Грегуара, а другого времени уже не будет.

— Так проходи, проходи, батюшка граф, в комнаты. Не прикажешь ли вина подать или еще чего? За этой забавой время пройдет, а там, может, и Григорий навернется.

— Благодарствуйте, Домна Игнатьевна, мне ничего не нужно. Вот только если пожелаете побеседовать со мной?

— Да что тебе за интерес? — смущенно сказала Домна.

— Напрасно вы так! Очень, очень интересно... Только вы, пожалуйста, тоже присядьте.

— Я и постоять могу, мы привычные.

— Нет, нет, Домна Игнатьевна, присядьте, иначе и мне придется встать.

— Ну, спасибо, батюшка, что не побрезговал старухой... Только я вязанье свое прихвачу — не могу без дела сидеть, а это дело — разговору не помеха...

Домна вернулась с вязаньем, села напротив Сен-Жермена, и спицы с необычайной скоростью замелькали в ее руках. Сен-Жермен молчал и с любопытством присматривался к этому мельканию. Домна подняла на него глаза раз и другой, потом спросила:

— А что, батюшка, там у вас все такие?

— Какие, Домна Игнатьевна? И у кого — у нас?

— Ну, обходительные такие, чтобы со слугой полюдски разговаривать. А у вас — у немцев, стало быть.

— Я ведь не немец.

— Я в том не понимаю, батюшка, по мне, как не русский, так и немец — все не по-нашему разговаривают. Я их впервой-то и увидала, как в этот содом пришла. Тут они все спесивые еще шибче наших.

— Что вам сказать? У нас, пожалуй, так же, как и у

нас. Но как говорит русская пословица, в семье не без урода. По-видимому, я один из уродов.

— Нам бы поболе таких уродов... А вот есть еще турки. Тех-то я не видала вовсе. Покойный барин сказывал, они все как есть с бритыми башками, усища — во! И при каждом страшенный кинжал...

— Действительно, головы турки бреют и усы растят. А что касается ятаганов, то есть кинжалов, так они не у всех. Больше таких, что с сохой или просто с кнутом — скот пасут.

— Вон оно что! Басурмане-басурмане, а и у них, выходит, люди есть.

— Есть, есть, Домна Игнатьевна. Люди всюду есть...

Исчерпав темы светской беседы, Домна замолчала, и спицы в ее руках замелькали еще быстрее.

— Как ловко у вас получается! — сказал Сен-Жермен.

— Теперь-то где уж, — польщенно улыбнулась Домна. — Смолоду я куда ловчее была, прямо горело все в руках... А давай-ка, батюшка, я тебе чулки свяжу? — осенило ее. — Без похвальбы скажу — чулки я вяжу знатные. С виду неказисты, зато теплые, как печка. Покойный барин мой, царство ему небесное, он смолоду все в сражениях был, ну и застудил ноги вчистую. Бывало, в непогоду прямо криком кричит. И обувки никакой носить не мог — все ему жало да резало. Только мои чулки и надевал. Круглый год их носил, и зимой и летом. Даже со двора в них езживал...

— Спасибо, Домна Игнатьевна, ноги у меня пока не простужены, а путешествовать в одних чулках затруднительно. Да и некогда уже. Я ведь попрощаться заехал. Подорожная в кармане, утром в путь.

— Видно, как в гостях ни хорошо, а дома лучше. Далеко ли тебе до дому-то?

— Тысячи две. Да мне еще к приятелю завернуть надо, а версты здесь немеренные, может, и все три тысячи верст наберется.

— Я, батюшка, на тыщи эти считать не умею. Дале, как до Новгорода?

— В Новгороде не бывал, но, думаю, дальше. Много дальше.

— Страсть какая!.. Мне бы тоже уехать в пору. Домой. У нас ведь в Бежецком не то, что тут. Такая благодать, такая тишина... Бывало, благовест к вечерне за

десять верст слыхать... Только теперь и ехать некуда. Чужое все.

— Зачем же ехать? Разве здесь вам плохо?

— А что хорошего, коли никому не нужна?

— А Грегуару? Я не видел его с мая месяца. Разве он так переменился?

— Перемениться не переменился. Только теперь и дома не ночует, когда-никогда забежит. Вот я и сижу день-деньской, как пес на цепи, пустой дом сторожу. А он все там отирается...

Сердито поджав губы, Домна Игнатьевна ткнула спицей за спину, в ту сторону, где находился Зимний дворец.

— Вы этого не одобряете?

— Кто мое одобрение будет спрашивать? Я за него боюсь.

— Чего же бояться? Грегуар теперь — как это у вас говорят? — пошел в гору, обласкан императрицей.

— То-то и есть, что в гору... Чем выше влезешь, тем больнее падать. А ласка да таска, они завсегда в обнимку ходят...

— Почему обязательно ожидать дурного? Никому плохого Грегуар не делает, и ему не станут. У него, по-видимому, и врагов нет.

— Про врагов не знаю. Больно он добр, вся душа нараспашку. Я хоть и не родная мать, а почитай, как родная — своей грудью вскормила, у меня на руках вырос. Оттого и душа у меня болит, как он надолго куда заподенется — все беда какая чудится. Вот и ноне. Давеча Алешка забегал — нет ли Григорья? Во дворце его спрашивают, а нигде сыскать не могут. Куда он в эту пору мог запропаститься? Глухая ночь на дворе...

В дверь громко и резко застучали. Домна переменилась в лице, схватила двусвечник и заспешила в прихожую. Оттуда донеслись мужские голоса, топот и крик Домны Игнатьевны. Сен-Жермен бросился туда. Навстречу ему четверо солдат несли на плаще неподвижное тело, в котором только с трудом можно было узнать Григория Орлова. Мундир его был грязен, изорван в клочья, сквозь дыры видны были кровоподтеки, лицо превратилось в окровавленную, вспухшую маску. Побелевшая Домна, не сводя с него глаз, крестилась и приговаривала:

— Мать пресвятая богородица, что же это? Кто же это? Накликала... Сама беду накликала!

Сзади шел худенький юный унтер-офицер.

— Живой? — спросил Сен-Жермен.

— Был живой, — сказал передний солдат. — Куды его?

— Сюда, сюда несите...

Домна Игнатьевна распахнула дверь в спальную. Солдаты переложили Григория на кровать, он замычал от боли, но глаз не открыл.

— Кто его так?..

Унтер-офицер кивнул солдатам, те вышли.

— Кто — не знаю, — сказал унтер, — а нашли мы его избитого и без шпаги на берегу Фонтанки. Кругом ни души. Он было очнулся и сказал: «Дом Кнутсена знаешь? Снесите туда. Я — Орлов»... Вот мы и принесли... Я-то ведь его знаю. Только, кабы не сказал, нипочем не узнать...

Сен-Жермен склонился над Григорием, послушал дыхание и сердце.

— Пьяный, поди? — спросила Домна Игнатьевна.

— Нет, вином не пахнет.

Сен-Жермен вышел в прихожую, что-то сказал своему лакею, тот бросился на улицу, вскочил на козлы ожидавшей кареты, и кони с места рванулись рысью. Граф вернулся в спальню, достал из кармана какой-то флакончик, поднес к носу Григория. Лицо его передернулось, он пошевелился, отстраняясь, но граф не отодвигал флакончика. Григорий с усилием выдохнул воздух и открыл глаза. Взгляд его был мутен и бессмыслен, но сознание возвращалось к нему, он глубоко вздохнул, перевел взгляд и узнал Сен-Жермена.

— Caro padre, — с трудом шевеля вспухшими губами, проговорил он. — Ну, слава богу...

Он облегченно расслабился, закрыл глаза, передохнув, снова открыл их, обвел взглядом стоящих над ним графа, Домну и унтер-офицера и так же, еле шевеля губами, спросил:

— Это ты меня принес?

— Мои солдаты. Я только первый увидал, как вы там лежали. Мы пикетом по берегу Фонтанки шли.

— А сам кто таков?

— Измайловского полка унтер-офицер Новиков.

— Молод ты для унтера...

— Так я только с двадцать восьмого июня унтер... — смутился Новиков. — Когда государыня к нашим слободам подъезжала, а вы впереди бежали, я на часах у подъемного моста стоял и без всякой команды мост

опустил. Меня за это в тот же день и произвели... Вы меня не помните, а я вас хорошо запомнил.

— Ничего, жив буду, я тебя вспомню... Мамушка, подай шкатулку за изголовьем... а ты, унтер, снимай шапку... Только с солдатами поделись...

Новиков оскорбленно выпрямился и даже отступил на шаг.

— Я хотя унтер, господин капитан, но обижать себя... Я... мы не из корысти. Из человеколюбия... Как полагается по христианскому долгу...

— Я не за христианство тебе денег даю, за солдатскую выручку... Тебе не надобно, солдатам пригодятся — пускай выпьют за мое здоровье... А на языки замок повесят. Чтобы об этом случае никому ни гугу!..

Новиков поколебался и подставил треуголку, в нее со звоном высыпались серебряные рубли, которыми была набита шкатулка.

— Как же ни гугу? — сказал Новиков. — Надо розыск вчинить, арестовать, кто вас так...

— То-то они тебя ждали. Теперь ищи ветра в поле.

— Так я в крайности за лекарем сбегаю. Тут во дворце небось есть.

— Ни в коем разе! — сказал Орлов. — Никому ни слова!.. Понял? Ну, ступай, Новиков, я тебя вспомню...

Держа в охапке потяжелевшую треуголку, унтер-офицер вышел, Сен-Жермен сбросил кафтан, засучил рукава сорочки.

— Домна Игнатьевна, нужны полотенца и горячая вода...

Кто вас так отделал? — спросил граф, раздевая избитого.

— Грабители напали... А я не дался... Вот и...

Конечно, беду Домна Игнатьевна не накликала, но она как в воду глядела — до беды Григория довела его доброта. В бою под Цорндорфом погиб его полковой друг и однокашник. Словно предчувствуя свою смерть, он заставил Орлова побожиться, что тот ежели сам уцелеет, в случае чего навестит его жену Анюту, проживающую в Санкт-Петербурге, и поможет обустроиться в дальнейшей жизни. Обещание свое Орлов исполнил не скоро. Пока он воевал, а потом куролесил в Кенигсберге, безутешная поначалу вдова постепенно успокоилась, приобыкла к вдовьему положению, а так как после мужа, армейского поручика ни имения, ни капиталов не оста-

лось, она, чтобы иметь средства к пропитанию, каменный дом свой сдала внаем, а сама перебралась в деревянный флигелек во дворе. Здесь ее и нашел Григорий, когда оказался в столице. Рассказ очевидца смерти мужа вызвал новый всплеск уже оплаканного горя. Орлову было жаль ее, и по доброте своей он постарался ее утешить, как умел. Утешать же он умел только единственным способом, и тот привел Анюту в такое восторженное изумление, а холодая и отнюдь не увядшая вдовушка так понравилась Григорию, что он зачастил в уютный флигелек. Однако вскоре обнаружилось, что Анюта занеслась в мечтаниях слишком далеко и с нетерпением ожидает, когда этот красавец поручик по всей форме заменит поручика безвременно погибшего и поведет ее к венцу в находящуюся поблизости церковь Симеона Богоприимца, от чего Григорий очень мягко, но непреклонно отказался. Вдовушка навзрыд плакала, грозила утопиться, но, будучи нрава легкого, а ума рассудительного, глупости этой не сделала и оставила в конце концов несбыточные мечтания, потому как лучше, конечно, иметь мужа, чем аманта, но все-таки лучше иметь аманта, чем ни того, ни другого. Течение новой жизни подхватило Григория и понесло по всем кругам столичных удовольствий, однако Анюты он не забывал и время от времени наведывался на Моховую. Хозяйка флигелька научилась больше не делать ему никаких попреков, бурно радовалась его приходу и весело хлопотала, чтобы повкуснее накормить и всячески ублаготворить.

Обстоятельства сложились так, что Григорий не видел вдовушку целых полгода. При подготовке «действ» было не до нее, во время самих «действ» тем более, а потом упоение успехом заслонило все остальное. Григорий оказался не только в числе героев переворота, но едва ли не главным его героем, во всяком случае, самым приближенным к императрице лицом, которому начали льстить сверх всякой меры и всячески перед ним заискивать. Да и весь уклад придворной жизни, от которого прежде Орлов был весьма далек, поначалу забавлял и нравился. «Действа» благополучно закончились, восторги поутихли, а тонкости этикета и придворных церемоний, так как они еще не успели стать привычными и потому безразличными, начали вызывать что-то напоминающее оскомину.

И тогда Григорий вспомнил об Анюте. Может быть, в нем заговорила совесть, а может быть, от приторных любезностей, напускной сердечности и притворной утон-

ченности его потянуло к бесхитростным прелестям вдовушки, как объевшегося сластями лакомку вдруг тянет к ломтю ржаного хлеба и огурцу ядреного домашнего засола.

Выбрав день, когда императрица была слегка нездорова, важных дел не предвиделось и он не мог понадобиться, Григорий оделся поскромнее и, никому не сказавшись, отправился на Моховую. Карету он остановил у Симеоновского моста, отослал ее домой, наказав Трофиму никому не сказывать, куда отвез барина, и дальше пошел пешком, чтобы роскошным выездом своим не привлекать внимания праздных соглядатаев, не давать пищи их языкам и не уронить репутацию вдовушки и свою тоже. Анюта нежданному гостю так обрадовалась, что, будь она в силах поднять здоровенного верзилу, носила бы его на руках и тетешкала, прижимая к груди, но сделать этого, конечно, не могла и нежнейшей повиликою вилась вокруг него да ворковала, аки горлинка. Отдыхая не столько телом, сколько душою, Григорий провел у вдовушки не часок-другой, как собирался, а засиделся до ночи. Он заспешил уходить, потому как во дворце его давно небось хватились, могли поднять тревогу, и чем дольше затягивалось отсутствие, тем труднее было бы его объяснить.

При всей своей ловкости в мыслях и поступках Григорий был не очень ловок врать. Он умел держать язык за зубами в деле серьезном и важном, как недавний заговор, вполне натурально притворялся и лицемерил, когда в том случалась надобность, но в быту, личных отношениях врать не любил и не умел, а когда пытался это делать, быстро запутывался. Негде правду деть — уже став близок с Екатериной, он не хранил ей святой верности и про себя не видел в том ничего зазорного и предосудительного. Прежде, когда встречались они не часто, скрывать грешки такого рода было довольно легко. Однако уже и тогда, запропав однажды недели на три, он оправдывался так нескладно, что Екатерина, которая молча слушала и только, слегка прищурясь, смотрела на него, сказала:

— Есть такой руски пословиц: понравился кувшин за водой ходить — там ему будут шею ломать...

— Ну что ты, Катя! — засмеялся Григорий. — Совсем не так! «Повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить». Вот как говорить надо!

— Пословиц — не есть вашный. Вашный есть легкомыслий, который может приводить человека плохой конец.

Теперь ее глаза смотрели мимо Григория и не выражали ничего. Они отражали свет, а не то, что было где-то там, за радужной оболочкой глаз. И Григорий вдруг снова почувствовал скованность, как в первые дни знакомства его, армейского поручика, с ее высочеством великой княгиней.

Эпизод этот ушел в прошлое, его заслоняли иные происшествия быстротекущих дней, но саднящая царапина воспоминаний нет-нет да и давала себя знать. Теперь, когда вся жизнь Григория была связана с двором и они расставались с императрицей лишь на считанные часы, надлежало быть много осторожнее.

Сияя от счастья и заливаясь слезами огорчения от внезапной и бог весть сколь долгой разлуки, вдовушка проводила его до ворот, и Орлов мимо церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы зашагал к Фонтанке. Путь предстоял немалый, и проделать его нужно было пешком, так как на улице не то что коляски — не было живой души. Темна была не только сама улица, но и окна домов. Запершись на все запоры от лихих людей, петербуржец рано укладывался спать. Только возле домов знатных господ стояли кареты гостей, а окна домов сияли огнями. Здесь, за Фонтанкою, знатные господа не жили, и лишь изредка за оконной занавеской угадывалось мерцание лампады перед иконами.

Перейдя мост, Григорий почувствовал некоторую нужду и, хотя вокруг никого не было, прилику ради отошел к поленнице. Бесконечные вереницы этих поленниц тянулись вдоль всего берега Фонтанки. Другого топлива, кроме дров, Санкт-Петербург не знал, за долгую промозглую зиму пожирал их во множестве, а потому с весны шли и шли сверху по Неве беспалубные барки с дровами. Построенные на деревянных гвоздях, такие барки могли плыть только по течению, да и то один раз. После того как они доставляли свой груз, их разбирали и тоже обращали в дрова. И здесь, скрытые от глаз поленницами, несколько таких барок стояло бортами к илистому берегу и дожидалось своей участи.

Приводя себя в порядок, Орлов вдруг услышал голос, показавшийся знакомым. Однако кто из знакомых ему людей мог тут оказаться, да еще в такую пору? Уж не выслеживают ли, дабы потом донести о его похождениях и подлым наветом этим опозорить и погубить?

Орлов пригнулся и, крадучись за поленницами, пошел на голос. Он доносился по воде с одной из барок. Скры-

тый дровами, Орлов подошел почти к самым сходням, осторожно выглянул, и теперь голос слышен был ясно, отчетливо, Григорий тотчас вспомнил, узнал его: так глуховато, будто с натугой выталкивая слова, говорил бродяга и еретик, который назвался Саввой. Григорий хотел было сразу броситься и схватить крамольника, но пересилил себя и вслушался.

— ...а про это я вам так скажу, — говорил кому-то Савва. — Когда Ной после всемирного потопу вышел из Ковчега, были у него три сына — Сим, Хам, Иафет. И господь сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею. От них пошел весь род человеческий, и все были равны перед господом. Только вскорости обнаружились среди людей хитроныры, которые где посулами, где страшением заставили других на себя хрип гнуть. А потом и вовсе повернули так, будто идет это от Священного писания и даже на иконах зачали малевать: вот-де, мол, Сим — он молится за всея, Иафет, тот сражается за всея, а Хам — трудится за всея... Стало-ть, попы и монахи — Симовы дети, дворяне — Иафетовы, ну а весь прочий народ — Хамово отродье... А это есть богомерзкая ложа и корень всей неправды жизни!.. И вот государь наш Петр Федорыч, просветленный умом и добротою сердца, порешил все хрестьянство вызволить из горькой его неволи...

Каждое слово Саввы подмывало Орлова броситься на барку, но, сжимая кулаки и сцепив зубы до боли в скулах, он заставлял себя слушать дальше.

— Только сделать этого вдруг было не мочно. Он-то один, а дворян много, все пушки, деньги и весь припас — у них. Ну а каков есть барин — сами знаете...

— Да уж этого Фоку знаем и сзади и сбоку! — подтвердил чей-то голос.

— Ну вот. Попервах государь воспретил «слово и дело», рассеял стаю волчищ Тайной канцелярии, потому как волчища эти и есть главная подпора дворянского своеволия. А потом выдал манифест про дворянскую вольность.

— Али у них воли мало? — отозвался тот же голос. — В крепости-то не они, а мужики.

— Верна! — согласился Савва. — Только ты раскинь мозгами своими и вникни в мудрость государеву. Объявил он вдруг вольность хрестьянам, баре бы его враз укокошили, и дело с концом. И потому замыслил он произнести все издаля. Ведь нашего брата как закабалили? Баре, мол,

служат, стражаются за всея — им себя как прокормить? И для того приставили к ним мужиков — барин, мол, на державу хрип гнет, значит, мужик должон на барина... И вот, значит, объявляет он дворянам вольность. А в чем та вольность? Хошь служи, хошь нет, никто тебя не заставляет. А коли барин служить не должон, почто его мужикам на своем горбу держать? Теперь смикитил? Вот то-то!.. Хитро государь это дело измыслил! Однако спроворить его не просто, потому он один, а бар много. На барского ему обнадежиться? Только на мужика, который в барской неволе бьется. И задумал Петр Федорыч провести искус нашему брату. Кликнул клич — все имушшество коло дворца бери кто хошь... Да вы небось сами там были?

— Я был, — сказал еще кто-то. — Ташшить мне некуда, я только ломал...

— Не в том суть! — продолжал Савва. — Я, каюсь, поначалу тоже мудрости государевой не постиг. Думал, суета стяжания народ гонит. Ан нет! Это государь поверку делал — как, мол, отзовется народ на государев клич? Отозвался лучше некуда — подчистую все размели. Что из того следует? А следует то, что, в случае чего, кликнет снова клич государь, и честной народ не то что бросовое имушшество, а все как есть разворотит... И, глядя на то, Петр Федорыч вельми радовался. Радость государеву я сам видал. Издали, конечно... Обнадежившись в народе, и зачал государь освобождать хрестьян. Попервах — монастырских...

— Так это, говорят, потому, как он против православной веры и святых обителей.

— Кто говорит — попы да монахи? Они, знамо дело, взвилися. А обители, они те же грабители. Я в Невском был и на погребении, да и раньше потолокся, со служками словом перекинулся. Известно — у служки всегда ушки на макушке. Так вот служка келаря слыхал, как тот говорил митрополиту, что за Невской обителью двадцать пять тыщ крестьян состоит. Вы только вникните, братцы, двадцать пять тыщ! Это ж одних мужиков, бабы с ребятишками не в счет... А сколько их, обителей?.. Так вот Петр Федорыч назначил им жалованье на прокорм, а всех мужиков забрал в свое державство. Ну, какое это державство? Мужик как был при земле, так и остался, только стал он теперь вольной — не на монастырь хрип гнет, а для себя старается. Знамо дело, подать платить надо — государю императору тоже пить-есть требуется и войско

содержать надобно, на случай, если турка воевать. Тут дворяне и смекнули: начал император с монастырей, вскорости доберется до них, и порешили его извести...

— Так уж извели, — сказал кто-то, — давно ли похороны были?

— Ан нет! — глухой голос Саввы надрывно зазвенел. — Похоронили, да не его! Государь про тот сговор прослышал и скрылся в неизвестности. Тогда они взяли какого-то покойничка, обрядили в императорский мундер да поскорей в землю его. Чтобы народ не разглядел, правды не доискался. Это я вам в точности говорю! Императора, хоть издаля, я сам видал — он худ и ликом бел, аки мука. А этот был весь вспухлый и черен, как аспид.

— Почто ж было другого-то хоронить?

— Эка ты бестолковый какой! Чтобы видимость была, будто все по закону. Император-де помер, замест него жена царствовать будет... Ну, я так располагаю, царствовать ей недолго. Соберет Петр Федорыч верных людей, кликнет народу клич и объявится. Уже он себя окажет! Всех к ответу представит! И немку эту приблудную, и всех ее прихвостней...

Григорий выскочил из-за поленницы, по хлябающим сходням выбежал на баржу, прыгнул вниз и схватил за грудки Савву.

— Ну, вор, — в бешенстве прорычал Григорий сквозь зубы, — теперь не спрячешься! Мало что еретик, ты еще бунтовать против государыни?!

— Не трожь, барин! — угрожающе сказали за его спиной. — Слышь, отпусти странника!

Орлов обернулся — перед ним стояла стена набычившихся крючников.

Все неисчислимое множество товаров и грузов, что шли в Петербург и из Петербурга, поднимали, ворочали руками, переносили на своих хребтах грузчики. Единственным орудием грузчика был кованый железный крюк, которым цепляли многопудовые рогожные кули с товарами, почему грузчиков и стали называть крючниками. Работа была погибельной, кормление — лишь бы живу быть: по все дни хлебная тюря на воде и только по праздникам — с квасом. Слабые здесь помирали наперегонки, кто выживал, становился трехжильным. Толпа этих ссутуленных тяжестями людей обступила Орлова и, как клешнями, угрожающе ворочала своими заскорузлыми ручищами. Григорий не испугался угрозы. Ему ли, вояке,

бывалому и в драках, не раз одолевавшему один на один медведя, бояться какого-то подлого сброда?!

— Прочь, скоты! Я вас всех... — закричал он и выхватил шпагу.

Шпага булькнула где-то за бортом, а крючники взяли Орлова в кулаки. Они не кричали и не лаялись, слышалось только натужное сопение и глухие удары, будто на току цепы молотили недосушенный в овине сноп.

От смерти Григория спасло только то, что крючников было много — они мешали друг другу размахнуться и садануть во всю силу. И Савва. Он метался позади сгрудившихся тел, горестно бил себя по полам гуньки и взывал:

— Ну будя, будя, робяты!.. Не губите душу христианскую!..

Крючники его не слушали и продолжали молотить. Но когда Орлов упал, Савва закричал:

— Тады убивайте и меня, окаянные!

Он прорвался в кольцо и упал тоже, прикрывая собой Орлова. Крючники отступились.

— Эх вы, ироды! Рази так-то можно? — с трудом поднимаясь, сказал Савва. — Вовсе остервенели, дьяволы...

— Куды его теперь?

— А за борт — и концы в воду!

— Да вы что, душегубы?! Как можно?.. Снесите на бережок, и Христос с ним... Может, отлежится ишшо...

За руки и за ноги крючники сволокли неподвижное тело на берег и бросили среди поленниц. Через какое-то время Орлов очнулся, но подняться на ноги не смог. Тогда он пополз, чтобы выбраться из поленниц, почувствовал под руками твердую тропу, снова попытался встать и потерял сознание.

Сен-Жермен тщательно ощупал его конечности, помял пальцами грудь и живот. Орлов кряхтел и морщился, крепясь, чтобы не застонать.

В дверь постучали. Слуга подал Сен-Жермену небольшой саквояж зеленого сафьяна.

— Избили вас основательно, — сказал граф, — но переломов нет. Оботрите его мокрым полотенцем, Домна Игнатьевна, потом другим разотрите досуха. Вот вам мазь, смажьте все кровоподтеки, да, пожалуй, все тело, раз его так разукрасили. Лицо я сам смажу.

— Сильно мне портрет попортили? — стесненно спросил Григорий.

— Ничего страшного, — еле заметно улыбнулся граф. — От этой мази опухоль к утру спадет, а через день никаких следов не останется, будете прежним красавцем. Только больше в драки не ввязывайтесь — я завтра уезжаю, а ваши лекари умеют лишь пускать кровь и тем отнимать у больных последние силы.

— Как, уже завтра? — Григорий попытался приподняться и, застонав, рухнул обратно. — Отчего так спешно?

— Пора, мой друг, я и так здесь засиделся.

— Как мне вас благодарить за все?!

— Вам не за что меня благодарить, Грегуар. Все, чего желали, вы совершили сами, без моего участия.

— А ваши советы?

— Какие пустяки! Любой беспристрастный наблюдатель мог сказать вам то же самое.

— Вы всегда так — не хотите даже слушать о благодарности. А сколь я, мы все вам обязаны!

— Оставим этот разговор. Нельзя ли у вас, Домна Игнатьевна, попросить воды?.. Да, этого бокала вполне достаточно.

Сен-Жермен достал из саквояжа коробочку. В коробочке, обложенной изнутри черным бархатом, лежал нефритовый флакончик. От нескольких капель густой темной жидкости в комнате распространился странный пряный аромат, вода в бокале мгновенно стала рубиновой, как сок граната, грани бокала засветились.

— Выпейте. Это слегка горчит, однако вполне терпимо. Вот так! Минут через десять вы заснете и спать будете долго. Может быть, целые сутки. Зато проснетесь здоровым. Только при одном условии, Домна Игнатьевна, ни под каким видом никого к нему не допускайте. Если его разбудят, это может ослабить действие лекарства.

— Уж будь покоен, батюшка граф, — костьми лягу!..

— Я знаю, на вас можно положиться. Ну что же, Грегуар, прощайте, желаю вам счастья.

— Caro padre, благодетель мой... я... мы... Я никогда... Я всю жизнь буду помнить, что счастьем своим обязан вам.

— Полно, Грегуар! Счастье свое человек создает сам, а вот несчастья ему помогают складывать и другие... Если бы все зависело от меня, я желал бы вам несколько иного счастья, но это уже дело вкуса...

Орлов порывался что-то сказать, открывал рот, тут же его закрывал и наконец проговорил:

— Простите меня, caro padre... Я хотел просить вас... Не смею и все-таки должен... Я, почитай, сутки не был во дворце. Там небось хватились, спрашивают...

— Давеча Алешка прибегал, везде тебя ищут, — сказала Домна.

— Вот видите — императрица беспокоится... А мне, кроме вас, просить некого... Не мамушку ж туда посылать или лакея?.. А вас, как ни поздно, все одно примут, если сказать, что от меня...

Орлов умоляюще смотрел на Сен-Жермена, тот не отводил взгляда от окна и молчал.

— Напрасно, — сказал он, поворачиваясь, — напрасно вы беспокоитесь об императрице, она много хладнокровнее, чем вы думаете, и ради нее я бы не поехал. Но я поеду, так как беспокоюсь о вас — вас могут разыскать. Остановить императрицу не сможет даже Домна Игнатьевна, она нашлет своих лекарей, и те своим невежеством доделают то, что не сумели напавшие на вас... Я поеду, — сказал он, вставая, — хотя не жду от этого визита ничего хорошего. Нет, пожалуйста, не благодарите меня, — остановил он Орлова, порывавшегося что-то сказать, — считайте, что я делаю это просто из тщеславия: не хочу, чтобы невежды испортили мою работу, — улыбнулся он. — На прощание, Грегуар, один совет. Когда на вас действительно нападут грабители и вы не сможете их одолеть, лучше сохранить жизнь, чем несколько монет. Тем более, что, убив вас, они все равно очистят ваши карманы.

— Caro padre, — еле шевеля непослушными губами, проговорил Орлов. Лекарство начало действовать, и каждое слово давалось ему все с большим трудом. — Я не хотел... мне стыдно было... Во всем виноват...

Губы его перестали шевелиться, веки опустились, он вздохнул и затих.

— Заснул, — сказал Сен-Жермен. — Вот и прекрасно!.. Прощайте, Домна Игнатьевна, знакомство с вами доставило мне истинное удовольствие.

— Спаси тебя Христос, батюшка, — сказала Домна, которая, будто молясь, все время прижимала руки к груди и не сводила с него глаз.

— Прежде чем выбрасывать изорванный мундир Грегуара, не забудьте вынуть деньги из карманов, — сказал Сен-Жермен, направляясь к двери.

Домна послушно покивала и схватила подсвечник,

чтобы проводить графа. Так и вышла с подсвечником на крыльцо. Кучер подобрал вожжи, дернул их, и карета покатила в сторону дворца. Часть дворца была отсюда видна — окна там были залиты светом, у подъезда горели смоляные плошки. Домна перекрестила удаляющуюся карету и ушла в дом.

4

— Наконец-то! — сказал дежурный офицер. — Все прямо с ног сбились, разыскивая... Пожалуйте за мной, сударь.

Последние посетители уже покинули дворец, и они шли по пустой анфиладе парадных комнат. Люстры были погашены, только по углам в канделябрах горели свечи. У двери в личные покои императрицы стояли на часах два кавалергарда в сверкающих кирасах и в касках с плюмажами. Дежурный офицер постучал в дверь. Граф остановился в нескольких шагах, рассматривая гвардейцев. Дверь приоткрыл Шкурин.

— Их величество еще не почивают? — спросил офицер.

— Никак нет, их величество изволят пребывание иметь у себя в кабинете.

— Доложи, что господин... что граф Сен-Жермен, — поправился офицер, — приехал по поручению капитана Орлова.

Шкурин радостно всплеснул руками и тут же изогнулся в поклоне.

— Сей минут! Сей минут!

— Пожалте, ваше сиятельство, — снова открывая дверь, изогнулся Шкурин. — Приказано просить немедля.

Дежурный офицер козырнул графу и зашагал обратно.

— Слава тебе господи! — бормотал про себя Шкурин, прикрывая за графом дверь. — Нашелся наш Григорей Григорьич...

— Нашелся, нашелся, — сказал по-русски Сен-Жермен, оборачиваясь к нему. — А вы, значит, и есть Шкурин?

— Так точно, ваше сия... — начал Шкурин, но не окончил, а внезапно и неудержимо зевнул во весь рот.

Так судорожно, во всю пасть зевают вдруг собаки, приведенные в недоумение.

— Виноват, ваше сиятельство! — Лакей с опозданием прикрыл рукою рот.

— Устали, Шкурин? — участливо сказал Сен-Жермен. — Вы должны отдохнуть. Доложите обо мне, а потом сядьте в кресло и отдохните.

— Не смею-с, — почему-то шепотом ответил Шкурин.

— Отдохните, непременно отдохните, Шкурин. Вы ведь так устали!

— Слушаюсь, ваше сиятельство! Повинуюсь, ваше сиятельство, — все так же шепотом ответил Шкурин.

Он постучал в дверь кабинета и, открыв ее, доложил:

— Граф Сен-Жермен, ваше величество.

Прикрыв за графом дверь, Шкурин нерешительно подошел к креслу, растерянно оглянулся по сторонам, челюсти его снова разодрала судорожная позевота. Он присел на краешек кресла, потом сел глубже, умостился поудобнее.

— Говорите! Говорите же скорее, граф, где Орлов. Почему он исчез?

— Час назад солдаты принесли Грегуара домой. Он был без сознания. Пикет нашел его, жестоко избитого, где-то на берегу Фонтанки.

— Кто? Кто посмел?

— Неизвестно. Он не мог рассказать подробностей. Должно быть, напавших было много, если они одолели такого Геркулеса.

— Почему же его не привезли сюда, во дворец?

— Грегуар не хотел волновать ваше величество. А теперь ему необходим полный покой.

— Я сейчас же пошлю к нему своих медиков!

Екатерина протянула руку к колокольчику.

— Нет, ваше величество, прошу вас этого не делать. Я оказал ему необходимую помощь. Вмешательство медиков причинит только вред.

— Как могут медики причинить вред?

— Могут. Через сутки, самое большее — через двое Грегуар будет здоров. Если медики своими снадобьями не помешают действию моего лекарства.

— Разве вы медик?

— Нет. Но во время путешествий я приобрел некоторые познания и проверял их даже в более тяжелых случаях.

— И вы так уверены, что Орлов действительно вскоре будет здоров?

— Совершенно уверен. Так же, как и в том, что врачи повредят ему.

— Ну что ж, пусть будет по-вашему... Благодарю вас, граф, за все, что вы сделали, и за то, что успокоили

меня. — Сен-Жермен поклонился. — Но я еще не отпускаю вас! Мне рассказывали о вас, и я хочу знать от вас самих... Говорят, вы чуть ли не творите чудеса?

— Вам сказали неправду, ваше величество. Я не делаю чудес.

— Тогда как это называется? Манипуляции? Фокусы?

— Разве я похож на ярмарочного фигляра, фокусами забавляющего зевак? Я показывал друзьям опыты, свидетельствующие способности человека, которых европейцы не знают.

— А где вы узнали о них?

— На Востоке, ваше величество.

— Что дикий Восток может дать просвещенной Европе?

— Чаще всего люди считают диким непонятное и недоступное им. У Востока, быть может, больше оснований с презрением отворачиваться от варварского Запада.

— Уж не считаете ли вы варварами современных ученых и философов? Я преклоняюсь перед ними.

— Это прекрасно, ваше величество, но — увы! — не мешает им быть в известном смысле варварами... Они накопили большие познания в некоторых областях, но утратили главное. В Элладе мысль древнего эллина была бесстрашно устремлена на самое важное для него — на человека. Мудрость Эллады лапидарно выразила надпись в Дельфийском храме — «Познай самого себя». Греки и римляне много достигли, но потом пришло христианство и преградило дорогу человеческой мысли.

— То есть как?

— Христианство объявило, что все от бога и для бога. Если так, нечего искать и не о чем думать. Нужно и можно только верить.

— Вы говорите так, будто сами не христианин.

— Я знаю слишком много религий, чтобы отдавать предпочтение одной.

— Вы начинаете пугать меня, граф. Совсем не иметь религии? Это... это...

— Вы не столь пугливы, ваше величество. Ведь вы не побоялись сменить одну религию на другую, чтобы стать супругой будущего императора?

— Это совсем другое! Того требовали интересы державы, политики...

— Значит, по-вашему, есть что-то, что выше и сильнее религии? Так думаю и я, только мы говорим о разных вещах.

— Но я осталась христианкой! А вы так отзываетесь о христианстве... За такие речи, граф, инквизиция сожгла бы вас на костре.

— Возможно. Но во времена инквизиции я жил на Востоке и лишь изредка появлялся в Европе. К тому же, инквизиция в Европе была не везде — Польша, например, не знала ее.

— Что такое вы говорите, граф? Вы жили во времена инквизиции? Для шутки это недостаточно остроумно, а для сказки... Я вышла из возраста, когда верят сказкам.

— Я не могу требовать, чтобы вы мне поверили, ваше величество, и не рассчитываю, что поверите, но это — так.

— Сколько же вам лет — пятьдесят или пятьсот? — с тонкой иронией улыбнулась Екатерина.

— Больше, ваше величество, много больше.

— Ну знаете, это уже похоже...

— На шарлатанство, хотите вы сказать? Как будет вам угодно.

— Мое мнение для вас ничего не значит?

— Нет, почему же? Просто оно ничего не может изменить... Вам угодно, чтобы я продолжал?

На скулах Екатерины загорелся румянец.

— Продолжайте, продолжайте...

— Христианство преградило в Европе дорогу мысли, но мысль нельзя остановить, и она пошла обходными путями. Постижение человека стало невозможным, ученые обратились к окружающему. Покинув языческих богов, они создали себе новых — Число и Меру, стали признавать истиной только то, что можно измерить и сосчитать. На этом пути они совершили много открытий и изобретений, сделают их еще больше, но рано или поздно зайдут в тупик. Знать больше не означает знать глубже, подсчет и постижение — совсем не одно и то же. Каким числом можно измерить страх смерти? На каких весах взвесить любовь матери к ребенку? В какую формулу уложить прозрение гения?.. Восточная мудрость мало интересовалась окружающим, ее внимание было обращено на человека, его способности и возможности. И на Востоке мудрецы приобрели власть над телом и духом, о какой в Европе не знают.

— Прямо какие-то Гога и Магога, — иронически улыбнулась императрица.

— Библейский Гога был царем. Мудрых не привлекает ни власть, ни богатство.

— И много там таких мудрецов?

— Мудрых всегда немного.

— А почему о них не знают в Европе?

— По невежеству. Предрассудки ученых ничем не лучше предрассудков церковнослужителей.

— Откуда же эти наши мудрецы черпают свою мудрость, власть над телом и духом? Вступают в союз с демонами?

— Демоны, черти, джинны существуют в сказках. Человек сильнее сказок — он их создает.

— Но чем же занимаются, в конце концов, ваши мудрецы? Творят чудеса?

— Чудеса принадлежат сказке. Сказки в действии на Востоке показывают некоторые факиры. Это и есть то, что вы называете фокусами, ваше величество.

— А вы? Что показывали вы?

— Несколько опытов, обнаруживающих силу человеческого духа.

— Боже мой, говорите вы как будто ясно и вместо с тем так туманно... Разве нельзя это объяснить как-нибудь нагляднее и проще? Говорят, все гениальное просто.

— Гениальность — всплеск волны. Но волны бывают только на поверхности. Мудрость бездонна.

— Должно быть, я слишком начиталась европейских философов, чтобы постичь восточную мудрость. Мне, как Фоме неверному, нужно увидеть самой и даже пощупать... Почему вы не показали свои опыты нам, при дворе?

— Вам было не до м о и х манипуляций, ваше величество.

Екатерина испытующе посмотрела на Сен-Жермена, но в лице его не было ни тени усмешки или иронии.

— Теперь я смогла бы выбрать время.

— Очень сожалею, ваше величество, но это невозможно. На рассвете я уезжаю.

— А если я попрошу вас задержаться?

— Я принесу глубочайшие извинения и — уеду. В Париже меня ждут неотложные дела.

Екатерина прикусила губу.

— Я считала французов более галантными.

— Я не называл себя французом.

— Кто же вы?

— Правильнее всего сказать, что у меня нет национальности.

— У каждого человека есть национальность.

— У меня их много. В древней Элладе я был эллином, в Риме — римлянином, во времена Шекспира — англичанином...

Екатерина переменилась в лице.

— Не пугайтесь, ваше величество, я — не сумасшедший. Считайте сказанное шуткой.

— Вы странно шутите, граф, — опасливо присматриваясь к нему, сказала Екатерина. — Ну хорошо, оставим это... Вы возвращаетесь в Париж. Как бы я хотела побывать там! О нем так много рассказывала моя гувернантка-француженка.

— Вот почему вы так свободно говорите по-французски?

— Этим я обязана госпоже Кардель. И — чтению... Много бы я дала, чтобы увидеть своих кумиров-философов. К сожалению, такое путешествие исключается моим положением. Со стороны оно может казаться привлекательным — увы! — я стала теперь царственной пленницей. Так что вы можете посочувствовать мне, граф...

Екатерина взглянула на Сен-Жермена, но тот сочувствия не проявил.

— У меня есть и более грустный повод желать поездки в Париж. Даже долг. Там умерла моя мать...

— Да. Я знавал вашу матушку, бывал в ее салоне. Герцогиня была незаурядной женщиной, только ее исключительная энергия так и не нашла себе применения. И конец ее был печален — она умерла в нужде.

— Вы хотите сказать — в долгах? — вспыхнула Екатерина. — Я заплатила ее долги.

— После смерти герцогини. Это было полезно уже только вам, но не ей.

— Вы говорите дерзости, граф, — сухо сказала Екатерина, — но я объясняю их незнанием. В то время я находилась в полной зависимости от императрицы Елизаветы, а она не была щедра по отношению ко мне.

— Сожалею, ваше величество, что коснулся столь щекотливого дела. Чтобы снова не совершить оплошности, разрешите мне откланяться?

— Подождите, граф, я хочу задать вам еще один вопрос... Вы покидаете Россию. Какие впечатления вы увозите с собой?

— Довольно пестрые, ваше величество.

— А именно?

— Я предпочел бы не говорить о них. И что вам до

мнения частного лица? При вашем дворе столько иностранных послов. Их мнение важнее.

— Официальное мнение не всегда диктуется впечатлениями, его чаще определяет политика. Частное лицо может быть беспристрастнее. Вы — светский человек и, как очевидец, можете повлиять на общественное мнение.

— Я не собираюсь влиять на общественное мнение.

— Но вы бываете в салонах и при дворе, не так ли? — Граф поклонился. — Не станете же вы молчать, если вас спросят об увиденном? Так вот представьте, что вы сейчас в каком-либо парижском салоне и рассказываете о своем путешествии в далекую Россию...

— Парижские салоны, ваше величество, не охраняются снаружи и внутри вооруженными до зубов гвардейцами.

— Вы их боитесь?

— Я ничего не боюсь, ваше величество. Просто сказанное мною снова может вызвать ваше неудовольствие — без надобности для меня и без пользы для вас.

— О, тогда тем более мне следует услышать, что вам не понравилось в России. Императрица должна знать, что не нравится иностранцу в ее державе.

— России я не знаю и имел в виду не державу, а лишь события минувшего месяца в Петербурге.

— Говорите, граф, говорите! Мне очень важно знать это. И не бойтесь огорчить меня — я готова выслушать самую горькую правду, — сказала Екатерина и улыбнулась милостиво и поощрительно.

— Когда повелители говорят, что они готовы выслушать самую горькую правду, это означает, что они с удовольствием выслушают любую неправду, лишь бы она была приятной.

— Вот вы снова сказали дерзость. Как видно, вы невысокого мнения о монархах. Но я пускаю это мимо ушей и докажу вам, что русская императрица — исключение из составленного вами правила.

— Буду рад убедиться в том, ваше величество. Прежде всего я должен сделать вам комплимент — заговор был так хорошо организован, что переворот совершился быстро и без всяких жертв.

— Принять ваш комплимент, граф, означает признать, что я организовала заговор, чтобы свергнуть императора и захватить власть. Но я вовсе не искала власти и не создавала заговора! Это было народное восстание против

тирана. Приемля престол российский, я лишь покорилась воле народа, избравшего меня.

— Тем хуже, ваше величество. Из этого следует, что пока действовал народ и было безвластие, все обходилось без крови, но как только вы вступили на трон, произошло то ужасное событие...

Лицо Екатерины сделалось в красных пятнах, воспаленные от табака ноздри гневно раздулись.

— Вы не только дерзки, граф, вы просто... Но я сдержу свое слово и выслушаю вас, — превозмогая гнев, сказала она и попыталась улыбнуться.

— Я могу замолчать, ваше величество.

— Нет, говорите! Какую связь вы видите между моим восшествием на престол и смертью бывшего императора? Он умер по воле божьей. Судьбы господни неисповедимы...

— Пути господни неисповедимы, ваше величество, но вполне исповедимы пути человеческие... Я понимаю, Петр Третий был обречен. Россия огромная страна, но даже для нее три здравствующих императора — слишком много.

— Какие три императора?!

— Вы — в Петербурге, Петр Третий — в Ропше и где-то в заключении Иоанн Антонович.

— Я ничего не знаю об Иоанне — жив ли он и где он...

— Злосчастный Иоанн опасен только для того, кто занял его престол, и этот человек не может не знать, где находится Иоанн.

Екатерина закусила губу.

— Я не успела... Все произошло так внезапно для меня... А Петр, он умер от болезни, которой страдал всю жизнь. Об этом медики вынесли свое заключение.

— Я уже говорил, ваше величество, что у вас дурные медики. Над их заключением Европа будет потешаться.

— Но почему? Петр умер от геморроидической колики — что тут смешного? Или вы не верите тому, что у него был геморрой?

— Возможно, у Петра Третьего был геморрой, но не в этом месте, ваше величество, — сказал Сен-Жермен, касаясь рукой горла. — Геморрой — очень неприятная болезнь, но отнюдь не смертельная. Он вызывает иногда сильные боли, или геморроидические колики, как написали ваши медики, но никак не может вызвать удушья. А ваш муж был задушен, чего не могли скрыть ни шарф

на шее, ни пудра на лице. Это видел и понял не только я.

Теперь у Екатерины пылали не только щеки, но и уши и даже шея.

— И вы считаете повинной меня?

— Вас ведь интересует не мое, а общественное мнение? Боюсь, что оно вынесет приговор не в вашу пользу. Что может вызвать такое убийство, кроме отвращения и негодования?

Сдвинув брови, Екатерина теребила в руках гусиное перо, пока не сломала его, и горделиво выпрямилась.

— Ниже достоинства русской императрицы оправдываться перед любым мнением... Но вам я докажу свою непричастность. Я дала себе зарок не показывать никому, но вы — друг Орловых...

— Грегуара Орлова, ваше величество.

— Значит, вы не захотите пятнать его репутацию... Вот что шестого июля привез нарочный из Ропши.

Екатерина отперла шкатулку, достала сложенный вчетверо полулист серой бумаги.

— Читайте, граф... Впрочем, вы ведь не умеете по-русски?

— Прочитать я смогу...

По испятнанному, в кляксах шероховатому листу вкривь и вкось накорябанные строки пьяно сползали вниз:

«Матушка милосердая государыня как мне изъяснить описать што случилось. Не поверишь верному своему рабу но как перед Богом скажу истину. Матушка готов идти на смерть но сам не знаю как ета беда случилась. Погибли мы когда ты не помилуешь. Матушка ево нет на свете. Но никто сего не думал и как нам задумать поднять руки на государя. Но государыня случилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором неуспели мы разнять а ево уже и не стало. Сами не помним што делали но все доединова виноваты достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес и разыскивать нечева. Прости или прикажи скорея окончить. Свет немил прогневали тебя и погубили души навек.

Посмерть ваше верны раб Алексей Орлов»

Сен-Жермен положил письмо на столик перед императрицей.

— Грегуар тоже был там?

— Нет. Были Алексей Орлов, князь Барятинский,

Теплов, вахмистр Потемкин и не помню еще кто — человек двенадцать или четырнадцать... Что же вы молчите, граф?

— Have I no friend who will rid me of this living fear? — сказал Сен-Жермен.

— Что это значит?

— Простите, ваше величество, я забыл, что вы не знаете по-английски... Так в трагедии Шекспира восклицает Болингброк, который свергнул с трона Ричарда Второго, но продолжал его бояться: «Неужели нет у меня друга, который избавил бы меня от этого живого страха?..» У вас нашелся не один Экстон, а целая дюжина.

— Значит, вы все-таки считаете, что бывший император убит по моему наущению? Видит бог, я не хотела его смерти!.. Вы не верите письму Орлова потому, что не знали Петра. Это был несносный человек, несдержанный и грубый, я нисколько не сомневаюсь, что он спьяну сам затеял драку, которая вот так закончилась...

— Каков бы он ни был, император убит, а убийцы остались безнаказанными.

— По вашему мнению, мне следовало отрубить им головы? В первый месяц царствования окружить свой трон эшафотами и залить его кровью? Даже если бы я поступила так, меня бы все равно подозревали в убийстве мужа, а потом сказали бы, что я убила убийц, чтобы скрыть следы... Я выше этих мерзких домыслов. Пусть подозревают в чем угодно. Достаточно одной трагедии. И так никогда не прощу себе, что не смогла предотвратить ее.

— Люди больше любят себя, чем уважают, поэтому довольно легко и быстро прощают себе любые прегрешения... Вы пожалеете о грубой и неловкой поспешности своих друзей по другой причине — ваш муж не успел обмануть надежды, которые пробудил.

— Эти надежды стоят не больше, чем стоил он сам.

— Надежды — великая сила, ваше величество. Они могут многое. Надежды могут даже воскрешать мертвых.

— Это вздор, граф: мертвые никому не опасны.

— Мертвые могут оказаться опаснее живых. О мертвых не принято говорить дурно, стало быть, они лишены недостатков. Более того — им можно приписать любые достоинства, а они уже просто не в состоянии скомпрометировать себя.

— Уж не хотите ли вы... — с трудом прикрывая гнев сарказмом, сказала Екатерина, — уж не предсказываете

ли вы воскресение из мертвых Петра Третьего? И что он будет мне опаснее, чем был?

— Нет, ваше величество, я не занимаюсь предсказаниями. А что касается вас, то не трудно предвидеть — вы убили мужа, чтобы захватить трон, вы убьете еще многих, чтобы его сохранить. Чужими руками, конечно.

— Да как вы смеете?!

— Вы хотели услышать правду? Я вам ее сказал. Люди не говорят правду, рассчитывая на какую-то выгоду или из страха. Я не ищу выгоды, и мне нечего бояться.

— Вы... вы... Я вас...

Екатерина вскочила, схватила колокольчик и яростно затрясла им.

— Вы напрасно звоните, — сказал Сен-Жермен. — Вас не услышат.

Екатерина продолжала трясти колокольчик, но никто не появлялся. Внезапно смысл сказанного графом дошел до сознания императрицы, ужасная догадка заставила ее побледнеть и попятиться.

— Что... что вы с ними сделали?

— Ничего опасного. Я ожидал, что наша встреча примет такой оборот, и принял меры предосторожности. Впрочем, вы все равно даже не сможете никому рассказать о нашей беседе, так как поставите себя в смешное положение, а для вас нет ничего страшнее, чем оказаться смешной.

— Что... чего вы хотите? — все более пугаясь и отступая еще далее, пролепетала Екатерина.

— Вы напрасно так пугаетесь, — впервые усмехнулся Сен-Жермен. — Мне совершенно не нужна ваша жизнь, я не собираюсь на нее покушаться. И ничего не хочу. Это вы хотели услышать приятную ложь, а услышали правду. В том, что она горька, вам некого винить, кроме себя... Но вы слишком любите себя, чтобы признаться в этом даже себе самой. Я мог бы сделать так, чтобы вы забыли нашу встречу, но не сделаю этого. Пусть воспоминание о ней хотя бы немного умерит ваше безграничное себялюбие и мстительную жестокость. Прощайте, ваше императорское величество.

Сен-Жермен вышел. В кабинете снова зазвенел колокольчик, но сидящий в кресле Шкурин не шелохнулся. Закрыв за собой дверь, возле которой стояли на часах кавалергарды, Сен-Жермен неторопливо пошел по гулкой пустой анфиладе к выходу из дворца.

Императрица яростно трясла колокольчик, но захлебывающийся, пронзительный звон его опять никто не услышал. Екатерина отшвырнула колокольчик, распахнула дверь в прихожую. Шкурин сидел в кресле, сложив руки на животе и неловко склонив голову набок, глаза его были закрыты... Екатерина подбежала к нему, запрокинула голову... Нет, он не был мертв — лоб был теплым. Ему стало трудно дышать с запрокинутой головой, императрица явственно услышала негромкий храп. Значит, он просто спал?.. Ах, подлец!.. Екатерина ударила его по щеке раз, другой — Шкурин не проснулся, изо всех сил затрясла его за плечи, он не проснулся. Екатерина бросилась к двери в зал и — остановилась... Она въявь представила, как гвардейцы вытаращат глаза при виде встрепанной, разъяренной императрицы, какие слухи поползут по дворцу, по всей столице, какие догадки и сплетни пойдут о ней и об этом графе, приведенном Шкуриным...

Гнев снова заклокотал в ней, она ударила Шкурина по лицу, дергала его за руки, за плечи, щипала с вывертом — Шкурин не просыпался. Придя в совершенное бешенство, императрица приподняла юбки и стала пинать его, норовя попасть носком туфли в самое чувствительное место — по кости голени. Шкурин страдальчески морщился, вздрагивал и — не просыпался.

Екатерина промахнулась, чтобы сохранить равновесие, выпрямилась и увидела, что в дверях спальной стоит Шарогородская и с ужасом наблюдает, как она избивает Шкурина. Екатерина пристыженно вспыхнула, от этого озлилась еще больше и отхлестала камеристку по щекам.

— Так вы слушите своей императриц? Никого нет на место... Этот скотьина спит, ты бегаешь делать амур с солдаты... Я вас... Вы мне... Я всех вас в крепость... В Сибирь!

Шарогородская залилась слезами.

— Ваше величество... Матушка-государыня, помилосердствуйте, ваше величество! Я все время туточка, в опочивальне... Только что до ветру сбегала, вот и вся моя отлучка, вся вина, матушка-государыня...

Императрица оттолкнула ее и ушла в опочивальню. Постель под балдахином была приготовлена, но Екатерине было не до сна. Она прошла в кабинет, села за стол, но тотчас вскочила, заметалась по кабинету — ее душили бешенство и страх. Еще никогда никто не осмеливался так говорить с ней... Даже раньше, когда она была всего-навсего великой княгиней, не в чести и не в милости...

И вдруг теперь, когда она императрица и самодержица всероссийская! Как он посмел? И что он сделал со Шкуриным? Не иначе, как чем-то опоил...

Екатерина звякнула колокольчиком, Шарогородская тут же появилась в дверях — видно, так и стояла все время за дверью, прислушивалась.

— Где моя табакерка? Почему ее никогда нет на место?

Шарогородская приподняла лист бумаги, свисающий со стола, — табакерка лежала под ним.

— Извольте, ваше величество.

— Сама вижу, — буркнула Екатерина. — Этот скотина спит?

— Спит, ваше величество.

— Убирайся!

Даже две понюшки подряд не принесли облегчения, не успокоили, и она в смятении и страхе металась по кабинету. Он знал, что делал, этот проклятый граф, знал, что она не может рассказать, выставить себя на осмеяние... При том смотрел... ах, как он смотрел на нее, негодяй! Будто перед ним не императрица, а...

Мало-помалу страх угасал, слепое бешенство переходило в пронзительную ненависть, смятение и растерянность отступали перед холодным разумом, которого она до сих пор не теряла. Прежде всего нужно трезво во всем разобраться. Кто он такой, этот граф Сен-Жермен, и зачем приходил? Поначалу казался человеком вполне светским, она и поддалась первому порыву, хотела привлечь на свою сторону, обласкать, очаровать — политика делается не только в кабинетах, она делается и в салонах. Там создаются репутации в глазах света, венчают славой или губят насмешкой. Парижские салоны определяют мнение всей Европы... А бывает ли он в этих салонах? Да и граф ли он? На лбу у него не написано... Мало ли их, самозваных маркизов, баронов, которые на поверку оказываются обыкновенными проходимцами, мошенниками?! И этот проклятый шарлатан, конечно, самозванец и авантюрист! Самый настоящий шарлатан! Что он тут плел, какого тумана напустил!.. Он и древний римлянин, и англичанин, чуть ли не Гога и Магога... Все враки! Бред сумасшедшего маньяка... Однако в этом бреду есть метода — сбить слушателя с толку, ошарашить так, чтобы тот перестал понимать, что правда, что ложь, где лево, где право... Только тут он не на такую напал! Она его сразу раскусила, вывела на чистую воду. Дураков он околпачивал своими фокусами, а ей показывать побоялся — понимал, что ее, философа на троне, провести не удастся. Вот и нес всякую галиматью про восточную мудрость... Но что ему было нужно? Зачем он приходил?.. Боже, он ведь про Орлова говорил... Или тоже все наврал?

Екатерина звякнула колокольчиком.

— Пошли часового за дежурны официр, — сказала она Шарогородской.

Офицера Екатерина ни о чем не спрашивала, лишь пытливым взглядом впилась в его лицо. Лицо капитана не выражало ничего, кроме готовности исполнить любое приказание.

— Пошли кого-нибудь из свои люди к Григорий Орлов, в дом Кнутсена.

— Слушаюсь, ваше величество.

— Пусть сам увидит Григорий Орлов, есть он или нет живой и здоровый.

— А что передать?

— Ничего. Вернуться и доложить.

Через две минуты вахмистр вышел из дворца и направился к Большой Морской.

Проводив графа, Домна Игнатьевна вернулась в спальню и, пригорюнившись, села возле кровати. Горестный испуг прошел, но тревога, страх за Григория остались. Она свято поверила Сен-Жермену, каждому его слову и не сомневалась, что все будет так, как тот сказал, — отлежится Григорий и проснется здоровым. Тревожило ее сознание собственной слабости и ничтожества, неумение и незнание, как противостоять силам, о сопротивлении которым нечего даже думать. Сам граф сказал, коли императрица дознается, нашлет своих лекарей, а те Григория непременно погубят. Ни у каких лекарей Домна никогда не лечилась, но и без графова предупреждения была твердо убеждена, что все они — душегубы. Давеча из дворца целый день бегали: «Где Орлов, где Орлов?» — спозаранку опять бегать зачнут, рано или поздно дознаются. И что ей тогда делать? Кто станет ее спрашивать, кто послушается?

Внезапно ее осенило, она поднялась и пошла в столовую.

Григорий дважды открывал при ней тайник, но она не приглядывалась, как он это делал, и теперь долго дергала, тыркала в разные стороны розетки на панели, пока

не догадалась повернуть их. Дверь тайника бесшумно отворилась. Домна приготовила удобную постель в башне, потом разбудила Трофима.

Дюжий кучер Григория Орлова обладал всего тремя особенностями, зато были они из ряда вон выходящими: он мог спать неограниченное время, никогда не удивлялся, ничего не спрашивал и не говорил, обходясь одними междометиями, да и те издавал лишь в случаях крайней необходимости.

— Возьми барина, неси за мной, — сказала Домна Игнатьевна.

Трофим сгреб закутанного в одеяло Орлова, тот застонал.

— Да тише ты, леший, не куль овса ворочаешь! — прикрикнула Домна Игнатьевна.

Трофим снес барина в башню, положил на топчан.

— Теперь подь сюда, — строго сказала Домна, когда они спустились вниз, и подвела его к углу, в котором из-за лампады печально выглядывал волоокий Христос. — Вот — крестись перед Спасителем, что никому про барина не скажешь, где он, что он... Ты ничего не видал, ничего не слыхал. Понял? Крестись, идол.

Трофим обмахнулся знамением, будто стряхнул с себя сор.

Домна поколебалась и решила для верности пустить в ход еще одно средство.

— Выпить хочешь?

В глазах Трофима мелькнула искорка оживления, и знающий его сказал бы, что Трофим просто запрыгал от радости. Он тронул усы заскорузлыми пальцами и произнес одну из самых длинных речей в своей жизни:

— Эт-та завсегда можно.

Он бережно осушил бокал, в который поместилось не менее трех чарок, выпятил нижнюю губу и обсосал усы.

— Подь на кухню, заешь там, что есть...

В кухне Трофим отрезал от каравая большую горбушку, круто посолил, но есть не стал, постоял, прислушиваясь, как из живота по всему телу распространяется приятное тепло, и пошел в конюшню. Злющий, кусачий жеребец Гнедой, почуяв хозяина, зафыркал и начал тыкаться бархатными губами, отыскивая его ладони.

— На, брат, эт-та, закусывай...

Вторую половину горбушки он отдал Дочке. Так повелось давно. В редких случаях, когда Трофиму выпадало счастье приложиться к чарке, он не заедал, чтобы не пор-

тить удовольствия, за него закусывали любимцы — Гнедой и Дочка. Всегда молчащий на людях, с ними он разговаривал, хотя и немногословно, но душевно, отдавая лошадям не растраченную на людей нежность. Они отвечали ему тем же. Жеребец снова просительно пофыркал.

— Ну, эт-та, разохотился... Скажи спасибо барину — он повеселился, ты опохмелился... Й-эх, баре...

С этими словами Трофим растянулся на ворохе сена рядом с денником Гнедого и тут же уснул.

Домна Игнатьевна закрыла потайную дверь в дубовой панели и только успела прибрать в спальной, как в дверь громко, требовательно застучали.

— Кого еще нелегкая принесла в эту пору?.. Кто там?

— К капитану Орлову из дворца.

— Нету его. Дома нету.

— Велено проверить самолично.

— Нашел время. Днем приходи, а не ночью.

— Приказано немедля. Отвори дверь. Или позови главного из слуг.

— А я и есть главная. И не отворю, хоть из пушки стреляй.

— Ты пойми — я по высочайшему повелению!

— А почем я знаю? Может, ты лихой человек, грабитель какой?

— Вот дура-баба! Ты погляди в окошко — увидишь, какой я грабитель...

В мерцающем свете шандала появилась бравая фигура гвардейца.

— Погоди малость! — крикнула ему Домна.

Вояки в кирасах и касках нередко посещали Орлова, она понимала, что в такую форму грабитель не обрядится, и порадовалась, что успела укрыть Григория. Опаски ради Домна растолкала храпевшего на всю кухню Антипу. Орлов мелкую стать любил только в женщинах, и Антипа — кухонный мужик и слуга на все случаи — был рослым и дюжим, почти как Трофим, только молод и безус.

— Вставай, Антипушка! Ломится там какой-то человек, говорит, из дворца...

С трудом разодрав белесые ресницы, Антипа посмотрел на нее:

— Так чо? Прогнать, что ли?

— Со мной пойдем. Только на всякий случай возьми баринову саблю, что ли...

— Не, я лучше это... Способнее! — сказал Антипа и взял в углу увесисую кованую кочергу.

— Где Орлов? — крикнул обозленный вахмистр.

— Не ведаю. Барин слугам не сказывает, куда едет.

— Все равно — показывай покои. Приказано самолично проверить.

И они пошли по всем комнатам — впереди Домна с двусвечником, следом вахмистр, а за ним, не выпуская кочерги, шлепал босыми пятками Антипа. Он был на голову выше вахмистра, и, когда Антипово сопение слишком приближалось к его затылку, вахмистр опасливо косился на него через плечо. Обойдя дом, они вернулись в прихожую.

— Кладовки да кухни тоже проверять станешь, аль нет? — спросила Домна.

— Поговори еще, ведьма старая! — прокричал вахмистр. — Набаловали вас тут, чертей...

Он рванул входную дверь и с грохотом захлопнул ее за собой.

— Слава тебе господи! — перекрестилась Домна. — Иди досыпай, Антипушка.

Антипа зашлепал в кухню, а Домна заперла входную дверь и поднялась к Орлову. Григорий спокойно спал, не подозревая, что когда-то показавшийся ему смешным тайник господина Кнутсена во второй раз спас его от беды.

Выслушав рапорт вахмистра, императрица кивком отпустила его. Она этого ждала. Так и думала. Все — вранье, ложь, шарлатанство... Но что ему было нужно? Зачем он приходил?

С тех пор как она начала думать о себе и своей судьбе, Екатерина не сказала и не сделала ничего, что не было бы ей приятно, полезно, выгодно, пусть и не сразу, непосредственно, а хотя бы косвенно и когда-то потом, и ей просто не приходило в голову, что у людей могут быть другие мотивы, поведение их может иметь иное объяснение. Теперь она терялась в догадках и не могла разгадать, какую цель преследовал этот человек, кто бы он ни был — настоящий граф или самозванец. Кто он — сторонник Петра? Но Петр мертв, никакие сторонники ему теперь не помогут. Чего же он хотел — отомстить? Он мог убить ее, но не тронул и пальцем. Однако кем бы он ни был, это враг. Коварный и опасный. Умный враг, и потому вдвойне опасный... Если он посмел так говорить с самой императрицей, то что же он будет говорить там?!

Очернит, оклевещет ее на всю Европу... Нужно немедля... А что — немедля? Кому сказать, кому поручить? Орловым нельзя: чем-то они обязаны этому проходимцу, да Григорий неведомо и где... А вдруг!.. Вдруг он Григория убил и погубил, а для отвода глаз явился, чтобы рассказать сказку о каком-то нападении? Боже, как может быть коварна человеческая натура!.. Нет, его нужно немедленно догнать, схватить и до всего допытаться!.. Кому же? Панину? Вельможный чистоплюй, сочинитель вздорных прожектов, бумажная душа... Разумовскому? Лукав и ленив. Князю Волконскому? Непроходимый болван — пока он что-то сообразит, того и след простынет... Барон Корф — шумная балаболка... А даже если бы кто-то из них годился — им нужно объяснить, значит, рассказать о том, как какой-то проходимец оскорблял, унижал императрицу. Немыслимо! Невозможно никому рассказать о том, что произошло, тот мерзавец прекрасно это понимал и даже бравировал...

Императрица с ужасом поняла, что, в сущности, ей не на кого опереться, она беззащитна. Верный Шкурин позволил себя чем-то отравить... А знать? Придворные болтуны, не способные действовать... Нужны не знатные бездельники, а пусть никому не известные, но готовые на все, безгранично преданные люди, которым не нужно ничего объяснять, достаточно приказать, чтобы они слепо повиновались. Только где их взять?.. А ведь были! Пустоголовому Петру они были не нужны — разогнал... Всего за полгода сколько вреда нанес державе и трону проклятый голштинский выродок!

Сменился караул во дворце, наступило утро, и беспробудно спавший Шкурин вдруг потянулся, застонал от боли и открыл глаза.

— Батюшки! — спохватился он. — Кажись, задремал?

— Задремал? Да ты дрых всю ночь! — сказала Шарогородская. — Теперь не знай, что и будет! Матушка-государыня просто ужас до чего осерчала!

— Господи! Как же это? Что ж ты меня не разбудила? — ужаснулся Шкурин.

— Добудишься, когда ты — как полено.

— Пропал... Совсем пропал! — прошептал побелевший Шкурин.

Из кабинета донесся звон колокольчика, Шарогородская скользнула в кабинет и тотчас вернулась.

— Иди на расправу...

Крестясь и прихрамывая, Шкурин пошел в кабинет. Стоявшая у окна императрица обернулась. После бессонной ночи лицо ее пожелтело, под глазами были круги.

— Ну, скотьина... — процедила она сквозь зубы. — Что скажешь?

Шкурин грохнулся на колени...

— Прости, матушка-государыня! Сам не знаю... Не иначе, как сомлел с устатку...

— Сомлел?

Она подошла к нему, наотмашь ударила по щеке, по другой.

— Бей, матушка-государыня, бей, только смени гнев на милость! Сам не знаю, как это случилось.

— Ты напился, как последний свинья!

— Матушка! Да я в рот этого зелья не беру!.. Разве бы я посмел?

— А что тебе дал выпить этот граф?

Руки Шкурина опали.

— Какой граф, ваше величество?

— Которого ты ночью привел ко мне, сказал, что он от Орлова...

Глаза Шкурина округлились от удивления и страха.

— Помилосердствуй, матушка-государыня, я никого не приводил... Не было никакого графа, ваше величество!

Екатерина отшатнулась.

— Ты еще хочешь лгать в свой оправданий?

— Матушка-государыня, как бы я посмел?! Может, на меня затмение какое нашло?.. Может, разумом помутился, только... Вот хоть руку на отсечение!

— Плохой слуга отрубывают голову, а не рук!

По лицу Шкурина побежали слезы, он стукнулся лбом об пол, распластался, как перед иконой.

— Помилосердствуй, матушка-государыня! Хоть ради прежней службы помилуй... Я всю жизнь верой и правдой...

— Прошлый заслуг есть прошлый заслуг. Мне сейчас нужны верный слуга больше, чем прошлый...

— Казни, как пожелаешь, матушка, только не лишай своей милости...

— Я не буду тебя казнить, я буду делать тебе последний проверка. Мне спешно нужен человек. Очень верны, очень преданы человек для особый поручений... Не из

гвардии, не из придворных. Если ты найдешь такой человек, я подумаю про твоя судьба...

Часа́ через три Шкурин опасливо постучал в кабинет. Императрица была уже одета для малого приема, но утренний прием сегодня был отменен, Екатерина сидела над бумагами одна.

— Привел, ваше величество.

Екатерина кивнула. Шкурин втолкнул в кабинет старательно, но дурно одетого чиновника и закрыл за собой дверь. Чиновник неловко согнулся в поясном поклоне, потом выпрямился, но не до конца, а так и остался полусогнутым.

— Кто ты есть? — спросила Екатерина.

— Зряхов, ваше величество.

Он был бесцветен, как моль, и голос у него был тоже бесцветным, даже как бы тухлым.

— Что значит Зрьяхов?

— Фамилие мое такое — Зряхов, ваше величество.

— Дворянин?

— Никак нет, ваше величество, солдатский сын.

— Почему ты есть согнутый? Ты больной?

— Никак нет, ваше величество. Это от нашего ничтожества и счастья лицезреть ваше императорское величество.

— Ты чиновник? Где служил?

— Состоял подканцеляристом в Тайной розыскных дел канцелярии.

— А теперь где?

— По упразднении Тайной канцелярии оставлен при сохранения в секретности бумаг и архива оной былой канцелярии.

— Ты умеешь держать язык за зубы?

— Как же-с, ваше величество! Этому мы обучены, ваше величество. Двенадцать годов безупречной службы в Тайной канцелярии!

— Когда человек не умеет держать язык за зубы, он может совсем терять свой язык. Ты меня понимаешь? Но я умею награждать верный слуга. Хороший награда бывает за хороший служба. Я хочу давать тебе особый поручений...

— Живота не пожалею, ваше величество!

— Я сейчас пишу записка к командир Невский полка. Когда он будет прочитал, отдай записка Шкурин — он поедет с тобой. Деньги на прогоны и прочее тебе тоже передаст Шкурин. Подойди ближе, Зрьяхов...

5

Зряхов боялся людей. Он не был трусом в обиходном смысле слова и в критические минуты, какие бывают в жизни каждого человека, обнаруживал если не храбрость, то достаточную решительность. И между тем страх не покидал его ни на минуту. Страх не перед физическим насилием, хотя в пору детства и отрочества частенько случалось ему отведать «березовой каши», а затрещинам и подзатыльникам счету не велось. От младых ногтей душа его была уязвлена собственным ничтожеством. Отца, солдата астраханского полка, Зряхов не знал, ибо родитель при невыясненных обстоятельствах погиб где-то на Оренбургской линии. Никакого вспомоществования вдове с мальцом выдано не было, и она, сколько помнил Зряхов, все время для прокорма состояла где-нибудь в услужении. Сетуя на горькую участь свою, она не лучшую предугадывала сыну и с детства внушала ему две главные заповеди сирых и обиженных судьбой — смирение и повиновение. Войдя в лета, Зряхов вполне постиг эту премудрость, отчасти благодаря внушениям матушки, главным же образом на собственном опыте. Вокруг жили люди, и каждый имел вес и значение сообразно положению, заслугам, богатству или — где-то уже совсем в поднебесье — знатности... Но даже и не знатные, не богатые, каждый был на особицу: тот мастеровит, тот силен и ловок, тот красив или голосист, на худой конец — хитер и оборотист. Словом, обо всех можно было сказать, кто есть кто. Зряхов был никто. Никаких талантов, примечательных способностей или качеств у него не обнаружилось, бесцветная внешность и тухлый голос отнюдь не привлекали к нему сердца окружающих, и даже не со зла, а так, походя, ненароком, они то и дело давали ему понять, сколь он ничтожен, снова и снова уязвляя и без того уязвленную душу Зряхова.

Так и сникнуть бы Зряхову в жалкой своей неизвестности, если бы в свое время преславной памяти государь император Петр Алексеевич не учредил сословия солдатских жен и детей. Сословие было хотя и многочисленное, но несколько странное. Ну что такое солдатский сын? Ни пава, ни ворона, никаких особых прав или привилеев. Кроме одной — солдатских детей в первую очередь принимали в гарнизонные при полках школы. Приняли и Зряхова. Здесь он полною мерою узнал, сколь горек труд учения, но сладости плодов его вкусить не смог. В гарни-

вонной школе сначала учили грамоте, а потом по способностям — фортификации, артиллерии или какому-нибудь ремеслу, для военного дела полезному — плотничьему, кузнечному и прочим. По мысли Петра, школы эти должны были готовить для войска низовые, так сказать, технические кадры. В школе Зряхов во всю силу применял внушенные матушкой добродетели — смирение и повиновение, но прибавил к ним и третью — старание. Однако ни одна из них и все вместе не помогли. Грамоте Зряхов научился, но далее, несмотря на порку, никаких способностей к военным наукам не оказал, к рукомеслу же был способен еще менее ввиду крайней мозглявости и хилости. По той же причине его не взяли и в солдаты, хотя тогда лошадей для службы отбирали не в пример придирчивее, чем рекрутов.

Какое-то время Зряхов недорослем сидел на шее у матушки, она же, заливаясь горючими слезами, валялась в ногах у своих благодетелей — мелких чиновников, вымаливая милости и покровительства для незадачливого сына. Вымолила. Приняли Зряхова служителем в Тайную розыскных дел канцелярию. Все важные пакеты отправлялись особыми курьерами, а Зряхов за несколько целковых в год был, в сущности, на посылках и в услужении копиистов и подканцеляристов. На службе помыкали им кто и как хотел, но дома и по соседству отношение к нему изменилось. О том, чем он на службе занят, Зряхов никому не сказывал, но помянуть место службы случая не упускал, и его уже не задирали, не шпыняли, не вышучивали на каждом шагу, а потом стали относиться если не с почтением, то с опаскою. И Зряхов понял, что это враки, будто не место красит человека, а человек красит место. Место зряховской службы не украшало, оно устрашало! А это как раз и было тем, в чем так нуждался Зряхов — заслоном, защитой от ухмылок, издевок и поношений. Уразумев это, Зряхов не просто усердствовал, а прямо из кожи лез, дабы в службе той укрепиться и, сколь возможно, продвинуться. В гарнизонной школе его обучили грамоте, до сих пор пользы от того не было никакой — склонности читать Зряхов не имел, да и читать было нечего, писать же вовсе надобности не возникало. Но здесь он увидел, сколь могущественным, можно сказать, всесильным является нехитрый инструмент, сделанный из маховых гусиных перьев. На остро заточенном кончике его висели не только покой или полная разруха человеков, но самые их судьбы и даже жизнь!..

По обязанности служителя Зряхов подбирал в канцелярии измятые, испорченные листы бумаги, но не выбрасывал их, а тщательно разглаживал и, как только выдавалась свободная минутка, принимался за писание. Сопя и потея от усердия, он переписывал десятки раз одно и то же, взяв себе за образец почерк лучшего писца, который скорописью своей радовал сердца начальства и вызывал зависть у товарищей. Через какое-то время он так набил руку, что, хотя совершенства не достиг и учителя не превзошел, писать стал преизрядно. Заметив таковую его страсть к писанию, писцы, которые не видели в работе своей ничего, кроме скуки, стали давать ему для множения всякого рода запросы и предписания, поначалу пустяковые, потом все серьезнее и пространнее. Зряхов сладостно корпел над ними, не щадя ни сил, ни времени, которое, кстати сказать, помимо этого корпения, не знал, куда и девать — развлечений он страшился, а друзей не имел. Не удивительно, что таковое его усердие начальством было замечено, и при первой открывшейся вакансии Зряхова произвели в писцы, а с течением времени и в подканцеляристы.

Внешне Зряхов остался таким же тухлым и тусклым, но теперь на поведение его лег как бы зловещий отблеск Присутствия, в коем он состоял. Понаторев в крючкотворном письмоводстве, наслушавшись историй о делах, проходивших через канцелярию розыскных дел, Зряхов проникся сознанием, что волею судьбы он оказался в средоточии власти главной, ибо тайной... За толстыми стенами канцелярии кипела, бурлила жизнь, кичились мошной купцы, вельможи, маетностями, знатные господа чинами и наградами. Им казалось, что они главнее и важнее всех, они распоряжаются, командуют, повелевают, но забывали о том, что за ними, за всем, что происходит в державе, зорко и неусыпно следят здесь, в тиши все ведающей и все помнящей канцелярии. Здесь знали все обо всех, от простолюдина до самого знатного вельможи. Здесь знали и то, чего люди сами за собой не ведали. И ежели смотреть в корень, то не бесконечная лестница начальников и сановников управляла державою — над всей державою и всеми сановниками простиралась незримая до поры власть Тайной канцелярии. До поры... А наступала пора, и меркли либо вовсе падучими звездами слетали с державного небосвода самые яркие светила. Разве не скатилась на плахе слишком возгордившаяся голова кабинет-министра Артемия Волынского? Не ока-

зался в Пелыме всесильный Бирон? Не торговал там же молоком для прокорма фельдмаршал Миних? Разве не на допросе, учиненном посланцами от Канцелярии, пал замертво фельдмаршал Апраксин? Разве не отправился горе горевать в свое Горетово бывший верховный канцлер Бестужев-Рюмин, лишенный всех чинов и званий?.. Как ни велики и могущественны сановники, а ведь тоже смертны, все меняется, сменяют и они друг друга, а Тайная канцелярия розыскных дел остается! И выходит, она, эта Канцелярия, есть не токмо единственная и неизменная опора и защита власти, но как бы и сама власть над всеми, над всею державою...

Конечно, армия и полиция нужны. Полиция — противу бесчинства и татей, армия — против врагов иноземных. Там все ясно и просто — руби палашом, коли штыком, пали из пушек. Каждый дурак может... А что могут армия и полиция противу врага внутреннего, потаенного? Ничего они не могут! Тут «ать-два» с барабанным боем без всякой пользы и надобности. Могущество же Канцелярии розыскных дел в том и состоит, что ведает она не токмо «дело», но и «слово». «В начале бе слово...» Не всякое слово ведет к делу, но всякое дело проистекает от слова. И только узнав заранее неподобающие умыслы и слова, можно упредить и пресечь дело крамольное, противудержавное. И тут нету средств предосудительных. Что же, к примеру, дурного в доносах? Они есть и наивернейшее средство узнавать самые потаенные мысли. И не суть важно, верны доносы или ложны, даже если сделаны со зла или в отместку. Не так уж важно, виноват обыватель или не виноват. Был бы человек, а вину сыскать всегда можно. И пускай обыватель о том помнит и в самом себе душит недозволенные мысли и слова. Ибо долг каждого обывателя — неизменно пребывать в восторге и трепете. В восторге перед власть предержащими — не его ума дело судить, каковы они! — и в трепете перед ними и карающей десницей Тайной розыскных дел канцелярии...

По всему выходило, что хотя Зряхов в должности своей писца или даже подканцеляриста есть ничто в сравнении с именитыми, знатными и сановными, как бы даже червь или полное фу-фу, однако в рассмотрении глубоком, проникающем до корней, предвиделся ему поворот судьбы, когда не он, а сановные и родовитые распластаются перед ним в ничтожестве, а он из пепла нынешнего прозябания возникнет, подобно Фениксу, в не-

приступном могуществе тайной силы, которая станет явной...

В чаянии этого поворота Зряхов со всеми вышестоящими по чину был угодлив и раболепен, с прочими все стал отчужден и недоступен. Немногоречивый в прошлом, теперь он стал скуп на слова до чрезвычайности, а если и произносил их, звучали они многозначно, казалось, что, кроме обычного, всем понятного смысла, они имеют смысл и скрытый, для простых смертных непостижимый. Взгляд же его теперь не был, как прежде, просто пустым, а приобрел оттенок некоторой загадочности и провидения, не сулящих ничего доброго...

И вдруг этот столь прекрасно построенный его сумеречным сознанием мир, мир, окутанный невидимой и всепроникающей паутиной сыска, а потому несокрушимый и незыблемый, от одного мановения внезапно рухнул, погребая под своими развалинами мечтания Зряхова: манифест императора упразднил Тайную канцелярию. Чиновники, кто побойчей и расторопнее, кинулись в ноги покровителям и разбежались, пристроились по другим канцеляриям. Зряхов остался. Службы более не было, но он приходил в присутствие и околачивался там, не зная, что делать и куда податься. В канцелярии осталось множество дел, кои в интересах державных нельзя было уничтожать, однако и без присмотра оставлять не приходилось. Высочайшего повеления, как с ними надлежит поступить, еще не последовало, и до поры Зряхова причислили к ним для наблюдения их сохранности и полной для празднолюбопытствующих недоступности.

Лучшего стража нельзя было найти. Он не доверял даже состарившемуся в должности служителю и ходил за ним до пятам, пока тот небрежно сметал неведомо откуда набирающуюся пыль и паутину. Потом Зряхов выпроваживал служителя в коридор и оставался один среди руин своего несбывшегося величия. Иногда он снимал с полок какое-нибудь «Дело» и в любовной тоске перелистывал. Ах, какие замысловатые вавилоны выводили писцы в титлах, какой стремительной скорописью были испещрены листы серой шершавой бумаги!.. Буковка к буковке, слово к слову, строка к строке... Ну что такая строка? Засохший чернильный след на бумаге, невесомее паутины? А в той паутине увязали живые души, и держала та паутина запутавшиеся души прочнее кованых цепей, разила вернее пули, рубила страшнее топора, надежнее крепостных стен и башен охраняла власть.. Неужели не спохватятся, не поймут, что держава без того быть не может?!

Однако время шло, никто не спохватывался, держава продолжала быть, ничто не предвещало ее скоротечной погибели, и мало-помалу Зряхов впадал в тупое оцепенение. Он изверился и все отчетливее понимал, что возврат к прошлому возможен не более, чем если бы здесь, под нависшими каменными сводами, почернелыми от свечной копоти, среди забрызганных чернилами столов, где пахло пылью, мышами и неистребимой канцелярской кислятиной, внезапно появился ангел-спаситель... И потому Зряхов не вдруг поверил, когда ангел-спаситель появился. И оправдание Зряхова следует сказать, что на этот раз ангел прибыл не в сияющих белоснежных одеждах, какие полагается носить ангелам, а в лакейской ливрее, так как для данного случая он перевоплотился в придворного лакея Шкурина, которому нужно было спасать свою шкуру.

Смятенная душа Зряхова проделала головокружительные курбеты от удивления к недоверию, от недоверия к испугу, даже замораживающему кровь в жилах страху, пережила восторг лицезрения, а затем проникласъ и устремилась, затаив в самой глубине своей трепет предвкушения...

Забегая вперед, следует сказать, что предвкушения Зряхова сбылись. Двенадцать лет спустя он уже секретарь Тайной экспедиции, и Екатерина, рекомендуя его заслуги П. С. Потемкину, писала, что Зряхов «привык к делам под ее глазами в течение многих лет». Впоследствии по представлению графа П. С. Потемкина Зряхов в чине коллежского советника, и, значит, уже не солдатский сын, а дворянин, был назначен председателем Кавказской палаты гражданского суда. В послужной список его было вписано: «В походах и в делах против неприятеля хотя и не был, однако по высочайшей ея императорского величества воле находился во многих известных ея императорскому величеству комиссиях и посылках, составляющих переездов до 30 000 верст». Но это произойдет только в 1794 году, пока же...

Пока Зряхов сидел верхом на лошади, и это была очень неудобная лошадь. Кавалеристы сказали бы, что под ним обыкновенный, хорошо объезженный строевой конь, но Зряхов был не кавалеристом, а подканцеляристом, и это была первая в его жизни — и последняя! — лошадь, на которую он сел верхом. До сих пор ему слу-

чалось сидеть верхом только на скамье, да и то в детстве. Ему бы, конечно, не пришло в голову совершить столь неосмотрительный, даже опрометчивый поступок, если бы не подпоручик. Когда в ямской канцелярии выяснилось, что граф Сен-Жермен едет в собственной карете четверней, подпоручик присвистнул и сказал:

— Ну, видать, у него денег и куры не клюют. Небось ямщикам тоже сыплет без счету, так что те из кожи лезут. В ямской бричке его ничем не догнать. Придется вам, сударь, садиться на-конь.

В словах подпоручика был несомненный резон, Зряхова распирало рвение, горячечное нетерпение исполнить и оправдать, к тому же подумалось, если могут эти мужланы — солдаты, отчего бы не смог и он? Что за премудрость — сел да поехал...

Без помощи мужланов не обошлось. Зряхов так долго прыгал на одной ноге, пытаясь взобраться в седло, что всем надоело на него смотреть, тогда по кивку подпоручика один из драгунов спешился, ухватил Зряхова за вторую ногу, подбросил, и он плюхнулся в седло. Земля оказалась неприятно далеко внизу, а здесь, наверху, не было никакой опоры — нельзя же считать опорой сыромятный ремень повода или стремена, которые идут за ногой в любую сторону! Минуя ямские слободы и предместье, кони шли мелкой рысцой, было тряско и неуютно, но еще терпимо, однако за заставой подпоручик, а вслед за ним и все драгуны перешли на полную рысь. Зряхова начало бросать и подкидывать. Чтобы удержаться в седле, он изо всех сил натянул поводья, лошадь послушно остановилась. Остальные кони уходили вперед, лошадь Зряхова несколько раз нервно переступила, потом мотнула головой, вырывая повод, и с места распласталась в карьере. Зряхов судорожно вцепился в гриву и заболтался в седле. Стремена он упустил, и теперь, вместо того чтобы поддерживать, они больно колотили его по свесившимся ногам. Драгуны, увидев эту его скачку, зашлись от гогота.

Искусство верховой езды состоит вовсе не в том, чтобы «править» лошадью. Хорошо объезженная лошадь практически в этом не нуждается и понимает всадника, так сказать, с полуслова: к шпорам и хлысту прибегать приходится в случаях исключительных, обычно вполне достаточно легкого движения поводьями, шенкелей, а то и просто ласкового прикосновения ладонью к лошадиной шее. Искусство состоит в том, чтобы правильно сидеть на лошади. Покойно всадник сидит в седле только при езде шагом, на всех других аллюрах он находится в беспрестанном движении, то приподнимаясь в стременах, то опускаясь, и движения эти должны непременно совпадать с движениями самой лошади и ритмом бега. На бегу спина лошади то поднимается, то опускается, и как ни малозаметны эти колебания, всадник должен им следовать. У настоящего наездника такие движения становятся совершенно автоматическими, ему не приходится для этого прилагать усилий, и его тело как бы сливается с телом лошади. В результате лошадь меньше устает и может делать большие переходы. Если же на лошади оказывается человек, не умеющий ездить, он приподнимается в седле, только когда его подбрасывает, потом всей тяжестью падает обратно. От таких непрерывных ударов становится худо всаднику, а еще хуже лошади.

О лошади Зряхов не думал. Ему самому становилось нехорошо, и чем дальше, тем хуже. Сначала было просто больно от непрерывных ударов о седло, потом у основания ляжек появилась какая-то особая, режущая боль. Боль делалась все сильнее, стала невыносимо жгучей, будто сидел он не в обтянутом кожей седле, а на раскаленном рожне.

Лошадь Зряхова начала отставать, и подпоручик время от времени досадливо оглядывался. Штатская рохля торчала в седле, как собака на заборе. Что происходит сейчас со штатской рохлей, он прекрасно понимал, но ему нисколько не было его жалко. Зряхов ему сразу не понравился. Как и все это дело... Конечно, с полковником не поспоришь. Только для того, чтобы хватать и ловить, есть полиция. А если уж полиция не в силах, достаточно было послать с драгунами прапорщика, а не его, подпоручика. В крайности поручить самому подпоручику, а не ставить над ним штатскую рохлю. Сам он со своими драгунами в два счета догнал бы графа и представил в Петербург. Любопытно, что он натворил, тот граф? Пустоглазая канцелярская мымра молчит, важность на себя напускает...

В Коврове подпоручик остановился возле почтовой станции. Лицо Зряхова было бледным и потным, но подпоручик смотрел не на него, а на его взмыленную лошадь.

— Этак, сударь, недолго и коня испортить. Не умеете, лезать не надобно. Окромя прочего, так на похоронах ездят, а не в погоню...

Морщаясь от боли, Зряхов сполз с седла и ухватился за стремя, чтобы не упасть, — ноги стали чужими и не желали распрямляться.

— Прикажите заложить бричку. На лошади я не могу.

— Опять бричку? — почти закричал подпоручик. — Я вам сказывал, сударь, в бричке не догнать! Верхи скакать и то — догонишь ли?.. Коли вы не можете, отдайте приказ мне, мы сами поскачем.

— Вам, господин подпоручик, приказано выполнять мои указания. О ваших пререканиях я доложу, и с вас будет взыскано. А ежели по вашей нерасторопности тот злоумышленник не будет пойман и представлен, я вам тогда не позавидую, господин подпоручик!..

В тухлом голосе Зряхова прозвучали такая твердость и угроза, что подпоручик смутился. Черт его знает, может, и в самом деле какая важная птица?! Разве иначе стал бы полковник разговоры с ним разговаривать и отдавать под его начало своих драгун? Лучше не связываться...

В легкую двухместную бричку запрягли тройку. Зряхов взобрался в нее, но оказалось, что и там сидеть он не может. Бричку набили сеном, на нем Зряхов и расположился полусидя-полулежа. Лошади поскакали.

Безрессорная бричка, в сущности, двухколесная телега, скакать в ней сомнительное удовольствие и для здорового человека, для изувеченного Зряхова это была мука-мученская. Упираясь раскоряченными ногами в козлы, он обеими руками держался за края брички, но снизу его непрерывно толкало, подбрасывало, швыряло из стороны в сторону. Кроме всего, ужасно мешал пистолет. Заряженный пистолет он вытребовал для себя перед выездом из Санкт-Петербурга. На всякий случай... Мало ли что... И потом сказано: «Живого или мертвого...» Девать пистолет было некуда, держать все время в руках невозможно, он сунул его за пояс и прикрыл полой. Теперь длинный, тяжелый пистолет дулом долбал его в ногу, а рукояткой под ложечку, и Зряхов все время боялся, что он вдруг сам по себе выпалит и прострелит ему ногу или еще что-нибудь... Зряхов терпел и это. Он готов был стерпеть и еще худшее, что угодно. По сторонам он не смотрел, а спереди все заслоняли сменяющие друг друга зипуны ямщиков. Зряхов смотрел на эти зипуны, но их не видел — перед его взором разгоралась заря надежды, которую зажгла для него Фортуна...

Вышгородок — название обманчивое. Это не город, не городок и даже не местечко, а просто село, кое-как разбросанное вдоль тракта. Тракт пустынный, малоезженый ввиду близости польско-литовской границы. Курьеры и прочие люди казенной надобности, даже едучи в Польшу, предпочитали дорогу через Ригу — там дорога накатанная, мосты надежнее и станция получше. Здесь проезжающие были редки — только купцы да скупщики, иногда наверется приказной из уезда, а из губернии и того реже. Поэтому жизнь здесь протекала тихо, спокойно и как бы даже сонно, а достопримечательности отсутствовали вовсе. Курные избы в счет не шли, а самыми выдающимися сооружениями были убогая деревянная церковь, столь же убогий дом почтовой станции да корчма на южном выезде из села. При станции не было даже конюшни, ямскую повинность несли мужики, и лошадей нужно было собирать по селу. Весть о том, что барин платит за прогоны втрое — три копейки за версту вместо одной, — подействовала лучше набата, и белоголовые гонцы, мелькая пятками, разбежались с этой вестью по избам.

Граф почувствовал голод и решил перекусить. Оказалось, сделать это можно лишь в корчме.

— Только уж и не знаю, — сказал смотритель, — лучше туда не ходить. Там нехорошо-с.

— Чем нехорошо, плохо кормят?

— Не в том смысле. Кормят обыкновенно-с. Только остановился там один офицер. Поначалу все ничего, а потом не иначе как причинилось у него помешательство ума — начал палить.

— Что палить?

— Из пистолета-с. Засел в корчме и палит.

— Почему же его не обезоружили?

— Да ведь кому охота лоб подставлять? Туда, почитай, все село сбеглось, а близко подойти опасаются. Народ так полагает, как у него припас кончится, тут его и того-с... а раньше навряд чтобы.

Сен-Жермен приказал слуге подать карету, как только лошади будут готовы, и, помахивая металлической тростью, направился к корчме. Подвешенный на шесте клок сена издалека указывал проезжим ее местонахождение. У расположенных поодаль изб группами стояли мужики и бабы, не сводили глаз с корчмы и прислушивались. Белоголовая ребятня пыталась подобраться к корчме поближе, но окрики старших понуждали ее возвращаться.

— Ой, не ходи, барин, устрелит! — крикнули графу из толпы.

Он кивнул в ответ и пошел дальше. Корчемный двор был пуст, только под открытым навесом две расседланные лошади хрупали овес да стая кур самозабвенно разгребала свежий навоз.

Сен-Жермен толкнул дверь, она оказалась незапертой, он шагнул через порог, и тотчас прогремел выстрел. Сквозь дым граф увидел, как сидящий у торца длинного стола молодой офицер, не глядя, бросил разряженный пистолет за спину, с привычной ловкостью его поймал рыжий слуга и принялся поспешно заряжать. Офицер взял лежащий наготове второй пистолет, но в этот момент увидел графа, просиял и отбросил пистолет.

— Наконец-то! — воскликнул он, вставая. — Наконец-то бог послал живую душу!..

— Не столько бог, сколько голод, — сказал Сен-Жермен. — Живых душ вокруг много, но вы открыли такую канонаду, что все боятся подойти. В кого вы стреляете, если не секрет?

— В тараканов. Расплодили их тут видимо-невидимо, даже вот днем бегают...

— И попадали? Вы так хорошо стреляете?

— А как же! Яшка, сколько раз я попал?

— Шешнадцать разов выпалили, семь раз угодили.

— Врешь, больше!

— Что ж, противник вполне достойный бравого воина, — сказал Сен-Жермен.

Офицер пристыженно порозовел, но не рассердился, а рассмеялся, отчего на щеках его обозначились почти детские ямочки — он был очень юн, храбрый истребитель тараканов.

— Оно, конечно, глупо, — сконфуженно сказал он. — Только ведь чего не придумаешь от скуки! Битых два часа здесь торчу, слова не с кем сказать. К тому же я эту нечисть с детства не терплю...

— Вы бы предупредили, а то вас сочли умалишенным. Могли оглушить, даже изувечить, чтобы обезоружить... Потом, здесь если не сойдешь с ума, то задохнуться вполне можно.

— Яшка, отвори дверь, пускай протянет! И где этот чертов корчмарь со своими цыплятами?

— Убежамши. Как вы начали палить, так все и убёгли...

— Что ж ты не сказал?

— Я сказывал, так вы разве слушаетесь...

— Поговори у меня! Пшел вон. Найди корчмаря и скажи, если через полчаса цыплята не будут зажарены, и не тараканов, я ему всех кур перестреляю!..

Рыжий слуга положил на стол заряженный пистолет и вышел.

— Все-таки вы, я вижу, жаждете крови. Хотя бы куриной,— улыбнулся Сен-Жермен.— Впрочем, сейчас и я тоже — выехал не позавтракав и проголодался основательно.

— Превосходно! — обрадовался офицер. — Окажете, сударь, честь, ежели соблаговолите вместе... Однако позвольте представиться — корнет Ганыка.

Сен-Жермен назвал себя. Ганыка не то чтобы оробел, а несколько смутился — до сих пор графов он видел только издали.

— Рад... счастливому случаю, ваше сиятельство... Польщен знакомством...

— Я тоже рад ему, но так как я французский, а не русский граф, вам можно обходиться без «сиятельства».

— Что ж мы стоим? Садитесь, ваше... господин граф.

Пододвигая скамью, он толкнул толстую трость графа, которую тот прислонил к столу, с глухим стуком трость упала. Ганыка нагнулся за ней.

— Да в ней же пуд весу! — изумленно сказал он. — И охота вам таскать такую тяжесть?

— Полезно для упражнения рук, — улыбнулся граф, — и... на всякий дорожный случай.

— Да, ежели таким «случаем» шарахнуть — медведю можно лоб раскроить... Однако не сочтите за дерзость, граф, ну мы — как мы, а вам-то что за нужда была забираться в нашу дичь? Если, конечно, не секрет...

— Секрета нет — еду из Санкт-Петербурга в Польшу. А вы проживаете в этих местах?

— Слава богу, нет. Служу в Санкт-Петербурге. Родитель мой, царство ему небесное, мальчишкой меня отправил в корпус. А родом отсюда. Мулдово. Слыхали такой звук? И никто не слыхал. Под самой литовской границей. Туда, говорят, даже татарва во время ига не доходила. Лес да болота. Как моего родителя угораздило туда забраться?

— У вас там имение?

— Еще какое! — засмеялся Ганыка. — Три двора, два кола да фамильный герб... Вся вотчина с гулькин нос. От нее больше хлопот было, чем доходу. Слава богу, сбыл с рук, теперь — вольная птица, куда хочу, туда лечу...

— А служба?

— Это уж как полагается — слуга царю и отечеству... Что же проклятый корчмарь, будут когда-нибудь цыплята или нет? — Ганыка подошел к открытой двери и вдруг присвистнул. — Посмотрите, господин граф, нашего полку прибывает — целый отряд кавалерии скачет. Видать, изрядно у них глотки пересохли... Ну, сейчас будет великое шумство! — сказал он, потирая руки, и вернулся на место. — Русское воинство кабаки завсегда штурмом берет. Уж они эту корчму растрясут...

Во дворе послышался и затих топот копыт, лязг оружия.

В корчму поспешно вошел подпоручик, вслед за ним протиснулись пять драгунов.

— Прошу прощения, господа, — сказал подпоручик, прикладывая два пальца к треуголке, — кто из вас будет граф Сен-Жермен?

— Это я, — сказал граф.

— В таком случае прошу вас следовать за мной.

— Зачем?

— Я имею приказание арестовать человека, именующего себя графом Сен-Жерменом, и препроводить в Санкт-Петербург.

— О, я очень рад! — улыбнулся Сен-Жермен.

Подпоручик опешил, корнет от крайнего изумления даже приоткрыл рот.

— Я очень рад тому, — продолжал граф, — что моя мимолетная просьба столь быстро возымела действие. Накануне отъезда я был принят ее величеством императрицей и в разговоре помянул о том, что в Санкт-Петербурге появился шулер и мошенник, который нагло присвоил себе мое имя, всячески шарлатанствует, показывает какие-то фокусы, словом, обманывает доверчивых людей и выманивает у них деньги. Я просил императрицу оградить мое доброе имя, приказать, чтобы того мошенника изловили и примерно наказали. Вот почему вы и получили такой приказ. Признаться, я не ожидал, что это произойдет столь быстро. Но вы... в каком вы чине?

— Подпоручик невского полка.

— Вы неправильно поняли приказ, подпоручик. Вам приказали изловить человека, именующего себя графом Сен-Жерменом, а я себя не именую, я и есть граф Сен-Жермен. Или вы в этом сомневаетесь?

— Господи! — сказал Ганыка. — Да это за версту видать...

— Подождите, корнет!.. Как вы полагаете, подпоручик, если бы мне нужно было скрыться, я бы заранее объявил день своего отъезда, согласно принятому у вас порядку? Я бы избрал самую дурную дорогу, по которой нельзя было ехать. Я бы ехал на перекладных от станции к станции, всюду предъявлял подорожную и тем самым указывал путь своим преследователям?..

— Но позвольте, господин граф...

— Не позволю! Со своими обывателями вы можете проделывать что угодно, но я подданный его величества короля Франции и нахожусь под его эгидой. Разве я в чем-то преступил законы Российской империи? Я приехал в Россию гласно и так же гласно покидаю ее. Вот вид на въезд, выданный русским послом в Париже. В Петербурге я проживал на Вознесенском проспекте с ведома и позволения генерал-полицеймейстера барона Корфа. Вот подорожная на выезд в Польшу, выданная генерал-губернаторской канцелярией. Вот, наконец, распоряжение главноприсутствующего ямской канцелярии Лариона Овцына, предписывающее всем станционным смотрителям, дабы оказывали мне всяческое содействие и помощь. И у вас есть приказ, отменяющий все это и предписывающий м е н я арестовать? Предъявите его!

— Приказ не у меня, господин граф... Где тот чертов крючок?.. — оглянулся подпоручик.

— Батюшки! — несмотря на драматизм сцены, Ганыка поперхнулся от смеха. — Это что за чучела такая?

В словесной перепалке никто не заметил, как бричка въехала в корчемный двор. Кряхтя и ойкая, Зряхов выкарабкался из нее, добрел до корчмы и появился в дверях. Полусогнутый, раскоряченный, весь в сенной трухе, он был нелеп, смешон и страшен. На искаженном страданием лице горел лихорадочный румянец. Он переводил взгляд с графа на корнета, с корнета на графа.

— Который? — хрипло спросил он.

— Вот граф Сен-Жермен, — сказал подпоручик. — Извольте, сударь, предъявить приказ.

— Приказ тут! — Зряхов ткнул себя пальцем в висок. — Взять его!

— Что это значит, господин подпоручик? — сказал граф. — Кто этот человек? Вы ему подчиняетесь?!

— Да что вы его слушаете?! — закричал Зряхов. — Он заговорит, заморочит вас... Хватайте, вяжите его!

Он выдернул из-за пояса пистолет и навел на графа. Грянул выстрел. Зряхов изумленно открыл глаза, издал

странный звук, будто подавился, и мешком осунулся на пол.

— Зачем вы?! — досадливо обернулся граф к Ганыке.

— Да ведь он мог дуром выпалить, убить вас! Вы же видели, он пистолет, как ухват, держал...

— Как вы посмели стрелять?! — вскричал подпоручик. — Кто вы такой?

— Корнет ямбургского полка Ганыка.

— Вы за это ответите! Я вас арестую!

— Не беспокойтесь, господин подпоручик, брыкнулся он от страха, я знаю, куда попал. Извольте поглядеть — видите того таракана на стене?..

Ганыка взял со стола второй пистолет и выстрелил. Огромный черный таракан утратил половину тела, остаток шлепнулся на лавку.

— В тараканов вы стреляете прекрасно, однако зачем было стрелять в человека? — сказал Сен-Жермен.

— Помилуйте, какой же это человек? По роже видно, что прохвост!

Один из драгунов переворотил Зряхова на спину. Лицо его было синюшно-бледным, на правом рукаве выше локтя расползалось темное пятно.

— Живой, — сказал драгун. — Дышит.

— Вздор, царапина! — сказал Ганыка. — Окатите его водой, очухается.

Драгун взял стоявшую на лавке бадейку с водой, плеснул Зряхову в лицо, тот не пошевелился. Его подняли, усадили на лавку у стены, но бесчувственное тело начало клониться вниз, и одному из драгунов пришлось его придерживать.

— Надо перевязать рану, — сказал Сен-Жермен. — Кто этот нелепый человек? — снова спросил он.

Подпоручик был смущен и растерян.

— Да... кто ж его знает? Подорожная его у меня. Там только сказано — «чиновник Зряхов следует по казенной надобности».

— И это все? Поэтому он вами командует?

— Что вы, господин граф! Мне полковник приказал выполнять его распоряжения.

— В таком случае, быть может, его бумаги где-нибудь спрятаны?

— Обыскать его! — приказал подпоручик.

Никаких бумаг не оказалось. Зряхов застонал и открыл глаза. Сен-Жермен шагнул к нему. Увидев, что граф

приближается, Зряхов изо всех сил прижался спиной к стене и зажмурился.

— Я не собираюсь вас убивать, — сказал Сен-Жермен, — откройте глаза! Кто вы такой?

— Зряхов... — пролепетал тот. — Зряхов я... Из Тайной канцелярии...

— Вы лжете! Никакой Тайной канцелярии нет, ее упразднили еще в феврале!.. Вы видите, подпоручик? Это какой-то проходимец и самозванец, а вы ему повинуетесь.

Подпоручик уже не только пылал, он взмок от растерянности и стыда. Значит, предчувствие его не обмануло — Зряхов с первого взгляда вызвал у него подозрение и недоверие, а все дело показалось сомнительным...

— Подпоручик, вы ответите за неисполнение... — проговорил Зряхов. — Я действую по повелению!..

— Чьему повелению? — подхватил Сен-Жермен. — Канцлера? Сената? Или, может, самой императрицы?

Зряхов с ненавистью смотрел на графа и молчал — сказать он не смел. Приказано было держать язык за зубами.

— Вот видите, — обернулся Сен-Жермен к подпоручику. — Ответить ему нечего! Не знаю, каким образом ему удалось обмануть вашего полковника, должно быть, это очень ловкой мошенник... Ба! Да уж не тот ли это авантюрист, который именовал себя графом Сен-Жерменом и коего поручено вам изловить? Когда тебя преследуют, лучше всего обрядиться в шкуру преследователя...

— Святая правда! — воскликнул Ганыка. — Когда за вором бегут, умный вор тоже кричит «держи вора!», а потом — шмыг в сторону, и ищи-свищи...

— Вполне возможно. Отсюда до границы всего несколько перегонов, тут бы он и исчез, только, к его несчастью, вы нагнали меня...

— На границе кордон, — сказал подпоручик.

— Ну, кордон! Кордон на дороге, для блезиру только, — засмеялся Ганыка. — А так чуть не деревнями друг к другу на храмовые праздники ходят. Те — сюда, наши — туда. А ежели ярмарка хоть там, хоть здесь — валом валят... Уж я-то знаю, меня самого мальцом в Ревеле на ярмарку возили...

— Как же теперь быть? — сказал подпоручик. — Что с ним делать?

— Я не могу давать вам советы, — сказал граф. — Но, думается мне, здесь вам личность этого негодяя установить не удастся. В Петербурге же вы сможете это сде-

лать без затруднений. Там, конечно, найдутся свидетели и жертвы его подвигов.

— Вы поплатитесь!.. Я доложу! Вы за все ответите!.. — из последних сил проговорил Зряхов.

— Молчать! — взорвался подпоручик. — А ну, сволоките его в бричку да заткните ему пасть, чтобы я больше не слышал его вяканья... И — на-конь!

Драгуны подхватили Зряхова под руки и вывели во двор.

— А вы не хотите с нами позавтракать? — спросил Сен-Жермен.

Меньше всего подпоручику хотелось оставаться долее со свидетелями его конфуза.

— Благодарствуйте! Вернемся в Остров, там дневку сделаем. А то кони притомились, да и людям роздых нужен... Честь имею!

Сен-Жермен и Ганыка вышли за ними во двор.

Окруженная драгунами бричка тарахтела по тракту на север.

6

— Занятная произошла катавасия, — улыбаясь, сказал Ганыка. — Однако кончилась, и слава богу.

Здесь, при солнечном свете, еще очевиднее стала беззащитная открытость его юности, почти детская округлость щек, еле тронутых первым пушком.

— Нет, дорогой юноша, она не кончилась... Не хотите ли немного пройтись?

— С полным удовольствием, господин граф.

Ганыка был в совершенном восхищении от графа и готов исполнить его любое желание. Они вышли на голый пустырь за корчмой, и, когда удалились достаточно, чтобы их не могли услышать, граф остановился.

— Вы поступили благородно, корнет, и я благодарю вас. Но вы поступили неосмотрительно. Рискованно бросаться на помощь, не зная, кому помогаешь.

— Помогают не имени, помогают человеку в беде.

— Прекрасно сказано! Можно подумать, что вы француз.

— Разве только французы способны на благородные поступки? Полагаю, русские способны к ним не менее.

— Вы доказали это. Однако я имел в виду не поступок, а склонность к звонкой фразе... Оставим фразы. Я благодарен вам за ваш безоглядный порыв, хотя он вызвал у меня досаду и огорчение. Не потому, что мне

жаль заведомого негодяя. Его вы легко ранили, но этим же выстрелом наповал сразили свою судьбу.

— Почему? Каким образом?

— Для того, чтобы вы поняли это и всю серьезность моего предостережения, я чувствую себя обязанным рассказать вам правду. Ваш благородный порыв и поступок вовлекли вас в борьбу с силами, которым вы противостоять не можете.

— Я никого не боюсь! — вспыхнул Ганыка.

— Речь идет не о храбрости, о силе. С землетрясением не сражаются, от него бегут. Силы, которые обратятся против вас, настолько могущественны, а вы... простите, я не хочу вас обидеть...

— Да нет, помилуйте, я и сам понимаю... Что такое корнет Ганыка? Чижик!

— Что значит чижик?

— Маленькая пичуга такая...

— Да... Впрочем, даже если бы вы были орлом... Дело в том, что подпоручик и его драгуны были посланы, чтобы любой ценой задержать именно меня, а не кого-то другого.

Ганыка настороженно вскинулся.

— Нет, нет, я не враг вашего отечества, не совершил никакого преступления, а просто вызвал к себе личную ненависть императрицы. Я действительно был ею принят в ночь перед отъездом, не сумел сдержать своих чувств — как видите, это случается не только с юношами вроде вас — и сказал все, что думаю о ней и убийстве императора...

— Как убийство?! В манифесте сказано...

— Манифест лжет от первого до последнего слова. Это было предумышленное, расчетливо подготовленное убийство. Я понимал, что императрица не простит мне сказанного, боится, что я обличу ее в глазах светского общества Франции, даже Европы, и приложит все силы, чтобы отомстить и обезвредить меня. Даже уничтожить под благовидным предлогом. Поэтому я был готов к появлению драгун или чего-либо подобного. Но тут вмешались вы...

— Однако же все кончилось благополучно!

— Для меня. Через несколько часов я пересеку границу и стану недосягаем. Недалекого подпоручика, вероятно, покарают, но не слишком, так как его неудача будет объяснена моим коварством. Ранение Зряхова окажется как нельзя более полезным ему — он рисковал

жизнью и пострадал, исполняя высочайшее повеление. Такое усердие не забывается, он, конечно, будет возна гражден... Их судьба меня мало беспокоит. Важно, что они остались в дураках, приказ императрицы не выполнен. Это вызовет бешенство. Направленное на меня и удвоенное моим исчезновением, оно обратится против вас.

— Но ведь я ничего не знал! Оказался случайно, вот и... Я расскажу... Объясню...

— Милый юноша, кто вас станет слушать и кто вам поверит? Они застали вас рядом со мной. Как только агент императрицы направил на меня пистолет, вы его подстрелили... Я не сомневаюсь, что он был послан самой императрицей и только не посмел в том признаться. Вы говорили мало, но все, что вы сказали, было в мою защиту и против этого человека. Я не знаю, когда прозреет подпоручик. Может быть, он довезет связанного Зряхова до Петербурга, может быть, спохватится в Острове. Рано или поздно они ринутся обратно и, не застав меня, вымещят все на вас.

— Дудки! — сказал Ганыка. — Я сбегу. Тотчас прикажу седлать и кружным путем, помимо тракту, к себе в полк...

— Там вас и арестуют. Ведь вы представились подпоручику. А если бы и не представились? Вы думаете, потребуется много труда установить, кто вы и куда поехали? Вам нужно есть, пить, где-то отдыхать, значит, вас увидят, запомнят, следовательно, укажут путь преследователям.

— Как же быть?

Веселое оживление покинуло Ганыку, он был угнетен и растерян.

— Бежать, только бежать туда, где вас не смогут преследовать.

— А в самом деле! Россия-матушка велика, пускай попытаются сыскать!..

— Россия громадна, — вздохнул Сен-Жермен, — и, конечно, можно забраться куда-нибудь в глушь, на окраину. Но что вы будете там делать? Чтобы вас не нашли и там, вам придется перестать быть самим собой — отказаться от своего имени, от своего прошлого, от своего положения... Не можете же вы превратиться в землепашца или в одного из нищих, толпы которых окружают ваши церкви?!

— Я — дворянин!

— Вот именно! Чтобы остаться самим собой, у вас есть только один выход — бежать за границу.

— Покинуть Россию?!

— Не обязательно навсегда. Все меняется, монархи не вечны, а вы так молоды... И вы еще вернетесь в свою Россию.

— А там-то что я буду делать?

— Я чувствую себя обязанным вам и постараюсь помочь.

Ганыка молчал. Он смотрел на тихо сияющую под солнцем Ладу, оловянный тальник по ее берегам, на веселую зелень березовых перелесков, уходящую вдаль синеватую дымку ельников. Ему вспомнилось Мулдово, которое он столько раз проклинал и дал себе слово никогда более не посещать и которое теперь вдруг стало неописуемо дорого, лица друзей, шумный говор и смех полковых слобод, звонкий цокот копыт на марше, хмурое величие Невы, колдовские чары белых ночей, сверкание шпилей и куполов. Все это стремительно отдалялось, уходило в синеватую дымку. Ему стало трудно дышать, губы его задрожали, перед глазами все сдвинулось и поплыло...

— Мужайтесь! — сказал Сен-Жермен. — У вас благородное сердце, а благородным сердцам необходимо мужество — на их долю выпадают самые тяжкие испытания.

— Видно, судьба, — сказал Ганыка, все так же отворотясь от графа, чтобы тот не видел его слез. — Видно, не зря предок мой избрал гербом своим сердце, пронзенное мечами...

— Решайте, юноша, времени на долгие раздумья нет. Моя карета уже подана.

Ганыка повернулся и, не поднимая головы, пошел следом за графом. У двери корчмы стоял ухмыляющийся рыжий слуга.

— Готовы цыплята-с, с пылу, с жару...

— К черту! — закричал Ганыка. — Выбрось к черту своих цыплят! Седлай немедля!..

Яшка хотел было возразить, но, увидев взбешенное лицо барина, метнулся к лошадям.

Через несколько минут карета графа отъехала от корчмы, рядом с нею покачивался в седле Ганыка. Яшка замешкался. Он было вдел ногу в стремя, но передумал и вернулся в корчму. Сняв со стены хозяйской ручник, Яшка разорвал его пополам и сгреб с глиняного блюда жареных цыплят.

— Выбросить недолго, — приговаривал он, оборачивая цыплят ручником. — А потом где взять? Эт-те не грибы, в лесу не соберешь.

Засунув цыплят в торока, он сел в седло и поскакал вслед за Ганыкой.

Границу миновали беспрепятственно. Словесные или золотые доводы пускал в ход Сен-Жермен, Ганыка не знал. Его самого ни о чем не спрашивали.

— Итак, — сказал граф, — теперь вы в относительной безопасности. Однако чем дальше от границы, тем лучше. Вы сами говорили, что ее ничего не стоит перейти, а у Петербурга длинные руки.

Ганыка молча кивнул. Горестное смятение его перешло в апатию. Он покорился своей участи и с полным безразличием относился ко всем перипетиям путешествия. Граф понимал его состояние и не пытался ни отвлечь, ни утешить. Только однажды Ганыка спросил:

— Куда мы едем?

— К князю Карлу Радзивиллу. Он еще молод, но уже стал или скоро станет виленским воеводой. Оттуда я поеду в Варшаву, затем во Францию.

— И мне с вами?

— Во Франции я более всего могу вам помочь

— А нельзя, чтобы... не так далеко от России? — с тоской спросил Ганыка и отвернулся.

Сен-Жермен промолчал.

— Вот и Несвеж, столица некоронованного короля Литвы, — сказал Сен-Жермен.

Полог леса раздвинулся, открывая город. После бесчисленного множества деревушек и местечек, которые они миновали, разнившихся друг от друга только количеством хлопских изб под соломенными крышами да размерами фольварков шляхтичей, он был похож на сказку. Правда, сказку обрамляли убогие халупы, а то и вросшие в землю мазанки, но это нисколько не умаляло сказочности, ибо, как известно, дворцы без хижин существовать не могут. Зато как вздымались над лачугами каменные дома, как неугасимо пламенели черепицей крутые скаты крыш, как слепили белизной стены монастырей и как устремлялись в небо стройные громады костелов! Как лихо гарцевали встречные всадники, как горделиво подкручивали свои усы, усики или усища, как величаво опирались на эфесы слегка изогнутых сабель! Замок князя скрывался

за крепостными стенами. В амбразурах чернели жерла пушек, снизу стояла черная с прозеленью вода охранного рва. К въездной браме — воротам — вели деревянные мостки. Над брамою герб: увенчанный княжеской короной орел, на груди орла щит с тремя золотыми трубами.

Осведомительная служба князя Радзивилла была хорошо поставлена — их уже ждали. Ворота как бы сами собой распахнулись перед каретой, стоящий на крыльце мажордом поклонился, сделал рукой приглашающий жест и пошел вперед, указывая дорогу.

Рослый молодой мужчина с налитым лицом и глазами навыкате обрадованно просиял, увидев графа.

— Нех бендзе похвалены Езус Христус![1] — сказал Сен-Жермен.

— Амен! — воскликнул Радзивилл и приветственно распахнул руки, как для объятия. — Пане-коханку! Безмерно рад снова видеть пана графа! Каким счастливым ветром занесло мосци пана в наши края?

— Я тоже рад встрече, — сказал Сен-Жермен. — А что касается ветра, то ветер скитаний всегда дует в мои паруса...

— Откуда же вы?

— Из Петербурга.

— О, значит, привезли верные вести! А то у нас всякое плетут, не знаешь, чему и верить... То правда, что москали раскалили вертел и засунули своему монарху в то место, в какое вставляют каплуну, чтобы его жарить, отчего император скоропостижно и помер?

— Нелепая выдумка! Он был просто задушен... Я все вам расскажу, князь, только прежде позвольте представить вам моего молодого друга. Корнет Ганыка, даже не зная меня, когда я подвергся нападению, не задумываясь о последствиях, бросился на мою защиту. В результате ему пришлось покинуть свое отечество, и я прошу вас оказать ему покровительство.

— Прекрасно, молодой человек! — сказал Радзивилл. — Рыцарственность и отвага есть первые добродетели шляхтича. — Он повернулся к Сен-Жермену: — Друг мосци пана — мой друг. А кроме того, надо помнить и про Вижунаса... А? — Он лукаво прищурил левый глаз и засмеялся. — Поговорим об этом завтра... Пан Доманский, — сказал Радзивилл молодцеватому шляхтичу, стоявшему у двери, — отведи пана корнета в комнату,

[1] Слава Иисусу Христу! *(польск.)*.

какую майордом укажет, и позаботься, чтобы ни в чем недостатка не было.

— Располагайся, пан, — сказал Доманский, введя его в покой, окно которого выходило в парк. — Если что понадобится, хлопни вот так в ладоши, появится лакей и все сделает.

Лакей появился, Доманский приказал ему приготовить гостю умывание и подать ужин.

— А кто, — спросил Ганыка, — кто этот Вижунас?

— Дракон.

Ганыка оторопело сморгнул, Доманский засмеялся.

— Видишь, пан корнет, у нас на Литве люди так считают, что, когда умрет человек, душа его должна явиться на божий суд. А чтобы предстать на этот суд, душе нужно вскарабкаться на высокую-высокую гору Анафиелас, да не налегке, а тащить на себе весь груз своего богатства, какое у него было. Если богач был добрым и помогал другим людям, то души этих людей помогают ему тащить его богатство на Анафиелас. А кто же станет помогать злому и скупому богачу, если сам он никому не помогал? Вот ему на гору никак и не взобраться... Тогда Вижунас отнимает у злой души все богатства и ветры уносят ее в ад.

— Как же так? — сказал Ганыка. — Разве князь не христианин? Ведь он верит в Иисуса Христа! И в дракона тоже? Это же язычество!

Доманский, явно подражая своему князю, лукаво прищурился.

— Так, пане добродею, окончательно ведь ничего не известно! Оттуда еще никто не возвращался, чтобы рассказать, как оно там на самом деле... Ну, а если Вижунаса и нет, так людям же помогать надо! Выходит, про Вижунаса помнить полезно, и что за беда, если он — языческий?..

На следующий день Ганыка с утра сидел у окна и смотрел на павлинов, разгуливающих по лужайке перед дворцом. Время от времени самец с треском развертывал фантастический веер хвоста, горделиво охорашивался и издавал удивительно противные клики. Они наводили на корнета тоску. Доманский предложил погулять по парку. Ганыка отказался — он ждал, когда его позовут. Сен-Жермен пришел к нему сам.

— Мне пора уезжать, поэтому займемся вашими делами. Вы решительно не хотите ехать во Францию?

— Если можно — нет.

— Пусть будет так. Деньги у вас есть?

— Вот все, что осталось от продажи Мулдова.

Ганыка высыпал из кошелька несколько десятков золотых монет и серебряную мелочь.

— Не слишком. В таком случае...

Граф отвинтил рукоятку своей трости, перевернул трость над столом.

Из нее высыпались золотые монеты, образовав небольшую горку.

— Вот видите, и произошел дорожный случай, о котором я упоминал, —улыбнулся граф. — Здесь сто пятьдесят луидоров, или три тысячи шестьсот ливров. Деньги небольшие, но пригодятся. К сожалению, больше наличных у меня нет.

— Я не могу, господин граф, — сказал Ганыка и покраснел. — Я беден, но...

— Не говорите глупостей, корнет! Это — дружеская услуга, а не подаяние или плата за помощь. Когда сможете, вернете. Разве вы сами не отдали бы другу все, что имеете, если бы тот оказался в беде?

Ганыка подумал и кивнул.

— Французские и русские золотые монеты здесь не нужны. Казначей князя охотно обменяет их на польские злотые и, надеюсь, не слишком обсчитает вас. Теперь о главном. Я мог бы написать вам рекомендательные письма во Францию и своим друзьям в Санкт-Петербурге. Но письма легко потерять, а в России, пока на троне Екатерина, письмо с моей подписью может погубить вас и того, кому адресовано. Поэтому я дам вам нечто более надежное.

Сен-Жермен снял с пальца тускло поблескивающее кольцо и протянул Ганыке.

— Чудно̀, — сказал корнет, разглядывая кольцо. — Что тут вырезано? Вроде крестик в кружочке...

— Это не крестик в кружочке, а «колесо счастья». или «клир Фортуны», как называют его астрологи. Только не подумайте, что кольцо само по себе приносит счастье — таких вещей в мире нет... У этого кольца очень важное достоинство: его нельзя продать, поэтому никто не украдет, оно — железное.

— Зачем вам железное кольцо, когда вы можете...

— Могу. Но, как видите, других колец не ношу, а этим очень дорожу. Это не обычное железо, а небесное — оно не ржавеет.

— Как — небесное? — удивление Ганыки сменилось

недоверием. — Что же оно, с неба упало? Железо с неба не падает.

— Падает, дорогой юноша, падает! Вы, конечно, видели падающие звезды? Они сгорают, не долетев до Земли. Иногда долетают. Когда-то в Индии упала громадная глыба железа. Она лежала столетия, а может быть, тысячелетия и не ржавела. По приказу великого Чандрагупты из железа изготовили трехсаженную колонну и поставили в честь бога Вишну на горе, которая называется Стопа Вишну. Колонна существует уже тысячу триста лет и остается все такой же. Кольцо сделано из крохотного кусочка этого небесного железа. Для вас все это не имеет значения, важно только одно: кольцо — условный знак. Если вы окажетесь во Франции, оно откроет вам безоговорочный доступ ко мне. Когда снова попадете в Петербург, покажете его Елагину, Ивану Елагину. Он вернулся из ссылки и быстро входит в силу. Елагин и его друзья окажут вам любую помощь, какая потребуется. Запомните имя — Иван Елагин. Когда-нибудь вы возвратите мне кольцо, и я смогу вас лучше отблагодарить. А теперь пойдемте к князю...

— Так что с паном делать, пане-коханку? — сказал Радзивилл, накрутил на палец клок чуприны и задумчиво подергал его. — А вот что мы сделаем: раз пан есть вояка, то пусть пан вступает в мою гусарию. Как-нибудь у меня десять тысяч сабель. Выбирай, пан, любую хоругвь.

— Нет, — сказал Ганыка, — благодарю ваше сиятельство, но этого я не могу.

— Почему?

— Мало ли... Случись война, я против русских воевать не стану, я присягу давал.

— Присягу пан давал императрице, пане-коханку, а теперь сбежал и от императрицы, и от присяги.

Ганыка побледнел.

— Я присягал не только императрице! Цари меняются, вера и отечество остаются!

— Похвально, похвально, что пан такой патриот!.. Тогда оставайся просто при моем дворе, найдем пану какое-нибудь занятие...

— Это не годится, князь, — сказал Сен-Жермен. — Не знаю, есть ли у вас свои соглядатаи в России...

— А мне зачем? Пускай за мной москали подглядывают, если им нужно.

— Не сомневаюсь, что они подглядывают. И конечно, узнают, как появился при вашем дворе наш юноша. Это

может ему очень повредить, когда он вернется в Россию.

— Вернусь ли?

— Если пан-граф говорит, значит, так и будет! — сказал Радзивилл. — Он все знает наперед. Неизвестно, кто пану-графу служит — бог или черт, — но все его предсказания сбываются. Если б я мог удержать пана-графа при себе как астролога, я бы правил миром. Беда только, что пана нельзя удержать — пан проходит и через каменные стены...

— Вы сильно преувеличиваете, князь, — сказал Сен-Жермен, — но удержать меня действительно нельзя, когда я этого не хочу... Однако вернемся к нашему юноше.

— Если нужно его просто спрятать, то у нас на Литве есть такие углы, где, по-моему, кроме упырей и вурдалаков, никто и не живет...

— Это уже слишком, — сказал Сен-Жермен. — Наверное, найдутся и не столь глухие. Все-таки мой юный друг привык к просторам...

— Э, пане-коханку, просторна только родина, а чужбина, как ни велика, а все пришлому тесна... Так что же с ним делать?

Князь снова ухватил клок чуприны и, раздумывая, подергивал его.

— А что, если на Волынь? — сказал Доманский, который сидел на своем обычном месте, возле двери. — Хорунжий Харкевич жаловался, там после какого-то родича его жены фольварк остался без присмотра, а ему самому никак не выбраться... Вот и послать туда пана корнета, пускай присмотрит за хозяйством.

— Светне! — воскликнул Радзивилл. — И воевать не надо, и не будет пан без дела околачиваться.

— А где это?

— Где-то под Житомиром, — сказал Доманский. — Там и до Киева близко, миль двадцать с гаком. По вашему счету, верст сто пятьдесят...

— Так что при случае, — подхватил князь, — сможет пан ездить в гости до своих москалей... А? — Ганыка просиял. — Объявим для порядка пана, ну... скажем, внучатым племянником пани хорунжевой — святая церковь нам простит! — выправим подходящие бумаги, обрядим, как заправского шляхтича, дадим добрых коней и — гайда!.. Пан доволен, пане-коханку? — повернулся князь к Сен-Жермену.

— Важно, доволен ли наш корнет? — сказал тот.

Ганыка обрадованно закивал.

— Пусть бог вам заплатит! — растроганно сказал он.

Радзивилл, прищурив левый глаз, усмешливо посмотрел на него.

— Бог платит, только не каждую субботу... Кто знает? Еще, может, и я к пану за помощью прибегу! — сказал он и засмеялся, довольный своей шуткой.

Битого тракта из Литвы на Волынь не было, да, в сущности, и вовсе не было дорог, если не считать не во всякую погоду преодолимые проселки. Леса сменялись болотами, болота лесами, а то и прихотливо перемешивались между собой, особенно когда пришлось перебираться через Припять и ее бесчисленные притоки. Только от Коростеня стало повыше и посуше. Ганыка и его слуга миновали Житомир, когда в Петербурге уже хлестали дожди, а здесь был разгар бабьего лета и по воздуху плыли белесые нити паутины.

За полдень они подъехали к Соколу. Еле езженный проселок все время шел на подъем, и, достигнув вершины, Ганыка остановил коня. По сторонам дороги высились могучие стволы дубравы. Она ниспадала вниз по изволоку, и отсюда, с вершины, была видна узкая пойма Сокола, разбросанные у берега несколько хат под бурыми соломенными крышами, а за рекой вздымалась стена грабового леса. С запада наплывала грозовая туча. Хутор еще был освещен солнцем, но лес уже накрыла густая тень, он был непроницаемо черен и жуток. За ним, где-то поблизости, находились Семигорье и фольварк пани хорунжевой.

Прогремел гром. Он прогремел замедленно и тяжко, будто там, за черной синевой, рухнуло и укладывалось что-то огромное, громоздкое, не уложилось сразу и потом, рокоча и погромыхивая, долго и медленно доукладывалось.

Ганыка с тоской смотрел на мрачную стену леса, на разбросанные внизу жалкие лачуги. Ему подумалось, что вот так и его судьба — все в ней было ясно и радостно, как солнечный день, потом все рухнуло, и совершенно неизвестно, как сложится дальше, да и сложится ли?.. Был Петербург, свой полк, родная речь, родная земля, и вдруг не стало ничего, кроме никчемного железного кольца, этой дичи и глуши в чужом краю, среди чужих людей...

Ганыка не мог знать, что через некоторое время он купит лежащий внизу безымянный хутор и его станут называть Ганыкин хутор, а потом хутор превратится в село Ганыши...

Рыжий Яшка думал не об отдаленном будущем, а о самом ближайшем. Он с опаской поглядывал на тучу, которая уже вздыбилась над поймой Сокола.

— Ох и хлобыстнет счас! Нитки сухой не останется.

Ганыка вздохнул, тронул коня и начал спускаться в свое будущее.

часть пятая

Кому повем печаль мою,
Кого призову к рыданию?

ПЛАЧ ИОСИФА

1

Капитан Егорченко не был человеком злым или мстительным, и хотя свой приказ сопроводил неуставным замечанием, руководствовался он соображениями и мотивами вполне деловыми. Во-первых, лейтенанту Щербатюку нужно было уезжать на зачетную сессию, а возможные и пока не выявленные жулики и преступники его участка оставались на месте и, чтобы им не стало слишком привольно, кто-то должен Щербатюка заменить. Во-вторых, дополнительная нагрузка полезна лейтенанту Кологойде в воспитательных целях — чтобы неповадно было выдумывать «рòманы», от которых в деле охраны общественного порядка ничего, кроме вреда, быть не может. Однако «воспитательные меры в части Кологойды» капитану внезапно пришлось отложить.

Щербатюк не выспался, до этого казался еще более рыхлотелым и, вяло бубня, вводил Кологойду «в курс», то есть рассказывал о своем участке, когда Кологойду вызвали к начальнику...

— Такое дело, лейтенант, — мрачно глядя в стол, сказал Егорченко. — Позвонили из Иванкова. Доставили им, понимаешь, одну старуху. Не ихнего района, поскольку путем опроса личность старухи не установлена.

— Значит, сама не признается?

На скулах Егорченки вздулись желваки.

— Милиционеру полагается не гадать, а проверять, лейтенант Кологойда! Вот езжай туда и проверь на месте. Может, та самая старуха, которая у тебя потерялась.

— А как участок Щербатюка?

Капитан поднял на него взгляд, и Вася Кологойда прочел в нем все, что Егорченке хотелось сказать, но устав не позволял произнести вслух.

— Понятно, — поспешно сказал Кологойда. — Разрешите исполнять?

— Исполняйте, — буркнул Егорченко.

Кологойда бросился к Онищенко. Его «ИЖ» с коляской давно уже снова стоял у входа в отделение, а сам старший лейтенант, насупив брови, старательно изучал новую длинную инструкцию, полученную из области.

— Слушай, старшой, одолжи своего «ИЖа»... Срочное дело!

— Не положено, — сказал Онищенко, не поднимая головы. — Перебьешься.

— Да что я у тебя, покататься прошу? — вспылил Кологойда. — Мне, понимаешь, преступника надо ловить, а ты бюрократизм разводишь...

Онищенко испытующе посмотрел на него, поколебался, но ключ протянул.

— Только без лихачества! А то я не посмотрю, что ты сам лейтенант.

— Учи ученого...

Кологойда выбежал из отделения, прыгнул в седло «ИЖа» и с таким громом пустил мотоцикл с места, что цепные псы во дворах зашлись в истерике. Взвизгнув покрышками, мотоцикл свернул за угол и вскоре запрыгал по разбитой булыге запущенного тракта, ведущего на север.

Смятение и страх стали неодолимы и погнали Лукьяниху в ночь. Милиции она тоже боялась. Боялась, что ее арестуют, посадят в тюрьму и будут держать за решеткой до самой смерти. Непременно до самой смерти. Однако пуще смерти и милиции она боялась, что ей помешают, она не поспеет отдать, а тогда не будет ей покоя ни на том, ни на этом свете...

И ведь так ладно все складывалось! На базаре управилась быстро и пошла к Василию Лукичу. Знакомство было давнее, а свели их покойники. После недолгих своих

скитаний Лукьяниха, тогда еще Таисья Лукьяновна, пожила какое-то время в Чугунове и приспособилась обихаживать больных и покойников. Верующих было еще много, над усопшим читали Псалтырь и звали для этого псаломщика Василия Лукича. Был он много моложе Лукьяновны, но так серьезен и степенен, что иначе, как Василием Лукичом, его не звали. Ему-то и отдала она на сохранение тот окаянный сверток — побоялась, что хозяйские ребятишки найдут и изорвут, а то и взрослые при всегдашнем сельском безбумажье изнахратят.

У Василия Лукича детей не было, а сам он был надежен, как никто другой. Правда, спустя некоторое время от веры он будто слегка отклонился, на самом деле просто оказался дальновиден и предусмотрителен. Приметив умаление веры и все большее от того оскудение церкви, Василий Лукич еще в двадцатые годы остригся под ежа, надел бумажный пиджачок и стал счетоводом. С тех пор над покойниками он больше не читал, исправно служил, а свободное время и душу отдавал садику и пчелкам. Лукьяновна изредка навещала бывшего псаломщика.

— Цело, цело твое сокровище, — усмешливо говорил Василий Лукич и поил ее чаем с душистым медом.

Пришло время, и Василий Лукич вышел на скудную, но честно заработанную пенсию и уже ничем, кроме сада и ульев, не занимался. Лукьяниха давно не была у него, увидев ее, Василий Лукич удивился и обрадовался.

— А, скрипишь еще, старая? Ну, пойдем тогда чай пить. Чай теперь не разбери-поймешь, а пчелы, они план перевыполнять не желают, и медок прежний, хороший медок...

— Я не чаевничать, а з а т е м пришла...

Василий Лукич удивился несказанно.

— Вона! Я думал, ты уж и забыла. Почто оно тебе?

— Надобно.

— Да зачем надобно-то? Грамоте ты не умеешь, а кабы и умела, все равно не поймешь ничего — слог там возвышенный, я и то не все понимаю. Однако когда-никогда почитываю. Назидательная штукенция!.. А тебе куда она? В хозяйственную надобность не годится — бумага крохкая, тленом тронутая...

— Нет уж, ты, батюшка, отдай! Ты, чай, перед Спасом крестился!..

— То я помню... Скажи сначала, что с ним делать будешь?

— Это не мое, бариново, — помявшись, сказала Лукьяниха. — Ему и отдам.

— Умом тронулась старая! — Василий Лукич посмотрел на нее поверх очков. — Он к тебе с того света явился или как?

Лукьяниха пожевала губами и не ответила.

Сверток в ветхой холстинке был тот самый, даже холстинка та же. Она завернула его еще в одну тряпицу и прижала к левому боку. Почему-то вскоре бок этот начало жечь огнем, будто прижимала она не угловатый сверток в тряпице, а горшок с геенскими углями, и нестерпимый жар их проникал до самого сердца. Прежде она старалась даже не прикасаться к нему, а если уж случалось прикоснуться, долго потом молилась и прыскала на руки освященной водицей — бутылочка такой воды всегда стояла у нее от иордани до иордáни, и облегчение почувствовала, только когда отдала на храпение Василию Лукичу.

А на колечко польстилась. Не побоялась его оставить потому, что на нем был крестик. И что было ей то колечко? Ни красы, ни радости... В крутую, голодную пору пошла продавать. Сколько дали, уже не помнила. Еще счастье, что запомнила, кто купил. Помнила, что покупатель уговаривал ее быть сознательной, потому как покупает он не для себя, а для музея. Но Лукьяниха хотела есть, а не быть сознательной и прикидывала, сколько похожего на глину хлеба можно купить за жалкие те рубли. Хлеб был съеден и забыт, вина осталась. А теперь вина обернулась бедой...

Лукьяниха из-за забора видела, как Семен Бабиченко, волоча ноги, добрел до музея и вошел. Входили и выходили другие посетители. Семена среди них не было. Потом посетители кончились, директор запер дверь и вместе с толстой коротышкой, сестрой своей, ушел домой. Значит, Семен остался. Ну и слава богу! Авось, сумеет...

Когда настала ночь, она не могла усидеть дома. Никаких прохожих уже не было, но ярко светила луна, и Лукьяниха притаилась в тени бетонного колодезного кольца. Она видела, как вспыхнул в двух окнах музея свет, как подбежал к музею человек и свет погас и как человек этот что есть мочи бежал в милицию. Лукьяниха заметалась. Значит, не заладилось, не вышло у Бабиченкова недотепы... Что ж он сидит там, не убегает? Поймают дурака, сам пропадет и ее потянет... Надо было добежать до музея, крикнуть ему, чтобы бежал скорей да прятался,

но она боялась, что ее застанут там и тут же заарестуют. Лукьяниха решалась и не решалась, бегала за угол поглядеть, не идут ли уже, и добегалась — увидела, как к углу — к ней! — быстро шагают тот человек и верзила милиционер...

Сердце оглушительно стучало в ушах, затылок разламывало, а левый бок снова жег геенский огонь. Кое-как отдышавшись, она выглянула через забор — все окна музея были освещены. Поймали растяпу... Значит, вот-вот придут и за ней, а коли спрячется — сыщут. Ждать автобуса уже некогда, надо управиться, пока не доискались и не заарестовали. Ночью-то, по холодку, можно и поспеть, а там уж будь как будет. Отдать ему и пасть в ноги — вот, мол, все цело, окромя колечка, не вышло с колечком... Может, и отступится, отпустит душу на покаяние? Ах, кабы знать да не связываться!

Дура дурой была, выросла в послушании, отказать не посмела, вот и связала себя на всю жизнь, а бог вовремя смерти не дал. Не иначе, как за грехи ее тяжкие...

Она шла, не глядя по сторонам, смотрела на дорогу, но видела не ее, а ту холодную, промозглую ночь, когда барин уезжал.

В заполошной спешке набили два чемодана, дорожный мешок, барин покидал в кожаный саквояж все деньги, что были, и какое нашлось золотишко. Перед дорогой, как водится, присели на минутку. И, только сидя уже в коляске, барин спохватился:

— А тайник? Забыли!

— Да ну! Что там, ценности какие?! — сказал прыщавый сынок.

— Много ты понимаешь! Это дороже всяких ценностей...

— Ну хорошо, я схожу.

— Нельзя — пути не будет!..

— Суеверие, — фыркнул сынок. — Как вам не стыдно, папа!

— Ну еще бы — мы образованные, в гимназии не доучились, — ядовито сказал барин. — Таисья, подойди ближе! В стене за портретом отца есть тайничок. В случае чего — вынь все и береги пуще глазу! Забожись!

— Сделаю, вот истинный крест, сделаю! — не успев подумать, Таисья перекрестилась.

— Смотри, — пригрозил барин, — вернусь, я с тебя спрошу. А не сбережешь, я тебя и на том свете найду!..

Видно, не заладились бариновы пути-дороги, не вернулся. Кабы сам-то вернулся — ничего, он добер был, шумлив, но отходчив. А то вот теперь Старый барин за своим добром явился... Ох, поспеть бы только, а там уж...

Давно рассвело, солнце высоко поднялось над вершинами деревьев. Лукьяниха оглянулась и не узнала дороги. Пора быть Семигорскому сплошному бору, а тут по сторонам только кусты да жиденькие перелески, впереди и вовсе чистое поле. Это не удивило и не встревожило помрачненный страхом разум Лукьянихи. Эка беда, значит, вырубили. Прежде, когда доводилось ходить пешком, свежие вырубки бросались в глаза, из окна автобуса не больно приметны. И что ей до того? Ей бы поскорее дойти...

И тут Лукьяниха почувствовала, что идти больше не может. Ноги стали непослушными, геенский огонь в левом боку не утихал, а все пуще разгорался, мозжило под лопаткой, и даже рука стала как не своя. Лукьяниха поняла, что одним махом не дойти, надо передохнуть. Она свернула в сторонку и за ближними кустами прилегла на крохотном пригорочке. Полежав некоторое время, она вспомнила, что уже наступил день, а она еще и лба не перекрестила. Лежа молиться не годилось, она попыталась встать, но не смогла. Слова молитвы путались. И быть может, потому, что она долго шла, вместо молитвы ей вспомнилось, как в далекой молодости слушала у Семигорского монастыря слепых калик перехожих. Калики пели разное, но жалостливее всего — «Лазаря», и у нее всегда к горлу подступал клубок:

Мимо царства я иду-у,
Горько-о плачу, рыдаю —
О-ой, го-ре, горе мне вели-ико-ое!..

Она, нынешняя Лукьяниха, так была не похожа на тогдашнюю Таиску, что вспомнилась та, как что-то совсем стороннее, чужое, давно умершее. И что проку вспоминать? Вчерашним куском сыт не будешь... А вот явился Старый барин и снова связал воедино все: что было да умерло и что осталось и еще продолжает жить... Ходили калики перехожие от обителя к обители, от храма к храму, питались подаянием христа ради. Вокруг шумела, сверкала молодая, веселая жизнь, а они шли мимо, держась друг за дружку, не видя ее, и только жалобно печаловались, что идут мимо ее царства. Она, Таиска,

мимолетно сокрушалась сердцем и раздавала копеечки. А сама-то лучше ли? Не успела оглянуться, как и прошла мимо жизни или жизнь пробежала мимо нее... Весь век всякие разные люди помыкали ею, то и дело корили «дурой», толкали то туда, то сюда, убеждали, что от этого станет лучше ей самой и другим тоже... А было ли лучше-то? Калики перехожие друг за дружку держались, а ей, бобылке-бездомовнице, за кого ухватиться?.. Да что уж теперь, только бы дойти...

Лукьяниха снова попыталась подняться, но в левом боку отозвалась режущая боль, она враз обессилела и поняла, что ей уже больше не встать. Видно, пришел ее час и подохнет она тут, как собака бездомная... Того хуже — собака бездомная хоть под чужим забором околевает, а она — под кустом, как былка придорожная... Всю жизнь ее то солнце жгло, то дожди хлестали и топтал, не глядя, кто хотел... За что же это? Почто я жила-то, господи?

С натужным звенящим гудом бледную от зноя синеву медленно пронзала серебряная игла, а за ней по всему небосводу курчавился, размывался белесый хвост. Лукьяниха закрыла глаза. Она подумала, что вот умрет здесь, найдут ее люди и закопают, в чем есть, а припасенное дома «смертное» так и останется. И десятка на похороны, завернутая в особую тряпочку, тоже останется... Но подумалось о том отчужденно и безразлично. И тут же она вспомнила об узелке... Господи, как же с ним-то? Хоть бы навернулся кто, передать кому... А то ведь не отступится, окаянный, не даст ей покою и на том свете...

— Бабушка, чего вы плачете? Почему вы здесь лежите?

Лукьяниха открыла глаза и увидела, что над нею склонились белоснежные ангелы.

— Сподобилась! — прошептала Лукьяниха. — «Ныне отпущаеши рабу твою, господи... Слава тебе!..»

— Бабушка, вы что, не слышите?

Лукьяниха снова открыла глаза, увидела, что крыльев у ангелов нет, а на их белых блузках завязаны красные галстуки. Примостилось... Она с натужным всхлипом перевела дыхание и сказала:

— Помираю, деточки, помираю я...

— Как это помираю?! Что вы такие глупости говорите! — отозвался привычный к командам голос.

Римма Хвостикова смотрела на мир с высоты своих семнадцати лет и если не все знала, то, во всяком случае, обо всем имела совершенно ясное и определенное суждение. Иначе и не могло быть — она была вожатой, а вожатая должна вести своих воспитанников твердо и уверенно, уметь ответить на любой вопрос и решить, что хорошо и что плохо, что следует делать и чего делать нельзя. Не стоит осуждать Римму Хвостикову. В свои семнадцать лет мы ведь тоже все знали и так же категорично и безапелляционно решали все и вся...

Иванковские красные следопыты шли по местам боевой славы минувшей войны. Они отыскивали памятки и памятники павшим героям, их могилы, проверяли, исправляли ошибки, вели дневники своих поисков — словом, делали все, что полагается делать красным следопытам. На этот раз поход оказался трудным. Дорога была скучной, а потому казалась бесконечной, солнце начало припекать с самого утра, и все время хотелось пить. Вода была у них в пластмассовых фляжках, они то и дело к ним прикладывались, а вот с остальным было плохо — в чистом поле ни ложбины, ни кустика, а старая дорога даже не имела кюветов. Поэтому, как только отряд поравнялся с перелеском, Римма Хвостикова скомандовала:

— Мальчики — налево, девочки — направо! Далеко не уходить!

Мальчишки наперегонки побежали в свою сторону от дороги, девочки, конфузливо переглядываясь, заспешили в свою. Но какая же девочка, придя в хорошее настроение, не поищет цветочков? Вместо цветочков они увидели, что на пригорке лежит худая, ужасно бледная старушка и тихонько плачет. По лицу ее ползали муравьи, но она не смахивала их, и вот — сказала, что умирает... Они знали, конечно, что люди умирают и сейчас, но никто из них не видел, как это происходит, потому что людям полагается умирать в больницах. А чтобы вот так — возле дороги, прямо на земле?! От этого девочкам стало ужасно жутко, и они испуганно поглядывали то на свою вожатую, то на старушку. Римма Хвостикова тоже растерялась и, как всегда в затруднительных случаях, напустила на себя строгость:

— Кто вы такая, гражданка? Где живете?

— В Ганышах... В Ганышах я живу...

— Так это совсем не нашего района! — недовольно сказала Римма Хвостикова, будто люди имели право

умирать только в своем районе, а старуха этим установлением пренебрегла и нарушила незыблемый порядок.

— Возьми мой узелок, милая... Только забожись, что передашь!

— Вот еще новости! — возмутилась Римма Хвостикова. — С какой стати я буду божиться? Я — комсомолка!

— Ты не шуми, милая, а то я сейчас вовсе помру... — с трудом проговорила Лукьяниха. — Свези мой узелок в Ганыши и отдай Старому барину... Богом тебя прошу!

— Какой барин? Что вы опять глупости говорите?!

Девочки не очень хорошо знали, где находятся Ганыши, зато прекрасно знали, что никакого барина там нет и быть не может, но они, по юности, были сердобольнее своей суровой наставницы и наперебой заверили:

— Мы передадим! Передадим, бабушка! Честное пионерское, передадим!

— Ну и ладно, — облегченно вздохнула Лукьяниха и закрыла глаза.

Римма Хвостикова, покусывая губу, раздумывала. С одной стороны, они шли в поход и его следовало продолжать, тем более что до границы района осталось совсем немного, с другой стороны, оставить в поле больную старуху — негуманно.

— Идите на дорогу, — сказала она,— останавливайте машину.

Первую остановить не удалось — она шла на такой скорости и так рявкнула сигналом, что пионеры испугались и расступились. Но, завидев вторую, они выстроились цепочкой поперек дороги и взялись за руки. Машина остановилась, шофер высунулся из кабины.

— Вы что балуете? По шеям захотели?

— Там старушка лежит... В больницу надо!

— Только у меня и делов, что старух возить, — сказал шофер, но парень был добрый, а машина пустая, и он пошел вслед за пионерами.

— Да, доходяжная старушка, — сказал он, увидев Лукьяниху, оглянулся в поисках помощника, но даже сама Римма Хвостикова не показалась ему для этого пригодной, потому поднял старуху сам и вынес к машине. — А вы чего? — сказал он, уложив Лукьяниху на днище кузова. — Садитесь тоже.

— Мы должны дальше идти.

— Чтобы с меня спрашивали, где, как да почему? Вы нашли, вы и сдавайте. Мне милиции и так хватает, по завязку...

Машину трясло на старой, разбитой дороге, но это бы ничего, если б не старушка... На нее пионеры старались не смотреть и смотрели по сторонам, хотя смотреть по сторонам было решительно не на что. Одна пионерка не выдержала, оглянулась. Голова Лукьянихи болталась, как привязанная, рот провалился, глаза безжизненно смотрели в небо.

— Ой, девочки, — испуганно сказала пионерка. — Ой, девочки! — закричала она и, уткнувшись лицом в согнутый локоть, заплакала.

Остальные посмотрели тоже и тоже начали плакать. Мальчики супились и крепились, но и они были недалеки от того, чтобы зареветь. Римма Хвостикова постучала по крыше кабины. Машина остановилась, шофер выглянул в окно.

— В чем дело?

— Умерла. Умерла она...

— Так а я что, доктор? — озлился шофер.

Гремя и подпрыгивая на булыжнике, машина покатила дальше, в Иванково.

Вася Кологойда сразу узнал ее в погребе, который местной больнице служил моргом.

— Она самая, — сказал он, вернувшись в отделение милиции. — Проживала в Ганышах. На моем участке.

— Тогда вот, принимай по описи все ее имущество, — сказал дежурный и протянул старухин узелок.

От старой-престарой квадратной книжки шибанул резкий запах книжного тлена. Она была переплетена в растрескавшуюся, побуревшую от времени телячью кожу и оказалась не печатной, а рукописной. В начале были вложены какие-то исписанные листки. Ни книга, ни листки не произвели на Васю Кологойду впечатления — но на листках лежала новенькая сторублевка.

— Ага! Значит, не сбрехал...

— Кто? — спросил дежурный.

— Да есть там у нас один ворюга недоделанный... А он с этой старухой был связан...

— Выходит, ты в курсе? Ну и лады, сам это дело закроешь.

— Само собой. Только застали-то ее еще живой? Неужели ничего не спросили?

— Ну вот же протокол... Сказала пионерам, чтобы свезли в Ганыши и отдали какому-то старому барину.

Ерунда на постном масле. Видно, у старухи перед смертью мозга за мозгу заскочила.

— Не иначе, — раздумчиво покивал Кологойда. — Ну ладно, привет! — сказал он, опуская ремешок фуражки под подбородок.

Лукьяниха была мертва, и меньше всего в смерти ее повинен был Вася Кологойда, но его не покидало сознание своей вины, вины в том, что недодумал, недоделал и потому не предотвратил...

«Кабы раньше! Кабы чуток раньше!» — досадливо повторял он и, боясь снова опоздать, гнал «на всю железку». Степенный онищенковский «ИЖ» козлом прыгал по булыге и пулеметным грохотом расстреливал чахлые перелески.

К счастью, Аверьян Гаврилович был на месте.

— Придется вам со мной, товарищ директор, — без всяких предисловий сказал Вася. — На случай консультации, поскольку вы специалист по всякому старому... хозяйству, — вовремя спохватился он.

— Куда?

— В Ганыши.

— Пожалуйста, — сказал Аверьян Гаврилович, надевая кепочку. — Но в чем, собственно, дело?

— Нашлась наша бабка-то... только она тово... перекинулась.

— То есть как перекинулась?

— Ну —померла... Видать, с перепугу съехала с катушек и чесанула не в ту сторону. В Ивановском районе ее нашли. И сторублевка при ней оказалась! Выходит, в порядке исключения, тип тот не сбрехал.

— Ну так что?

— А то, что надо нам найти, кто ей ту сторублевку дал.

— Да я-то чем могу вам помочь? Всякие там оттиски пальцев — я в этих вещах не разбираюсь...

— Какие оттиски, товарищ директор?! Лукьяниху нашли пионеры. Перед смертью она успела им сказать, чтобы все отдали старому барину в Ганышах...

— Ну, знаете, это полная чепуха! Какой барин может быть в колхозе?

— В колхозе, конечно, навряд... Может, старушка и сбрендила, а может, и нет? Старые люди, они как-то перед смертью брехать не любят, опасаются... Пошли, пошли, товарищ директор!.. Барина там, конечно, никакого нет, это само собой... А может, есть какой-то человек, которому нужна эта хреновина...

— Что вы имеете в виду? — приостановился Аверьян Гаврилович, который уже занес ногу в коляску.

— Да вот, — хлопнул Кологойда по вздувшейся планшетке. — От руки писанная книжица. Такая старая, что смердит хуже скипидара...

— Рукописная?! Так покажите же! — взволновался Аверьян Гаврилович.

— Потом, потом, товарищ директор... Один раз проворонили, можем второй раз проворонить. Вы только держитесь покрепче и из-за щитка не высовывайтесь, а то кепочку потом не сыщешь...

«ИЖ» по всем правилам миновал город, но, как только город остался позади, с громом и звоном вонзился в дорожную просеку Семигорского бора.

2

До предела взбудораженная Юка с трудом дождалась, пока мистер Ган немного отдалится.

— Вы идете нас провожать, думаете, он что-нибудь сделает? — прошептала она.

— Я боюсь того, что сделаете вы, — сказал Федор Михайлович. — Ваша буйная фантазия может так разукрасить превращение мистера Гана в Ганыку, что как бы Иван Опанасович не начал собирать народное ополчение против захудалого аптекаря.

Толя и Антон засмеялись, Сашко остался напряженно серьезен, а Юке было сейчас не до шуток.

— Но дядя Федя, разве он правду рассказал? Ведь Сен-Жермен — это же тройка, семерка, туз!.. Ну, помните, в «Пиковой даме»? «Однажды в Версале о же де-ля Рен, Венюс московит проигралась дотла. Среди приглашенных был граф Сен-Жермен...» Ну и дальше — три карты! три карты! три карты!

Теперь засмеялся Федор Михайлович.

— Милая Юка! Кажется, Лассаль сказал: «Учитесь, учитесь, только не по журнальным статьям!» Я бы к этому добавил: «Не изучайте историю по оперным спектаклям и кинофильмам!»

— Так ведь и у Пушкина тоже... — вспыхнула Юка.

— Пушкина полезно перечитывать. У него Томский рассказывает историйку о благородном и таинственном чудаке Сен-Жермене и трех картах. Модест Чайковский

для оперы изложил эту историйку корявыми стихами и зачем-то сделал Сен-Жермена паскудником, который потребовал неблаговидной платы за услугу...

— Так что, этот граф был на самом деле? — сказал Антон. — Я думал, просто так, сочинение из головы...

— Нет, — сказал Федор Михайлович. — Сен-Жермен не «из головы», а личность историческая. Историки удостоверяют, что Сен-Жермен посетил Петербург, был другом Григория Орлова и участвовал в заговоре против Петра Третьего.

— Выходит, он был шпион? — сказал Антон.

— Вероятно, и шпион тоже. Во всяком случае, в этом был уверен его современник Казанова, который в таких делах, несомненно, разбирался, так как сам был шпионом. Но в отличие от Казановы Сен-Жермен мемуаров не писал и остался личностью загадочной. Известно, что он без конца путешествовал, знал много языков, был очень богат, но происхождение его богатства темно и непонятно. При французском дворе он появился, очаровав маркизу Помпадур, а Людовика Пятнадцатого покорил тем, что надтреснутый королевский бриллиант мановением руки превратил в целый, отчего тот стал втрое дороже.

— Так это же настоящее чудо! — сказала Юка.

— Или ловкость рук. Подменить треснутый бриллиант целым не так уж трудно. Наш иллюзионист Дик Читашвили делает штуки посложнее — прикрывает пустую ладонь платком, а когда поднимает платок, на ладони оказывается большая стеклянная ваза с водой, в которой плавают золотые рыбки. Чтобы приобрести расположение короля, стоило подменить плохой бриллиант хорошим.

— А я знаю — он был гипнотизер! — убежденно сказала Юка.

— Возможно, он и обладал силой внушения, однако сильнее всякого гипноза на людей действует их собственное воображение. Сен-Жермен сам распускал легенды о себе, еще больше их создавали другие. Говорили, что он обладает эликсиром долгой жизни, может делать золото, живет так долго, что будто встречался с Иисусом Христом, ну и прочие чудеса в решете.

— Обыкновенный обманщик! — сказал Толя.

— Я бы сказал иначе: умный и очень ловкий мистификатор.

— А шо оно такое — мистификатор? — спросил Сашко.

— Ну... человек, который не просто обманывает, а себя и свои поступки окутывает всевозможными тайнами, загадками. А вера в тайны и загадки живуча. Даже в 1938 году кое-кто утверждал, что Сен-Жермен проживает в Венеции в одном из дворцов на Большом канале... Если бы Юка попала в Венецию, она, наверно, обязательно разыскала бы таинственного графа...

Ребята засмеялись. Юка улыбнулась тоже, но отрицать не стала.

— Если он такой мошенник, — сказал Антон, — почему его не разоблачили?

— Пробовали. В прошлом веке император Наполеон Третий приказал собрать все материалы о Сен-Жермене в один архив, чтобы выяснить, наконец, кто он и что делал. Но тут развернулась франко-прусская война, во время осады Парижа в архив попала бомба, и все сгорело.

— Вот! — торжествуя, сказала Юка. — Это он сам!

— Что сам?

— Он не хотел, чтобы доискивались, и все уничтожил!

— Ну да, граф Сен-Жермен превратился в пушечное ядро и шарахнул по архиву.

На этот раз засмеялся даже Сашко, но это не поколебало уверенность Юки в том, что Сен-Жермен причастен к пожару в архиве.

— Он же мог выстрелить!

— Немцы не могли вести прицельного огня во время осады. Они лупили по Парижу наобум, для устрашения... Вот мы уже пришли, и, я надеюсь, деловая обстановка сельсовета вернет тебя на землю из заоблачных чысей ненаучной фантастики...

Ивана Опанасовича в сельсовете не было. Секретарша сообщила, что председатель с утра уехал в область, а потом позвонил оттуда и сказал, что переводчика того американца уже выписали из больницы, они скоро приедут вместе и чтобы передать это председателю колхоза. Она передала...

— Мы подождем в кабинете, — сказал Федор Михайлович. — Там прохладнее...

Однотумбовый стол председателя, на котором не было ничего, кроме телефонов, прошлогодняя стенгазета и плакат, призывающий выполнять поставки яиц и моло-

ка, не смогли вырвать Юку из восемнадцатого столетия.

— А все-таки я считаю, что он сыграл положительную роль! — убежденно сказала Юка.

Окончательно решить вопрос, положительным или отрицательным был таинственный граф, не удалось — к сельсовету с грохотом подлетел милицейский «ИЖ».

— А, товарищ лесовод! — сказал Кологойда, увидев Федора Михайловича. — Привет, привет! И вся компания в сборе? — оглядел он ребят. — Ну, пока головы нет, начнем с вас, поскольку вы всех знаете... Такое дело, ребята: жила тут у вас старушка, которая делала глечики и в Чугунове продавала...

— Бабушка Лукьяниха? — сказала Юка. — Так она и сейчас живет.

— Уже не живет, поскольку вчера померла.

— Ой! — Глаза Юки наполнились слезами. — Как же? Почему?

— Вскрытие показало инфаркт. А вот почему у нее был инфаркт, неизвестно. Может, просто от старости, а может, и еще от чего... Известно только, что перед смертью она вроде как сильно засуетилась... Вы ничего такого не замечали, не слышали? Ничего тут с ней не случилось?

— Что-то было... — раздумчиво сказала Юка. — Ей что-то привиделось... Она мне рассказывала, как служила у помещика Ганыки и всякие ужасы про их род и про Старого барина...

— Старого барина? — подался вперед Кологойда. — Какого барина?

— Ну, про отца последнего помещика. А утром на следующий день я увидела, как Лукьяниха бежит от развалин — даже грибы все растеряла. Она прямо умирала от страха. И сказала, что ей явился Старый барин... Только никакого барина там не оказалось — я сбегала, посмотрела. Видно, ей после того разговора просто померещилось...

— Привидение, — лукаво подсказал Толя.

Кологойда предостерегающе поднял ладонь в сторону Толи.

— А потом?

— Потом она про это не хотела даже говорить и ужасно сердилась.

— А что, если... — сказал Федор Михайлович, — что, если ей не померещилось и увидела она не привидение, а Ганыку?

— Откуда тут может взяться Ганыка? — сказал Аверьян Гаврилович.

— Из Соединенных Штатов. Выяснилось, что американский турист мистер Ган — это Ганыка, сын последнего помещика.

— Неужели?!

— Дядя Федя его разоблачил! — сказал Антон. — Разговаривал, разговаривал, а потом — р-раз! — и припер к стенке. Тот признался. Даже руки кверху поднимал...

— Интересная получается карусель! — сказал Кологойда. — Выходит, товарищ директор, барин может оказаться и в колхозе?.. Раз такое дело, давайте, ребята, припомните, какие у того барина были контакты с Лукьянихой?

— Никаких контактов не было! — твердо сказал Сашко. — Я бы знал.

— Были! — закричала вдруг Юка. — Мне же Галка сегодня утром рассказала!.. Она их вместе видела! Только когда началась эта история с Ганом-Ганыкой, у меня все из головы вылетело...

— Какая Галка? — спросил Кологойда.

— Нашей хозяйки дочка, Галка Удод.

— А ну, давай сюда ту Галку! Только быстро!

Если во дворе и поблизости никого не было, Галка на кур и теленка кричала толстым, грубым голосом, какой бывает только у пропойц: «Куды? От шоб тоби повылазыло!.. А шоб вы повыздыхалы!..» На самом деле пропойного баса у нее не было, она была очень застенчивой девочкой, с людьми знакомыми разговаривала мягко и так тихо, будто не говорила, а шелестела, при незнакомых замолкала вовсе и заливалась краской от одного взгляда на нее.

На призыв Юки Галка подбежала, но, узнав, что ее требуют в сельсовет, вспыхнула и уперлась точь-в-точь как «дурне теля», на которого она орала у себя во дворе.

— Та я не пиду́! Не хо́чу! Та шо я там не ба́чыла?

— Да иди же, тебе говорят! — рассердилась Юка и за руку втащила ее в кабинет. Увидев, кроме Кологойды, незнакомых мужчин, Галка потупилась и замолчала.

— Так ты, значит, и есть Галя Удод? — сказал Кологойда. — Ну, здоро́во!

Глядя в окно, Галя пошевелила губами.

— Что ж ты стала, понимаешь, за километр, да еще и шепчешь. Подойди ближе.

Галка не тронулась с места. Тогда Юка уперлась руками ей в спину и заставила сделать несколько шагов вперед. На висках у Галки выступили капли пота, а на глазах слезы.

— Ну вот, еще реветь вздумала!..

Галка отвернулась к окну и заморгала, прогоняя слезы.

— Что мы тебя, съедим, что ли? Вот же сидят ребята, ничего не боятся. А ты чего боишься?

— Я стыда́юсь, — прошелестела Галка окну.

— Да чего тебе стесняться? Ты только расскажи нам, что видела, и иди себе до дому... Вот Юка говорит, ты видела, как американец разговаривал с Лукьянихой. Видела?

— А-ага, — кивнула окну Галка.

— Вот и расскажи, как все было.

— Я вра́нци пишла́ до лесу... Шоб лысы́чок набра́ты... А там идет той дядька, американец...

— Подожди, когда это было?

— Та ще в субботу.

— Почему же ты раньше никому не рассказала?

Галка безмолвствовала.

— Так. А что было дальше?

— Я як поба́чыла, то й схова́лась... За колоду... Там колода така вели́ка лежы́ть...

— А почему ты спряталась?

— Зляка́лась...

— Чего испугалась?

Галка сначала пошептала окну, потом еле слышно прошелестела:

— Вин ды́выться...

— Так что? Все люди смотрят.

Ответа не последовало.

— Ну ладно. Так ты, значит, спряталась, а все-таки подсматривала?

— Бо як бы вин до мэ́нэ, то я б поби́гла...

— Ага! А он к тебе не пошел?

— Не... Бо тут як раз Лукьяныха.. Вона теж лысычки збыра́ла... А вин став и дывыться... А вона як поба́чыла, так упала на колина и руки до нього простяга́е, наче мо́лыться... А вин шось довго, сердыто так говорыв... А вона все молылась... А вин знову говорыв и говорыв. А тоди шось достав и дав ей... И знову шось довго говорыв... А тоди вона пишла, така малэнька та согнута... И вин пишов... А тоди я побигла до дому...

— А все-таки почему ты только сегодня рассказала обо всем?

— В чем дело? Что случилось?

«Волга» подкатила к сельсовету бесшумно, появление Ивана Опанасовича и переводчика было полной неожиданностью. Всю дорогу Иван Опанасович находился в прекрасном расположении — переводчик выздоровел, едет за мистером Ганом, и все, слава богу, обошлось благополучно. Он сказал переводчику, что позвонил в Ганьши, чтобы предупредили председателя колхоза Голованя. Встретили того мистера по-хорошему, надо и проводить по-хорошему, по закону гостеприимства — пускай помнит. Пообедаем, опрокинем стопаря на дорожку и — привет!.. Едва он увидел в кабинете участкового и необычайное сборище, от прекрасного расположения не осталось следа.

— Много всякого случилось, товарищ голова, — сказал Кологойда. — Во-первых, как выяснил товарищ лесовод, твой мистер Ган оказался никакой не Ган, а Ганька, сын помещика...

Иван Опанасович посерел и потерянно оглянулся на переводчика.

— Что же вы? А?

Переводчик поморщился.

— А я при чем? Мое дело — переводить... Это уже не первый такой случай: притворяются, будто их музеи, дворцы интересуют, а потом кидаются искать родственников или еще чего...

— Во-вторых, — сказал Кологойда, — померла ваша Лукьяниха...

— Ну что ты, ей-богу, товарищ лейтенант? Тут такое дело, а ты, понимаешь, со всякой...

— Нет, не со всякой! С перепугу или еще отчего, старушка помирать убежала аж в Иванковский район. И вот, как мы сейчас установили, были у нее какие-то контакты с твоим туристом...

— Да почему он мой? — вспылил Иван Опанасович. — Я его сюда зазывал?

— А в-третьих, — невозмутимо продолжал Кологойда, — в ночь с воскресенья на понедельник была сделана попытка произвести кражу со взломом в Чугуновском музее. Только благодаря бдительности товарища директора кража была предотвращена. А указанная Лукьяни-

ха в той краже замешана... Правильно, товарищ директор?

— Совершенно верно! — поспешно подтвердил Аверьян Гаврилович. При первом знакомстве лейтенант показался ему простоватым и недалеким малым, но теперь проницательность и умение Кологойды охватить и свести воедино разобщенные, казалось бы, факты, необычайно возвысили его в глазах Аверьяна Гавриловича.

— Этого не может быть! — горячо сказала Юка.

— А вы тут зачем? — взорвался Иван Опанасович. Он нашел, наконец, на кого можно было безнаказанно излить свою досаду и растерянность. — Что вам тут, детский сад? Игрушки? А ну, марш отсюда!

— Спокойно, товарищ голова! — сказал Кологойда. — Не игрушки, а следствие, и они этому следствию очень даже помогают как очевидцы и свидетели...

— Какие свидетели, если они несовершеннолетние?!

— Юридически, конечно, нет, но глаза и уши у них вполне совершеннолетние... Ладно, ребята, вы пока идите, погуляйте там, только никуда не уходите, может, еще чего надо будет...

Ребята вышли. Галка умчалась домой, но остальные не собирались мириться с очередной возмутительной несправедливостью взрослых и немедленно уселись на скамеечке под окнами. Окна были распахнуты настежь, и все дальнейшее они прекрасно слышали.

— Так что теперь делать? — спросил Иван Опанасович.

— Раз закрутилась такая карусель, надо ее раскрутить обратно. А поскольку Лукьяниху уже ни о чем не спросишь, придется спросить у того Гана-Ганыки. Так что давайте сюда своего американца.

— Имейте в виду, — сказал переводчик, — если у вас нет серьезных оснований и доказательств, могут быть большие неприятности!..

— Так нам за то деньги платят, чтобы иметь дело с неприятностями, — с напускным простодушием сказал Кологойда. — Только ему про все эти дела ни слова. Вы ничего не знаете! Скажите, заедем, мол, до головы попрощаться, вот и все.

Переводчик пожал плечами и вышел. «Волга» умчалась в лес, к Дому туриста. Председатель сельсовета набросился с вопросами на Федора Михайловича и Кологойду. Федор Михайлович рассказал, как догадался о том, что Ган — русский, Кологойда отшучивался.

Иван Опанасович погрузился в мрачное молчание. Теперь уже совсем неизвестно было, как поступить с американцем, который оказался не американцем. Сводить классовые счеты за эксплуатацию трудящихся до революции? Но до революции Ганыка был пацаном, здесь почти не жил и никого не эксплуатировал... А сейчас он вроде ничего такого не делал, и чего опасаться какого-то старика, которого привели сюда воспоминания и где от всего его прошлого осталась одна выгоревшая коробка дома? Одно только непонятно — зачем он брехал и притворялся?! И на лице Ивана Опанасовича застыло выражение досады и недоумения — мы-то думали, а ты, оказывается...

Мистер Ган шагнул через порог и наткнулся на невидимую стену. За столом сидел человек в форме... В кабинете были председатель сельсовета, какой-то моложавый старик и тот, назвавшийся лесоводом... Ловушка! Это продолжалось мгновение, но за это мгновение в нем не осталось ничего ни от прежнего рубахи-парня из Мидлвеста, ни от растерзанного волнением Ганыки на берегу Сокола. Лицо его стало замкнутым и жестким, он засунул большие пальцы в карманы джинсов и, сделав еще два шага, остановился. Он их не боялся — за его спиной была могучая держава мира...

— Во-первых, здравствуйте, — сказал Кологойда. — А во-вторых, не знаю, как вас и называть...

Изобличивший его человек сидел здесь, притворяться не имело смысла.

— Меня зовут Джордж Ган. Что вам нужно от меня?

— Ничего не нужно! Просто я хотел у вас кое-что спросить...

— Я гражданин Соединенных Штатов и не подлежу вашей юрисдикции. Без американского консула я не стану отвечать ни на какие вопросы.

Ганыка оглянулся на прислонившегося к дверному косяку переводчика, тот, подтверждая, кивнул.

Вася Кологойда весьма натурально изобразил недоумение и растерянность.

— Выходит, угодил я пальцем в небо... Тут, понимаете, такая история — поручили мне передать вот эти вещи, — Кологойда положил руки на свой вспухший планшет, — старому барину в Ганышах, а известно, что барином в Ганышах был Ганыка...

Непреклонность мистера Гана заколебалась, и только

что такой твердый голос прозвучал как бы надтреснуто:

— Какие вещи?

— Если вы мистер Ган, так что об этом говорить? Значит, они до вас касательства не имеют. В общем, как говорится, извините за внимание...

Непреклонность мистера Гана рухнула. Он покосился на Федора Михайловича и снова повернулся к лейтенанту.

— Вам ведь сказали, что в прошлом я носил фамилию Ганыка.

— Мало ли что кто скажет! Почему я должен верить?

— Ну хорошо, я подтверждаю: в прошлом я — Ганыка.

— Бывший помещик?

— Помещиком был мой отец. Я уехал отсюда мальчишкой.

— Вот это другой разговор. Может, мы как-нибудь и без консула обойдемся... Да вы садитесь, гражданин Ганыка, а то как-то некультурно получается: мы все сидим, а вы стоите.

Ганыка сел к противоположной от окна стене. Он предпочел бы сесть у окна, спиной к свету, но там сидел проклятый лесовод...

— О каких вещах вы говорите?

— Сейчас, сейчас... Сначала я хочу кое-что уточнить. Вы гражданку Прокудину знаете?

— Нет! — решительно сказал Ганыка. — Даже фамилии такой не слышал.

— А Лукьяниху?

— И Лукьянихи никакой не знаю.

— Что-то оно не сходится, гражданин Ганыка. Кое-кто видал, как вы в субботу разговаривали в лесу со старухой...

— А! Так это была Таиска! — облегченно сказал Ганыка.

— Таиска... Таисья, значит? Тогда сходится — Таисья Лукьяновна Прокудина. Между прочим, бабке за восемьдесят, а вы ее — Таиской...

— Видите ли... — несколько смутился Ганыка. — Так ее называли в нашем доме... Ведь это когда было!

— Давновато, — согласился Кологойда. — А теперь вы ее видели только один раз?

— Нет, дважды... По приезде я пошел утром посмотреть наш бывший дом... На пепелище, так сказать, — криво усмехнулся Ганыка. — Там меня увидела старуха.

Она почему-то начала креститься и бросилась бежать. Я ее не узнал, конечно, и тут же ушел в лес.

— А потом узнали?

— Нет, и потом не узнал, она сама сказала. Когда мы столкнулись в лесу, она упала на колени и начала умолять, чтобы я отпустил ее душу на покаяние... А зачем мне ее душа?

— До души мы сейчас дойдем, — сказал Кологойда. — Известно, что Лукьяниха говорила про старого барина, а когда вы уезжали, вы, извиняюсь, были пацаном, таким она вас и помнила... Значит, никак вы для нее не старый барин. Может, она вас за отца принимала?

— Не думаю, — покачал головой Ганыка. — Я не похож на своего отца. Когда я подрос, отец говорил, что я вылитый портрет деда. Вот его прислуга и называла Старым барином... Таиска... я хотел сказать Таисья, вообще вела себя как-то странно. Можно подумать, что у нее...

— Не все дома? — подсказал Кологойда.

— Похоже на то... Может, она вообразила, что я — это не я, а мой дед, который явился с того света... Я же, как вы знаете, приехал из Нового Света, но отнюдь не с того света... — Натужной шутке никто не улыбнулся. — В конце концов, спросите у нее самой!

— Трудновато, поскольку Лукьяниха, она же бывшая Таиска, вчера померла.

Лицо Ганыки потемнело и снова стало жестким и напряженным.

— Так вы подозреваете...

— Я ничего не подозреваю, поскольку установленный факт, что вы из Ганышей не отлучались, а старуха померла своей смертью далеко отсюда и на глазах у людей... И тем людям она наказала, чтобы узелок ее обязательно передать Старому барину в Ганышах...

Ганыка вскочил.

— Минуточку! Поскольку, кроме вас, другого барина в Ганышах нету, стало быть, передать надо вам. Как видите, я в кошки-мышки с вами не играю. Только прежде, чем перейти до этого дела, мне нужно понять, как все произошло. Вот вы и расскажите сначала, как там было с Лукьянихой.

— Пожалуйста, я не делаю из этого тайны. Я даже не предполагал, что Таиска до сих пор жива, и, конечно, не узнал ее. Из бормотания старухи я понял, кто она и что она сохранила наши семейные реликвии... Уезжали

мы в страшной спешке, и отец забыл о них, но потом все-таки спохватился и наказал Таисье любой ценой сберечь...

— Что ж то за реликвии такие?

— Ничего ценного! То есть, конечно, ценное, но только для нашей семьи — они передавались из поколения к поколению. Это кое-какие бумаги и простое железное кольцо... Таиска сказала, что бумаги у кого-то на хранении, а кольцо она продала, но человека, купившего кольцо, знает. Я дал ей сто рублей, чтобы откупить кольцо обратно. Никакой цены для постороннего человека оно иметь не могло, и я полагал, ста рублей более чем достаточно.

— Что ж, все, как говорится, собралось до купы... Вот только с колечком не получилось. Как видно, Лукьяниха не понадеялась, что товарищ директор продаст такую историческую и воспитательную ценность...

— Разумеется! — горячо подтвердил Аверьян Гаврилович, не обратив внимания на Васину иронию. — Оно внесено в инвентарную опись!

— И потому, — продолжал Кологойда, — Лукьяниха подговорила одного балбеса, чтобы тот кольцо выкрал. А тому не удалось — поймали. Только если б и удалось, вам от этого радости никакой, поскольку в музее была выставлена подделка...

— Дубликат! — мягко, но внушительно поправил Аверьян Гаврилович.

— Так я и говорю — копия. Настоящее кольцо пропало во время войны... Так вот, Лукьяниха видела, что балбеса того заштопали, как видно, испугалась, что прихватят ее тоже, и заторопилась домой, чтобы остальное поскорей отдать Старому барину. — Кологойда с трудом вытащил из планшета сверток в холстине. — Даже автобуса, понимаете, не стала ждать, чесанула пешком, а это, между прочим, кусок для хорошего марш-броска... Я, конечно, не доктор, но, по-моему, от всех этих переживаний и перегрузки старуха и померла... Так вот, первым делом, остались при ней сто рублей, про которые и вы говорили...

Пауза длилась не более секунды.

— Нет, нет, — сказал Ганыка, — я не претендую на эти деньги — я ведь их все равно отдал... А если уж так получилось, пусть пойдут на ее похороны, что ли...

— Вот и я так думаю, — с явным удовлетворением сказал Кологойда. — Как-никак она для вас старалась,

пускай хоть после смерти наградные получит... Ты, Иван Опанасович, оформи такую бумагу — передаются, мол, на похороны гражданки Прокудиной Т. Л. найденные при ней сто рублей, и под расписку отдай хозяйке Лукьянихи. Везти тело из Иванкова, то-сё — деньги пригодятся. Бумагу потом отдашь мне, к делу. Теперь, значит, остается то, что Лукьяниха просила передать старому барину... И тут такое дело, гражданин Ганыка. Конечно, если бы старуха вам отдала, вы могли бы это шито-крыто увезти... Минуточку! Минуточку! Я понимаю — таможенный досмотр и всякое такое... Это — их дело. Но раз эти вещи попали ко мне, а я — не Лукьяниха, то я, извиняюсь, обязан посмотреть, что оно такое и не будет ли это нарушением интересов государства. А поскольку я в этих делах не шибко разбираюсь, то в качестве эксперта по старинным вещам пригласил товарища Букреева. Давайте, товарищ директор!..

Аверьян Гаврилович подсел к столу, торопливо, но бережно развернул холстинку, внимательно осмотрел толстую квадратную книжку, переплет и срезы и только потом поднял крышку переплета. Сверху лежала сторублевка, под нею несколько листков бумаги. Купюру Аверьян Гаврилович, не глядя, отдал Кологойде, вынул узкие исписанные листки бумаги.

— Так, так, так... Бумага пожелтела, но, знаете, не такая уж старая... — несколько удивленно сказал он. — Довольно гладкая. Ага, вот в верхних правых углах оттиск какой-то печати. Разобрать, конечно, ничего невозможно... Ну, такие оттиски довольно часто делали на штучных изделиях, на альбомах, например, иногда по заказу владельца, иногда сами книготорговцы. Чернила, несомненно, старинные, из чернильных орешков, когда-то были черные, теперь стали коричневыми, выцветают, выцветают... Да, а вот это жалко! Один срез пострадал — очевидно, листки откуда-то небрежно вырваны... Почерк явно старческий, старательный с росчерками, но обращение с правописанием слишком свободное, со знаками препинания и того более... Однако посмотрим... Итак:

— «Свойства Эликсира Долгой Жизни», — прочитал Аверьян Гаврилович и озадаченно приостановился.

— Про долгую жизнь всем интересно, — сказал Кологойда. — Ну-ка, читайте, что то за эликсир.

Аверьян Гаврилович продолжал:

— «Укрепляет желудок оживляет дух Жизненной изостряет чувство отъ емлет дрожание жил, Утоляет боль

ревматизма, Утишает удары падучей болезни, предохраняет здоровье, подает долгую жизнь, избавляет кровопускания и употребления других лекарств, подкрепляет Силы, останавливает биение нервов облегчает боль ломоты и подагры, и препятствует ей подниматься, Сохраняет и очищает желудок от всех клейких и жирных материй; Произвесть могущих худое в них варение, и прогоняет изгару, Мигрену и пар в желудке предохраняет от иппохондрии, убивает глисты, лечит разныя Колики в желудке и кишках, чистит кровь, и в обращении оной способствует. Совершенное лекарство производит здоровый цвет в лице, слабит нечувствительно вылечивает все переменныя лихорадки Наконец можно его назвать возстановителем или Воскресителем человечества...» Каково, а? — поднял голову Аверьян Гаврилович.

— Читайте, читайте! — сказал Кологойда.

— «Употребление, — продолжал Аверьян Гаврилович. — Люди полнокровные, горячего сложения, болящие желчью Склонные к Геромондам и каменной болезни должны принимать всякой прием, то есть: пополудне поутру времянно Сверх Вседневного употребления. Напротив того, люди холодно кровные и мокротные, флегматики и меланхолики, могут принимать всякой день поутру вставши столовую ложку зимой а летом половину, для поправления недугов желудка и для истребления тех материй от коих происходят все почти болезни.

Рецепт

Купить в Аптеке или травяных лавках

1) Чистаго сабуру $1^1/_9$ *унции*

2) Цыцварного корня или онаго семя $1^1/_4$ *унции*

3) Горькой янцыаны корня или соколья перелета $1^1/_4$ *унции».*

Это я что-то не понимаю, — сказал Аверьян Гаврилович. — Сабур какой-то... И при чем здесь соколиный перелет?

— Нет, именно «соколий перелет», — сказал Федор Михайлович. — Разрешите мне взглянуть, это — травы, а ботаника все-таки моя специальность. Сабур — это попросту алоэ, цитварный корень или семя — полынь Артемизия, янцыана горькая, или, правильнее, генциана, — один из видов горечавки, соколий перелет — горечавка перекрестнолистная... Шафран, ревень — в объяснении

не нуждаются — их по одной и одной трети унции... Далее — лиственная губа, то есть лиственничная губа — грибовидные наросты на стволах лиственницы, тоже одна и одна треть... Ого! «Венецианского терьяку одна и одна треть унции». Знаете, что такое териак? Целебное средство против ядов животного происхождения, которые изобрел придворный лекарь императора Нерона... «Сернаго цвета одна и одна треть» — это просто сера. «Стираксы одна и одна четверть унции». Стиракс-смола тропического дерева того же названия. И «сахару одна и одна четверть унции...» Читаю далее.

«Приуготовление

сей специй истолочь в порошок, всыпать все оное в штоф толстого стекла, налить на оное одну кварту хороший французской водки и закупорить хорошенько мокрым бергаментом или пузырем, а когда оной высохнет, то во многих местах проколоть булавкою дабы штоф от решентаций или переработки нелопнул. Чрез десять дней слить сию наливку, за купорить хорошенько пробкою и завязать пузырем.

Сей рецепт найден меж бумагами шведского доктора Кристоперлиста, умершего на 104-м году от удара припадении его с Лошади Сие таинственное лекарство Сохраняемо было в его фамилии, чрез многия столетия дед жил 130 лет мать 107 лет а отец 112 лет от употребления Сего «Эликсира...»

Вот тебе на!.. — засмеялся вдруг Федор Михайлович и дочитал: — «Печатано в Санктпетербурге в типографии губернского правления здозволения Цензурного Коммитета 18... года», — окончание цифры, увы, оборвано...

— Где, где?.. — заволновался Аверьян Гаврилович. — Да, действительно, — с явным разочарованием сказал он, прочитав, — как жаль, как жаль...

— Так что, этот эликсир на самом деле или обыкновенная липа? — спросил Кологойда.

— Почему липа? — сказал Федор Михайлович. — Самое настоящее и даже зарегистрированное в Цензурном комитете доказательство извечной мечты человечества об эликсире жизни, чудесном лекарстве, магическом средстве, излечивающем от всех болезней.

— Так если не от всех, может, от каких-то болезней и помогает?

— Верующим помогает вера, — сказал Федор Михай-

лович, — и ученые придумали для нее ученое название — психотерапия. Таких эликсиров было множество, на одни мода проходит, появляются другие. Сейчас вошло в моду мумиё... Решайте сами, но, мне кажется, государство не понесет урона, если этот волшебный рецепт возвратить бывшему представителю фамилии, в которой он был реликвией...

Кологойда посмотрел на Букреева.

— Да, пожалуй... — с некоторой оттяжкой сказал Аверьян Гаврилович. Он понимал, что рецепт — полная чушь, но ему не хотелось выпускать из рук курьезное сочинение, хотя никакого проку от него быть не могло.

— Ну что ж, гражданин Ганыка, получайте свою реликвию, — сказал Кологойда.

Ганыка бережно сложил листки, спрятал их в бумажник и бросил мимолетный взгляд на Федора Михайловича. Может, он не такой уж плохой человек, этот лесовод?

Аверьян Гаврилович полистал рукописную книгу и с удовольствием отметил:

— Вот это, несомненно, старее — бумага грубая, шершавая, а чернила еще более выцвели... Посмотрим, посмотрим.

Он углубился в чтение, и вдруг его всегда бледные скулы начали розоветь.

— Вы только послушайте! — воскликнул он и начал читать.

«Пришед к скончанию дней моих и озираясь вспять на прожитый век, почел я долгом своим рассказать о горестях и скитаниях, чрез кои довелось мне пройти. Не из суетного желания прославить себя, ибо не случилось в жизни моей деяний, достойных славы, не из неутоленного питания злобы, дабы без опаски возводить хулу на гонителей моих, коих уже нет среди живых, и они из-за гробовой доски своей не могут ответствовать. Иные чувства теснят мое сердце и понуждают брать перо в руку, более привычную к шпаге. Равно не тщусь я описывать людей выдающихся благородством, умом и доблестию, или противоборствующих им злодеев, хотя судьба сводила меня с оными и овыми. Для такого изъяснения не достанет ни сил моих, ни дара живописания, коим не обладаю вовсе. Единственная цель труда моего состоит в том, дабы предостеречь вас, чада мои любезные, и вас, грядущие потомки, кои — уповаю на господа! — будут и не дадут угаснуть нашему роду.

Кощунство думать, будто Зиждитель всего сущего не имел иных забот, помимо вседневных нужд созданных им творений. Глупая фантазия полагать ласку или немилость Фортуны причиною всех произшествий человеческой жизни, вотще искать оправдания себе в расположении ея обстоятельств. В себе одних долженствуют человеки искать причины злосчастий их постигших, не возводя вины за них на провидение, или малодушно оправдывать себя превратностию Фортуны.

Ныне, по прошествии времени, когда неизбывный могильный хлад ближе мне, чем мимолетные радости минувшего, я скорблю и сожалею не о том, что сделал, а токмо о том, чего сделать не сумел, по слабости духа отступил там, где должен был устоять, и потому принужден оказался покинуть родные пределы. Обрекая себя на добровольное изгнание, казавшееся единственным спасением, я ласкался надеждою, подобно перелетным птицам, вскоре вернуться в родное гнездо. Однако не перелетной птицей, а вопреки воле своей стал я переметной сумою, слепым орудием в игре чужих страстей.

Если печальные опыты мои послужат предостережением вам, любезные чада и потомки, я почту цель свою достигнутой, жизнь прожитою не зря и спокойно буду почивать под муравой забвения на убогом погосте нашем.

Начало роду нашего...»

Нет! — решительно сказал вдруг Аверьян Гаврилович и захлопнул книгу. — Ни за что! — еще решительнее добавил он и поспешно завернул книгу в холстинку. — Я просто не имею права отдать это частному лицу! — уже воинственно заявил он и с вызовом посмотрел на Ганыку.

— Но позвольте, ведь это семейная реликвия! — сказал Ганыка. — Воспоминания моего пращура.

— Вот именно — воспоминания! А исторические мемуары не могут принадлежать одному человеку, они принадлежат народу.

— Зачем *вашему* народу воспоминания дворянина, написанные им для своих потомков?

— Андрей Болотов тоже, знаете ли, был дворянин и так же писал для своих потомков, однако записки его многократно изданы и во многих отношениях служат историческим источником.

— Я понимаю, если бы это было художественное произведение, а то ведь просто записки для домашнего употребления, в семейном кругу...

— А записка Василия Нащокина? Тоже, знаете ли, был не Сен-Симон. Собственный послужной список да холуйские заметы об императрице, вот и все. Однако напечатаны — документ эпохи! А записки Хвостова?.. Да мало ли!.. Вот и эти записки прежде всего должны быть тщательно изучены, а там будет видно.

— В свое время, — сказал Ганыка, — здесь отняли у моей семьи все, что она имела. Теперь вы хотите отнять ее прошлое?

— Ни у кого нет монополии на прошлое, — сказал Федор Михайлович. — И прошлое нетранспортабельно, оно остается там, где имело место. Пращуры нынешних ганышан не писали воспоминаний. Они были поголовно безграмотны, и им нечего было вспоминать, кроме подневольного труда на барина. И только поэтому барин, ваш пращур, мог предаваться воспоминаниям. Их прошлое неделимо. А вы сами отреклись от прошлого — перестали быть гражданином своей страны.

Ганыка даже не посмотрел в сторону Федора Михайловича.

— Вы юридически не имеете права отнять у меня семейную реликвию! — сказал он Кологойде.

— Так разве мы ее отняли у вас? Вы же сами кинули свои реликвии! За это время их сто раз могли пустить на обертку, сжечь, да мало ли что... А теперь вы спохватились — мое, отдайте! А если б Лукьяниха раньше померла или куда переехала — тогда у кого бы реликвии спрашивали? А насчет юридических прав, так по советскому закону наследственные права на всякое сочинение — двадцать пять годов. Если вы с тем не согласны, жалуйтесь своему консулу или еще куда... Ну что ж, вопрос ясен, мне пора ехать. Берите свою воспитательную ценность, товарищ директор, и поехали.

Федор Михайлович вышел вслед за ними. Аверьян Гаврилович сиял, как может сиять только человек, озаренный нестареющей жаждой познания, и счастливая старость, не ушедшая в пустяки бытия. Он был в восторге от нежданного приобретения и восхищен Васей Кологойдой.

— Признаться, товарищ лейтенант, я не ожидал! Как вы все это... У вас просто поразительные индуктивные способности!.. Вот только, мне кажется, одно не вяжется — неужели такая дряхлая, забитая старушка могла решиться на кражу со взломом?

— Нет, конечно, тут я наклепал на старушку. Что

она, в музей ходила, кольцо то видела? А Ганыка в музее был и кольцо видел. Он и подговорил. Только ведь за руку мы его не схватили, старуха померла, очной ставки не сделаешь. И не заводить же с Америкой конфликт из-за паршивого железного кольца?! Садитесь, товарищ директор, а то наш Онищенко — дикая зануда, он мне из-за мотоцикла дырку в голове просверлит своими разговорами... Привет, орлы! — махнул он рукой подошедшим ребятам и завел мотор.

Спешить уже было незачем, но он с ходу дал полный газ.

Он просто не мог удержаться, и Онищенко имел все основания не доверять лейтенанту — в глубине души Вася Кологойда был лихачом...

Ганыка вышел первый, сел на заднее сиденье «Волги» и захлопнул дверцу. Федор Михайлович остановил переводчика:

— Вы — специалист по американским делам... Не знаете, случаем, кто такие баллардисты?

— Баллардисты?.. А, это есть такая секта — они наравне с Христом почитают графа Сен-Жермена... Бредовина! — махнул рукой переводчик и пошел к машине.

Юка смотрела на скорбное лицо Ганыки, на его трагически сжатый рот и вдруг вспомнила.

— Ой, подождите! — Она поспешно отколола Толин подарок и в открытое окно протянула его Ганыке. — Возьмите, пожалуйста, это же ваше...

Ганыка взял, губы его дрогнули, но он ничего не сказал.

«Волга» покатила вниз, увозя Ганыку вместе с рецептом эликсира жизни и картонным гербом детского изготовления.

— Жалко его все-таки! — сказала Юка.

— Не знаю, не знаю... — сказал Федор Михайлович. — Помните, тогда у реки Ган сказал, что он баллардист? Переводчик сейчас объяснил, что секта баллардистов почитает графа Сен-Жермена наравне с Христом... Представьте, если бы он вернулся домой, обладая кольцом Сен-Жермена и мемуарами человека, который встречался с Сен-Жерменом?.. Это были бы уже не семейные реликвии, а реликвии нового бога. Да мистер Ган просто стал бы его апостолом! Не без выгоды: рецепт шведского доктора легко превратить в рецепт самого Сен-Жермена...

— Фу! — сказала Юка и даже покраснела, так ей

стáло стыдно за Ганыку. — Неужели он ради этого и приезжал?

— Нет, конечно, не только ради этого — тоска по родине, печаль о прошлом... Люди довольно часто бросаются отыскивать вчерашний день. Пока это никому не удалось... Ну что ж, граждане, ЧП окончилось, пойдемте продолжать жить?

1970—1975

ГОРНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ

Рассказ

В начале года дела и любопытство привели меня в Среднюю Азию.

Только на подходе к Джусалы зима начала отступать. Облачная пелена распалась, в просветах далеко внизу поплыли желтые пятна земли и грязно-белые заструги сугробов. Постепенно заструги исчезли, желтые полосы и квадраты еле уловимо, потом все ярче зазеленели, и, разбрызгав колесами сверкающие осколки неба на мокрой дорожке, самолет остановился в преддверии весны.

Снега еще прочно лежали на склонах Чаткальского хребта, подступившего к Ташкенту с востока, а здесь, в долине, порывистые ветры торопливо сушили землю, солнце жадно набирало силу, заставляя людей сбрасывать зимнюю одежду и одевая деревья в просвечивающий зеленый пух. Вот только тогда она и уловима, неуловимая ташкентская весна, пока молчат арыки, засыпанные бурыми жухлыми листьями, а огромные тополя, раскачивая голыми хлыстами прошлогодних побегов, сметают остатки облаков с поспешно голубеющего неба. Немного дней, и прозрачный зеленый пух вдруг обернется непроницаемо темными кронами карагачей, резные листья платанов и орехов разбрасывают узорчатые тени по желтой земле, сады окутает белый и розовый дым, и сразу же

вслед за тем недвижимый зной повисает над оцепеневшими деревьями.

В этот уже совершенно летний зной я и вернулся после месячных переездов и перелетов. Широкую, как площадь, улицу Навои не могли защитить молодые деревца, и она изнеможенно млела под жестоким солнцем. Против моих окон на другой стороне улицы лязгали, грохотали бульдозеры. Разметав приземистые глиняные кибитки, они превращали их теперь в дорогу к новому стадиону. Лессовая пыль клубилась над руинами и тут же оседала, придавленная зноем. В душной немоте полдня на востоке, за макушками тополей, виднелась снежная громада Большого Чимгана. И как только появился повод поехать в сторону Чимгана, я с радостью согласился. Таким поводом был юбилей поэта, который должны были праздновать в райцентре нового, только что присоединенного к республике района. Юбиляр ехал с друзьями в собственный светло-серой «Победе», делегация — в тряском высоком ПАЗе, а я — с Хакимом.

Хакима я знал еще юрким, крикливым мальчишкой, который с большим удовольствием бегал на Алайский базар, чем в школу. Окончить школу ему не довелось. В пятнадцать лет, после смерти отца, он стал хозяином, главой семьи: мать работать не могла, младшие сестры и брат должны были учиться. Теперь он превратился в долговязого, медлительного и немногословного парня. У него две страсти: цветы и машины.

Нигде больше не встречал я такой любви у мужчин к цветам, как в Узбекистане. В России почти не увидишь мужчину с цветком. Здесь все от мала до велика, мальчишки и парни, озабоченные отцы семейства, глубокие старики носят их в петлицах, в руках. Идет грузчик с работы, он весь осыпан угольной пылью, только сверкают белки и зубы, а из-под тюбетейки свешиваются нежные соцветия сирени. Сидит в тени на тротуаре древний бабай, у ног его на платке разложены пять орехов и несколько сушеных урючин. Никто не покупает убогий товар, он и не надеется его продать, безучастно смотрит на прохожих, крутит между пальцами черенок гвоздики и время от времени с наслаждением нюхает ее. Парни кокетливо закладывают цветок за ухо, а ребятишки, чтобы руки были свободны, держат цветы в зубах, что не мешает им пронзительно орать на всю улицу.

Хаким не украшает себя цветами, он украшает машину. Дряхлый, давно утративший свой первоначальный

цвет, мятый и штопаный «фаэтон» обязательно несет на щербатом ветровом стекле свежий цветок. Узнав, что возможна поездка к Чимгану, Хаким загорелся:

— Поедем! Там тюльпаны знаешь какие? — И, развел промасленные большие руки, показал размеры, какие бывают только у капусты.

Став водителем и владельцем «фаэтона», Хаким в душе остался пешеходом, который по дороге передвигается как ему взбредет в голову: против движения, наперерез ему и вообще вопреки всем правилам. Единственное, что в нем от настоящего автомобилиста, — неискоренимое стремление догонять и обгонять. Как борзая не может спокойно видеть мелькающую вдали заячью кисточку, так и Хаким не выносит задранного зада идущей впереди «Победы». Тогда ничто не может его удержать — ни состояние дороги, ни пешеходы, ни регулировщики.

Как только светло-серая «Победа» юбиляра, вильнув на перекрестке перед троллейбусом, повернула к шоссе Луначарского, Хаким сбил кепку на затылок, склонился над баранкой и «газанул». Серебристые стволы молодых тополей по обе стороны шоссе слились в прозрачные стены, в дырявый брезент верха, в бесчисленные щели и скважины ворвался жаркий ветер. Дряхлый «фаэтон» заскрипел и застучал. Редкие прохожие, издалека заслышав надвигающийся лязг и дребезг, поспешно сворачивали на бровку. На двадцать втором километре асфальт оборвался, булыжники разбитой мостовой с такой силой начали подбрасывать машину, колотить по покрышкам, нас так угрожающе заносило, раскачивало и встряхивало, что я взмолился. Хаким досадливо дернул кепку за козырек и сбавил газ. Светло-серая «Победа» впереди уменьшилась до спичечного коробка, скрылась за поворотом.

Два часа дорога с нарастающим успехом вытряхивала из нас души. Остались позади ядовито-желтые дымы Чирчика, отроги Чаткальского хребта надвинулись и выросли, за ними величаво поднялся заснеженный Чимган. Шумливый Чирчик, давший имя городу, оставшемуся позади, пересекала плотина ГЭС. Мягкая грунтовая дорога за ней вернула «фаэтону» относительный покой, а нам способность видеть и слышать.

Дом культуры, где должно было состояться чествование, стоял на окраине райцентра. Фанерный плакат на перекрестке призывал всех принять участие в праздновании юбилея поэта. Полуосвещенный зал заполнили зрители. В коридоре возбужденно шептались школьницы.

Они готовились подносить юбиляру цветы, от волнения были потны и так же красны, как букеты тюльпанов у них в руках.

Юбиляр и сопровождающие его подошли к Дому культуры. Странным образом, они были одеты совершенно одинаково: в долгополые светло-серые макинтоши и нахлобученные на уши фетровые шляпы, тоже светло-серые. В зале начали аплодировать, вспыхнул свет. Юбиляр поднялся на сцену, сопровождающие остановились возле кулис. Зал гремел аплодисментами, юбиляр с неподвижным лицом слушал, потом медленно похлопал ладонями в ответ и сел. Подошли и сели за стол сопровождающие. Председатель начал говорить о том, что сегодня большой праздник литературы и всего народа — отмечается пятидесятилетие и тридцатилетие творческой деятельности выдающегося поэта, все творчество которого посвящено народу. Он произносил все слова, какие произносят все председатели на юбилейных заседаниях. Юбиляр внимательно слушал.

— Сегодня его день рождения? — спросил я у знакомого литератора.

— Нет, через месяц.

— А он что, здесь родился?

— Нет.

— Почему же здесь празднуют?

— Настоящий юбилей будет через месяц в Ташкенте. А пока по районам отмечают. Это уже четвертый или пятый район. Кажется, пятый...

Я озадаченно открыл рот и промолчал. Председатель перечислял заслуги юбиляра, особенно напирая на его любовь и внимание к народу, но я уже не мог смотреть на усердного жнеца собственной славы и пошел к выходу. Школьницы с тюльпанами были все так же потны и красны, только от волнения перестали шушукаться. Хаким жадным взглядом впивался в каждый букет.

Белый свет открытого простора ударил нам в глаза. После влажной духоты зала грудь облегченно вздохнула прохладу, льющуюся с гор.

— Поедем за тюльпанами, а? — нетерпеливо спросил Хаким.

Два подростка внимательно разглядывали приборный щиток нашего «фаэтона».

— Эй, пацаны, тюльпаны есть?

Подростки отскочили от машины. Увидев, что за ними не гонятся и не ругают, мальчик поменьше сказал:

— Зачем нет? Сколько хочешь есть. Там, — махнул он рукой в сторону гор.

— Много?

— Вся гора красная!

— Врет, а? — спросил Хаким у старшего, который молча стоял в стороне и следил за происходящим большими черными глазами.

— Правда, — кивнул тот.

— А ну садись. Покажете.

Хаким открыл заднюю дверцу, младший юркнул в машину и закричал:

— Садись, Зайдулла! Скорей!

Старший переступил с ноги на ногу, недоверчиво глядя на нас.

— Садись, садись.

Длинные мохнатые ресницы мальчика дрогнули, в радостной улыбке он осторожно сел в машину.

«Фаэтон» наш снова заскрипел, задребезжал и потащил за собой длинный поднимающийся к небу хвост пыли.

Мальчишки на заднем сиденье каждый по-своему оживали машину. Младший ерзал, подскакивал на пружинах, трогал все ручки, металлические части, пытался опустить стекло, открыть дверцу, подобраться поближе к моему фотоаппарату. Старший сидел на краешке сиденья и ничего не трогал. Он только внимательно рассматривал все черными глазищами и поминутно оглядывался на нас — в зеркале я то и дело встречал его настороженный взгляд. Если бы не кудрявый вихор под кепкой и не мальчишеская линялая куртка, из которой он давно вырос, его можно было бы принять за девочку — такой нежный румянец просвечивал сквозь бледную кожу, такие длинные загнутые ресницы поднимались над огромными черными зрачками. Младший все время сравнивал «Победу» с «Москвичом» и требовал подтверждения у Зайдуллы. Тот молча кивал или отвечал тихонько, еле слышно.

— Вы что, первый раз на «Победе»?

— Ага... Вон гора провалилась, видите? — закричал младший. — Там и тюльпаны!

Предгорье поросло дружной зеленью, лишь одна невысокая гора справа подставляла солнцу голый глинистый обрыв. От подножья его до самой дороги громоздились бугры дерна, уже зарастающие глыбы глины. Должно быть, талые воды подмыли основание изволока, и он

всей массой съехал вниз. Склон горы осел, распался, превращаясь в долину, и по всей этой, пока еще изрытой, взъерошенной равнине в зелени травы и желтизне глины рдели огоньки. Хаким свернул с дороги и остановил машину.

— А ну, пацаны, давай за тюльпанами!

Мальчишки убежали.

Жидкая глина, стекавшая в низину у дороги, уже высохла, образовала крохотный такыр. Он растрескался на правильные паркетные пластины, только края этих паркетин выгнулись вверх, как у лепешки. В трещине между глиняными лепешками на бледно-зеленом стебле поднялся тюльпан. Алое пламя лепестков развернулось к солнцу, внутри виднелись черные, словно обугленные, тычинки. Хаким обломил цветоножку и протянул тюльпан мне.

— Оставь себе, не люблю сорванных цветов.

— Почему не любишь? Все равно красиво, — Хаким сунул его под кепку возле уха.

Мальчишки вернулись. Тюльпаны горели таким ярким чистым пламенем, что казалось: в руках у них не цветы, а живой огонь факелов. Хаким взял цветы у младшего и начал украшать машину. Зайдулла присел на корточки и перекладывал свои, превращая беспорядочный ворох в букет.

— Учитесь, ребята?

— Конечно, учимся. В разных классах только... Мы соседи, рядом живем...

Младший готовно отвечал на все вопросы. Зайдулла молчал и не поднимал головы.

— А ты почему молчишь?

Зайдулла рывком повернул голову, встревоженно посмотрел на меня.

— Тебя как зовут, Зайдулла?

— Зайдулла... Зайдулла Файзулин, — тихонько подтвердил он.

— Почему ты молчишь все? Боишься, что ли?

Зайдулла облизнул пересохшие губы и промолчал.

— Почему молчишь, говорю? Стесняешься?

— Ага, он стесняется. Он всегда стесняется, — подхватил младший. — Уже сколько тут живет, а все стесняется...

— Ты разве не местный, не узбек?

— Нет. Татарин...

— Он — крымский татарин, — готовно объяснил младший.

Взгляд Зайдуллы метнулся к товарищу, ко мне, и Зайдулла опустил голову.

— Давно здесь?

— Четырнадцать лет.

— Крым помнишь?

— Нет, — все так же тихо ответил Зайдулла. — Я маленький был. Грудной.

— Отец есть? Он кто?

— Учитель... был.

— В сельпо работает, — подхватил товарищ Зайдуллы. — Керосин, всякая шара-бара продает...

Хаким закончил свою работу, с удовольствием осмотрел «фаэтон», утыканный со всех сторон огоньками тюльпанов.

— Поедем дальше?

— Нет.

— А в Чимган?

В санатории «Чимган» должна была состояться неофициальная часть чествования юбиляра.

— Поехали обратно.

Немного не доходя до райцентра, дорога сворачивала к плотине. Хаким остановил машину, открыл дверцу.

— Эй, пацаны, вылезай.

Мальчики вышли из машины.

— Подождите! — Я отделил половину букета, отдал им. Ребята просияли.

— Э, зачем, — поморщился Хаким, — они себе нарвут...

На дороге отрывисто просигналила машина. Светло-серая «Победа» промчалась мимо. Мелкие камешки брызнули из-под ее колес, густая пыль окутала ребят, наш «фаэтон». Следом, неуклюже раскачиваясь, проковылял ПАЗ: юбиляр и сопровождающие ехали в «Чимган» продолжать чествование.

— Зачем не поехал? — покачал головой Хаким. — Вино пить будут, плов будет...

Пыль отнесло ветром. Ребята побежали к поселку. Хаким захлопнул дверцу и включил скорость. Снова разбитая дорога принялась колотить по многострадальному «фаэтону». Заснеженный Большой Чимган появлялся то справа, то слева, потом остался позади и становился все меньше и меньше.

Возвратились мы домой под вечер. Ветер сорвал с

машины все тюльпаны, пристроенные Хакимом, остался только букет, лежавший на заднем сиденье.

— Саламат! — окликнул сестру Хаким. — Давай воды.

Саламат прибежала с кувшином, наполненным водой. Хаким взял букет и повернулся ко мне:

— Э, посмотри.

Алое пламя погасло. В руках у Хакима лежал пучок мятой увядшей зелени, тюльпаны сморщились и почернели. Хаким озадаченно повертел их в руках и швырнул в сухой арык то, что еще недавно было цветами.

КОММЕНТАРИИ

«КОЛЕСО ФОРТУНЫ». Роман

Впервые опубликован в журнале «Звезда», № 3, 4, 5 в 1977 г. Первое издание вышло в издательстве «Детская литература» в 1978 г. Неоднократно переиздавался. Переведен на другие языки.

ГОРНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ. Рассказ

Публикуется впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЕСО ФОРТУНЫ. Роман

Часть первая 6
Часть вторая 102
Часть третья 246
Часть четвертая 312
Часть пятая 422

ГОРНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ. Рассказ 453

Комментарии 461

Дубов Н. И.

Д 79 Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3. Колесо Фортуны : Роман. — М. : Мол. гвардия, 1990. — 459[5] с.

ISBN 5-235-00926-6 (т. 3)
ISBN 5-235-00417-5

В 3-й том собрания сочинений вошел остросюжетный роман «Колесо Фортуны», действие которого развивается в двух планах, — то в современной украинской деревне Ганыши, то в Пруссии, Польше и России XVIII века.

Д $\frac{4702010201—053}{078(02)—90}$ Свод. пл. подп. изд. 1990 ББК 84Р7

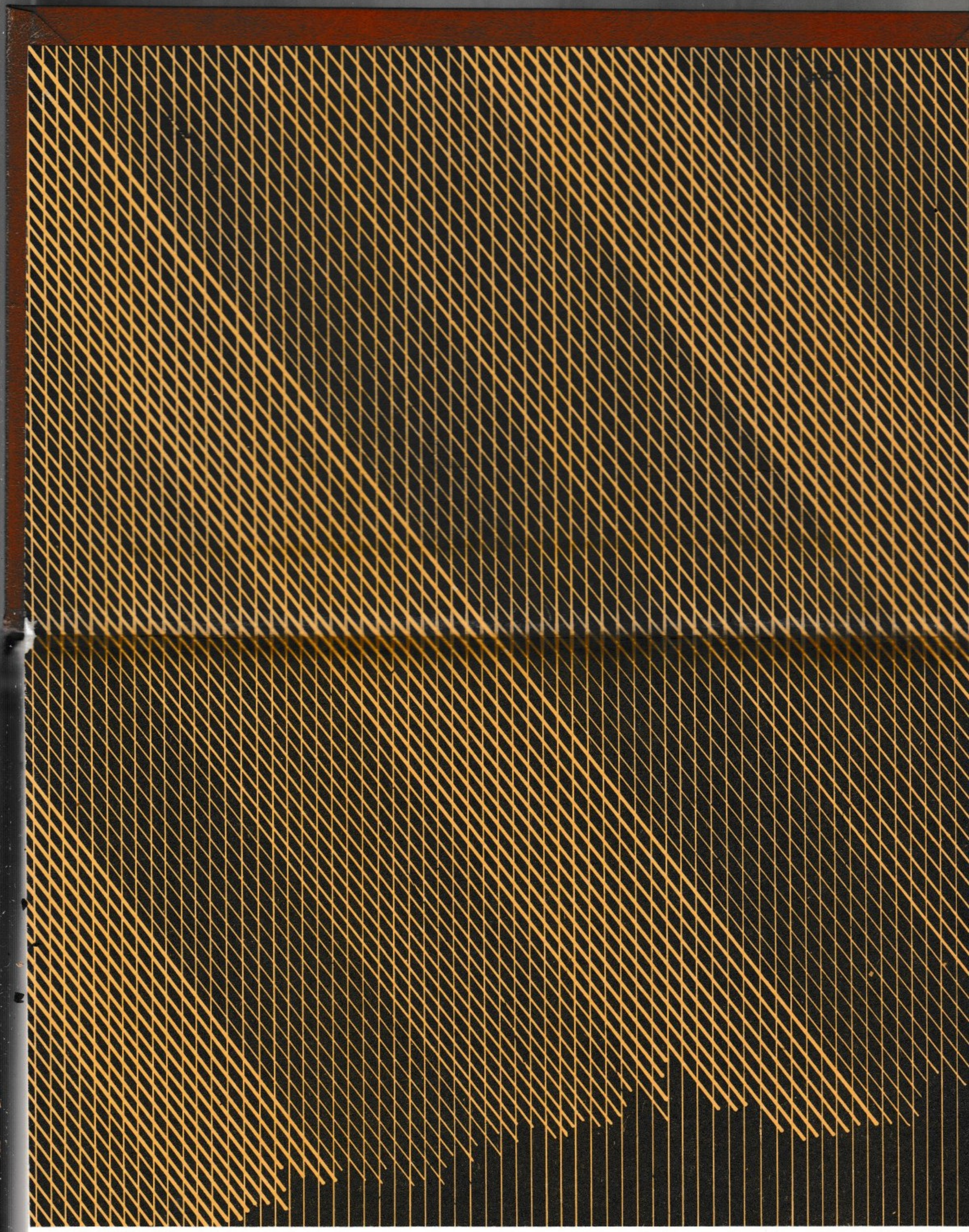
ИБ № 6526

Дубов Николай Иванович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. В 3-х т. Т. 3.

Заведующий редакцией В. Перегудов
Редактор Л. Барыкина
Художник И. Тарханова
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор З. Ахметова
Корректоры Н. Овсянникова, И. Гончарова

Сдано в набор 22.06.89. Подписано в печать 21.12.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 24,36. Условн. кр.-отт. 24,78. Учетно-изд. л. 26,4. Тираж 100 000 экз. Цена 2 руб. Заказ 1735.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00926-6 (т. 3)
ISBN 5-235-00417-5